МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ
7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

МОНТ-ОРИОЛЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Первые посетители водолечебницы, ранние пташки, уже успели принять ванну и медленно прогуливались парами или в одиночку под высокими деревьями по берегу ручья, бежавшего из Анвальского ущелья. Другие только еще пришли из деревни и торопливо, с озабоченным видом входили в ванное заведение. Оно помещалось в просторном здании, нижний этаж которого предназначался для лечения теплыми водами, а в верхнем расположились казино, кофейная и бильярдная.

Несколько лет тому назад доктор Бонфиль открыл в глуши Анваля большой источник, окрестив его своим именем — источник Бонфиля, и тогда местные землевладельцы, робкие коммерсанты, соблазнились барышами и построили в этой красивейшей долине, дикой и все же веселой, среди ореховых и каштановых рощ большой дом, предназначив его для двоякой цели — для лечения и для развлечения больных: внизу торговали минеральной водой, душами и ваннами, а наверху — пивом, крепкими напитками и музыкой.

Огородив часть долины по берегам ручья, превратили ее в парк, необходимую принадлежность каждого курорта; проложили в этом парке три аллеи — одну почти прямую, а две с поворотами и извивами; отвели воду из основного источника, и она забурлила на конце главной аллеи в большом цементном водоеме под сенью соломенной кровли и под надзором флегматичной женщины, которую все запросто называли Марией.

Спокойная, невозмутимая оверпка, в белоснежном чепчике и в широком, всегда опрятном фартуке, почти совсем закрывавшем ее форменное платье, неторопливо поднималась, заметив приближающегося больного. Разглядев, кто идет, она отыскивала в стеклянном шкафчике-вертушке нужный стакан и осторожно наполняла его, зачерпнув воды цинковым ковшиком, насаженным на палку.

Уныло улыбнувшись ей, больной выпивал воду и, возвращая стакан, говорил: «Спасибо, Мария»; затем поворачивался и уходил. Мария снова садилась на соломенный стул и поджидала следующего.

Впрочем, народу на Анвальском курорте было немного. Он открылся для больных только шесть лет тому назад, но и на седьмом году своего существования насчитывал их не больше, чем в начале первого года. Приезжало сюда человек пятьдесят, да и тех главным образом привлекала красивая местность, очаровательная деревушка, приютившаяся под огромными деревьями с кривыми стволами в три обхвата, и прославленные ущелья в начале этой необычайной долины, которая выходит на широкую равнину Оверни, а другим концом упирается в горный кряж, вздымающий бугры потухших вулканов, и превращается там в дикую, великолепную расселину, где громоздятся обвалившиеся гранитные глыбы, а другие угрожающе нависают, где бежит быстрый ручей, водопадами низвергаясь с исполинских камней и разливаясь маленьким круглым озерком перед каждой из этих преград.

Свою деятельность курорт начал, как и всякий курорт, брошюрой, в которой автор ее, доктор Бонфиль, всячески прославлял свой источник. Во вступительной части он воспевал в пышном и чувствительном стиле альпийские красоты Анваля, употребляя только высокопарные, трескучие и пустые эпитеты. Все окрестности именовались живописными, изобиловали грандиозно-величественными видами или очаровательно-мирными пейзажами. Все ближайшие места прогулок носили на себе печать изумительного своеобразия, могли поразить воображение художников и туристов. И вдруг, без всякого перехода, начиналось восхвале-

ние целительных свойств источника Бонфиля, насыщенного углекислым газом, содержащего двууглекислую соду, смешанные соли, литиевые и железистые соединения, и так далее, и так далее, способного излечивать всевозможные болезни. И доктор Бонфиль тут же перечислял их под рубрикой: «Хронические и острые заболевания, специально излечиваемые в Анвале»; длиннейший список этих недугов, врачуемых в Анвале, отличался удивительным разнообразием и был утешителен для больных всех категорий. Брошюра заканчивалась полезными сведениями об условиях жизни в Анвале: о ценах на квартиры, на съестные припасы и на номера в гостиницах. В Анвале уже было три гостиницы, появившиеся одновременно с увеселительно-лечебным заведением: новенький *Сплендид-отель,* построенный на склоне долины, повыше здания ванн, гостиница *Горячие ключи* — бывший постоялый двор, заново оштукатуренный и побеленный, и *Гостиница Видайе,* устроенная очень просто: содержатель ее купил три смежных домика и, пробив в них стены, соединил в одно целое.

А затем вдруг в один прекрасный день в Анвале оказались два новых врача, неизвестно откуда взявшихся, как будто выскочивших из источника, наподобие пузырьков газа,— как обычно и появляются врачи на курортах; это были доктор Онора, коренной овернец, и парижанин доктор Латон. Между доктором Латоном и доктором Бонфилем сразу же возгорелась лютая вражда, а доктор Онора, толстый, опрятный, гладко выбритый человек, всегда улыбающийся и покладистый, протягивал одному своему коллеге правую руку, другому левую и жил с обоими в добром согласии. Однако хозяином положения был доктор Бонфиль, носивший звание инспектора источников и главного врача курорта *Анвальские теплые воды.*

Это звание было его силой, а ванное заведение — его вотчиной. Он проводил там целые дни и, по слухам, даже ночи. По утрам он раз сто бегал из своего дома, находившегося на ближнем краю деревни, в свой врачебный кабинет, устроенный в лечебнице справа от входа, в самом начале коридора. Засев там, как паук в паутине, он подстерегал всех входящих и ухо-

дящих, надзирая за своими больными строгим взором, а за чужими свирепым. Он всех окликал и допрашивал властным тоном капитана в океанских широтах и на новичков нагонял страх или же вызывал у них усмешку.

И вот однажды утром, когда он, по обыкновению, мчался в лечебницу так стремительно, что длинные полы его потертого сюртука развевались, как два крыла, его внезапно остановил чей-то голос:

— Доктор!

Бонфиль обернулся. Его испитое лицо, изрытое неприятными морщинами, такими глубокими, что они казались черными, окаймленное запущенной бородой с проседью, дрогнуло, силясь изобразить улыбку; он торопливо снял шелковый цилиндр, потрепанный, засаленный цилиндр, весь в пятнах, прикрывающий длинные косицы черных седоватых волос — грязноватых волос, как ехидничал доктор Латон,— и, сделав шаг, пробормотал с низким поклоном:

— Доброе утро, маркиз. Как вы себя чувствуете сегодня?

Выхоленный пожилой господин небольшого роста, маркиз де Равенель, протянул врачу руку и ответил:

— Очень хорошо, доктор, хорошо или, во всяком случае, неплохо. Поясница еще ноет, но мне уже лучше, гораздо лучше, а я ведь принял пока только десять ванн. В прошлом году действие лечения сказалось лишь после шестнадцатой ванны. Вы помните?

— Как же, как же!

— Но я не об этом хотел с вами поговорить. Сегодня утром приехала моя дочь, и я решил сразу же посоветоваться с вами, потому что моему зятю, господину Андермату... Вильям Андермат — банкир, слышали?

— Да, конечно.

— Так вот, моему зятю дали рекомендательное письмо к доктору Латону. Но я доверяю только вам одному и прошу вас оказать мне любезность зайти в отель, пока еще... Ну, вы понимаете? По-моему, лучше сказать все откровенно... Вы сейчас свободны?

Доктор Бонфиль, взволнованный, встревоженный, надел цилиндр и ответил:

— Да, я свободен. Вам угодно, чтоб я сейчас пошел с вами?

— Разумеется.

И, повернув вспять от лечебницы, они быстрым шагом пошли по закругленной аллее к *Сплендид-отелю,* построенному на горе для привлечения приезжих широким видом, открывавшимся оттуда.

Поднявшись на второй этаж, они вошли в гостиную, смежную с комнатами двух семейств — Равенелей и Андерматов; маркиз оставил там врача одного и отправился за дочерью.

Вскоре он вернулся вместе с нею. Это была совсем еще молоденькая белокурая женщина, миниатюрная, бледная и очень хорошенькая; в чертах ее лица было что-то детское, но голубые глаза смотрели на людей открыто и смело, и этот твердый, решительный взгляд придавал необыкновенную привлекательность и своеобразие всему ее изящному, хрупкому облику. Ничего серьезного у нее не было: неопределенное недомогание, приступы тоски, иногда беспричинные слезы, беспричинная раздражительность — словом, малокровие. А главное, ей хотелось иметь ребенка, но ребенка не было, хотя она уже третий год была замужем.

Доктор Бонфиль заверил, что анвальские воды обладают всемогущими свойствами, и тотчас принялся строчить предписание.

Все рецепты доктора Бонфиля имели грозный вид обвинительного акта. Перечень лекарств, разбитый на многочисленные параграфы, по две, по три строчки в каждом, выстраивался на большом листе линованой бумаги, исписанной его торопливым почерком, чернея рядами колючих, как пики, остроконечных букв.

Микстуры, пилюли, порошки, которые предписывалось принимать утром натощак, в полдень или вечером, следовали друг за другом свирепыми отрядами.

Казалось, они возглашали: «Ввиду того, что г-н Имярек страдает хронической, неизлечимой, смертельной болезнью, он обязан принимать:

1) Сернокислый хинин, от которого он оглохнет и потеряет память.

2) Бромистый калий, от которого у него испортит-

ся желудок, ослабеют умственные способности, по лицу пойдут прыщи, а дыхание станет зловонным.

3) Йодистый калий, который иссушит все железы внутренней секреции, необходимые как для деятельности мозга, так и для прочих функций организма, и очень быстро превратит больного в слабоумного импотента.

4) Салициловый натрий, целительное действие которого еще не доказано, зато он, по-видимому, обеспечивает больному скоропостижную кончину.

А помимо сего, прописывается ему:

Хлорал, приводящий к сумасшествию, белладонна, вызывающая слепоту, всякого рода растительные настои, всякого рода минеральные смеси, кои портят кровь, подтачивают все органы, разъедают кости и убивают тех, кого пощадила болезнь.

Он строчил долго, исписал одну сторону листа, потом другую и наконец поставил свою подпись, как судья, вынесший смертный приговор.

Молодая женщина, сидя напротив доктора Бонфиля, смотрела на него, и губы ее морщились от еле сдерживаемого смеха.

Как только он вышел, отвесив низкий поклон, она схватила измаранный чернилами лист, скомкала, бросила в камин и дала наконец волю веселому смеху:

— Ах, папа, где ты нашел это ископаемое? Какое чучело, настоящее огородное пугало! Нет, это только ты можешь... Разыскал где-то лекаря прошлого века. Ох, до чего ж он уморительный!.. А грязный какой, грязный!.. Право, страшно будет взять ручку, которой он писал! Наверно, он ее испачкал...

Вдруг отворилась дверь, раздался голос Андермата: «Пожалуйте, доктор»,— и появился доктор Латон. Высокий, сухощавый, подтянутый, неопределенного возраста, одетый по моде, с высоким шелковым цилиндром в руке — отличительным признаком врачей на овернских курортах,— этот парижский доктор с гладко выбритым лицом напоминал актера, приехавшего на дачу.

Растерявшийся маркиз де Равенель не знал, что делать, что сказать, а дочь его, прикрыв рот платком, внезапно закашлялась, чтобы не расхохотаться в лицо этому второму доктору. Латон непринужденно покло-

нился и сел по безмолвному приглашению молодой хозяйки. Андермат, который вошел вслед за ним, пространно описал состояние здоровья своей жены, все ее недомогания со всеми симптомами, изложил мнение парижских врачей и свое собственное, подкрепляя его особыми соображениями и с легкостью жонглируя медицинскими терминами.

Это был совсем еще молодой человек, еврей, крупный делец. Дела он вел всякого рода и во всем проявлял поразительную ловкость, сообразительность и верность суждений. Низенький, уже толстый не по росту, лысеющий, с пухлыми, розовыми, как у младенца, щеками, с жирными ручками, короткими ножками, он цвел какой-то нездоровой свежестью, а говорил с ошеломляющей быстротой.

На дочери маркиза де Равенель он женился по расчету, чтобы найти в высшем свете, для него недоступном, поддержку своим спекуляциям. Правда, у маркиза было около тридцати тысяч годового дохода и только двое детей, но Андермат ко времени женитьбы нажил уже пять — шесть миллионов, хотя ему не было еще и тридцати лет, и успел подготовить почву для будущего урожая в десять — двенадцать миллионов. Г-н де Равенель, человек нерешительный, бесхарактерный, слабовольный и непостоянный, сначала с негодованием отверг его предложение, переданное через третьих лиц, не допускал и мысли, чтобы его дочь могла стать женой какого-то иудея, полгода сопротивлялся, а потом уступил под давлением груды золота и лишь поставил условием, чтобы его внуки воспитывались в католической вере.

Но внуков все не было и как будто не предвиделось. Тогда маркиз, который два года подряд приезжал на анвальские воды и был от них в восторге, вспомнил, что брошюра доктора Бонфиля в числе прочих чудес обещала исцеление от бесплодия.

Маркиз вызвал дочь, и зять сам привез ее в Анваль, чтобы устроить жену как должно и, по совету своего парижского врача, поручить заботам доктора Латона. Приехав, он немедленно побежал за рекомендованным ему врачом и теперь подробно описывал симптомы недомоганий, наблюдавшихся у его супруги. В за-

ключение он сказал, как огорчительно для него обмануться в своих надеждах стать отцом.

Доктор слушал, не прерывая, а когда Андермат кончил, обратился к молодой женщине с вопросом:

— Не желаете ли вы, сударыня, добавить что-нибудь?

Она ответила, приняв серьезный вид:

— Нет, ровно ничего, сударь.

Тогда он сказал:

— В таком случае будьте любезны переодеться: снимите дорожное платье, корсет и наденьте простой белый пеньюар, но только совершенно белый.

Г-жа Андермат удивилась; доктор с живостью принялся разъяснять свою систему

— Боже мой, сударыня, это очень просто. Раньше существовало убеждение, что все болезни вызывает или испорченная кровь, или какой-нибудь органический порок, а теперь мы пришли к весьма простому предположению, что во многих случаях, а в особенности таком, как ваш, те неопределенные недомогания, которым вы подвержены, да и не только они, а даже серьезные расстройства, весьма серьезные, смертельные, могут проистекать лишь оттого, что какой-нибудь орган под воздействием легко устанавливаемых причин ненормально увеличивается в ущерб соседним органам и разрушает всю гармонию, все равновесие в строении человеческого тела, изменяет или приостанавливает его функции, тормозит деятельность всего организма.

Достаточно вздутия желудка, чтобы появились симптомы болезни сердца, ибо сердце в этом случае, будучи приподнято и стеснено в движениях, работает неправильно, иной раз даже с перебоями. Увеличение печени или некоторых желез может вызвать угрожающие последствия, которые малонаблюдательный врач припишет совершенно иным причинам.

Итак, нам прежде всего необходимо установить, имеют ли органы больного нормальный объем и не смещены ли они. Зачастую какой-нибудь пустяк может совершенно подорвать здоровье человека. И поэтому я, сударыня, с вашего позволения, самым тщательным образом исследую вас и набросаю на вашем пеньюаре

линии, обозначающие границы, размеры и положение ваших органов.

Он поставил цилиндр на соседний стул и говорил с жаром. Большой рот его открывался и закрывался, на бритых щеках западали две глубокие складки, и это придавало ему вид патера-проповедника.

Андермат пришел в восторг:

— Вот это я понимаю! Поразительно! Как умно! Очень ново, очень современно!

«Очень современно» было высшей похвалой в его устах.

Молодую женщину все это страшно забавляло; она покорно поднялась, пошла к себе в спальню и через несколько минут вернулась, переодетая в белый пеньюар.

Доктор Латон уложил ее на кушетку, вынул из кармана карандаш с тремя графитами — черным, красным и синим — и принялся выстукивать и выслушивать свою новую пациентку, отмечая каждое свое наблюдение мелкими пестрыми штрихами на белом пеньюаре.

Через четверть часа такой обработки пеньюар стал похож на географическую карту, где обозначены материки, моря, мысы, реки, государства, города и наименования всех земных стран, так как над каждой пограничной линией доктор надписывал два—три латинских слова, понятных ему одному.

Старательно исследовав г-жу Андермат, выслушав все внутренние шумы, все глухие или ясные тона, получающиеся при выстукивании полостей тела, он вытащил из кармана записную книжку-алфавит в красном кожаном переплете с золотым тиснением, заглянул в таблицу и, раскрыв книжку, написал: «Наблюдение 6347. Г-жа А. 21 год».

Затем он перенес на соответствующую страничку все свои наблюдения, окидывая взглядом пациентку с головы до ног и читая разноцветные отметки на ее пеньюаре, как египтолог расшифровывает иероглифы.

Закончив запись, он объявил:

— Ничего тревожного, все в норме, есть только одно незначительное, совершенно незначительное отклонение, от которого вас легко излечат углекислые ванны, не больше тридцати ванн. А кроме того, вам надо пить

каждое утро до полудня три раза по полстакана минеральной воды. И больше ничего. Дней через пять я вас навещу.

Затем он встал, поклонился и вышел так стремительно, что поверг всех в изумление. Этот внезапный уход был театральным приемом собственного его изобретения, особым шиком, признаком оригинальности. Доктор Латон считал, что это манера очень хорошего тона и производит большое впечатление на пациентов.

Г-жа Андермат подбежала к зеркалу и, поглядевшись в него, вся затряслась от веселого детского хохота.

— Ох, до чего они смешные, просто уморительные! Неужели их только два? Наверно, есть еще третий. Покажите мне его скорее! Виль, сходи за ним, приведи, я хочу на него посмотреть.

Муж спросил удивленно:

— Как так «третий»? Почему «третий»?

Маркизу пришлось объясниться и извиниться: он немного побаивался своего зятя. Он сказал, что доктор Бонфиль был у него сегодня с визитом и он, воспользовавшись этим, привел его к Христиане, желая узнать мнение такого опытного врача, которому он вполне доверяет, к тому же коренного жителя Анваля, человека, открывшего источник.

Андермат, пожав плечами, заявил, что его жену будет лечить только доктор Латон; и озадаченный маркиз стал обдумывать, как бы уладить дело, чтобы не обиделся его сердитый врач.

Христиана спросила о своем брате:

— Гонтран здесь?

Отец ответил:

— Да, приехал четыре дня тому назад со своим другом, Полем Бретиньи, о котором, помнишь, он часто нам говорил. Они вместе путешествуют по Оверни. Побывали уже в Мон-Доре и в Бурбуле, а в конце будущей недели поедут отсюда в Канталь.

Затем он спросил у дочери, не хочет ли она отдохнуть до завтрака после ночи, проведенной в поезде, но она ответила, что прекрасно выспалась в спальном вагоне и только просит дать ей часок на то, чтобы помыться и переодеться, а после этого ей хочется посмот-

реть деревню и ванное заведение. В ожидании, когда она будет готова, отец и муж ушли в свои комнаты.

Вскоре она позвала их, и все трое вышли из гостиницы на прогулку. Г-жу Андермат сразу же восхитила деревня, спрятавшаяся в лесу, в глубине долины и, казалось, со всех сторон замкнутая каштановыми деревьями высотою с гору. Эти вековые великаны волею случая разбросаны были повсюду — росли у ворот, во дворах, на улицах; кроме того, повсюду били родники, на каждом шагу высились черные камни, а оттуда, из просверленного маленького отверстия, вырывалась светлая струя воды и, изгибаясь в воздухе дугой, падала в каменную колоду. Под сводами ветвей разливался свежий запах листвы и хлева; оверники важной поступью медленно двигались по улицам или же стояли у порога и пряли черную шерсть, проворными пальцами ссучивая кудель с прялки, заткнутой за пояс. На них были короткие юбки, не закрывавшие худых лодыжек, обтянутых синими чулками, корсажи с помочами и холщовые рубашки с рукавами, из которых высовывались жилистые и сухие, костлявые руки.

Вдруг откуда-то донеслась музыка — странные, скачущие, прерывистые и хриплые звуки, как будто заиграла старая, разбитая шарманка.

— Что это такое? — воскликнула Христиана.

Отец засмеялся.

— Оркестр курортного казино. Всего четыре музыканта, а шуму сколько!

И он подвел дочь к стене деревенского дома, где наклеена была ярко-красная афиша. Жирными черными буквами на ней значилось:

АНВАЛЬСКОЕ КАЗИНО

Директор г-н Петрюс Мартель из Одеона.

Суббота 6 июля.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри, лауреата консерватории, удостоенного второй премии. Партию рояля исполнит г-н Жавель, удостоенный первой премии консерватории. Флейта — г-н Нуаро, лауреат консерватории. Контрабас — г-н Никорди, лауреат Брюссельской королевской академии.

После концерта большое представление

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Комедия в одном действии г-на Пуантиле.

Действующие лица:

Пьер де Лапуант — г-н Петрюс Мартель из Одеона.
Оскар Левейе — г-н Птинивель из Водевиля.
Жан — г-н Лапальм из Большого театра в Бордо.
Филиппина — м-ль Одлен из Одеона.

Во время спектакля играет оркестр под управлением маэстро Сен-Ландри.

Христиана читала вслух, хохотала и удивлялась. Отец сказал ей:

— Погоди, они еще не так тебя позабавят. Пойдем посмотрим на них.

Они двинулись дальше и, повернув направо, вошли в парк. Больные степенно, чинно прогуливались по трем аллеям, подходили к источнику, выпивали предписанный им стакан воды и опять начинали шагать. Некоторые сидели на скамейках, чертили по песку тросточкой или кончиком зонта. Они не разговаривали и как будто ни о чем не думали, все были какие-то полумертвые, зачарованные сонной одурью и курортной скукой. Только странные звуки музыки, неведомо откуда долетавшие, неведо кем порожденные, сотрясали теплый, застывший воздух, проносились под деревьями, и, казалось, лишь они и приводили в движение уныло бродившие фигуры.

Кто-то крикнул:

— Христиана!

Она обернулась и увидела брата. Он подбежал, поцеловался с ней, пожал руку Андермату, потом взял сестру под руку и быстро повел ее по аллее, опередив отца и зятя.

Между братом и сестрой начался веселый разговор. Гонтран, высокий и элегантный молодой человек, был так же смешлив, как сестра, так же подвижен, как отец, и равнодушен ко всему на свете, но вечно поглощен одной заботой — где бы достать тысячу франков.

— Я думал, ты спишь,— говорил он,— а то бы уж давно прибежал поцеловать тебя. Да еще этот Поль утащил меня сегодня утром на прогулку — посмотреть на замок Турноэль.

— Кто это — Поль? Ах да, твой друг.

— Поль Бретиньи. Да, ты ведь с ним не знакома. Он сейчас принимает ванну.

— Он болен?

— Нет, но все-таки лечится. Недавно был адски влюблен.

— И поэтому принимает углекислые ванны! Так они, кажется, называются — углекислые? Хочет таким способом излечиться от любви.

— Да. Он делает все, что я ему велю. У него рана, понимаешь, глубокая сердечная рана! Такой уж он бешеный, неистовый. Чуть не умер. И ее хотел убить. Она актриса, известная актриса. Он ее любил безумно! Ну, а она, разумеется, изменила ему. Была ужасная драма. Вот я и увез его сюда. Сейчас он немного оправился, но все еще думает о ней.

Сестра перестала улыбаться и сказала уже серьезным тоном:

— Интересно будет на него посмотреть.

Впрочем, слово «любовь» для нее почти не имело смысла. Иногда она думала о любви так же, как бедная женщина, живя в скудости, думает о жемчужном ожерелье, о бриллиантовой диадеме и на минуту загорается желанием иметь эти драгоценности, для нее такие далекие, но кому-то другому вполне доступные. Представление о любви она почерпнула из немногих романов, прочитанных от нечего делать, но не придавала ей большого значения. Она не отличалась мечтательностью и от природы была наделена душой жизнерадостной, уравновешенной и всем довольной. Замужество — а она уже была замужем два с половиной года — не нарушило той дремоты, в которой живут наивные девушки, дремоты сердца, мыслей и чувств,— для иных женщин этот сон длится до самой смерти. Жизнь казалась ей простой и приятной, никаких сложностей она не видела в ней, не доискивалась ее смысла и цели. Она жила безмятежно, спокойно спала, одевалась со вкусом, смеялась, была довольна. Чего еще могла она желать?

Когда ей представили Андермата в качестве искателя ее руки, она сначала отказала ему с ребяческим негодованием. Что?! Выйти замуж за еврея! Отец и брат, разделявшие ее отвращение, ответили так же,

как и она, решительным отказом. Андермат исчез с горизонта, притаился. Но спустя три месяца он дал взаймы Гонтрану свыше двадцати тысяч франков, да и у маркиза, по другим причинам, стало изменяться мнение. Он по самому существу своему не мог сопротивляться упорному натиску и всегда уступал из эгоистической любви к покою. Дочь говорила о нем: «Ах, папа, папа! Какая у него путаница в мыслях!» Это было верно. У него не было ни твердых взглядов, ни верований, а только восторженные, постоянно менявшиеся увлечения. То он проникался минутным поэтическим преклонением перед старыми родовыми традициями и желал короля, но короля разумного, просвещенного, идущего в ногу с веком; то, прочитав книгу Мишле или какого-нибудь другого мыслителя-демократа, с жаром говорил о равенстве людей, о современных идеях, о требованиях бедняков, угнетенных и обездоленных. Он мог уверовать во что угодно, смотря по настроению, и когда старая его приятельница г-жа Икардон, имевшая связи в еврейских кругах, пожелала посодействовать браку Христианы с Андерматом, она знала, как подойти к маркизу и какими доводами его убедить.

Она утверждала, что для евреев, угнетенных так же, как был угнетен французский народ до революции, настал час мщения и теперь они будут угнетать других могуществом золота. Маркиз де Равенель, человек совсем не религиозный, был, однако, убежден, что идея бога очень полезна как законополагающая идея, что она больше может держать в узде боязливых глупцов и невежд, нежели неприкрашенная идея справедливости, и поэтому с одинаковой равнодушной почтительностью относился ко всем религиозным догмам, питал одинаково искреннее уважение к Конфуцию, Магомету и Иисусу Христу. Распятие Иисуса на кресте он отнюдь не считал наследственным грехом евреев, а только грубой политической ошибкой. Поэтому г-же Икардон достаточно было нескольких недель, чтоб внушить ему восторг перед непрестанной скрытой деятельностью евреев, повсюду преследуемых и всемогущих. И вдруг он стал другими глазами смотреть на их торжество, считая его справедливой наградой за долгое унижение. Он видел теперь в евреях властителей, которые пове-

левают королями — повелителями народов, поддерживают или низвергают троны, могут разорить и довести до банкротства целую нацию, точно какого-нибудь виноторговца, гордо посматривают на приниженных государей и швыряют свое нечистое золото в приоткрытые шкатулки самых правоверных католических монархов, а получают от них за это грамоты на дворянство и железнодорожные концессии.

И он дал согласие на брак своей дочери Христианы де Равенель с банкиром Вильямом Андерматом.

Христиана же поддалась осторожному воздействию со стороны г-жи Икардон, подруги маркизы де Равенель, ближайшей своей советницы после смерти матери; к этому прибавилось воздействие отца, корыстное равнодушие брата, и она согласилась выйти за этого толстяка-банкира, который был очень богат, молод и не безобразен, но совсем не нравился ей,— так же согласилась бы она провести лето в какой-нибудь скучной местности.

А теперь она находила, что он добродушный, внимательный, неглупый человек, приятный в близком общении, но частенько смеялась над ним, болтая с Гонтраном, проявлявшим черную неблагодарность к зятю.

Гонтран сказал ей:

— Муж у тебя стал совсем лысый и розовый. Он похож на больной, разбухший цветок или на молочного поросенка... Откуда у него такие краски берутся?

— Я тут ни при чем, уверяю тебя! Знаешь, мне иногда хочется наклеить его на коробку с конфетами.

Они уже подходили к ванному заведению.

У стены, по обе стороны двери, сидели на соломенных табуретках два человека, покуривая трубки

— Посмотри-ка на них,— сказал Гонтран.— Забавные типы! Сначала погляди на того, который справа, на горбуна в греческой шапочке. Это дядюшка Прентан, бывший надзиратель в риомской тюрьме, а теперь смотритель и почти директор анвальского водолечебного заведения. Для него ничего не изменилось: он командует больными, как арестантами. Каждый приходящий в лечебницу — это заключенный, поступающий в тюрьму; кабинки — это одиночные камеры; зал врачебных душей — карцер, а закоулок, где доктор Бонфиль про-

изводит своим пациентам промывание желудка при помощи зонда Барадюка,— таинственный застенок. Мужчинам он не кланяется в силу того принципа, что все осужденные — презренные существа. С женщинами он обращается более уважительно, но смотрит на них с некоторым удивлением: в риомской тюрьме содержались только мужчины. Это почтенное убежище предназначалось для преступников мужского пола, и с дамами он еще не привык разговаривать. А второй, слева,— это кассир. Попробуй попроси его записать твою фамилию — увидишь, что получится.

И, обратившись к человеку, сидевшему слева, Гонтран медленно, раздельно произнес:

— Господин Семинуа, вот моя сестра, госпожа Андермат; она хочет записаться на двенадцать ванн.

Кассир, длинный, как жердь, тощий и одетый по-нищенски, поднялся, вошел в свою будку, устроенную напротив кабинета главного врача, открыл реестр и спросил:

— Как ваша фамилия?

— Андермат.

— Как вы сказали?

— Андермат.

— По слогам-то как будет?

— Ан-дер-мат.

— Так, так, понял.

Он медленно стал выводить буквы. Когда он кончил писать, Гонтран попросил:

— Будьте добры, прочтите, как вы записали фамилию моей сестры.

— Пожалуйста. Госпожа Антерпат.

Христиана, смеясь до слез, заплатила за абонемент, потом спросила:

— Что это за шум там, наверху?

Гонтран взял ее под руку.

— Пойдем посмотрим.

Они поднялись по лестнице; навстречу им неслись сердитые голоса. Гонтран отворил дверь, они увидели большую комнату с бильярдом посредине. Двое мужчин без пиджаков стояли друг против друга с длинными киями в руках и вели яростный спор через зеленое поле бильярда:

— Восемнадцать!
— Нет, семнадцать!
— А я вам говорю, у меня восемнадцать!
— Неправда, только семнадцать!

Это директор казино Петрюс Мартель из Одеона, как обычно, сражался на бильярде с комиком г-ном Лапальмом из Большого театра в Бордо.

Петрюс Мартель, тучный мужчина с необъятным животом, который колыхался под рубашкой и нависал над поясом брюк, державшихся на честном слове, лицедействовал во многих местах, потом обосновался в Анвале и, получив в управление казино, проводил все дни своей жизни в истреблении напитков, предназначенных для курортных гостей. Он носил огромные офицерские усы и с утра до вечера увлажнял их пивной пеной или сладкими, липкими ликерами, пылал неумеренной страстью к бильярду и, заразив ею старого комика своей труппы, завербовал его себе в партнеры.

С утра, не успев протереть глаза, они уже принимались сражаться на бильярде, переругивались, грозили друг другу, стирали записи, начинали следующую партию, едва решались урвать время для завтрака и никого не подпускали к зеленому полю.

Они распугали всех посетителей, но нисколько этим не смущались и были довольны жизнью, хотя Петрюса Мартеля в конце сезона ждало банкротство.

Удрученная кассирша с утра до вечера созерцала их бесконечную партию, с утра до вечера слушала их нескончаемые споры и с утра до вечера подавала двум неутомимым игрокам кружки пива и рюмочки спиртного.

Гонтран увел сестру.

— Пойдем в парк. Там прохладно.

Обогнув здание водолечебницы, они увидели китайскую беседку и игравший в ней оркестр.

Белокурый молодой человек исполнял роль скрипача и дирижера и, отбивая такт для трех диковинного вида музыкантов, сидевших напротив него, неистово дергал смычком, мотал головой, встряхивал длинной шевелюрой, сгибался, выпрямлялся, раскачивался направо и налево, превратив собственную свою особу в дирижерскую палочку. Это был маэстро Сен-Ландри.

Маэстро и его помощники: пианист, для которого ежедневно инструмент выкатывали на колесиках из вестибюля ванного заведения в беседку, огромный флейтист, который, словно спичку, сосал свою флейту, перебирая клапаны толстыми, пухлыми пальцами, и чахоточный контрабасист,— все они в поте лица своего превосходно воспроизводили звуки испорченной шарманки, поразившие Христиану, когда она еще проходила по деревне.

В то время как она остановилась посмотреть на них, какой-то господин поздоровался с ее братом:

— Доброе утро, дорогой граф.

— Здравствуйте, доктор.

И Гонтран познакомил с ним сестру:

— Моя сестра. Доктор Онора.

Христиана едва удерживалась от смеха: значит, нашелся и третий доктор.

— Надеюсь, вы не больны, сударыня? — с поклоном спросил ее доктор Онора.

— Немножко нездорова.

Он не стал расспрашивать и заговорил о другом:

— Знаете, дорогой граф, сегодня вам предстоит увидеть интереснейшее зрелище.

— Какое же, доктор?

— Старик Ориоль взорвет свой знаменитый «чертов камень» в конце долины. Ах, вам это ничего не говорит, но для нас это — целое событие!

И он пояснил. Старик Ориоль — первый богач во всей округе (известно, что у него дохода тысяч пятьдесят в год), владеет всеми виноградниками, расположенными в том месте, где начинается равнина. Но лучшие его виноградники насажены по склонам небольшой горы, вернее, высокого холма, поднимающегося у самой деревни, в наиболее широком месте лощины. И посреди одного из этих виноградников, напротив дороги и в двух шагах от ручья, торчит исполинский камень, скорее, утес, который мешает возделывать почву и затеняет значительную часть этого клочка земли.

Уже лет десять дядюшка Ориоль каждую неделю все грозился, что взорвет свой чертов камень, но никак не мог решиться на это.

Всякому парню, отправлявшемуся из деревни отбывать военную службу, он говорил:

— Как придешь на побывку, принеси малость пороха для моего чертова камня.

И каждый молодой солдат приносил в своем ранце горсточку — другую краденого пороха для чертова камня дядюшки Ориоля. Он набил целый сундучок этим порохом, а камень все стоял на своем месте.

Но вот уже целую неделю люди видели, как он долбит утес вместе со своим сыном, долговязым Жаком, по прозвищу Великан. А нынче утром они насыпали пороху в пустое теперь нутро огромной глыбы, потом замазали отверстие, пропустив в него фитиль — трут, который продается для курильщиков в табачной лавке. Подожгут его в два часа. Взрыв произойдет минут через пять, через десять после этого, потому что фитиль очень длинный.

Христиана слушала рассказ с интересом, и ей захотелось посмотреть, как будут взрывать утес. Это напомнило ей какую-то детскую игру и показалось очень занятным ее наивному воображению.

Они дошли до конца парка.

— А куда дальше ведет лощина? — спросила Христиана.

— На «Край света», сударыня,— так называется прославленное у нас в Оверни ущелье. Это одно из любопытнейших чудес природы в наших краях.

Но в это время зазвонил колокол. Гонтран удивился.

— Смотрите, уже завтрак!

И они повернули обратно. Навстречу им по аллее шел какой-то высокий молодой человек. Гонтран сказал:

— Ну, милая сестренка, позволь представить тебе господина Поля Бретиньи.

Потом повернулся к своему другу.

— Это моя сестра, дорогой.

Христиана нашла, что приятель брата очень некрасив. У него были черные, коротко остриженные, невьющиеся волосы, слишком круглые глаза с почти суровым выражением, и голова тоже была совершенно круглая и большая; такие головы напоминают почему-

то пушечное ядро, да при этом еще у него были плечи Геркулеса и во всем облике что-то тяжеловесное и грубое, дикое. Но от его пиджака, от его сорочки и, может быть, от самой кожи исходил тонкий, нежный аромат духов, незнакомых Христиане, и она подумала: «Что это за духи?»

— Вы приехали только сегодня, сударыня?— спросил Бретиньи. Голос у него был несколько глухой.

— Да, сегодня,— ответила Христиана.

Гонтран заметил вдали маркиза и Андермата, которые знаками торопили их идти завтракать.

Доктор Онора простился с ними и спросил, действительно ли они намереваются посмотреть на взрыв утеса.

Христиана ответила, что пойдет непременно, и, потянув брата за руку, торопливо направилась к отелю.

— Я голодна, как волк,— тихонько сказала она, наклоняясь к Гонтрану.— Мне неловко будет есть при твоем друге.

II

Завтрак тянулся бесконечно, как это водится за общим столом в гостиницах. Для Христианы все лица были незнакомы, и она разговаривала только с отцом и с братом, а после завтрака поднялась в свою комнату отдохнуть до прогулки к месту взрыва.

Она была готова задолго до назначенного часа и торопила всех, боясь пропустить любопытное зрелище.

За деревней, в конце долины, поднимался высокий холм, скорее, даже небольшая гора; под знойным солнцем взобрались на него по узкой тропинке, змеившейся меж виноградниками, и, как только очутились на вершине, Христиана вскрикнула от восторга — такой широкий кругозор внезапно открылся перед ней. Во все стороны раскинулась равнина, беспредельная, бескрайняя, словно океан. Она простиралась ровная, гладкая, вся затянутая голубой, мягкой туманной дымкой, и где-то далеко-далеко, километров за пятьдесят — шестьдесят, чуть виднелись горы. Сквозь тонкую, прозрачную пелену, реявшую над этими просторами, глаз

различал города, села, леса, большие желтые прямоугольники созревшей пшеницы, зеленые прямоугольники лугов, фабрики с высокими красными трубами и черные островерхие колокольни, выстроенные из лавы угасших вулканов.

— Обернись,— сказал ей брат

Она обернулась и увидела горный кряж, усеянный вулканическими буграми. Но ближе пролегала Анвальская лощина — широкая волна зелени, где смутно чернели узкие входы глубоких ущелий. Буйная лесная поросль карабкалась по уступам крутого склона до первого гребня, заслонявшего верхние отроги. Но холм стоял как раз на границе равнинной и горной местности, и с него видно было, как горы цепью тянутся влево, к Клермон-Феррану, и как, удаляясь, вырисовываются в небе их странные усеченные вершины, похожие на чудовищные волдыри; это были вулканы, потухшие, мертвые вулканы. И в самом конце их гряды, между двумя горами, виднелась третья, еще дальше и выше их, округлая, величественная, увенчанная причудливыми зубцами каких-то руин.

Это был Пюи-де-Дом, король овернских гор, грузный и мощный великан, еще сохранивший на своей вершине развалины римского храма, словно венец, возложенный на его главу величайшим из народов.

Христиана воскликнула:

— О, как хорошо! Как мне тут будет хорошо!

И в самом деле ей уже было хорошо, тело и душу ее охватило то блаженное чувство, когда дышишь так вольно, когда движешься так легко и свободно, когда всего тебя пронизывает радость жизни оттого, что ты вдруг очутился в милом, как будто созданном для тебя краю и он ласкает, очаровывает, пленяет твой взгляд.

Кто-то крикнул:

— Госпожа Андермат! Госпожа Андермат!

Христиана увидела вдали доктора Онора, приметного по высокому цилиндру. Он подбежал и повел все семейство на другой склон, поросший травой, к опушке молодой рощицы, где уже собралось человек тридцать крестьян и приезжих господ.

Оттуда крутой откос спускался к римской дороге, обсаженной тенистыми ивами, укрывавшими узкую

речку; на берегу этой речки, посреди виноградника, возвышался остроконечный утес, а перед ним стояли на коленях, точно молились ему, двое мужчин. Это и был чертов камень дядюшки Ориоля.

Ориоли, отец и сын, укрепляли фитиль. На дороге сгрудилась толпа любопытных, впереди выстроилась низенькая беспокойная шеренга мальчишек.

Доктор Онора выбрал для Христианы удобное место, она села, и сердце у нее так билось, как будто через минуту вместе с утесом должны были взлететь на воздух и все люди, теснившиеся внизу... Маркиз, Андермат и Поль Бретиньи легли на траву возле нее, а Гонтран смотрел стоя. Он заметил насмешливо:

— Доктор, очевидно, вы меньше заняты, чем ваши почтенные коллеги; они не решились потерять хотя бы часок даже ради такого праздника.

Онора благодушно ответил:

— Я занят не меньше, только вот больные меня занимают меньше, чем их... По-моему, лучше развлекать пациентов, а не пичкать их лекарствами.

Он сказал это с лукавым видом, который очень нравился Гонтрану.

На холм карабкались и другие зрители, их соседи по табльдоту: две вдовы Пай — мать и дочь, г-н Монекю с дочерью и г-н Обри-Пастер, низенький толстяк, который пыхтел, как надтреснутый паровой котел; в прошлом он был горным инженером и нажил себе состояние в России.

Маркиз уже успел подружиться с ним. Обри-Пастер с величайшим трудом уселся на землю, старательно проделав столько обдуманных подготовительных движений, что Христиане стало смешно. Гонтран отошел поглядеть на других любопытных, взобравшихся на холм.

Поль Бретиньи показывал и называл Христиане видневшиеся вдали города и села. Ближе всех был Риом, выделявшийся на равнине красной полосой черепичных крыш, за ним — Эннеза, Маренг, Лезу и множество еле заметных деревень, черными пятнышками испещривших зеленую гладь. А далеко, очень далеко, у подножия Форезских гор, Бретиньи видел Тьер и все старался, чтобы и Христиана его разглядела.

Бретиньи говорил, оживившись:

— Да вот он, вот он! Смотрите вон туда, прямо по направлению моей руки. Я-то его хорошо вижу.

Христиана ничего не видела, но не удивлялась, что он видит,— его круглые глаза смотрели пристальным, неподвижным взглядом хищной птицы, и, казалось, он все различал вдали, как в морской бинокль.

Он сказал:

— А посреди равнины перед нами течет Алье, но ее не увидишь, уж очень это далеко — километров тридцать.

Но Христиана и не пыталась разглядеть то, что он показывал: взгляд ее и все мысли притягивал к себе утес. Она думала о том, что вот сейчас этот утес исчезнет, разлетится прахом и больше его не будет на свете, и в ней шевелилось смутное чувство жалости, как маленькой девочке жалко бывает сломанную игрушку. Утес стоял тут так долго, был такой красивый, так был у места в этой долине! А оба Ориоля уже поднялись на ноги и стали сбрасывать в кучу у его подножия мелкие камни, проворно и по-крестьянски ловко подхватывая их лопатами.

На дороге толпа все разрасталась и теперь придвинулась ближе, чтобы лучше было видно. Мальчишки облепили обоих крестьян, возившихся возле утеса, бегали и прыгали вокруг, словно разыгравшиеся щенки, а с вершины холма, где сидела Христиана, все эти люди казались совсем маленькими, какими-то букашками, суетливыми муравьями. Шум толпы долетал до нее еле слышным гулом, а то вдруг поднимался смутной разноголосицей криков, глухим топотом, дробился, таял и рассеивался в воздухе какой-то пылью звуков. Вверху толпа также прибывала, люди все шли и шли из деревни и уже заняли весь склон напротив обреченной скалы.

Зрители перекликались, подзывали друг друга, собирались кучками — по случайному соседству в гостиницах, по общественным рангам, по кастам. Самой шумной была кучка актеров и музыкантов, которой предводительствовал и командовал антрепренер г-н Петрюс Мартель из Одеона, оторвавшийся ради такого события от азартной партии в бильярд.

Усатый актер стоял, надвинув на лоб панаму, в легком пиджаке из черного альпага, и между полами горбом выпирало его обширное чрево, обтянутое белой рубашкой, так как он считал излишним носить жилет в деревенском захолустье; приняв повелительную осанку, он указывал, объяснял и комментировал каждое движение Ориолей. Директора окружали и слушали подчиненные: комик Лапальм, первый любовник Птиниель и музыканты — маэстро Сен-Ландри, пианист Жавель, слоноподобный флейтист Нуаро и чахлый Никорди, игравший на контрабасе. Впереди сидели на траве три женщины, раскрыв над головами зонты — белый, красный и синий, сверкавшие яркими красками в ослепительных лучах солнца, как своеобразный французский флаг. Под этими зонтами расположились молодая актриса мадмуазель Одлен, ее мамаша — мамаша напрокат, как острил Гонтран, — и кассирша кофейни, их неизменная спутница. Подобрать зонтики по цветам национального флага придумал Петрюс Мартель: заметив в начале сезона, что у мамаши Одлен синий зонтик, а у дочки белый, он преподнес кассирше красный.

Неподалеку собралась другая кучка, не менее привлекавшая внимание и взгляды, — восемь поваров и поварят из гостиниц, все облаченные в белые полотняные одеяния: по причине конкуренции, чтобы произвести впечатление на придирчивых приезжих, содержатели ресторанов нарядили так всю кухонную прислугу, даже судомоек. Солнце играло на накрахмаленных колпаках, и эта группа походила не то на диковинный штаб белых уланов, не то на делегацию кулинаров.

Маркиз спросил у доктора Онора:

— Откуда набралось столько народу? Вот уж не думал, что Анваль населен так густо.

— Ну, отовсюду сбежались — из Шатель-Гюйона, Турноэля, из Рош-Прадьера, из Сент-Ипполита. По всем окрестностям давно шли разговоры об этом событии. К тому же дядюшка Ориоль — наша местная знаменитость, особа влиятельная, богач и настоящий оверпец: он все еще крестьянствует, сам работает в поле, бережет каждый грош, все копит, копит, набивает кубышку золотом и раскидывает умом, как ему получше устроить детей.

Торопливо подошел Гонтран и, весело блестя глазами, вполголоса позвал:

— Поль, Поль! Идем скорее. Я тебе покажу двух прехорошеньких девочек. Ну до того милы, до того милы, просто чудо!

Бретиньи лениво поднял голову.

— Нет, дорогой мой, мне и здесь хорошо. Никуда я не двинусь.

— Напрасно, ей-богу. Такие красотки!

И Гонтран добавил уже громче:

— Да вот доктор нам сейчас скажет, кто они такие. Доктор, слушайте: две юные особы, лет восемнадцати—девятнадцати, две брюнеточки, должно быть, деревенские аристократки; одеты очень забавно: обе в черных шелковых платьях, с узкими рукавами в обтяжку, как у монашенок...

Доктор Онора прервал его:

— Все ясно! Это дочери дядюшки Ориоля. В самом деле, обе они прелестные девочки и, знаете ли, воспитывались в Клермонском пансионе у «черных монахинь». Наверняка, обе сделают хорошую партию. Характером они не похожи друг на друга, но обе типичные представительницы славной овернской породы. Я ведь коренной овернец, маркиз. А этих девушек я вам непременно покажу.

Гонтран перебил его ядовитым вопросом:

— Вы, доктор, вероятно, домашний врач семейства Ориолей?

Онора понял насмешку и с веселой хитрецой ответил:

— А как же!

— Чем же вы завоевали доверие этого богатого пациента?

— Умными рецептами. Прописывал ему побольше пить хорошего вина.

И он рассказал забавные подробности домашнего быта Ориолей, давнишних своих знакомцев и даже дальних родственников. Старик отец — большой чудак и страшно гордится своим вином. У него отведен особый виноградник на потребу семьи и гостей. Обычно удается без особого труда опорожнить бочки с вином

от этих заветных лоз, но в иные урожайные годы бывает нелегко с ним справиться.

И вот в мае или в июне старик, убедившись, что вина остается еще много, начинает подгонять своего долговязого сына Великана: «А ну-ка, сынок, приналяжем!» Тогда оба принимаются за работу: с утра до вечера дуют литрами красное вино. За каждой едой отец раз двадцать подливает из кувшина в стакан своему Великану и приговаривает: «Приналяжем!» Винные пары горячат кровь, по ночам ему не спится; он встает, надевает штаны, зажигает фонарь, будит Великана, и оба спускаются в подвал, захватив из шкафа по горбушке хлеба; в подвале наливают в стаканы прямо из бочки, пьют и закусывают хлебом. Выпив как следует, так что вино булькает у него в животе, старик постукивает по гулкой пузатой бочке и по звуку определяет, насколько понизился в ней уровень вина.

Маркиз спросил:

— Это они копошатся около утеса?

— Да, да. Совершенно верно.

Как раз в эту минуту оба Ориоля отскочили от утеса, начиненного порохом, и быстро зашагали прочь. Толпа, окружавшая их, бросилась врассыпную, словно разбитая армия: кто в сторону Риома, кто к Анвалю. Утес остался в одиночестве, угрюмо возвышаясь на каменистом бугре, покрытом дерном, перерезая пополам виноградник, как ненужная помеха, не дававшая возделать землю вокруг нее.

Наверху вторая толпа, теперь не менее густая, чем нижняя, всколыхнулась в радостном нетерпении, и зычный голос Петрюса Мартеля возвестил:

— Внимание! Фитиль подожгли!

Христиана вздрогнула и замерла в ожидании. Но позади нее доктор пробормотал:

— Ну, если они пустили в дело весь фитиль, который покупали при мне, нам еще минут десять придется ждать.

Все смотрели на утес, как вдруг откуда-то выскочила собака, маленькая черная собачонка, деревенская шавка. Она обежала вокруг камня, обнюхала его и, очевидно, учуяла подозрительный запах и, шерсть ды-

бом, хвост трубой, принялась лаять изо всей мочи, упираясь в землю лапами и навострив уши.

В толпе пробежал смех, жестокий смех: там надеялись, что собака не успеет убежать вовремя. Потом раздались крики, ее пытались отогнать, мужчины свистели, швыряли камнями, но камни, не долетая до нее, падали на полпути. А собачонка стояла как вкопанная и, глядя на скалу, заливалась яростным лаем.

Христиану стала бить дрожь от страха, что собаку разорвет в клочья, все удовольствие пропало, ей хотелось уйти, убежать, и она нервно лепетала:

— Ах, боже мой!.. Ах, боже мой!.. Ее убьет... Не хочу этого видеть... Не хочу... Не хочу... Уйдемте.

Вдруг ее сосед, Поль Бретиньи, поднялся и, не сказав ни слова, бросился вниз по склону, делая своими длинными ногами огромные прыжки.

У всех вырвался крик ужаса; поднялся переполох. А собака, увидев подбегающего к ней высокого человека, отскочила за скалу. Поль Бретиньи побежал за ней вдогонку; собака выныряула с другой стороны, и минуты две человек и собака бегали вокруг камня, поворачивая то вправо, то влево, исчезая и вновь появляясь, как будто играли в прятки.

Убедившись наконец, что ему не удастся поймать собаку, Бретиньи стал подниматься на холм, а собака снова залилась неистовым лаем.

Возвращение запыхавшегося смельчака было встречено сердитыми возгласами: люди не прощают тому, кто до смерти перепугал их. Христиана еле дышала от волнения, сердце у нее колотилось, она прижимала руки к груди. Совсем потеряв голову, она испуганно спросила у Бретиньи:

— Боже мой, вы не ранены?

А Гонтран, разозлившись, кричал:

— Вот сумасшедший! Скотина этакая! Всегда какие-нибудь глупости выкидывает! В жизни еще не видел подобного идиота!

Но вдруг земля дрогнула, приподнялась. Оглушительный взрыв потряс всю окрестность, ухнуло в горах эхо и долго грохотало, словно пушечные залпы.

Христиана увидела, как взметнулись камни, градом

падая во все стороны, и взлетел столб черной пыли, медленно оседая на землю.

И тотчас толпа с торжествующим воплем хлынула вниз. Батальон поварят кубарем скатился по склону, обогнав отряд актеров с Петрюсом Мартелем во главе.

Сине-красно-белую троицу зонтов чуть было не унесло несущейся лавиной.

Мчались все: мужчины и женщины, крестьяне и приезжие буржуа. Люди падали, поднимались и снова бежали вприпрыжку, а на дороге две человеческие волны, в страхе отхлынувшие в разные стороны, неслись теперь навстречу друг другу и, столкнувшись, смешались на месте взрыва.

— Подождем немного, пока уляжется любопытство, — сказал маркиз, — а потом тоже пойдем посмотреть.

Инженер Обри-Пастер поднялся с величайшим трудом и запыхтел:

— А я пойду тропинками в деревню. Мне тут больше делать нечего.

Он пожал всем руки, откланялся и ушел.

Доктор Опора исчез. Оставшиеся заговорили о нем. Маркиз пожурил сына:

— Ты с ним знаком всего-навсего три дня, а постоянно отпускаешь шуточки, все время подтруниваешь над ним. Он в конце концов обидится.

Гонтран пожал плечами.

— Не беспокойся. Он мудрец, добродушный скептик. Когда мы с ним разговариваем с глазу на глаз, он сам высмеивает всех и всё, начиная со своих пациентов и здешних вод. Обещаю наградить тебя почетным билетом на пользование анвальскими ваннами, если ты хоть раз заметишь, что он рассердился на мои шутки.

Тем временем на месте исчезнувшего камня поднялось невообразимое волнение. Огромная толпа колыхалась, толкалась, кричала. Очевидно, там произошло что-то неожиданное. Суетливый и любопытный Андермат твердил:

— Что такое? Да что же там такое?

Гонтран сказал, что пойдет посмотреть, и стал спускаться с косогора. А Христиану все это уже не интере-

совало, и она думала о том, что окажись фитиль немного короче, и этот высокий человек, ее сумасбродный сосед, наверно бы погиб, его раздавило бы осколками утеса, а все только потому, что она испугалась за жизнь какой-то собачонки. Должно быть, он и в самом деле безумец, человек необузданных страстей, если мог броситься навстречу смертельной опасности в угоду едва знакомой женщине.

А внизу, на дороге, люди побежали к деревне.

Теперь и маркиз спрашивал: «Что случилось?» Андермат не выдержал и побежал вниз. Гонтран знаками звал их.

Поль Бретиньи сказал Христиане:

— Позвольте предложить вам руку.

Христиана оперлась на его руку и почувствовала, что эта рука точно железная. Спускаться по опаленной солнцем низкой траве было скользко, но, ощущая такую крепкую опору, она шла уверенно.

Гонтран, торопливо шагая им навстречу, крикнул издали:

— Источник! От взрыва забил источник!

Они стали пробираться сквозь толпу. Поль и Гонтран шли впереди и, раздвигая, расталкивая тесные ряды любопытных, не обращая внимания на их ропот, прокладывали дорогу Христиане и маркизу де Равенель.

Вокруг грудами валялись осколки камня с острыми, рваными краями, почерневшими от пороха. Через этот хаос они прошли к яме, где бурлила грязная вода и, переливаясь через край, стекала к речке под ногами любопытных. Андермат уже стоял у источника, протиснувшись сквозь толпу со свойственной ему способностью «всюду втираться», по выражению Гонтрана, и с глубоким вниманием смотрел, как бил из земли и разливался родник.

Напротив него, по другую сторону ямы, стоял доктор Онора и тоже смотрел в нее с удивленным и скучающим видом. Андермат сказал ему:

— Надо бы попробовать воду на вкус. Может быть, она минеральная.

Доктор ответил:

— Ну, конечно, минеральная. Тут вся вода минеральная. Скоро уж источников будет больше, чем больных.

Андермат настаивал:

— Совершенно необходимо попробовать на вкус.

Доктору Онора это совсем не улыбалось.

— Да хоть подождите, пока грязь осядет.

А вокруг каждому хотелось посмотреть. Задние ряды напирали на передние, толкали их прямо в грязь. Какой-то мальчишка шлепнулся в лужу; все захохотали.

Оба Ориоля, отец и сын, с важным видом рассматривали нежданно забивший родник, еще не зная, как к этому отнестись. Отец был очень высокий, тощий старик с костлявым бритым лицом, степенным лицом крестьянина. Сын был такой же худой, но еще выше ростом — настоящий великан, носил длинные усы и походил не то на солдата, не то на виноградаря.

Вода прибывала, все больше бурлила и уже начинала светлеть.

Вдруг толпа зашевелилась, раздалась, и появился доктор Латон со стаканом в руке. Он примчался весь в поту, тяжело дыша, и остолбенел от ужаса, увидев, что его коллега, доктор Онора, стоит возле нового источника, поставив ногу на край ямы, словно полководец, первым ворвавшийся в неприятельскую крепость.

И доктор Латон спросил, задыхаясь:

— Вы пробовали воду?

— Нет, жду, когда очистится.

Латон мгновенно зачерпнул воды и с глубокомысленным видом отпил из стакана глоток, словно дегустатор, пробующий вино. Потом сказал: «Превосходная вода!», — что ни к чему его не обязывало, и протянул стакан своему сопернику:

— Не угодно ли?

Но доктор Онора, очевидно, совсем не любил минеральных вод, он ответил, улыбаясь:

— Спасибо, увольте. Достаточно того, что вы ее оценили. Я знаю вкус этих вод.

Он знал вкус всех анвальских вод и тоже оценил их, но по-своему. Повернувшись к Ориолю, он сказал:

— Ваше красное винцо куда приятнее.

Старик был польщен.

Христиане уже надоело глядеть, ей захотелось домой. Брат и Поль Бретиньи опять проложили ей дорогу в толпе. Она шла вслед за ними под руку с отцом. Вдруг она поскользнулась и чуть не упала; поглядев под ноги, она увидела, что наступила на окровавленный и запачканный липкой грязью кусок мяса, обросший черной шерстью,— это был клочок тела маленькой собачонки, растерзанной взрывом и затоптанной толпою.

Христиана так взволновалась, что не могла сдержать слезы. Утирая глаза платком, она шептала:

— Бедная собачка! Бедная!

Ей хотелось теперь не видеть, не слышать ничего, хотелось убежать отсюда, остаться одной, запереться от всех. День начался так хорошо, и вот чем все кончилось. Что это? Неужели дурное предзнаменование? И сердце ее щемила тоска.

Они шли теперь одни, и вдруг на дороге перед ними замаячили высокий цилиндр и развевавшиеся, словно черные крылья, длинные полы сюртука. Доктор Бонфиль, узнав новость последним, опрометью бежал им навстречу со стаканом в руке, как и доктор Латон.

Увидев маркиза, он остановился.

— Что там такое, маркиз? Мне сказали... источник... минеральный источник...

— Да, представьте себе.

— Обильный?

— Да, да.

— А скажите... они уже там?

Гонтран ответил серьезным тоном:

— Ну, конечно, оба там, и доктор Латон уже успел сделать анализ...

И доктор Бонфиль во всю прыть побежал дальше. Встреча это отвлекла Христиану от грустных мыслей и немного развеселила ее.

— Я передумала, не стоит возвращаться в гостиницу, — сказала она, — пойдемте посидим в парке.

Андермат остался у источника смотреть, как бежит вода.

III

В тот вечер за обедом в *Сплендид-отеле* против обыкновения было шумно и оживленно. Разговоры шли о взрыве утеса и новом источнике. За столом обедало немного народу — человек двадцать, не больше, и все люди обычно молчаливые, тихие — больные, тщетно лечившиеся на многих водах и пытавшие счастья на всех новых курортах. Ближайшими соседями семейства Равенелей и Андерматов были седой щуплый старичок г-н Монекю с дочерью, высокой зеленовато-бледной девицей, которая иногда вставала из-за стола и торопливо уходила, оставив на тарелке почти нетронутое кушанье. Тут же сидели Обри-Пастер, бывший инженер, и супруги Шофур, всегда одетые в черное, весь день бродившие по аллеям парка вслед за колясочкой, в которой няня возила маленького уродца, их ребенка; затем вдовствующая г-жа Пай со своей дочерью, тоже вдовой, обе рослые, пышногрудые, широкобедрые. «Вот видите,— говорил Гонтран,— они съели своих мужей, и бог наказал их несварением желудка».

Вдовицы действительно лечились от желудочной болезни.

Рядом с ними сидел г-н Рикье, человек с кирпично-красным лицом, тоже страдавший расстройством пищеварения, а дальше расположились бесцветные, незаметные фигуры из тех курортных обитателей, что входят в столовую гостиницы неслышными шагами — жена впереди, муж позади,— делают у двери общий поклон и с робким, скромным видом садятся на свои места.

Другой конец стола пустовал, хотя там были расставлены тарелки и приборы, ожидающие будущих гостей.

Андермат говорил с большим одушевлением. До обеда он несколько часов провел с Латоном, и доктор в потоке слов изливал перед ним свои замыслы, сулившие Анвалю блестящее будущее.

С пламенной убежденностью он воспевал поразительные целебные свойства анвальских вод, с которыми не могли сравниться источники Шатель-Гюйона, хотя этот курорт окончательно утвердил свою репутацию за последние два года.

Итак, справа от Анваля находился Руайя, когда-то захолустная дыра, а теперь процветающий курорт; слева — такая же дыра Шатель-Гюйон, с недавних пор завоевавший известность. А какие чудеса можно сотворить в Анвале, если умеючи взяться за дело!

И, обращаясь к инженеру, Андермат говорил:

— Да, сударь, надо только умеючи браться за дело. В этом вся суть. Ловкость, такт, гибкость и смелость решают все. Чтобы создать курорт, нужно ввести его в моду, а чтобы ввести его в моду, надо заинтересовать в деле парижских светил медицинского мира. В своих предприятиях, сударь, я не знаю неудачи, потому что всегда ищу и нахожу практическое средство, гарантирующее полный успех, особое в каждом отдельном случае, а пока я не найду этого средства, я ничего не предпринимаю — я жду. Открыть воду — этого еще мало, надо найти для нее потребителей, а чтобы найти их, еще недостаточно поднять шум в газетах и самим кричать повсюду: «Наша вода бесподобна, она не имеет себе равной!» Надо, чтобы об этом сказали спокойно и веско люди, имеющие бесспорный авторитет в глазах этих самых потребителей, в глазах больных, публики на редкость доверчивой, которая нужна нам, которая хорошо платит за лекарства,— словом, надо, чтобы похвалы исходили от врачей. Не вздумайте сами выступать в суде, предоставьте говорить адвокатам, ибо судьи только их одних слушают и понимают, — так и с больными говорите только через докторов, иначе вас и слушать не станут.

Маркиз, всегда восхищавшийся практической сметкой и безошибочным чутьем своего зятя, воскликнул:

— Ах, как это верно! Как умно! Впрочем, у вас, друг мой, во всем удивительно правильный прицел.

Андермата подстегнул этот комплимент.

— А что ж! Здесь можно нажить большое состояние. Местность чудесная, климат превосходный. Только одно меня беспокоит: будет ли у нас достаточно воды? Дело надо поставить широко: если станешь жаться, всегда провалишься. Нам нужно создать большой курорт, очень большой, а следовательно, нужно иметь столько воды, чтоб действовало двести ванн одновременно и чтобы вода поступала в них быстро и беспе-

ребойно. А новый источник вместе со старым может дать воды только для пятидесяти ванн, что бы там ни говорил доктор Латон...

Обри-Пастер перебил его:

— О, насчет воды не беспокойтесь. Воды я вам предоставлю сколько угодно.

Андермат опешил.

— Вы?

— Да, я. Это вас удивляет? Сейчас объясню. В прошлом году, как раз в это время, я был здесь на курорте: я нахожу, что анвальские воды мне очень помогают. Однажды утром, когда я отдыхал в своей комнате, ко мне явился какой-то полный господин. Оказалось, председатель правления курорта. Он был в большой тревоге, и вот отчего: источник Бонфиля оскудел настолько, что даже возникло опасение, как бы он не иссяк совсем. Зная, что я горный инженер, председатель пришел спросить, не могу ли я найти какой-нибудь способ спасти их лавочку от разорения.

Тогда я стал изучать геологическую структуру этой местности. Вам, конечно, известно, что древние катаклизмы повлекли за собой всевозможные пертурбации и различное расположение подпочвенных пород в разных уголках этого края.

Мне нужно было установить, откуда, по каким трещинам идет минеральная вода, определить направление, происхождение и особенности этих трещин.

Прежде всего я тщательно осмотрел водолечебницу, и, найдя в одном углу старую, уже негодную трубу для подводки воды в ванну, я обнаружил, что почти вся она забита известковыми отложениями. Значит, растворенные в воде соли оседали на стенки трубы и в короткий срок закупорили ее. Несомненно, то же самое происходило и в естественных трубах — в трещинах подпочвенных гранитов, — здесь везде гранитные породы. Итак, источник Бонфиля закупорили осадки. Вот и все.

Надо было поискать, где это произошло. Всякий стал бы, конечно, искать выше того места, где источник выходит на поверхность земли. А я после целого месяца обследований, наблюдений и размышлений стал искать

и нашел для него новый выход на пятьдесят метров ниже. И вот почему.

Я уже вам сказал, что первой моей задачей было определить происхождение, особенности и направление трещин в граните, по которым течет вода. Мне нетрудно было установить, что трещины направлены от равнины к горе, а не от горы к равнине и идут наклонно, как скаты крыши,— вероятно, тут произошло оседание, равнина опустилась и увлекла за собой нижние отроги гор.

Итак, вода, вместо того чтобы стекать вниз, поднимается вверх по всем пустотам между пластами гранита. Я открыл и причину этого удивительного явления.

В далекие времена наша Лиманъ, эта огромнейшая равнина, образованная глинистыми и песчаными отложениями, лежала на уровне первого горного плато, но вследствие геологической структуры нижних слоев она опустилась, увлекая за собой, как я уже указывал, и ближайшие предгорья. А это грандиозное оседание вызвало как раз на границе между рыхлыми и каменными породами образование на огромной глубине гигантской и непроницаемой для воды плотины из уплотнившихся глинистых пластов.

И вот происходит следующее.

Минеральные источники берут свое начало в очагах потухших вулканов. Если они бегут издалека, то в пути охлаждаются и выходят на поверхность земли ледяными родниками, как обычные ключи; а если вода течет из ближних вулканических очагов, то из земли она бьет еще теплой или горячей струей — температура ее зависит от отдаленности очага. Но какими путями она проходит в земле? Она спускается вниз, на неизвестную глубину, пока не натолкнется на плотину из глинистых пород Лимани. Пробиться сквозь эту преграду она не может и, находясь под большим давлением, ищет выхода. Встретив наклонные щели в граните, она врывается туда и начинает подниматься, пока не выйдет на поверхность земли. А тогда она возвращается к естественному, первоначальному своему направлению, то есть течет вниз, пролагая себе русло, как и всякий ручей. Добавлю еще, что мы видим лишь сотую часть минеральных источников этих долин. Мы открываем лишь

те воды, которые пробились на поверхность земли. А сколько их теряется, дойдя до конца своего гранитного канала, — их поглощает толстый слой насыщенной перегноем и возделанной почвы!..

Из всего этого можно сделать следующий вывод.

Во-первых, для того, чтобы получить минеральную воду, ее нужно искать, следуя наклону и направлению гранитных пород, лежащих многоярусными пластами.

Во-вторых, для того, чтобы не иссякали источники, достаточно лишь не допускать закупорки трещин отложениями солей, а для этого надлежит бурить и держать в порядке скважины — маленькие колодцы.

В-третьих, для того, чтобы украсть у соседа источник, надо перехватить его ниже выхода на поверхность посредством буровой скважины, доведенной до трещины в граните, производя, конечно, бурение выше глиняной плотины, принуждающей воду подниматься вверх.

С этой точки зрения открытый сегодня источник расположен великолепно — всего лишь в нескольких метрах от естественной плотины. Если вы желаете основать новую водолечебницу, ее надо строить именно здесь.

Когда он кончил, слушатели не сказали ни слова.

Один лишь Андермат восторженно воскликнул:

— Замечательно! Стоит заглянуть за кулисы — и вся таинственность исчезнет. Господин Обри-Пастер, вы драгоценный человек!

Только Андермат, маркиз и Поль Бретиньи поняли разъяснения, и только Гонтран не слушал их. Остальные слушали, развесив уши, уставясь в рот инженеру и остолбенев от изумления. Особенно поражены были две вдовы Пай и, как особо глубоко благочестивые, задавались вопросом, нет ли кощунства в таких попытках объяснить явление, совершающееся по воле и таинственным предначертаниям господа бога. Мать даже сочла нужным высказать свое мнение:

— Пути господни неисповедимы.

Дамы, сидевшие в середине стола, одобрительно закивали головами: их тоже встревожили мудреные, непонятные речи инженера.

Г-н Рикье, человек с кирпично-красным лицом, заявил:

— Пусть они текут, откуда угодно, эти ваши анвальские воды, — хоть из вулканов, хоть с луны, мне все равно... Я уже десять дней их пью, а толку никакого!

Супруги Шофур запротестовали, указав на то, что их ребенок уже начал шевелить правой ножкой, а этого еще не случалось за все шесть лет, что они лечат его.

Рикье возразил:

— Ну, и что же это доказывает? Только то, что у нас с ним не одинаковая болезнь. Это отнюдь не доказательство, что анвальские воды излечивают желудочные болезни.

И по его лицу было видно, как он негодует, как он возмущен новой неудачей своих попыток.

Но и г-н Монекю заступился за анвальские воды, сообщив, что уже неделю желудок его дочери переваривает пищу и теперь она не выбегает из-за стола посреди обеда.

Тощая, длинная девица вся вспыхнула и уткнулась носом в тарелку.

Оказалось, что и две вдовы Пай тоже чувствовали себя лучше.

Рикье рассвирепел и, повернувшись к ним, спросил:

— У вас, сударыни, болезнь желудка?

— Да, да, сударь, — в один голос ответили обе дамы. — Мы совершенно не перевариваем никакой пищи.

Рикье дернулся так, что чуть не упал со стула, и завопил:

— Это вы-то? Вы-то не перевариваете? Да стоит только посмотреть на вас... Это у вас-то больной желудок? Попросту говоря, вы слишком много едите.

Г-жа Пай-старшая смерила его разъяренным взглядом.

— Зато относительно вас, сударь, можно не сомневаться. По вашему характеру сразу видно, что у вас неизлечимо больной желудок. Не напрасно сложилась пословица: «Съешь, переваришь — добрым бываешь!»

Старая и очень худая дама, фамилии которой никто не знал, авторитетным тоном сказала:

— Я думаю, что анвальские воды всем помогали бы, если бы повар в гостинице хоть немного помнил, что он готовит не для здоровых, а для больных. Ну

разве возможно переварить кушанья, которыми нас тут угощают?

И сразу же все пришли к согласию: всех объединило негодование против содержателя гостиницы, который подавал к столу лангусту, колбáсы, угря по-татарски, капусту — да, да, капусту и сосиски,— словом, самые неудобоваримые блюда, и кому же? Людям, которым три доктора — Бонфиль, Латон и Онора — предписали есть только легкие кушанья: нежное, нежирное белое мясо, свежие овощи и молочные продукты.

Рикье весь дрожал от гнева:

— А разве на водах врачи не обязаны наблюдать за питанием больных! Как они смеют оставлять этот важнейший вопрос на усмотрение какой-нибудь тупой скотины? Вот, например, нам каждый день подают в качестве закуски крутые яйца, анчоусы и ветчину...

— Нет, простите,— перебил его г-н Монекю,— у моей дочери желудок переваривает только ветчину, и позвольте вам сказать, что Ма-Руссель и Ремюзо специально предписали ей ветчину.

Рикье завопил:

— Ветчина! Ветчина! Да ведь это отрава, сударь!

И сразу стол разделился на два лагеря: одни переваривали, другие не переваривали ветчину.

Пошел бесконечный, ежедневно возобновлявшийся спор о пользе и вреде тех или иных продуктов.

Даже молоко вызвало ожесточенные прения. Рикье заявлял, что стоит ему выпить хоть маленький, лафитный стаканчик молока, как у него начинается ужаснейшее несварение.

Обри-Пастер, рассердившись, что порочат его любимые молочные продукты, воскликнул раздраженным тоном:

— Черт возьми, послушайте, сударь, если у вас диспепсия, а у меня гастрит, то для нас с вами нужен совершенно различный пищевой режим, так же как различны должны быть стекла очков, прописываемые близоруким и дальнозорким, хотя у тех и других зрение испорчено. — И он добавил: — А я вот нахожу, что самое вредное на свете — это вино. Стоит мне выпить стакан столового красного вина, и я уже задыхаюсь. Кто не пьет вина, проживет до ста лет, а мы...

Гонтран, смеясь, прервал его:

— Пощадите! Ей-богу, без вина и без... брака жизнь была бы скучна.

Обе вдовицы Пай потупили глаза. Они в изобилии употребляли бордоское вино лучшей марки и пили его без малейшей примеси воды, а их раннее вдовство вызывало мысль, что и в браке они применяли ту же систему — дочери было двадцать два года, а матери не больше сорока.

Андермат, обычно весьма говорливый, сидел молча, погрузившись в задумчивость. Вдруг он спросил у Гонтрана:

— Вы знаете, где живут Орноли?

— Знаю. Мне сегодня показывали их дом.

— Можете проводить меня к ним после обеда?

— Ну, конечно, и даже с удовольствием. Я не прочь взглянуть еще разок на обеих дочек.

Как только кончился обед, они отправились в деревню, а Христиана, чувствовавшая себя утомленной, маркиз и Поль Бретиньи поднялись в гостиную, чтобы скоротать там вечер.

Было еще совсем светло: на курортах обедают рано.

Андермат взял шурина под руку.

— Ну-с, дорогой мой. Если мне удастся столковаться с этим стариком и если результаты анализа оправдают надежды доктора Латона, я, вероятно, затею здесь большое дело — создам курорт. Прекраснейший курорт.

Он остановился посреди улицы и, ухватив своего спутника за лацканы пиджака, заговорил в каком-то вдохновении:

— Эх, вам всем не понять, как это увлекательно — ворочать делами, не какими-нибудь торгашескими, купеческими делами, а настоящими, крупными, предпринимательскими — словом, теми делами, какими занимаюсь я! Да, дорогой мой, когда понимаешь в этом толк, в них находишь как бы сусток всех видов деятельности, которые во все времена захватывали и влекли людей: тут и политика, и война, и дипломатия. Все, все! И дремать тут нельзя: надо всегда, всегда искать, находить, изобретать, угадывать, предвидеть, комбинировать и дерзать! Великие битвы нашего времени — это битвы, в которых сражаются деньгами. И вот я ви-

жу перед собой свои войска: монеты по сто су — это рядовые в красных штанах, золотые по двадцать франков — блестящие молодые лейтенанты, стофранковые кредитки — капитаны, а тысячные билеты — генералы. И я сражаюсь. Да еще как, черт возьми! Каждый день, с утра до вечера, дерусь со всеми и против всех!

Вот это, по-моему, жизнь! Широкий размах, не хуже чем у властелинов давних веков. А что ж — мы и есть властелины нового времени! Подлинные, единственные властелины. Вот поглядите на эту деревню, на эту убогую деревушку. Я превращу ее в город. Да, да, именно я. Здесь будет город, великолепный город с белыми домами, здесь вырастут шикарные, переполненные приезжими отели, с лифтами, с целой армией лакеев, с экипажами; толпу богачей будет обслуживать толпа бедняков — и все это только потому, что в один тихий летний вечер мне захотелось сразиться с Руайя, что находится справа отсюда, с Шатель-Гюйоном, который прячется слева, с Мон-Дором, Бурбулем, Шатонефом, Сен-Нектером, расположенным позади, и с Виши, который стоит прямо перед нами! И я одержу победу, потому что у меня в руках средство к успеху, единственное верное средство. Я сразу его увидел, как великий полководец видит слабую сторону неприятеля. Ведь и в нашем деле надо уметь командовать людьми, увлекать их за собою, покорять своей воле. Ах, как весело жить, когда можешь ворочать такими делами. Мне теперь на три года будет потехи с этим городом! И скажите, пожалуйста, какая удача: попался мне этот инженер! Интереснейшие вещи он рассказывал. Интереснейшие! Его рассуждения ясны, как день. Благодаря ему я разорю старое акционерное общество, мне даже не понадобится покупать их заведение.

Они двинулись дальше и стали не спеша подниматься по дороге, поворачивавшей влево, к Шатель-Гюйону.

Гонтран не раз говорил: «Когда я иду рядом со своим зятем, я слышу, ну, право же, ясно слышу, как в голове его звякают золотые монеты, точно в Монте-Карло: так вот и кажется — бросают их, подбирают, рассыпают, сгребают, выигрывают, проигрывают!»

Андермат и в самом деле производил странное впечатление человека-автомата, предназначенного для под-

счетов, расчетов и всяких денежных манипуляций. Но сам он весьма гордился своей житейской практичностью и любил похвастать, что с первого взгляда может определить точную цену любой вещи. Где бы он ни был, он мгновенно брал в руки то один, то другой предмет, внимательно его рассматривал, поворачивал во все стороны и заявлял: «Стоит столько-то». Его жену и шурина забавляла эта привычка, они для потехи подсовывали ему какую-нибудь диковинную вещицу и просили оценить ее, а когда их невероятные находки ставили его в тупик, оба хохотали, как сумасшедшие. Иной раз Гонтран останавливал его на какой-нибудь парижской улице перед витриной первого попавшегося магазина и просил определить общую сумму стоимости всех выставленных в ней товаров, а то предлагал оценить проезжающий мимо потрепанный извозчичий фиакр с хромоногой клячей или же огромный фургон вместе с нагруженной в него мебелью.

Однажды на званом обеде у Андерматов он попросил зятя сказать, сколько приблизительно стоит Обелиск, и когда банкир назвал какую-то сумму, Гонтран осведомился о стоимости моста Сольферино и Триумфальной арки на площади Звезды; в заключение он сказал с самым серьезным видом:

— Вы могли бы внести весьма ценный вклад в науку, произведя оценку главнейших монументов земного шара.

Андермат никогда не сердился на эти шутки и выслушивал их как человек, знающий себе цену, уверенный в своем превосходстве.

Как-то раз Гонтран спросил:

— А я сколько стою?

Вильям Андермат уклонился от ответа, но шурин пристал к нему:

— Ну, скажите. Допустим, что меня поймали разбойники и держат в плену, какой бы выкуп вы дали за меня?

Тогда Андермат ответил:

— Ну что ж... Я бы выдал вексель, дорогой мой.

И его улыбка была так красноречива, что Гонтран обиделся и больше не настаивал.

Впрочем, Андермат любил и художественные без-

делушки,— тут он отличался тонким вкусом, был большим знатоком и, коллекционируя их, проявлял чутье ищейки, как и в своих коммерческих операциях.

Они подошли к дому солидной постройки, похожему на городской. Гонтран остановил зятя и сказал:

— Вот и пришли.

У тяжелой дубовой двери висел чугунный молоток. Они постучались; им открыла тощая служанка.

Банкир спросил:

— Господин Ориоль дома?

Служанка ответила:

— Входите.

Они вошли в кухню, просторную, как всюду на фермах; в очаге под котлом еще тлел слабый огонь; из кухни их провели в комнату, где собралась вся семья Ориолей. Отец спал, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги на другой стул. Сын, навалившись локтями на стол, читал *Пти журналь,* шевеля губами и, видимо, напрягая весь свой скудный ум, чтобы уловить смысл напечатанных слов, а обе дочери сидели в нише окна за вышиванием, начатым с двух концов.

Девушки встали первыми, обе разом, и изумленно глядели на нежданных гостей; потом поднял голову долговязый Жак, весь красный от напряжения, утомившего его мозг; наконец проснулся старик Ориоль и подобрал сначала одну свою длинную ногу, потом другую.

Стены в комнате были голые, выбеленные известкой, пол выложен плитками, все убранство состояло из стола, стульев с плетенными из соломы сиденьями, комода красного дерева, четырех лубочных картин под стеклом и широких белых занавесок на окнах.

Хозяева смотрели на гостей, гости — на хозяев, а служанка в подоткнутой до колен юбке, сгорая от любопытства, смотрела с порога на них на всех.

Андермат представился, назвал себя и своего шурина, графа де Равенель, и отвесил глубокий поклон девушкам, склонившись в самой изящной светской манере; потом преспокойно уселся и сказал:

— Господин Ориоль, я пришел к вам с деловым предложением. Не стану говорить обиняками, а объяснюсь откровенно. Вот в чем дело. Вы у себя на винограднике открыли источник. Через несколько дней бу-

дут известны результаты анализа. Если эта вода ничего не стоит, я, разумеется, отступлюсь, но если анализ оправдает мои ожидания, я предлагаю следующее: продайте мне этот клочок земли и прилегающие к нему участки.

Имейте в виду, что, кроме меня, никто не сделает вам такого предложения, никто! Старое акционерное общество не сегодня-завтра вылетит в трубу, где уж ему помышлять о новых затеях, а его банкротство отобьет и у других предпринимателей всякую охоту к новым попыткам.

Не давайте мне сегодня ответа, подумайте, посоветуйтесь со своей семьей. Когда результаты анализа будут известны, вы назначите цену. Если она подойдет мне, я скажу «да», не подойдет, скажу «нет» и распрощусь с вами. Я никогда не торгуюсь.

Дядюшка Ориоль, человек на свой лад деловой, а хитростью способный заткнуть за пояс кого угодно, учтиво ответил, что он подумает, посмотрит, что ему все это очень лестно, и предложил выпить по стаканчику вина.

Андермат согласился, и так как уже смеркалось, старик Ориоль сказал дочерям, которые снова принялись за вышивание и не отрывали от него глаз:

— Засветите-ка огоньку, дочки.

Они встали обе разом, вышли в соседнюю комнату и вскоре вернулись: одна принесла две зажженные свечи в подсвечниках, а другая — четыре стакана, грубые деревенские стаканы из толстого стекла. Свечи были разубраны розовыми бумажными розетками и зажжены, несомненно, в первый раз,— должно быть, они стояли в виде украшения на камине в комнате девушек.

Ориоль-младший поднялся со стула: в подвал, где хранилось вино, всегда ходили только мужчины.

Андермата осенила удачная мысль:

— Я бы с удовольствием взглянул на ваш винный погреб. Вероятно, он у вас превосходный: ведь вы лучший винодел во всем крае.

Банкир задел самую чувствительную струнку старика Ориоля, тот засуетился и сам повел парижан, захватив одну из свечей. Прошли через кухню, спусти-

лись по ступенькам крылечка на широкий двор, где в сгущавшихся сумерках смутно виднелись поставленные стоймя пустые винные бочки; огромные гранитные жернова, которые откатили в угол, напоминавшие колеса какой-то исполинской античной колесницы; разобранный пресс для винограда с деревянными винтами, с темно-коричневой станиной, залоснившейся от долгого употребления, заигравшей вдруг бликами света; мотыги, плуги, у которых лемеха, отшлифованные землей, засверкали от огонька свечи, как сталь оружия. Все это одно за другим выступало из темноты, когда старик проходил мимо, держа свечу в одной руке и заслоняя ее другой рукой.

Уже и во дворе пахло виноградным вином, виноградными выжимками, сушеным виноградом. Подошли к двери, запертой на два замка. Ориоль отпер ее и, войдя, поднял свечу над головой; огонек слабо осветил длинные ряды пузатых бочек и стоявшие на них бочонки размером поменьше. Сначала Ориоль обратил внимание Андермата на то, что подвал глубоко уходит в гору, потом рассказал, какие вина налиты в бочках, сколько лет они выдержаны, из каких сортов винограда сделаны, каковы их качества, и наконец подвел к семейной бочке и, похлопав ее ладонью по широкому боку, словно любимую лошадь, горделиво сказал:

— Ну-ка, отведайте этого винца. Никакое вино бутылочного разлива с ним не сравнится, никакое! Хоть бордо возьмите, хоть любое другое.

Как и все крестьяне-виноделы, он считал, что разлив по бутылкам — только порча вина и баловство.

Великан, следовавший за ним с кувшином в руке, наклонился, отвернул кран у бочки; отец старательно светил ему, как будто сын выполнял сложную и деликатную работу.

Свеча ярко освещала их лица, и старик был похож на прокурора давних времен, а сын на солдата-землепашца.

Андермат шепнул на ухо Гонтрану:

— Посмотрите, великолепный Тенирс!

Молодой парижанин ответил:

— Дочки мне больше по вкусу.

Потом все вернулись в дом. Пришлось пить вино, пить много, в угоду Ориолям.

Обе девушки сели поближе к столу, но не отрывались от вышивания, как будто в комнате никого посторонних не было. Гонтран поминутно на них поглядывал, сравнивал и думал: «Не близнецы ли они, уж очень похожи друг на друга». Впрочем, одна была немного полнее и меньше ростом, другая более изящна. Волосы у обеих были не черные, как ему сперва показалось, а темно-каштановые, густые, гладко причесанные на прямой пробор, и отливали шелком при каждом движении головы. Подбородок у обеих был тяжеловат, лоб слишком крутой, как у большинства жителей Оверни, скулы слегка выдавались, но рот был очаровательный, глаза дивные, тонкие брови на редкость красивого рисунка и восхитительно свежий цвет лица. Глядя на них, сразу чувствовалось, что они воспитывались не в деревенском доме, а в каком-нибудь монастырском пансионе для девиц, куда овернские богачи и знать посылают своих дочерей, и что там они приобрели сдержанные манеры благовоспитанных барышень.

Однако Гонтрану противно было красное вино, стоявшее перед ним в стакане, он толкал ногой Андермата, торопя его уйти поскорее. Тот наконец поднялся, и они энергично пожали руки обоим крестьянам, потом снова отвесили церемонный поклон девушкам, и обе в ответ, не вставая, грациозно склонили головки.

На улице Андермат сказал:

— Что, дорогой, любопытная семейка, а? Как здесь ясно ощущается переход от народа к образованному обществу! Сын был нужен в крестьянском хозяйстве, и его оставили дома обрабатывать виноградники, чтобы сберечь деньги и не нанимать лишнего батрака, дурацкая экономия! Но как бы то ни было, он остался крестьянином, а дочери почти уже светские барышни. А там, глядишь, они сделают хорошие партии и будут нисколько не хуже наших дам, даже лучше большинства из них. Одно удовольствие видеть таких людей: для меня это не менее приятная находка, чем для геолога какое-нибудь ископаемое животное третичного периода.

Гонтран спросил:

— Вам которая больше понравилась?

— Как это «которая»? Вы про кого говорите?

— Про дочек.

— Ах, вот что. Право, не могу сказать. Я не приглядывался к ним, не сравнивал. Да вам-то не все ли равно? Надеюсь, вы не собираетесь похитить одну из них?

Гонтран засмеялся.

— О нет! Я просто любуюсь, я в восторге: хоть раз в жизни встретил такую юную девическую свежесть, настоящую, неподдельную свежесть, у наших светских барышень такой не бывает. Мне всегда приятно смотреть на прелестное женское личико, так же как вам — на какое-нибудь полотно Тенирса. Ах, хорошенькие девушки! К какому бы классу они ни принадлежали, где бы я их ни встретил, для меня всегда удовольствие смотреть на них. Это мои безделушки. Я не коллекционирую их, но любуюсь ими, любуюсь с страстным восторгом, как художник,— да, друг мой, как художник, убежденно и бескорыстно. Что поделаешь, люблю их!.. Кстати, не можете ли вы одолжить мне пять тысяч франков?

Андермат резко остановился и буркнул:

— Опять без денег?

Гонтран ответил спокойно: «Всегда». И они пошли дальше.

Банкир сказал:

— И куда вы, черт подери, деньги деваете?

— Трачу.

— Конечно, тратите. Но уж вы никакой меры не знаете.

— Дорогой мой, я так же люблю тратить деньги, как вы любите наживать их. Понимаете?

— Допустим. Но вы совсем не умеете наживать.

— Верно, не умею. Нельзя все уметь. Вы вот, например, умеете наживать деньги, а тратить совсем не умеете. Что для вас деньги? Только средство наживать еще и еще. А я вот наживать не умею, зато отлично умею тратить. Деньги доставляют мне множество удовольствий, о которых вы знаете лишь понаслышке. Мы с вами дополняем друг друга, мы были созданы для того, чтобы породниться.

Андермат заворчал:

— Вот ветрогон! Нет, пяти тысяч вы не получите, а полторы тысячи так и быть дам... потому что... ну, потому что вы мне, пожалуй, понадобитесь на днях.

Гонтран спокойно произнес:

— Прекрасно. Тогда будем считать эти полторы тысячи задатком.

Андермат улыбнулся и похлопал его по плечу.

Они вошли в парк, иллюминованный фонариками, развешанными на деревьях. Оркестр играл медлительную классическую арию, и она как будто спотыкалась и все куда-то проваливалась — столько в ней было пауз и так ее исполняли все те же четыре музыканта, которым, должно быть, тошно было играть с утра до вечера в безлюдном парке для листвы и ручья, стараться производить шум за двадцать оркестровых инструментов и думать о том, что денег нет, а в конце месяца почти ничего не придется получить, так как Петрюс Мартель выдает им в счет жалованья корзинки вина и бутылки ликеров за отсутствием потребителей крепких напитков в пустующем казино.

А сквозь звуки музыки из бильярдной долетало щелканье костяных шаров и громкие выкрики: «Двадцать, двадцать один, двадцать два!»

Андермат и Гонтран поднялись в казино. Там сидели за столиком, неподалеку от музыкантов, только Обри-Пастер и доктор Онора; оба пили кофе. Петрюс Мартель и Лапальм по обыкновению яростно сражались на бильярде, кассирша дремала и, проснувшись, спросила:

— Что прикажете подать, господа?

IV

Отец и сын Ориоли еще долго разговаривали, когда девушки легли спать. Взволнованные, возбужденные предложением Андермата, они старались придумать какой-нибудь способ, не нанося ущерба своим интересам, еще больше разжечь желание этого парижанина купить их землю.

С крестьянским здравомыслием, практичностью и расчетливостью они взвешивали все шансы, прекрасно

понимая, что в их краю минеральные источники бьют на каждом шагу и если запросить слишком дорого, отпугнешь нежданного покупателя, а другого такого, пожалуй, не сыщешь. И вместе с тем им не хотелось отдать источник в полную его собственность, ибо оттуда в один прекрасный день могут волной хлынуть деньги, чему примером служили Руайя и Шатель-Гюйон.

И вот они ломали себе головы, как и чем раззадорить банкира, измышляли всякие комбинации, фиктивные акционерные общества, якобы предлагающие более заманчивые условия, придумали целый ряд неуклюжих хитростей, сами чувствовали, что все шито белыми нитками, но ничего более искусного изобрести не могли. Спали они оба плохо, а утром отец, проснувшись первым, вдруг перепугался, не пропал ли за ночь источник. Ведь это возможно: появился и опять ушел под землю,— попробуй найди его там! Старик встал, терзаясь муками скупца, растолкал сына и рассказал о своих опасениях. Великан откинул простыню из небеленого холста, спустил ноги, оделся и пошел с отцом посмотреть, цел ли источник.

Во всяком случае, не мешало сходить туда, все почистить, прибрать камни, навести красоту, чтобы и поле и источник имели приманчивый вид, как скотина, которую хочешь продать.

Захватив с собой кирки и заступы, они двинулись в путь, бок о бок, широко шагая вразвалку.

Они шли, ни на что не глядя, поглощенные мыслями о своих делах, рассеянно отвечая «Здорово!» на приветствия встречавшихся соседей и друзей. Выйдя на риомскую дорогу, они заволновались, жадно вглядываясь в даль, не блеснет ли под утренним солнцем бурлящая в источнике вода. Пустынная дорога, припорошенная известковой пылью, тянулась белой лентой по самому берегу речки, бежавшей в тени старых ив. Под одной ивой Ориоли заметили две вытянутые ноги, а сделав еще несколько шагов, увидели, что там сидит на травке у обочины дороги старик Кловис, положив рядом с собой костыли.

Этого старого калеку, похожего на нищего с гравюры Калло, знали во всем округе,— он уже лет десять бродил там, с трудом передвигаясь на «дубовых ла-

пах», как он называл свои костыли. Когда-то он браконьерствовал в лесах и на речках, не раз попадался и сидел в тюрьме, нажил жесточайший ревматизм на охоте, лежа по ночам в засаде на сырой траве, простуживаясь на рыбной ловле, бредя по пояс в холодной воде, и теперь стонал, охал и еле-еле ползал, как краб с оторванными клешнями. Переставляя костыли, он тащился по дорогам, волоча по земле правую ногу, висевшую, как тряпка, и держа на весу скрюченную, согнутую в колене левую ногу. Но деревенские парни, гонявшиеся в сумерках за девушками или за зайцами, утверждали, что и в кустах и на полянках им встречался старик Кловис, быстроногий, как олень, увертливый, как уж, а своим ревматизмом он просто-напросто морочит голову жандармам. Особенно упорно поддерживал эту молву долговязый Жак Ориоль: он прямо заявлял, что раз пятьдесят, не меньше, видел, как Кловис расставляет силки, преспокойно держа свои костыли под мышкой.

Поравнявшись со старым бродягой, дядюшка Ориоль остановился: в мозгу у него забрезжила пока еще смутная идея,— в головах тяжелодумов-овернцев мысли ворочаются медленно.

Он поздоровался с Кловисом, тот ему ответил. Они поговорили о погоде, о цветении виноградников, о том, о сем, но, видя, что Великан далеко ушел вперед, отец широким шагом пустился догонять его.

Источник никуда не пропал, но был теперь уже чистым, прозрачным, а дно в яме покрылось темно-красным налетом красивого пурпурового оттенка — несомненно, в осадках было много железистых солей.

Ориоли поглядели друг на друга с улыбкой и принялись расчищать поле, подбирать камни и складывать их в кучу. Найдя последние останки растерзанной взрывом собаки, они, перекидываясь шутками, зарыли ее. И вдруг старик Ориоль выронил из рук заступ. В уголках его тонкогубого рта и хитрых глаз заиграли морщины, все лицо осветилось выражением торжества, и он сказал сыну:

— Пойдем-ка попытаем.

Сын покорно последовал за ним. Они снова вышли на дорогу и повернули назад, к деревне. Старик Кловис все еще грел на солнышке ноги и костыли.

Ориоль остановился напротив него и спросил:

— Хочешь заработать сотенную?

Бродяга из осторожности промолчал.

Ориоль повторил:

— Ну? Сотенную, говорю. Сто франков.

Тогда бродяга набрался духу и пробормотал:

— Ишь ты! Чего спрашивать-то!

— Ладно. Слушай, вот что надо сделать.

И дядюшка Ориоль долго, пространно, обиняками, с лукавыми недомолвками и бесконечными повторениями втолковывал бродяге, что если он согласится сидеть ежедневно по часу, с десяти до одиннадцати утра, в воде их источника, в яме, которую он, Ориоль, и его сын Великан выроют около источника, а через месяц выздоровеет от всех своих недугов, то ему дадут за это сто франков звонкой монетой.

Паралитик слушал с тупым видом, а потом сказал:

— Никакие зелья меня не вылечили, так где уж вашей воде вылечить.

Великан вдруг разозлился:

— Брось ты, старый жулик! Нечего сказки рассказывать! Я-то знаю, какой ты больной. Расскажи-ка лучше, что ты делал в прошлый понедельник в Комберомбском лесу в одиннадцать часов ночи?

— Неправда! — сердито сказал старик.

Великан разгорячился:

— Ах, неправда? Черррт ты этакий! А кто ж, как не ты, перепрыгнул через канаву с огорода Жана Манеза и побежал Жеребячьей лощиной?

Бродяга энергично мотал головой:

— Неправда это!

— Неправда? А помнишь, я тебе крикнул: «Эй, Кловис, жандармы!» — и ты разом махнул в сторону, на тропинку, что идет в Мулинэ.

— Неправда!

Долговязый Жак рассвирепел и стал кричать, почти угрожающе:

— Ах, неправда? Ну, погоди, трехногий бородач, я тебе покажу! Как увижу тебя ночью в лесу или на речке — раз, раз и поймаю! Не убежишь, у меня ноги-то подлинней твоих. Сцапаю тебя и привяжу к дереву.

А утром мы придем всей деревней и отведем тебя куда следует!..

Ориоль остановил сына и сказал вкрадчиво:

— Слушай, Кловис, попробовать-то все-таки можно. Мы с Великаном выроем для тебя ванну. Ты будешь приходить каждый день — один месяц. И дам я тебе за это не сто, а двести франков. А как месяц пройдет и ты выздоровеешь, получай еще пятьсот франков. Слышишь? Пятьсот франков чистоганом да еще те двести! Всего, значит, семьсот. Понял? Двести франков за то, чтобы один месяц по часу сидеть в ванне, да особо пятьсот за то, что выздоровеешь. И еще вот что не забудь: ревматизм-то, бывает, отпустит да опять схватит. Если осенью тебе снова станет худо, мы уж тут ни при чем будем, вода-то все-таки свое дело сделала.

Старик спокойно ответил:

— Ну что ж. Коли так, я согласен. А не пойдет на лад, тогда посмотрим.

И три хитреца ударили по рукам, чтобы скрепить заключенную сделку. Потом Ориоли вернулись к источнику и принялись рыть ванну для Кловиса.

Поработав минут пятнадцать, они услышали на дороге голоса.

К источнику шли Андермат и доктор Латон. Крестьяне подмигнули друг другу и бросили копать.

Банкир подошел, пожал им руки, и все четверо молча уставились в воду. Она как будто кипела ключом на жарком огне, вся в пузырьках газа, и стекала к речке по узенькому мелкому ложу, которое уже успела себе проложить. Ориоль с горделивой улыбкой сказал:

— Железа-то в ней сколько! Железа!

В самом деле, уже все дно в яме стало красным, и даже мелкие камешки, которые она омывала на пути к речке, казалось, были покрыты как бы налетом пурпурной плесени.

Доктор Латон ответил:

— Железо — это еще не все: важны другие свойства. Надо установить, есть ли они.

Крестьянин забеспокоился.

— Как не быть! Мы вчера вечером с Великаном выпили для почину по стаканчику, и уж оно сегодня за-

метно... Так по всему телу и пошло... бодрость этакая. Верно, сынок?

Долговязый Жак ответил убежденно:

— Ну, понятно. Бодрость этакая... по всему телу пошла.

Андермат стоял, не шевелясь, у края ямы. Он обернулся и сказал доктору:

— Для того, что я задумал, воды надо в шесть раз больше, чем дает этот источник, не так ли?

— Да, приблизительно.

— А как вы думаете, найдем мы новые источники?

— Ну, этого я не знаю.

— Вот в том-то и дело. Значит, с купчей на землю не следует спешить, подождем, что покажет бурение. Пока что, когда будет известен результат анализа, надо составить у нотариуса запродажную запись и указать в ней, что окончательная сделка состоится лишь в случае благоприятных результатов разведки.

Дядюшка Ориоль встревожился, он не понимал, о чем идет речь. Андермат объяснил ему, что одного источника для задуманного предприятия мало и, пока не найдены новые источники, покупать землю нет расчета. Но искать новые источники он может только после составления запродажной записи.

Оба Ориоля с самым искренним видом принялись уверять, что на их земле источников, поди, не меньше, чем виноградных лоз. Чего там! Копнешь — и готово. Вот увидите, увидите.

Андермат сухо ответил:

— Увидим.

Дядюшка Ориоль поспешно окунул руку в воду источника и заявил:

— А горяча-то как! Можно яйцо сварить! Куда горячее, чем в Бонфильском источнике.

Латон тоже обмакнул палец в воду и сказал, что, пожалуй, это верно.

Крестьянин опять заговорил:

— Да она и на вкус лучше, куда приятнее. И запаху скверного нет. Как хотите, а я за эту воду могу поручиться. Хорошая вода. Мне ли не знать здешних вод? Пятьдесят лет на моих глазах текут. Но уж такой хорошей никогда и не было. Никогда, никогда!

Помолчав немного, он снова принялся убеждать:

— Я зря говорить не буду. Разве я товар какой продаю? Вот, если угодно, так ее испытать можно, по-настоящему испытать на ваших глазах, а не по-докторски, не по-аптечному. На каком-нибудь больном человеке ее можно испробовать. Готов побиться об заклад, что моя вода и параличного вылечит,— такая она горячая и хорошая на вкус! Готов об заклад побиться!

Он умолк и, казалось, что-то припоминал, потом не спеша окинул взглядом ближние вершины гор, как будто искал, не появится ли там нужный для опыта паралитик. Не обнаружив его в поднебесных высотах, он опустил взгляд долу, на дорогу.

В двухстах метрах от источника, на краю дороги, виднелись недвижимые ноги бродяги Кловиса, а туловище его было скрыто стволом ивы.

Ориоль приложил руку ко лбу щитком и, вглядываясь, спросил у сына:

— Кто это там? Неужто Кловис? Гляди-ка, еще не ушел!

Долговязый Жак, засмеявшись, ответил:

— Он самый и есть. Сидит старый, в ногах-то заячьей прыти нету.

Ориоль шагнул к Андермату и степенно, веско произнес:

— Вот послушайте-ка меня, сударь, что я вам скажу. Видите, вон там сидит параличный? Доктор его хорошо знает. Ноги у него уже лет десять как отнялись, не может шагу ступить. Верно я говорю, доктор?

Латон подтвердил:

— Да, да. Ну уж если вам удастся вылечить такого калеку вашей водой, я согласен платить за нее по франку за стакан.— И, обращаясь к Андермату, пояснил:— Это ревматик и подагрик. Левую ногу у него свело в колене — судорожная контрактура мышц,— а правая совершенно парализована. Случай, по-моему, неизлечимый.

Ориоль выждал, пока он выскажется, и неторопливо продолжал:

— Ну что ж, господин доктор, испытайте на нем мою воду — хотя бы один месяц. Я не говорю, что удастся вылечить, я ничего не говорю, а только прошу:

испробуйте на нем. Вот мы тут с Великаном начали копать яму для камней. Ну что ж, пусть она будет для деда Кловиса. Пусть сидит там в воде по часу каждый день. И тогда посмотрим, посмотрим.

Доктор пробормотал:

— Ну, пожалуйста, пробуйте, если угодно. Ручаюсь, что ничего не выйдет.

Но Андермат, соблазнившись возможностью почти чудесного исцеления, с радостью ухватился за мысль, подсказанную крестьянином, и все четверо направились к бродяге, который сидел все так же неподвижно, греясь на солнышке.

Разгадав хитрость, старый браконьер стал притворно отказываться, долго упрямился, но наконец согласился с тем условием, что за каждый час, который он проведет в воде, Андермат будет платить ему по два франка.

Сделка была тотчас заключена. Решили даже, что первую свою ванну Кловис примет в этот же день, как только будет вырыта яма. Андермат обязался предоставить ему одежду, чтобы он мог «переменииться», выбравшись из воды, а дядюшка Ориоль и Великан обещали притащить стоявшую у них во дворе переносную пастушескую сторожку, чтобы калеке было где переодеться.

Затем банкир и доктор пошли обратно к деревне. У въезда в нее они расстались. Один направился в свой врачебный кабинет принимать больных, а другой в парк, чтобы подождать жену, собиравшуюся пойти на ванну в половине десятого.

Вскоре появилась Христиана. Вся в розовом с головы до ног, в розовой шляпе, под розовым зонтиком, с розовым личиком, она была словно утренняя заря. Для сокращения пути она спустилась из гостиницы по крутому косогору, легкая, быстрая, как птичка, когда та, сложив крылышки, перепрыгивает с камня на камень. Завидев мужа, она еще издали крикнула ему:

— Как тут хорошо! Чудесные места! Мне тут ужасно нравится!

Немногие больные, уныло бродившие по маленькому тихому парку, оборачивались, когда она проходила, а Петрюс Мартель, который стоял без куртки, с труб-

кой в зубах, у открытого окна казино, подозвал своего приятеля Лапальма, сидевшего в уголке за стаканом белого вина, и, причмокнув, воскликнул:

— Эх, черт! Хороша куколка!

Христиана вошла в водолечебницу, приветливо улыбнулась кассиру, сидевшему слева от входа, весело сказала «Здравствуйте» бывшему тюремному надзирателю, сидевшему справа, отдала билетик на ванну служительнице, одетой, как и та, что сидела в парке у источника, и пошла вслед за нею по коридору, куда выходили двери кабинок.

Одну из этих дверей отворили для нее, и она переступила порог довольно просторной комнаты с голыми стенами, где вся обстановка состояла из стула, зеркала и скамеечки для ног, а в желтом цементном полу было устроено овальное углубление, выложенное таким же цементом и служившее ванной.

Женщина, которая привела ее, отвернула кран, похожий на водопроводные краны на парижских улицах, и из маленького решетчатого отверстия на дне ванны забила вода, быстро наполнила ее, но не переливалась через край, а вытекала в трубку, проложенную в стене.

Христиана оставила свою горничную в отеле, а от услуг оверки отказалась и отослала ее, сказав, что разденется сама и позвонит, когда нужно будет подать простыню или что-нибудь понадобится.

Оставшись одна, она не спеша разделась, глядя, как в светлом бассейне еле заметно кружится понизу и волнуется вода. Раздевшись, она кончиком ноги попробовала воду, и тотчас приятное ощущение тепла побежало по всему телу; тогда она опустила в воду всю ногу, потом вторую и осторожно села, погрузившись в мягкую, ласковую теплоту прозрачной воды источника, который наполнял этот водоем, струился по ней самой и вокруг нее, покрывая маленькими пузырьками газа все ее тело — и ноги, и руки, и грудь. Она с удивлением смотрела, как эти бесчисленные воздушные пузырьки всю ее одевают панцирем из крошечных жемчужинок. А жемчужинки непрестанно отрываются от ее белой кожи, взлетают на поверхность воды и исчезают в воздухе, выталкиваемые снизу другими, которые возникают на ней. Они возникали мгновенно, словно

легкие, неуловимые и прелестные мелкие ягодки, плоды ее стройного, юного и розового тела, обладающего волшебной силой обращать капельки воды в жемчужины. Христиане было так хорошо, так мягко касались, так ласково обнимали, обтекали ее струйки воды, трепещущие, живые, переливчатые струйки источника, бурлившего в водоеме у ее ног и убегавшего сквозь маленькое отверстие у края ванны, что ей хотелось навсегда остаться тут, не двигаться, не шевелиться, ни о чем не думать. Теплота, какая-то особая, восхитительная теплота согревала ее, на душе было покойно, безмятежно, и всю ее наполняло блаженное ощущение здоровья, мирной радости и тихой веселости. Журчание воды, вытекавшей из ванны, убаюкивало, и в дремотной неге она лениво думала то о том, то о другом: что будет делать сейчас и что будет делать завтра, на какие прогулки здесь можно ходить, думала об отце, о брате, о муже и о том высоком молодом человеке, который бросился спасать собаку,— после этого ей как-то было неловко с ним, она не любила порывистых людей.

Да, в этой теплой воде было хорошо, спокойно, и никакие желания не тревожили ее сердца, разве только смутная надежда иметь ребенка; в душе не возникало ни тени стремления изведать какую-то иную жизнь, волнение или страсть. Ей ничего не надо было, она чувствовала себя счастливой и довольной.

Вдруг она испугалась: кто-то открыл дверь; но оказалось, это оверна принесла простыню и халат. Двадцать минут уже истекли, пора было одеваться. Пробуждение было грустным, почти горестным; хотелось попросить, чтоб ей позволили побыть в ванне еще несколько минут, но потом она подумала, что впереди еще много дней, много таких же приятных минут; она с сожалением вышла из воды и закуталась в халат, нагретый так сильно, что он даже обжигал ее немножко.

Когда она уходила, доктор Бонфиль отворил дверь своего кабинета и, церемонно кланяясь, попросил ее войти. Он справился, как она себя чувствует, пощупал ей пульс, велел высунуть язык, осведомился о ее аппетите и пищеварении, спросил, хорошо ли она спит, затем проводил до самого выхода и все время бормотал:

— Что ж, ничего, ничего, все благополучно, благополучно. Будьте так любезны передать вашему батюшке мой нижайший поклон. Он один из самых почтенных людей, какие мне встречались на моем поприще.

Наконец она избавилась от его назойливых забот, немного испортивших ей настроение, вышла и у дверей водолечебницы увидела отца в обществе Андермата, Гонтрана и Поля Бретиньи.

Ее муж, у которого всякая новая мысль все жужжала, жужжала в голове, словно муха, залетевшая в бутылку, рассказывал о паралитике и предлагал пойти посмотреть, принимает ли бродяга свою первую ванну.

Чтобы доставить ему удовольствие, все пошли к источнику.

Но Христиана тихонько удержала брата и, когда они отстали от других, сказала:

— Знаешь что, я хотела поговорить с тобой о твоем друге; он мне что-то не очень нравится. Расскажи мне о нем. Какой он?

И Гонтран, близко знакомый с Полем уже несколько лет, описал ей эту натуру, страстную, необузданную, искреннюю и способную на добрые порывы.

Поль Бретиньи, говорил Гонтран,— умный человек, но какой то неистовый и все переживает слишком бурно. Он поддается каждому своему желанию, не умеет ни владеть, ни управлять собою, подавлять чувство рассудком, руководствоваться в жизни методически обдуманным планом и повинуется всем своим увлечениям, прекрасным или постыдным, едва только какая-нибудь мысль, какое-нибудь желание или страстное волнение потрясет его экзальтированную душу.

Он уже семь раз дрался на дуэли и так же способен в запальчивости оскорбить человека, как и стать после этого его другом; он влюблялся бешено, пылко в женщин всех классов и одинаково их обожал, начиная от модистки, встреченной у порога магазина, и кончая актрисой, которую он похитил,— да, буквально похитил в вечер первого представления, когда она вышла из театра и уже ступила ногой на подножку экипажа, чтобы ехать домой,— схватил ее на глазах остолбеневших прохожих, унес на руках, бросил

в карету и умчал, пустив лошадей таким галопом, что похитителя не могли догнать.

И Гонтран сказал в заключение:

— Вот он какой! Славный малый и, кстати сказать, очень богат, но сущий безумец. Когда потеряет голову, на все, положительно на все способен.

Христиана сказала:

— У него какие-то необыкновенные духи. Дивный запах! Что это такое?

— Не знаю. Он не хочет говорить. Кажется, из России привезены. Подарок его актрисы, той самой, от которой я его теперь лечу. А запах в самом деле чудесный.

Вдали виднелась куча крестьян и больных — на курорте вошло в обычай гулять до завтрака по риомской дороге.

Христиана и Гонтран догнали маркиза, Андермата и Поля, и вскоре на том месте, где накануне высился утес, перед ними предстало странное зрелище: из земли торчала человеческая голова в изодранной войлочной серой шляпе и всклокоченная седая борода — голова, как будто отрубленная или выросшая тут, словно какой-то кочан. Вокруг нее стояли люди; крестьяне смотрели изумленно и молча (овернцы совсем не зубоскалы), а три толстых господина, по виду постояльцы второразрядной гостиницы, отпускали плоские шуточки.

Оба Ориоля стояли около ямы и сосредоточенно смотрели на бродягу, сидевшего там на камешке по горло в воде. Картина напоминала средневековую казнь преступника, обвиненного в колдовстве и чародействе; старик не выпускал из рук костылей, и они мокли в воде рядом с ним.

Андермат пришел в шумный восторг:

— Браво, браво! Вот пример, которому должны последовать все местные жители, страдающие ревматизмом!

И, наклонившись к Кловису, он громко крикнул, словно тот был глухой:

— Ну как? Хорошо вам?

Старый бродяга, видимо, совсем одуревший от горячей ванны, ответил:

— Жарко! Черрт бы ее взял, эту воду! До чего ж горячая! Того и гляди сваришься.

Но дядюшка Ориоль заявил:

— Чем горячей, тем для тебя пользительней.

Позади маркиза кто-то спросил:

— Что это тут происходит?

И г-н Обри-Пастер, возвращавшийся с ежедневной своей прогулки, пыхтя и отдуваясь, подошел к яме.

Андермат объяснил ему свой план исцеления паралитика.

Но старик все твердил:

— Жарко! Горяча пррроклятая!

Он пожелал вылезти из воды, жалобно охал, просил вытащить его.

Банкир с трудом успокоил его, пообещав надбавить по франку за каждую ванну.

Зрители кольцом обступили яму, где плавали в воде бурые лохмотья, облекавшие тело старика.

Кто-то сказал:

— Ну и похлебка! Неаппетитный навар!

А другой подхватил:

— Да и говядина-то не лучше! Брр!

Но маркиз заметил, что в этом новом источнике гораздо больше пузырьков углекислоты, чем в ваннах водолечебницы, а пузырьки крупнее и гораздо подвижнее.

Действительно, все рубище бродяги было покрыто пузырьками, и они взлетали на поверхность в таком изобилии, что казалось, в воде мелькают бесчисленные цепочки, бесконечные четки из крошечных круглых прозрачных алмазов, сверкавших на солнце ослепительным блеском.

Обри-Пастер засмеялся.

— Ну еще бы! — сказал он.— Вы послушайте, что вытворяют в здешнем ванном заведении. Известно, что минеральный источник надо поймать в силок, как птицу, или, вернее, засадить его под колокол. Это называется каптаж. Однако с источником, который подводят к ваннам в Анвале, произошла такая история. Углекислота легче воды и, выделяясь из нее, собиралась под верхушкой колокола, а когда ее накапливалось там слишком много, она устремлялась в трубы,

проникала через них в ванны, насыщала воздух, и больные чувствовали удушье. За два месяца было три довольно тяжелых случая. Тогда опять обратились ко мне, и я изобрел очень простое приспособление: две трубы подводят из-под колокола воду и углекислый газ порознь и вновь соединяют их под ваннами, восстанавливая тем самым нормальный состав источника и не допуская опасного избытка углекислоты. Однако надо было потратить тысячу франков, чтоб сконструировать мое приспособление. И знаете, что сделал бывший тюремный надзиратель? Ни за что не угадаете. Проделал дыру в колоколе, чтобы отделаться от газа, и он, разумеется, стал улетучиваться. Таким образом, вам продают углекислые ванны без углекислоты или же с таким ничтожным ее количеством, что пользы от этих ванн немного. Зато здесь, посмотрите-ка!

Все пришли в негодование. Никто уже больше не смеялся, на нищего паралитика смотрели теперь с завистью. Каждый готов был схватить лопату и вырыть для себя ванну в земле рядом с ямой бродяги.

Андермат взял инженера под руку, и они пошли по дороге, о чем-то беседуя. Время от времени Обри-Пастер останавливался и чертил тростью в воздухе, как будто намечая направление чего-то, указывал узловые точки, а банкир делал пометки в записной книжке.

Христиана и Поль Бретиньи разговорились. Он рассказывал ей о своем путешествии по Оверни, описывал свои впечатления и чувства. Он любил природу безотчетной, пылкой любовью, в которой сквозило нечто звериное. Природа доставляла ему сладострастное наслаждение, от которого трепетали его нервы, все его тело.

Он говорил Христиане:

— Знаете, мне кажется, что я словно раскрываюсь, вбираю в себя все, и каждое впечатление пронизывает меня с такой силой, что я плачу, скриплю зубами. Ну вот, смотрите, перед нами зеленая круча, широкий кряж, и по нему карабкаются в гору полчища деревьев; мои глаза вбирают этот лес, он проникает в меня, заполоняет, бежит по моим жилам, и мне даже кажется, что я его ем, глотаю, сам становлюсь лесом.

Худ. Н. Кузьмин. 1948. «МОНТ-ОРИОЛЬ».

Худ. Ф. Бак. «МОНТ-ОРИОЛЬ».

Он говорил все это смеясь и устремлял круглые широко открытые глаза то на лес, то на Христиану, а она слушала, удивленная, смущенная, но понимала его впечатлительной душой, и ей казалось, что этот жадный взгляд расширенных зрачков пожирает и ее вместе с лесом.

Поль продолжал:

— А если б вы знали, какие радости приносит мне обоняние! Вот этот воздух, которым мы с вами дышим сейчас, я пью, опьяняюсь им и слышу все запахи, разлитые в нем, все, решительно все. Ну, вот послушайте. Во-первых, самое главное. Когда вы приехали сюда, заметили вы, какой здесь аромат? Нежный, ни с чем не сравнимый аромат, такой тонкий, такой легкий, что он кажется... ну, как бы это сказать... почти невещественным. Он везде, везде, и никак не можешь разгадать, что же это такое, уловить, откуда он исходит. А между тем никогда ни один аромат на свете не давал мне такого наслаждения. И что ж! — это запах цветущих виноградников. Ах, я только на пятый день открыл его! Какая прелесть! И разве не восхитительно думать, что виноград, дарящий нам вино — вино, которым по-настоящему, как знатоки, могут наслаждаться лишь избранные, дарит нам и нежнейшее, волнующее благоухание, различимое лишь для самых изощренных чувственных натур. А улавливаете ли вы в этом воздухе струю мощного запаха каштанов, приторно-сладкое благоухание акаций, аромат горных лугов и аромат травы — она пахнет так хорошо, так хорошо, и ведь никто этого и не замечает.

Она слушала его с изумлением — не потому, что слова его были каким-то поразительным открытием, но они совсем не походили на то будничное, обыденное, что всегда говорилось вокруг нее, и потому захватывали ее, волновали, вносили смятение в привычный строй ее мыслей.

А он все говорил голосом несколько глухим, но теплого тембра:

— И потом, скажите, заметили ли вы, что над дорогами, когда бывает жарко, в воздухе есть легкий привкус ванили? Замечали, да? И знаете, что это такое?.. Нет, я не решаюсь сказать...

Он расхохотался и вдруг, протянув руку вперед, сказал:

— Посмотрите.

По дороге тянулись вереницей возы с сеном, и каждый тащила пара коров. Медлительные, широколобые, они грузно переступали ногами, склонив под ярмом голову с крутыми рогами, привязанными к деревянной перекладине, и видно было, как под кожей движутся у них мослаки. Впереди каждого воза шел человек в сборчатой рубашке и безрукавке, в черной шляпе и прутом подгонял свою упряжку. Время от времени он оборачивался, но никогда не бил корову, а только касался прутом ее плеча или лба, и она, мигая большими и глупыми глазами с поволокой, покорно повиновалась его жесту.

Христиана и Поль посторонились, чтобы дать им дорогу.

Бретиньи спросил:

— Вы чувствуете запах?

Она удивилась:

— Какой? Сейчас пахнет хлевом.

— Ну да, хлевом. Все эти коровы (лошадей совсем нет в здешних местах) рассеивают по дорогам запах коровника, и в сочетании с мельчайшей пылью он придает ветру привкус ванили.

Христиана брезгливо сказала:

— Фу!

Он возразил:

— Позвольте, я же делаю химический анализ, и только. Это отнюдь не мешает мне утверждать, что мы с вами, сударыня, находимся в дивном уголке Франции, пленяющем мягкой, успокаивающей красотой. Нигде я не видел такой природы. Мы перенеслись в золотой век. А Лиманъ! Ах, эта Лиманъ! Нет, не буду о ней рассказывать, я хочу показать ее вам. Вы должны ее посмотреть!

Их догнали маркиз и Гонтран. Взяв дочь под руку, маркиз шутливо повернул ее и повел обратно, к деревне, напомнив, что пора идти завтракать.

Дорогой он сказал:

— Слушайте, детки, это касается вас, всех троих. Вильям совершенно сходит с ума, когда какая-нибудь

мысль засядет ему в голову, и теперь он ни о чем думать не может, кроме своего будущего курорта. Он бредит им и для своих целей вознамерился пленить семейство Ориолей. Он хочет, чтобы Христиана познакомилась с девочками и посмотрела, приемлемы ли они в хорошем обществе. Но знакомство должно состояться так, чтобы отец и не подозревал о наших хитростях. И вот меня осенила идея: устроим благотворительный праздник. Ты, милочка, навестишь здешнего священника, и вы с ним выберете двух его прихожанок, которые будут собирать вместе с тобой пожертвования во время церковной службы. Конечно, ты сумеешь подсказать ему, кого следует выбрать, и он их пригласит якобы по своему почину... А на вас, молодые люди, возлагается обязанность устроить в казино лотерею при содействии господина Петрюса Мартеля, его труппы и его оркестра. Если девицы Ориоль милы и благовоспитанны,— говорят, их хорошо вышколили в монастырском пансионе,— Христиана несомненно покорит их.

V

Целую неделю Христиана с увлечением занималась приготовлениями к празднику. Священник действительно нашел, что из всех его прихожанок только сестры Ориоль достойны чести собирать пожертвования вместе с дочерью маркиза де Равенеля, и, обрадовавшись возможности сыграть роль, стал хлопотать, все уладил, все устроил и пригласил обеих девушек, как будто ему первому пришла эта мысль.

Весь приход был взбудоражен; даже угрюмые обитатели курорта отвлеклись от разговоров о своих болезнях и обменивались за табльдотом различными соображениями по поводу возможной суммы сборов с двух празднеств, церковного и мирского.

День начался удачно. Стояла прекрасная летняя погода, жаркая и ясная; солнце заливало равнину, а в тени под деревьями веяло прохладой.

Церковная служба была назначена в девять часов утра, краткая, но с органом. Христиана, придя до начала обедни, чтобы взглянуть, как убрана церковь цве-

точными гирляндами, заказанными в Руайя и в Клермон-Ферране, услышала шаги за своей спиной,— вслед за ней явился аббат Литр с сестрами Ориоль; аббат представил их Христиане, и она тотчас пригласила обеих девушек к завтраку. Они, краснея, с почтительными реверансами, приняли приглашение.

Начали собираться верующие.

Христиана и сестры Ориоль заняли почетные места,— на стульях, поставленных для них на краю клироса, а напротив них сели три принарядившихся молодых человека: сын мэра, сын его помощника и сын муниципального советника,— их избрали для сопровождения сборщиц, чтобы польстить местным властям.

Все сошло очень хорошо.

Служба кончилась быстро. Сбор дал сто десять франков, к этому присоединили пятьсот франков, пожертвованных Андерматом, пятьдесят — маркизом де Равенелем, сто франков от Поля Бретиньи, и в итоге получилось семьсот шестьдесят франков — сумма небывалая в аивальском приходе.

После обедни сестер Ориоль повели завтракать в отель.

Обе казались несколько смущенными, но держали себя очень мило, и, хотя почти не принимали участия в разговоре, видно было, что это не робость, а скорее скромность. Они завтракали за табльдотом и понравились всем мужчинам, всем без исключения.

Старшая была степеннее, младшая — живее; старшая — благовоспитаннее в обыденном смысле этого слова, младшая —милее, приветливее; и вместе с тем они были похожи друг на друга, как могут только быть похожи сестры.

После завтрака все отправились в казино, где в два часа был назначен розыгрыш лотереи.

Парк уже заполнила пестрая толпа крестьян и больных, и он напоминал ярмарку.

В китайской беседке музыканты играли сельскую симфонию — произведение самого Сен-Ландри. Поль, который шел с Христианой, вдруг остановился.

— Ого! — воскликнул он.— Недурно! Право, недурно! Маэстро Сен-Ландри несомненно талантлив.

Если б это играл настоящий оркестр, впечатление было бы большое.

И он спросил Христиану:

— Вы любите музыку?

— Очень.

— А меня она мучает. Когда я слушаю любимую вещь, то первые же звуки как будто срывают с меня кожу, вся она тает, растворяется, словно и нет ее на моем теле; все мои мышцы, все нервы обнажены и беззащитны перед натиском музыки. Право же, оркестр играет на моих обнаженных нервах, и они вздрагивают, трепещут, отзываясь на каждую ноту. Я воспринимаю музыку не только слухом, я ощущаю ее всем телом, и оно вибрирует с ног до головы. Музыка!.. Сколько она дает мне наслаждения, вернее — счастья!.. Ничто с ним не может сравниться.

Христиана улыбнулась.

— Какие у вас бурные чувства!

— Ах, боже мой, да стоит ли жить, если нет этих бурных чувств! Не завидую тем людям, у которых сердце обросло кожей бегемота или покрыто щитом черепахи. Счастлив только тот, у кого ощущения так остры, что причиняют боль, кто воспринимает их как потрясения и наслаждается ими, как изысканным лакомством. Ведь надо осознавать все переживания, и радостные и горькие, наполнять ими душу до краев и, упиваясь ими, испытывать самое острое блаженство или самые мучительные страдания.

Она подняла на него глаза, удивленная его речами, как и всем, что слышала от него за неделю их знакомства.

И правда, этот новый друг — он сразу же стал ее другом, несмотря на первое неприятное впечатление,— уже целую неделю непрестанно смущал покой ее души, поднимая в ней волнение, как будто бросал камни в чистое, прозрачное озеро. И немало больших камней он кидал в эту мирную глубину.

Отец Христианы, как это свойственно отцам, все еще смотрел на нее как на маленькую девочку, с которой незачем говорить о серьезных вещах; брат умел ее посмешить, но не способен был натолкнуть на какие-то размышления; мужу даже и в голову не приходило,

что с женой можно разговаривать о чем-либо, выходящем за пределы житейских интересов совместной жизни, и до сих пор Христиана жила в какой-то безмятежной сладкой дремоте.

И вот пришел человек, который ударами мысли, подобными ударам топора, пробил стену, замыкавшую ее узкий кругозор. Да еще человек этот принадлежал к тому типу мужчин, которые нравятся женщинам, всем женщинам, самим своим складом, силой и остротой переживаний. Он умел говорить с женщинами, все передать, все заставить понять. Богато одаренный, но неспособный к длительным усилиям, всегда одержимый страстной любовью или ненавистью, обо всем говоривший с неподдельной искренностью и яростной убежденностью переменчивой и восторженной натуры, он в избытке обладал женскими чертами — впечатлительностью, обаянием, душевной гибкостью, сочетавшимися с более широким, деятельным и проницательным мужским умом.

К ним быстрым шагом подошел Гонтран.

— Обернитесь,— сказал он.— Взгляните на любопытную супружескую пару.

Они обернулись и увидели доктора Онора под руку с толстой старой женщиной в голубом платье и в шляпке, похожей на клумбу из ботанического сада,— столько на ней было насажено разнообразнейших цветов и растений.

Христиана удивленно спросила:

— Неужели это его жена? Да ведь она старше его лет на пятнадцать?

— Угадала, ей шестьдесят пять лет. Бывшая повивальная бабка. Подцепила себе доктора в мужья на каких-нибудь родах. Впрочем, их супружеская жизнь проходит в постоянных стычках.

Услышав громкие возгласы и гул толпы, они повернули обратно, к казино. Перед входом на больших столах были разложены выигрыши лотереи, а Петрюс Мартель при содействии мадмуазель Одлен из Одеона, миниатюрной темноволосой особы, вытаскивал и громогласно объявлял номера, потешая при этом столпившуюся публику балаганными шутками. Подошел маркиз вместе с Андерматом и сестрами Ориоль.

— Ну, как?— спросил он.— Останемся или уйдем? Уж очень тут шумно.

Решили прогуляться в горы по дороге в Ла-Рош-Прадьер.

На дорогу поднялись гуськом, через виноградники, по узкой тропинке. Впереди всех быстрым, упругим шагом шла Христиана. С первых же дней приезда в Анваль она чувствовала, что живет как-то по-новому: самые обычные удовольствия приобрели неожиданную яркость, и никогда еще она не испытывала такой радости жизни. Быть может, причина была в том, что от ванн ее здоровье укрепилось, организм избавился от недомоганий, которые всегда угнетают человека и вызывают как будто беспричинное уныние; теперь она свободнее могла воспринимать впечатления и наслаждаться природой. А может быть, она была так радостно возбуждена просто оттого, что теперь рядом с нею постоянно был загадочный для нее человек, открывавший ей в своих пылких речах столько нового.

Она шла, вдыхая воздух полной грудью, и вспоминала, что он говорил ей об ароматах, которые несет с собою ветер. «А ведь правда,— думала она,— он научил меня различать их в воздухе». Теперь она и сама различала все эти ароматы, особенно благоухание цветущих виноградников, такое легкое, тонкое, ускользающее.

Наконец все выбрались на дорогу и пошли по ней парами. Андермат и Луиза, старшая из сестер Ориоль, ушли вперед, беседуя о доходности овернских земель. Юная оверна, истая дочь своего отца, унаследовавшая его практичность, знала до мелочей, как ведется в Оверни сельское хозяйство; она рассказывала о нем ровным, спокойным голоском, серьезно и скромно, с интонациями благовоспитанной барышни, усвоенными в пансионе.

Андермат слушал, поглядывал на нее сбоку и находил очаровательной эту девицу, такую молоденькую и такую положительную, уже прекрасно знакомую с деловой стороной жизни. Иногда он выражал некоторое удивление:

— Как! В Лимани, вы говорите, цены на землю доходят до тридцати тысяч за гектар?

— Да, сударь, если она засажена хорошо привитыми яблонями, которые дают лучшие десертные сорта яблок. Ведь почти все фрукты, которые съедает Париж, поставляют наши края.

Тут Андермат обернулся и с уважением посмотрел на равнину Лимани — с горной дороги был виден ее бескрайний простор, как всегда затянутый мглистой голубоватой дымкой.

Христиана и Поль тоже остановились, залюбовавшись этими нежно затуманенными далями, и не могли наглядеться на них.

Дорогу теперь осеняли огромные ореховые деревья, и в их густой тени стояла приятная прохлада. Подъем уже кончился, дорога извивалась по склону, покрытому виноградниками, а ближе к вершине — низкой травой; все было зелено до самого гребня горного кряжа, не очень высокого в этом месте.

Поль тихо сказал:

— Какая красота! Скажите, ведь, правда, красиво? Почему так захватывает этот пейзаж, почему он так мил сердцу? Какое-то удивительное, глубокое очарование исходит от него, а главное, что за ширь! Глядишь отсюда на равнину, и кажется, что мысль расправляет крылья и взмывает ввысь, парит, кружит в поднебесье, а потом пронесется над этой гладью и летит далеко-далеко, в волшебную страну наших мечтаний, которую мы не увидим никогда. Да, это прекрасно, потому что больше походит на сказку, на грезу, а не на осязаемую, зримую действительность.

Христиана слушала молча, исполненная смутных ожиданий, какой-то надежды, непонятного волнения, и жадно ловила каждое его слово. Ей и в самом деле чудились вдали иные, неведомые края, лазурные, розовые, чудесные, сказочные края, недостижимые, но всегда манящие, прекраснее всех стран земных.

Он сказал еще:

— Да, это прекрасно, потому что прекрасно. Много есть пейзажей, более поражающих взгляд, но нет в них такой гармонии. Ах, красота, гармоническая красота! Это — самое важное в мире! Вне красоты ничего, ровно ничего не существует. Но лишь немногие понимают ее. Линии человеческого тела или статуи, очер-

тания горы, колорит картины или вот этой шири, нечто неуловимое в улыбке Джоконды, слово, пронизывающее душу волнением, маленькая черточка, которая художника обращает в творца, равного богу,— кто же, кто из людей замечает это?

Нет, я должен прочесть вам две строфы Бодлера:

Ты вестница небес иль ада — все равно,
О красота, фантом, прелестный и ужасный!
Твой взор, твой лик, твой шаг откроют мне окно
В любимый мною мир безвестный, но прекрасный.

Ты ангел или зверь, ты бог иль сатана —
Не все ли мне равно, волшебное виденье!
С тобой, о свет и ритм, о ветер и волна,
Не так уродлив мир и тяжелы мгновенья [1].

Христиана смотрела на него с недоумением, удивляясь его восторженности, и глаза ее спрашивали: «Что ж необыкновенного находишь ты в этих стихах?»

Он угадал ее мысли и, рассердившись на себя за то, что не сумел приобщить ее к своим восторгам,— а ведь он так хорошо прочитал эти стихи,— сказал с легким оттенком презрения:

— Какой я, право, глупец!.. Вздумал читать женщине стихи самого утонченного поэта! Но, я надеюсь, настанет день, когда вы все это почувствуете, поймете, как и я. Женщины все воспринимают больше чувством, чем сознанием, они постигают сокровенную тайну искусства лишь в ту пору своей жизни, когда голос его находит сочувственный отклик в их душе.

И, поклонившись, он добавил:

— Я постараюсь вызвать в вас этот сочувственный отклик.

Слова его не показались ей дерзкими, а только странными. Да она уж и не пыталась больше понять его — ее поразило открытие, которое она сделала только сейчас: она обнаружила, что он очень изящен и одет с тонким, изысканным вкусом, но это в нем не сразу заметно потому, что он слишком высок ростом, широкоплеч, облик у него слишком мужественный.

---

[1] Перевод И. Мримского.

Да и в чертах лица у него было что-то грубое, незавершенное, усиливавшее на первый взгляд впечатление тяжеловесности. Но вот теперь, когда черты эти стали для нее привычными, она увидела, что в нем есть обаяние властной силы, а минутами у него в ласковых интонациях всегда глуховатого голоса сквозит мягкость.

Впервые заметив, как тщательно он одет с головы до ног, Христиана подумала:

«Удивительные бывают люди,— все, что в них есть привлекательного, открывается лишь постепенно, одно за другим. Вот и он такой».

Вдруг они услышали, что их догоняет Гонтран. Он весело кричал:

— Христиана! Стой, погоди!

И, догнав их, он, смеясь, заговорил:

— Ах, идите скорей, послушайте младшую сестрицу! До чего она забавная, остроумная! Прелесть! Папа в конце концов ее приручил, и она нам рассказывает преуморительные истории. Подождем их.

И они остановились, дожидаясь маркиза, который шел с Шарлоттой Ориоль.

Она с детским увлечением и лукавством рассказывала смешные деревенские истории, рисующие и простодушие и хитрость овернцев. Она подражала их жестам, повадкам, медлительной речи, их выговору и черрртыханью, уснащающему их споры, комически изображала их мимику, от которой ее хорошенькое личико становилось еще милее. Живые глаза ее блестели, рот, довольно большой, красиво приоткрывался, сверкали белые ровные зубы, немного вздернутый носик придавал ей задорный вид, и вся она была такая очаровательная, дышала такой свежестью едва распустившегося цветка, что хотелось ее расцеловать.

Маркиз почти всю жизнь прожил в своем поместье, Христиана и Гонтран выросли в родовой усадьбе, хорошо знали дородных и важных нормандских фермеров, которых, по старинному обычаю, иногда приглашали в господский дом к столу; вместе с их детьми они ходили к первому причастию, играли вместе и обращались с ними запросто,— и теперь им нетрудно было

найти нужный тон с этой крестьяночкой, почти уже барышней, говорить с ней по-дружески просто, с ласковой непринужденностью, и она расцвела доверчивостью и весельем.

Андермат и Луиза дошли до деревни и, повернув обратно, присоединились к остальным.

Все сели на траву под высоким деревом на откосе дороги и пробыли тут долго, тихо беседуя обо всем и ни о чем, в ленивой неге блаженного спокойствия. Иногда по дороге медленно тянулась телега, с двумя коровами в упряжке, сгибавшими голову под ярмом; как всегда, впереди шел сухопарый крестьянин в широкополой черной шляпе и, помахивая прутом, словно дирижерской палочкой, управлял своей упряжкой.

Крестьянин снимал шляпу, здоровался с сестрами Ориоль, и звонкие девичьи голоса приветливо отвечали ему: «Добрый вечер!»

Домой вернулись уже в сумерках.

Когда подходили к парку, Шарлотта воскликнула:

— Ах, бурре! Танцуют бурре!

В самом деле, в парке танцевали бурре под звуки старинной овернской мелодии.

Крестьяне и крестьянки то выступали плавным шагом, то подпрыгивали, кружились и жеманно кланялись друг другу, при этом женщины подхватывали юбку на боках двумя пальчиками, а мужчины опускали руки, как плети, или подбоченивались.

Однообразная, но приятная мелодия тоже как будто кружилась в прохладном вечернем воздухе; скрипка без конца пела одну и ту же музыкальную фразу, выводила ее тоненьким, пронзительным голоском, а прочие инструменты скандировали ритм, придавая мелодии плясовую игривость. Простая крестьянская музыка, веселая и безыскусственная, очень подходила к этому незатейливому деревенскому менуэту.

Приезжие городские господа тоже пытались танцевать бурре. Петрюс Мартель скакал перед миниатюрной мадмуазель Одлен, а она манерничала, как фигурантка в балете; комик Лапальм выписывал ногами кренделя и вертелся волчком вокруг кассирши казино, явно взволнованный воспоминаниями о балах в зале Бюлье.

Вдруг Гонтран заметил доктора Онора, который отплясывал от души, не жалея ног, и, как чистокровный овернец, танцевал настоящее, классическое бурре.

Оркестр смолк. Все остановились. Доктор, тяжело дыша и отирая лоб платком, подошел поздороваться с маркизом.

— Хорошо иногда вспомнить молодость, тряхнуть стариной,— сказал он.

Гонтран положил ему руку на плечо и сказал с ехидной улыбкой:

— А вы мне и не говорили, что вы женаты!

Доктор перестал утираться и ответил угрюмо:

— Да-с, женат, и неудачно.

Гонтран переспросил:

— Что вы сказали?

— Неудачно, говорю, женат. Никогда не делайте такой глупости, молодой человек. Не женитесь.

— Почему?

— Да вот потому... Я, знаете ли, уже двадцать лет женат и все никак не могу к этому привыкнуть. Придешь домой вечером и всегда думаешь: «Как! Эта старуха все еще тут? Что ж, она так никогда и не уйдет?»

Все засмеялись — с таким серьезным, убежденным видом он это сказал.

В отеле зазвонил колокол — сзывали к обеду. Праздник кончился. Луизу и Шарлотту Ориоль проводили всей компанией до родительского дома и, когда распрощались с девушками, стали говорить о них. Все находили, что они обе очаровательны. Но Андермату все же больше понравилась старшая. Маркиз сказал:

— Сколько гибкости в женской натуре! Одного лишь соседства с отцовским золотом, которым эти девочки еще и пользоваться-то не умеют, оказалось достаточно, чтобы из крестьянок они стали барышнями.

Христиана спросила у Поля Бретиньи:

— А вам которая больше нравится?

Он ответил:

— Мне? Да я даже и не смотрел на них. Мне нравится другая.

Он сказал это очень тихо; Христиана ничего не ответила.

VI

Для Христианы Андермат настали счастливые дни. На душе у нее всегда было теперь легко и радостно. Каждое утро начиналось восхитительным удовольствием — ванной, в которой нежилось тело; полчаса, проведенные в теплой струящейся воде источника, словно подготовляли Христиану к ощущению счастья, длившемуся весь день, до самого вечера. Да, она была счастлива, все стало радужным — и мысли и желания. Чья-то нежность, облаком окутывавшая ее, упоение жизнью, молодость, трепетавшая в каждой жилке, а также новая обстановка, этот чудесный край, словно созданный для покоя и грез, широкие просторы, благоуханный воздух, ласка природы — все будило в ней неведомые прежде чувства. Все, что ее окружало, все, с чем она соприкасалась, поддерживало это ощущение счастья, которое давала утренняя ванна; широкая и теплая волна счастья омывала ее, и вся она, душой и телом, погружалась в нее.

Андермат, решивший проводить в Анвале только две недели в месяц, уже уехал в Париж, поручив жене последить за тем, чтобы паралитик не прекращал лечения.

И каждое утро перед завтраком Христиана с отцом, братом и Полем Бретиньи ходила смотреть, как «варится суп из бродяги», по выражению Гонтрана. Приходили и другие больные и, обступив яму, где сидел Кловис, разговаривали с ним.

Старик утверждал, что «ходить-то он еще не ходит», но чувствует, как у него бегают мурашки по ногам. И он рассказывал, как они бегают, эти мурашки. Вот бегут, бегут по ногам выше колена, потом побежали вниз, спускаются до пальцев. Даже и ночью бегают, щекочут, кусают и не дают ему спать.

Приезжие господа и крестьяне, разделившись на два лагеря — маловеров и верующих, с одинаковым интересом следили за этим новым курсом лечения.

После завтрака Христиана обычно заходила за сестрами Ориоль, и они вместе отправлялись на прогулку. Из всего женского общества на курорте только с этими девочками ей было приятно поболтать и прове-

сти время, только к ним она чувствовала дружеское доверие и от них одних могла ждать теплой женской привязанности. Старшая сестра сразу понравилась ей своим положительным умом, рассудительностью и спокойным благодушием, а еще больше понравилась младшая, остроумная, по-детски шаловливая, и теперь Христиана искала сближения с ними не столько в угоду мужу, сколько для собственного удовольствия.

Прогулки совершали то пешком, то в ландо, в старом шестиместном дорожном ландо, нанятом в Риоме на извозном дворе.

Самым любопытным местом прогулки была дикая лощинка близ Шатель-Гюйона, которая вела в уединенный грот Сан-Суси.

Шли туда узкой дорожкой, извивавшейся по берегу речки под высокими соснами, шли парами и разговаривали. Дорожку то и дело пересекал ручей, приходилось перебираться через него; тогда Поль и Гонтран, встав на камни в быстрой воде, протягивали руку дамам, и они одним прыжком перескакивали на другой берег. После каждой переправы порядок, в котором шли, менялся.

Христиана оказывалась то в одной паре, то в другой, но всегда находила предлог побыть наедине с Полем Бретиньи, уйдя вперед или отстав от остальных.

Теперь он держал себя с ней иначе, чем в первые дни, меньше смеялся и шутил, исчезла его резкость, товарищеская непринужденность, появилась почтительная заботливость.

Разговоры их приняли оттенок интимности, и в них большое место занимали сердечные дела. Поль говорил о них как человек многоопытный, до конца изведавший женскую любовь, которая дала ему много счастья, но не меньше принесла и страданий.

Христиана слушала с некоторым смущением, но со жгучим любопытством и сама искусно вызывала его на откровенность. Все, что она знала о нем, пробудило в ней горячее желание узнать еще больше, проникнуть мыслью в загадочную, лишь смутно знакомую по романам мужскую жизнь, полную бурь и любовных тайн.

И он охотно шел навстречу этому любопытству,

каждый день рассказывал что-нибудь новое о своей жизни, о своих романах и горестях любви; пробуждавшиеся в нем воспоминания вносили в слова пламенную страстность, а желание понравиться — затаенное коварство.

Он открывал перед глазами Христианы неведомый ей мир, он так красноречиво умел передать все переходы чувства, томление ожидания, растущую волну надежды, благоговейное созерцание бережно хранимых мелочей — засохшего цветка, обрывка ленты,— боль внезапных сомнений, горечь тревожных догадок, муки ревности и неизъяснимое, безумное блаженство первого поцелуя.

Но он рассказывал обо всем этом с большим тактом, не нарушая приличий, накидывая на все прозрачный покров, рассказывал поэтически и увлекательно. Как всякий мужчина, обуреваемый неотвязной мыслью о женщине, он, весь трепеща еще от любовной лихорадки, но с деликатными умолчаниями говорил о тех, кого *любил*.

Он вспоминал множество обаятельных черточек, волнующих сердце, множество трогательных минут, от которых слезы навертываются на глаза, и все те милые мелочи, которые украшают ухаживание и для людей изысканных чувств и тонкого ума придают столько прелести любовным отношениям.

Эти волнующие откровенные беседы велись каждый день, с каждым днем все дольше и западали в сердце Христианы, как семена, брошенные в землю. И красота необъятных далей, ароматы, разлитые в воздухе, голубая Лиманъ, ее просторы, от которых как будто ширилась душа, угасшие вулканы на горном кряже — былые очаги земли, теперь согревающие лишь воду для больных, прохлада под тенистыми деревьями, журчание ручьев, бегущих по камням,— все это тоже проникало в молодую душу и тело, словно тихий теплый дождь, размягчающий девственную почву, летний теплый дождь, после которого вырастают цветы из посеянных в нее семян.

Христиана чувствовала, что этот человек немного ухаживает за ней, считает ее хорошенькой и даже больше чем хорошенькой, ей приятно было, что она

нравится, возникало желание пленить и покорить его, подсказывавшее ей уйму хитрых и вместе с тем простодушных уловок.

Если его глаза выдавали волнение, она внезапно уходила от него; если чувствовала, что вот-вот начнутся признания в любви, она останавливала его на полуслове, бросив на него быстрый и глубокий взгляд, один из тех женских взглядов, которые огнем палят сердце мужчины.

Как тонко, немногими словами или совсем без слов, легким кивком, мнимо небрежным жестом или же грустным видом, который быстро сменялся улыбкой, она умела показать, что его усилия не пропадают даром.

Но чего же она хотела? Ничего. Чего ждала от этой игры? Ничего. Она тешилась этой игрой просто потому, что была женщиной, что совсем не сознавала опасности, ничего не предчувствовала и только хотела посмотреть, что же он будет делать.

В ней вдруг вспыхнул огонек врожденного кокетства, тлеющий в крови всех женщин. Вчера еще наивная девочка, погруженная в дремоту, вдруг пробудилась и стала гибким и зорким противником в поединке с этим мужчиной, постоянно говорившим ей о любви. Она угадывала все возраставшее его смятение, когда он был возле нее, видела зарождавшуюся страсть в его взгляде, понимала все интонации его голоса с той особой чуткостью, которая развивается у женщины, когда она чувствует, что мужчина ищет ее любви.

За ней не раз ухаживали в светских гостиных, но ничего не могли добиться от нее, кроме насмешек шаловливой школьницы. Пошлые комплименты поклонников забавляли ее, унылые мины отвергнутых вздыхателей казались уморительными, на все проявления нежных чувств она отвечала задорными шутками.

Но теперь она вдруг почувствовала, что перед ней опасный, обольстительный противник, и превратилась в искусную кокетку, вооруженную природной прозорливостью, смелостью, хладнокровием; в соблазнительницу, которая, пока в ней не заговорило сердце, подстерегает, захватывает врасплох и накидывает невидимые сети любви.

В первое время она казалась ему глупенькой. Привыкнув к женщинам-хищницам, искушенным в любовных делах, как старый вояка искушен в боевых маневрах, женщинам, опытным во всех приемах кокетства и тонкостях страстей, он счел слишком пресной эту сердечную простоту и даже относился к Христиане с легким презрением.

Но мало-помалу сама эта нетронутость, эта чистота заинтересовали его, потом пленили, и, следуя своей увлекающейся натуре, он начал окружать молодую женщину нежным вниманием.

Он знал, что лучшее средство взволновать чистую душу — это беспрестанно говорить ей о любви, делая вид, что думаешь при этом о других женщинах; и, ловко пользуясь ее разгоревшимся любопытством, которое сам же и пробудил в ней, он под предлогом доверчивых излияний души принялся читать ей в тени лесов настоящий курс любовной страсти.

Для него, так же как и для нее, это была увлекательная забава; всевозможными маленькими знаками внимания, которые мужчины умеют изобретать, он показывал, что она все больше нравится ему, и разыгрывал роль влюбленного, еще не подозревая, что скоро влюбится не на шутку.

Для них обоих вести эту игру во время долгих, медлительных прогулок было так же естественно, как естественно для человека, оказавшегося в знойный день на берегу реки, искупаться в прохладной воде.

Но с того дня, когда в Христиане пробудилось настоящее кокетство, когда ей вдруг открылись все женские хитрости обольщения и вздумалось повергнуть к своим стопам этого человека бурных страстей, как захотелось бы выиграть партию в крокет, наивный искуситель попался в сети этой простушки и полюбил ее.

И тогда он стал неловким, беспокойным, нервным; она же играла с ним, как кошка с мышью.

С другой он не подумал бы стесняться, дал бы волю смелым признаниям, покорил бы ее захватывающей пылкостью своего темперамента; с нею он не решался на это: она была так непохожа на других женщин, которых он знал раньше.

Всех этих женщин уже обожгла жизнь, им можно было все сказать, с ними он мог осмелиться на самые дерзкие призывы страсти, дрожа, шептать, склоняясь к их губам, слова, от которых огонь бежит в крови. Он знал себя, знал, что бывает неотразимым, когда может открыться свободно в томящем его бурном желании и взволновать душу, сердце, чувственность той, которую любит.

Но возле Христианы он робел, словно она была девушка,— такую неопытность он угадывал в ней, и это сковывало все его искусство обольстителя. Да и любил он ее по-новому, как ребенка и как невесту. Он желал ее и боялся коснуться ее, чтобы не загрязнить, не осквернить ее чистоты. У него не возникало желания до боли сжать ее в своих объятиях, как других женщин, ему хотелось стать перед ней на колени, коснуться губами края ее платья, с тихой, бесконечной нежностью целовать завитки волос на ее висках, уголки губ и глаза, закрывшиеся в неге голубые глаза, чувствовать под сомкнутыми веками трепетный взгляд. Ему хотелось взять ее под свою защиту, оберегать от всех и от всего на свете, не допускать, чтоб она соприкасалась с грубыми, пошлыми людьми, видела уродливые лица, проходила близ неопрятных людей. Ему хотелось убрать всю грязь с улиц, по которым она проходит, все камешки с дорог, все колючки в лесу, сделать так, чтобы вокруг нее все было красивым и радостным, носить ее на руках, чтобы ножки ее никогда, никогда не ступали по земле. Его возмущало, что ей надо разговаривать с соседями в отеле, есть дрянную стряпню за табльдотом, переносить всякие неприятные и неизбежные житейские мелочи.

Близ нее он не находил слов,— так он был полон мыслями о ней; и оттого, что он был бессилен излить свое сердце, не мог осуществить ни одного своего желания и хоть чем-нибудь выразить сжигавшую его властную потребность всего себя отдать ей, он смотрел на нее взглядом дикого зверя, скованного цепями, и вместе с тем ему почему-то хотелось плакать, рыдать.

Она все это видела, хотя и не совсем понимала;

и потешалась над ним со злорадством победительницы.

Если они оказывались одни, отстав от других, и она чувствовала, что вот-вот в нем прорвется что-то опасное для нее, она вдруг пускалась бегом догонять отца и, подбежав к нему, весело кричала:

— Давайте сыграем в четыре угла!

Впрочем, все их путешествия обычно заканчивались игрой в четыре угла. Отыскивали полянку или широкую полосу дороги и играли, как школьники на загородной прогулке.

Обеим сестрам Ориоль и даже Гонтрану большое удовольствие доставляла эта забава, удовлетворявшая желанию побегать, свойственному всем молодым существам. Только Поль Бретиньи хмурился и ворчал, одержимый совсем иными мыслями, но мало-помалу и его увлекала игра, он принимался догонять и ловить с еще бо́льшим пылом, чем другие, стремясь поймать Христиану, коснуться ее, внезапно положить ей руку на плечо, дотронуться до ее стана.

Маркиз, человек беспечный и равнодушный по природе, покладистый во всем, лишь бы не нарушали его безмятежного душевного покоя, усаживался под деревом и смотрел, «как резвится его пансионат». Он находил, что эта мирная сельская жизнь очень приятна и все на свете превосходно.

Однако поведение Поля вскоре стало внушать Христиане страх. Однажды она даже по-настоящему испугалась его.

Как-то утром они пошли вместе с Гонтраном на «Край света» — так называли живописное ущелье, из которого вытекала анвальская речка.

Это извилистое ущелье, все более сужаясь, глубоко врезается в горный кряж. Надо пробираться между огромными глыбами, переправляться через ручей по крупным булыжникам, а когда обогнешь скалистый выступ горы высотою больше пятидесяти метров, перегородивший всю теснину, вдруг попадаешь в какой-то каменный ров с исполинскими стенами, лишь вверху поросшими кустарником и деревьями.

Ручей разливается здесь маленьким, совершенно круглым озерком; и какой же это дикий, глухой уго-

лок, странный, фантастический, неожиданный; такой чаще встретишь в книжных описаниях, чем в природе.

И вот в то утро Поль, разглядывая высокий уступ скалы, который всем преграждал путь на прогулке, заметил на гранитном барьере следы, доказывавшие, что кто-то карабкался на него.

Он сказал:

— А ведь можно пройти и дальше!

И не без труда взобравшись на отвесную стенку, крикнул:

— О-о! Вот прелесть! Рощица в воде! Взбирайтесь!

Он лег ничком на верхушке глыбы, протянул руки и стал подтягивать Христиану, а Гонтран, поднимаясь вслед за ней, поддерживал ее и ставил ее ноги на каждый едва заметный выступ.

Позади этой преграды на каменную площадку упала когда-то земля, обвалившаяся с вершины горы, и там разросся дикий ветвистый садик, где бежал между стволами деревьев ручей.

Немного подальше гранитный коридор был перегорожен вторым уступом; они перелезли и через него, потом через третий и очутились у подножия непреодолимой кручи, откуда с высоты двадцати метров ручей падал отвесным водопадом в вырытый им глубокий водоем, укрытый сплетениями лиан и ветвей.

Расщелина стала такой узкой, что два человека, взявшись за руки, могли бы достать до обеих ее стенок. Вверху, высоко, виднелась полоска неба, в теснине слышался шум водопада; они оказались в одном из тех сказочных тайников природы, которые латинские поэты населяли нимфами античных мифов. Христиане казалось, что они дерзостно ворвались во владения какой-нибудь феи.

Поль Бретиньи молчал. Гонтран воскликнул:

— Ах, как бы это было красиво, если б в этом водоеме купалась белокурая женщина с нежно-розовым телом!

Они пошли обратно. С первых двух уступов спускаться было довольно легко, но третий напугал Христиану — такой он был высокий и отвесный: казалось, некуда поставить ногу.

Бретиньи соскользнул по гранитной стенке, протянул руки и крикнул.

— Прыгайте!

Христиана не решалась — не оттого, что боялась упасть,— ее страшил он сам, особенно его глаза.

Он смотрел на нее жадным взглядом голодного зверя, и в этом взгляде была какая-то злобная страсть; руки, протянутые к ней, звали ее так властно, что ее охватил безумный страх, ей хотелось с пронзительным воплем кинуться прочь, вскарабкаться на отвесную скалу, только бы спастись от этого непреодолимого призыва.

Брат, стоявший позади нее, крикнул: «Да ну же, прыгай!» — и толкнул ее; Христиана в ужасе закрыла глаза и полетела куда-то в пропасть, но вдруг нежные и крепкие объятия подхватили ее, и, ничего не сознавая, ничего не видя, она скользнула вдоль большого сильного тела, ощутив на своем лице жаркое прерывистое дыхание. Но вот уже ноги ее коснулись земли, страх прошел, она открыла глаза и, улыбаясь, стала смотреть, как спускается Гонтран.

Однако пережитое волнение сделало ее благоразумной, несколько дней она остерегалась оставаться наедине с Полем Бретиньи, а он, казалось, бродил теперь вокруг нее, как волк из басни бродит вокруг овечки.

Но как-то раз задумали совершить дальнюю прогулку. Решили взять с собою провизию и поехать в шестиместном ландо вместе с сестрами Ориоль на Тазенатское озеро, которое местные жители называли «Тазенатский чан», пообедать там на траве и вернуться домой ночью, при лунном свете.

Выехали в знойный день после полудня, когда солнце жгло нещадно и накалило гранитные утесы, как стенки жарко натопленной печки.

Тройка мокрых от пота лошадей, тяжело поводя боками, медленно тащила в гору старую коляску; кучер клевал носом на козлах; по краям дороги между камней шныряли зеленые ящерицы. Горячий воздух, казалось, был насыщен тяжелой огненной пылью; порой он как будто застывал плотной неподвижной пеленой, которую нужно было прорывать, а иногда чуть-

чуть колыхался, обдавая лицо дыханием пожара и густым запахом нагретой солнцем смолы, разливавшимся из длинных сосновых перелесков по обеим сторонам дороги.

В ландо все молчали. Три дамы, помещавшиеся на заднем сиденье, прикрывались зонтиками и жмурились в розовой их тени, спасаясь от жгучих лучей, слепивших глаза; маркиз и Гонтран спали, закрыв лицо носовым платком; Поль смотрел на Христиану, и она тоже следила за ним взглядом из-под опущенных ресниц.

Оставляя за собой столб белой пыли, коляска все ехала и ехала по бесконечному подъему.

Но вот выбрались на плоскогорье. Кучер встрепенулся, выпрямился, лошади взяли рысью, и коляска покатилась по гладкой дороге, пролегавшей среди широкой, волнистой, распаханной равнины, где были разбросаны рощи, деревни и одинокие домики. Вдалеке, слева, виднелись высокие усеченные конусы вулканов. Тазенатское озеро — цель прогулки — образовалось в кратере самого дальнего вулкана, на краю оверньской горной гряды.

Они ехали уже три часа. Вдруг Поль сказал:

— Смотрите, лава!

У края дороги землю прорезали причудливо изогнутые коричневые глыбы и застывшие каменные потеки. Справа выросла какая-то странная, приплюснутая гора с плоской верхушкой, казалось, пустой внутри. Тогда свернули на узкую дорогу, как будто врезавшуюся треугольником в эту гору. Христиана приподнялась, и вдруг перед ее глазами в большом и глубоком кратере заблестело озеро, чистое, совершенно круглое, сверкавшее на солнце, как новенькая серебряная монета. Склоны кратера, справа лесистые, слева голые, окружали его высокой ровной оградой. В спокойной воде, отливавшей металлическим блеском, справа отражались деревья, слева — бесплодный гранитный склон; отражались так четко, так ярко, что берега́ нельзя было отличить от их отражений, и только в середине этой огромной воронки виднелся голубой зеркальный круг, в который гляделось небо, и он ка-

зался сияющей бездной, провалом, доходившим сквозь землю до другого небосвода.

Дальше в экипаже нельзя было проехать. Все вылезли и пошли лесистым берегом по дорожке, огибавшей озеро на середине склона. Дорожка эта, по которой ходили только дровосеки, вся заросла травой, на ней было зелено, как на лугу, а сквозь ветви деревьев виднелся другой, суровый берег и вода, искрившаяся в этой горной чаше.

Через полянку вышли на самый берег и устроились под тенистым дубом на откосе, поросшем травой. Все вытянулись на мягкой, густой траве с каким-то чувственным наслаждением. Мужчины катались по ней, зарывались в нее руками. Женщины, спокойно лежа, прижимались к ней щекою, как будто искали ласки свежих, сочных ее стеблей.

После палящей жары в дороге все испытывали такое приятное, такое отрадное ощущение прохлады и покоя, что оно казалось почти счастьем.

Маркиз снова заснул, а вскоре и Гонтран последовал его примеру. Поль тихо разговаривал с Христианой и девушками. О чем? О всяких пустяках. Время от времени кто-нибудь произносил какую-то фразу. Другой, помолчав, отвечал: лень было думать, лень говорить, и мысли и слова, казалось, замирали в дремоте.

Кучер принес корзину с провизией. Сестры Ориоль, с детства приученные к домашним заботам и еще сохранившие привычку хлопотать по хозяйству, тотчас принялись немного поодаль распаковывать корзину и приготовлять все для обеда.

Поль остался один с Христианой; она задумалась о чем-то и вдруг услышала еле внятный шепот, такой тихий, как будто ветер прошелестел в ветвях, слова, которые прошептал Поль: «В моей жизни не было лучшего мгновения».

Почему эти туманные слова взволновали ей всю душу? Почему они так глубоко растрогали ее?

Она по-прежнему смотрела в сторону и сквозь деревья увидела маленький домик — хижину охотников или рыболовов,— совсем маленький, наверно, в нем была только одна комната. Поль заметил, куда она смотрит, и спросил:

— Случалось ли вам когда-нибудь думать о том, как хорошо было бы жить в такой вот хижинке двум любящим, безумно любящим людям? Одни, совсем одни в целом мире — только он и она!.. И если возможно такое блаженство, разве не стоит ради него все бросить, от всего отказаться?.. Счастье... Ведь оно приходит так редко, и такое оно неуловимое, краткое. А разве наши будни — это жизнь? Какая тоска! Вставать утром, не ведая пламенной надежды, смиренно тянуть лямку все одних и тех же занятий и дел, пить, есть, соблюдать во всем умеренность и осторожность да спать по ночам крепким сном с невозмутимым спокойствием чурбана.

Христиана все смотрела на домик, и к горлу у нее подступили слезы: она вдруг поняла, что есть в жизни опьяняющее счастье, о существовании которого она никогда и не подозревала.

Теперь и она тоже думала о том, что в этом домике, приютившемся под деревьями, хорошо было бы укрыться вдвоем и жить вот тут, на берегу чудесного, игрушечного озера, сверкающего, как драгоценность, настоящего зеркала любви. Вокруг была бы такая тишина — ни звука чужих голосов, ни малейшего шума жизни. Только любимый человек возле нее. Они вместе часами смотрели бы на голубое озеро, а он бы еще смотрел в ее глаза, говорил бы ласковые, нежные слова, целуя ей кончики пальцев.

Они жили бы здесь в лесной тиши, и этот кратер стал бы хранителем их страсти, как хранит он в своей чаше глубокое прозрачное озеро, замкнув его высокой ровной оградой своих берегов; пределом для взгляда были бы эти берега, пределом мыслей — счастье любви, пределом желаний — тихие бессчетные поцелуи.

Выпадает кому-нибудь в мире на долю такое счастье? Наверно. Почему же не быть ему на свете? И как же это она раньше даже и не думала, что могут быть такие радости?

Сестры Ориоль объявили, что обед готов. Было уже шесть часов. Разбудили маркиза и Гонтрана, и все уселись по-турецки перед тарелками, скользившими по траве. Сестры Ориоль по-прежнему исполняли обязанности горничных, и мужчины преспокойно принимали

их услуги. Ели медленно, бросая в воду куриные кости и кожуру фруктов. Принесли шампанское, и, когда хлопнула пробка первой бутылки, все поморщились — таким здесь казался неуместным этот звук.

День угасал; в воздухе посвежело; с вечерним сумраком на озеро, дремавшее в глубине кратера, спустилась смутная печаль.

Солнце закатывалось, небо на западе запылало, и озеро стало огненной чашей; потом солнце скрылось за горой, по небу протянулась темно-красная полоса, багряная, как потухающий костер, и озеро стало кровавой чашей. И вдруг над гребнем горы показался почти полный диск луны, совсем еще бледный на светлом небе. А потом по земле поползла тьма, луна же все поднималась и засияла над кратером, такая же круглая, как он. Казалось, она вот-вот упадет в него. И когда луна встала над серединой озера, оно превратилось в чашу расплавленного серебра, а его спокойная, недвижная гладь вдруг подернулась рябью, то пробегавшей стремительной змейкой, то медленно расплывавшейся кругами. Как будто горные духи реяли над озером, задевая воду своими невидимыми покрывалами.

Это выплыли из глубины озера большие рыбы — столетние карпы, прожорливые щуки — и принялись играть при лунном свете.

Сестры Ориоль уложили в корзинку всю посуду и бутылки; кучер унес ее. Пора было отправляться домой.

Пошли по лесной дорожке, где сквозь листву дождем падали на траву пятнышки лунного света; Христиана шла предпоследней, впереди Поля, и вдруг услышала почти у самого своего уха прерывистый тихий голос:

— Люблю вас!.. Люблю!.. Люблю!..

Сердце у нее так заколотилось, что она чуть не упала. Ноги подкашивались, но она все-таки шла, совсем обезумев; ей хотелось обернуться, протянуть к нему руки, броситься в его объятия, принять его поцелуй. А он схватил край косынки, прикрывавшей ее плечи, и целовал его с каким-то неистовством. Она шла, почти теряя сознание, земля ускользала у нее из-под ног.

Внезапно темный свод ветвей кончился, все вокруг было залито светом, и Христиана сразу овладела собой. Но прежде чем сесть в коляску, прежде чем скрылось из виду озеро, она обернулась и, прижав к губам обе руки, послала ему воздушный поцелуй; и тот, кто шел вслед за нею, все понял.

Всю дорогу Христиана сидела не шевелясь, не в силах ни двигаться, ни говорить, ошеломленная, разбитая, словно она упала и ушиблась. Как только подъехали к отелю, она быстро поднялась по лестнице и заперлась в своей комнате. Она заперла дверь и на задвижку и на ключ — таким неотвязным было это ощущение преследующего ее, стремящегося к ней страстного мужского желания. Вся замирая, стояла она посреди полутемной пустой комнаты. На столе горела свеча, и по стенам протянулись дрожащие тени мебели и занавесок. Христиана бросилась в кресло. Мысли ее путались, ускользали, разбегались, она не могла связать их. А в груди накипали слезы — так ей почему-то стало горько, тоскливо, такой одинокой, заброшенной чувствовала она себя в этой пустой комнате, и так страшно было, что в жизни она заблудилась, точно в лесу.

Куда же она идет? Что теперь делать?

Ей было трудно дышать. Она встала, отворила окно, толкнула ставни и оперлась на подоконник. Потянуло прохладой. Одинокая луна, затерявшаяся в высоком и тоже пустом небе, далекая и печальная, поднималась теперь к самому зениту синеватого небесного свода и лила на листву и на горы холодный, жесткий свет.

Весь край спал. В глубокой тишине долины порой разносились только слабые звуки скрипки: Сен-Ландри всегда до позднего часа разучивал свои арии; Христиана почти не слышала их. Дрожащая, скорбная жалоба трепещущих струн то смолкала, то вновь звучала в воздухе.

И эта луна, затерявшаяся в пустынном небе, и эта еле слышная песня скрипки, терявшаяся в безмолвии ночи, пронизывали душу такой болью одиночества, что Христиана разрыдалась. Она вся содрогалась от рыданий, ее бил озноб, мучительно щемило сердце, как это

бывает, когда к человеку подкрадывается опасная болезнь, и она вдруг поняла, что она совсем одинока в жизни.

До сих пор она этого не сознавала, а теперь тоска одиночества так овладела ею, что ей казалось, будто она сходит с ума.

Но ведь у нее были отец, брат, муж! Она же все-таки их любила, и они любили ее. А вот вдруг она сразу отошла от них, они стали чужими, как будто она едва была знакома с ними. Спокойная привязанность отца, приятельская близость брата, холодная нежность мужа теперь казались ей пустыми, ничтожными. Муж! Да неужели этот румяный болтливый человек, равнодушно бросавший: «Ну как, дорогая, вы хорошо себя чувствуете сегодня?» — ее муж? И она принадлежит этому человеку? Ее тело и душа стали его собственностью в силу брачного контракта? Да как же это возможно? Она чувствовала себя совсем одинокой, загубленной. Она крепко зажмурила глаза, чтобы заглянуть внутрь себя, чтобы лучше сосредоточиться.

И тогда все они, те, кто жил возле нее, прошли перед ее внутренним взором: отец — беспечный себялюбец, довольный жизнью, когда не нарушали его покой; брат — насмешливый скептик; шумливый муж — человек-автомат, выщелкивающий цифры, с торжеством говоривший ей: «Какой я сегодня куш сорвал!» — когда он мог бы сказать: «Люблю тебя!»

Не он — другой прошептал ей эти слова, все еще звучавшие в ее ушах, в ее сердце. Он, этот другой, тоже встал перед ее глазами, она чувствовала на себе его пристальный, пожирающий взгляд. И если бы он очутился в эту минуту возле нее, она бросилась бы в его объятия!

VII

Христиана легла очень поздно, но лишь только в незатворенное окно потоком красного света хлынуло солнце, она проснулась.

Она поглядела на часы — пять часов — и снова вытянулась на спине, нежась в теплоте постели. На душе у нее было так весело и радостно, как будто ночью к

ней пришло счастье, какое-то большое, огромное счастье. Какое же? И она старалась разобраться, понять, что же это такое — то новое и радостное, что всю ее пронизывает счастьем. Тоска, томившая ее вчера, исчезла, растаяла во сне.

Так, значит Поль Бретиньи любит ее! Он казался ей совсем другим, чем в первые дни. Сколько ни старалась она вспомнить, каким видела его в первый раз, ей это не удавалось. Теперь он стал для нее совсем иным человеком, ни в чем не похожим на того, с кем ее познакомил брат. Ничего в нем не осталось от того, прежнего Поля Бретиньи, ничего: лицо, манера держаться и все, все стало совсем другим, потому что образ, воспринятый вначале, постепенно, день за днем, подвергался переменам, как это бывает, когда человек из случайно встреченного становится для нас хорошо знакомым, потом близким, потом любимым. Сами того не подозревая, мы овладеваем им час за часом, овладеваем его чертами, движениями, его внешним и внутренним обликом. Он у нас в глазах и в сердце, он проникает в нас своим голосом, своими жестами, словами и мыслями. Его впитываешь в себя, поглощаешь, все понимаешь в нем, разгадываешь все оттенки его улыбки, скрытый смысл его слов; и наконец кажется, что весь он, целиком принадлежит тебе, настолько любишь пока еще безотчетной любовью все в нем и все, что исходит от него.

И тогда уж очень трудно припомнить, каким он показался нам при первой встрече, когда мы смотрели на него равнодушным взглядом.

Поль Бретиньи любит ее! От этой мысли у Христианы не было ни страха, ни тревоги, а только глубокая благодарная нежность и совсем для нее новая, огромная и чудесная радость — быть любимой и знать это.

Только одно беспокоило ее: как же теперь держать себя с ним, как он будет держаться? Этот щекотливый вопрос смущал ее совесть, и она отстраняла подобные мысли, полагаясь на свое чутье, свой такт, решив, что сумеет управлять событиями. Она вышла из отеля в обычный час и увидела Поля — он курил у подъезда папиросу. Он почтительно поклонился.

— Доброе утро, сударыня! Как вы себя чувствуете сегодня?

— Благодарю вас,— ответила она с улыбкой,— очень хорошо. Я спала прекрасно.

И она протянула ему руку, опасаясь, что он задержит ее руку в своей. Но он лишь слегка пожал ее, и они стали дружески беседовать, как будто оба все уже позабыли.

За весь день он ни словом, ни взглядом не напомнил ей о страстном признании у Тазенатского озера. Прошло еще несколько дней, он был все таким же спокойным, сдержанным, и у нее вернулось доверие к нему. «Конечно, он угадал, что оскорбит меня, если станет дерзким»,— думала она. И надеялась, твердо верила, что их отношения навсегда остановятся на том светлом периоде нежности, когда можно любить и смело смотреть друг другу в глаза, не мучась укорами совести, ничем ее не запятнав.

Все же она старалась не удаляться с ним от других.

Но вот в субботу вечером, на той же неделе, когда они ездили к Тазенатскому озеру, маркиз, Христиана и Поль возвращались в десятом часу в отель, оставив Гонтрана доигрывать партию в экарте с Обри-Пастером, Рикье и доктором Онора в большом зале казино, и Бретиньи, заметив луну, засеребрившуюся сквозь ветви деревьев, воскликнул:

— А хорошо было бы пойти в такую ночь посмотреть на развалины Турноэля!

И Христиану тотчас увлекла эта мысль — лунный свет, развалины имели для нее то же обаяние, как и почти для всех женщин.

Она сжала руку отца:

— Папа, папочка! Пойдем туда!

Он колебался, ему очень хотелось спать. Христиана упрашивала:

— Ты только подумай: Турноэль и днем необыкновенно красив,— ты ведь сам говорил, что никогда еще не видел таких живописных развалин. Этот замок, и эта высокая башня... А ты представь себе, как же они должны быть прекрасны в лунную ночь!

Маркиз наконец согласился.

— Ну хорошо, пойдемте. Только с одним услови-

ем: полюбуемся пять минут и сейчас же обратно. В одиннадцать часов мне полагается уже лежать в постели.

— Да, да. Мы сейчас же вернемся. Туда и идти-то всего двадцать минут.

И они направились втроем к Турноэлю. Христиана шла под руку с отцом, а Поль рядом с нею.

Он рассказывал о своих путешествиях по Швейцарии, по Италии и Сицилии, описывал свои впечатления, восторг, охвативший его на гребне Монте-Роза, когда солнце взошло над грядой покрытых вечными снегами исполинов, бросило на льдистые вершины ослепительно яркий белый свет и они зажглись, словно бледные маяки в царстве мертвых. Он говорил о том волнении, которое испытал, стоя на краю чудовищного кратера Этны, почувствовав себя ничтожной букашкой на этой высоте в три тысячи метров, среди облаков, видя вокруг лишь море и небо — голубое море внизу, голубое небо вверху, и когда, наклонившись над кратером, над этой страшной пастью земли, он чуть не задохнулся от дыхания бездны.

Он рисовал то, что видел, широкими мазками, сгущая краски, чтобы взволновать свою молодую спутницу, а она жадно слушала его и, следуя мыслью за ним, как будто сама видела все эти величественные картины.

Но вот на повороте дороги перед ними вырос Турноэль. Древний замок на островерхой скале и высокая тонкая его башня, вся сквозная от расселин, пробоин, ото всех разрушений, причиненных временем и давними войнами, вырисовывались в призрачном небе волшебным видением.

Все трое в изумлении остановились. Наконец маркиз сказал:

— В самом деле, очень недурно. Словно воплощенный фантастический замысел Гюстава Доре. Посидим тут пять минут.

И он сел на дерновый откос дороги.

Но Христиана, не помня себя от восторга, воскликнула:

— Ах, папа, подойдем к нему поближе! Ведь это так красиво, так красиво! Умоляю тебя!

На этот раз маркиз отказался наотрез:

— Ну уж нет, дорогая. Я сегодня нагулялся, больше не могу. Если хочешь посмотреть поближе, ступай с господином Бретиньи, а я вас здесь подожду.

Поль спросил:

— Хотите, сударыня?

Она колебалась, не зная, как быть,— боялась остаться с ним наедине и боялась оскорбить этим недоверием порядочного человека.

— Ступайте, ступайте,— повторил маркиз.— Я вас здесь подожду.

Тогда она подумала, что отцу ведь будут слышны их голоса, и сказала решительно:

— Идемте, сударь.

И они пошли вдвоем по дороге.

Но уже через несколько минут ее охватило мучительное волнение, смутный, непонятный страх — страх перед черными развалинами, страх перед ночью, перед этим человеком. Ноги вдруг перестали слушаться ее, как в тот вечер у Тазенатского озера, они как будто вязли в болотной топи, каждый шаг давался с трудом.

У дороги, на краю луга, рос высокий каштан. Христиана, задыхаясь, как будто она долго бежала, бросилась на землю и прислонилась спиной к стволу дерева.

— Я не пойду дальше... Отсюда хорошо видно,— невнятно сказала она.

Поль сел рядом с нею. Она слышала, как бьется его сердце быстрыми, резкими толчками. С минуту они молчали. Потом Поль спросил:

— Вам не кажется, что мы уже жили когда-то прежде?

Ничего не понимая от волнения и страха, она прошептала:

— Не знаю. Я никогда об этом не думала.

Он сказал:

— А я думаю иногда... вернее, чувствую это. Ведь человек состоит из души и тела, они как будто отличны друг от друга, но природа их одна и та же, и, несомненно, они могут возродиться, если элементы, составившие их в свое время, соединятся в том же сочетании. И новый человек будет не таким же точно, но

очень схожим с тем, кто существовал когда-то, если тело, подобное прежнему, оживит душа, подобная прежней. Сегодня вечером я чувствую, я уверен, что я жил когда-то в этом замке. Я узнаю свое гнездо, я владел им, сражался в нем, оборонял его. Это несомненно. И я уверен также, что любил тогда женщину, очень похожую на вас, ее даже и звали так же, как вас, Христианой! Я настолько в этом уверен, что, мне кажется, я вновь вижу вас вон там, на этой башне, вы зовете меня оттуда. Ну, вспомните, постарайтесь вспомнить! Позади замка спускается в глубокую долину лес. Мы с вами часто бродили там. В теплые летние вечера на вас были легкие одежды, а на мне тяжелые доспехи, звеневшие под сводами листвы.

Неужели вы не помните, Христиана? Подумайте и постарайтесь вспомнить. Ведь ваше имя мне так знакомо, как будто я слышал его с детских лет. А если внимательно осмотреть все камни этой крепости, на одном из них прочтешь его — оно вырезано моей рукой. Да, да, уверяю вас, я узнаю мое гнездо и мой край, так же как я узнал вас при первой же встрече, с первого взгляда.

Он говорил со страстной убежденностью, вдохновленный близостью этой женщины, красотой этой лунной ночи и развалин.

Внезапно он стал на колени пе́ред Христианой и прерывающимся голосом сказал:

— Позвольте же мне поклоняться вам! Я так долго искал вас и наконец нашел!

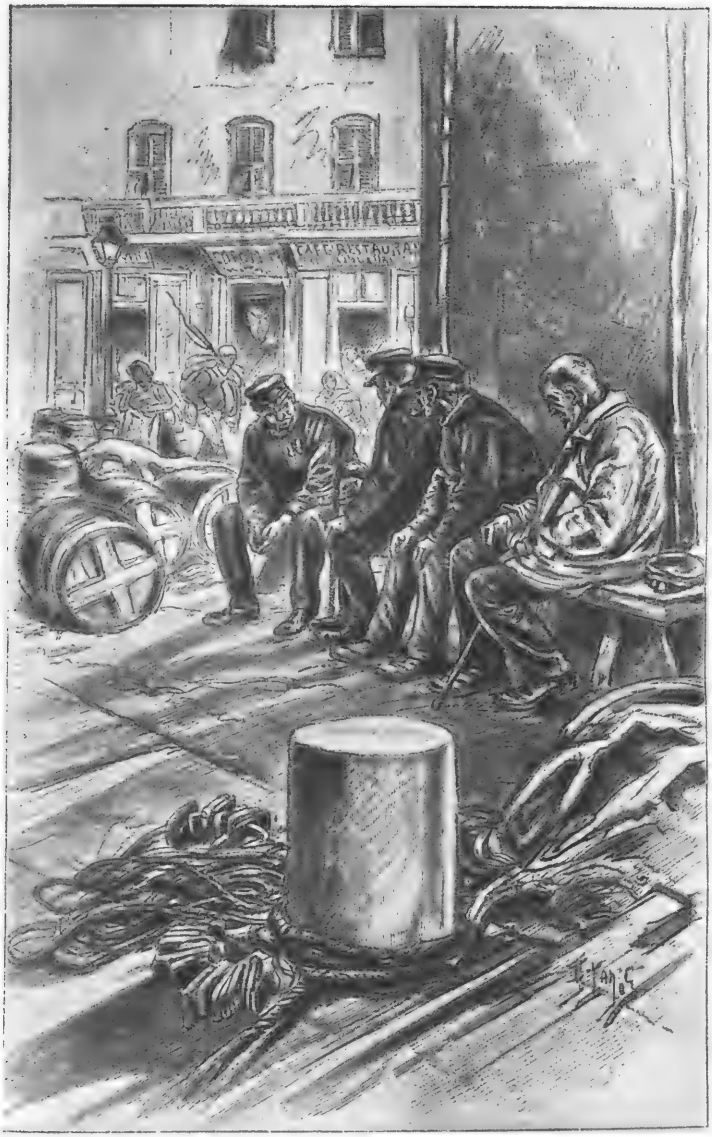
Она хотела подняться, уйти, вернуться к отцу, но не было сил, не хватало мужества; ее удерживало, сковывало ее волю жгучее желание слушать его, впивать сердцем слова, восхищавшие ее. Она как будто перенеслась в волшебный мир всегда манящих мечтаний, поэтических грез, в мир лунного света и баллад.

Он схватил ее руки и, целуя ей кончики пальцев, шептал:

— Христиана!.. Христиана! Возьмите меня!.. Убейте меня!.. Люблю вас... Христиана...

Она чувствовала, как он дрожит, трепещет у ее ног. Он целовал ей колени, и из груди у него вырывались

Худ. К. Рудаков. 1936. «МОНТ-ОРИОЛЬ».



Худ. Лано. 1904. «НА ВОДЕ».

глухие рыдания. Ей стало страшно, не сошел ли он с ума, и она торопливо поднялась, хотела бежать. Но он вскочил быстрее, чем она, и, схватив ее в объятия, впился в ее губы поцелуем.

И тогда без крика, без возмущения, без сопротивления она упала на траву, как будто от этого поцелуя у нее подкосились ноги, сломилась воля. И он овладел ею так же легко, как срывают созревший плод.

Но едва он разжал объятия, она поднялась и бросилась бежать, обезумев, вся дрожа, вся похолодев, как будто упала в ледяную воду. Он догнал ее в несколько прыжков и, схватив за плечо, прошептал:

— Христиана, Христиана!.. Осторожнее,— там ваш отец!

Она пошла медленнее, не отвечая, не оборачиваясь, машинально передвигая ноги, неровной походкой, спотыкаясь. Он шел следом молча, не смея заговорить с ней.

Завидев их, маркиз поднялся.

— Идемте скорее,— сказал он.— Мне уж холодно стало. Все это очень живописно, но для здоровья вредно.

Христиана прижималась к отцу, как будто искала у него защиты, искала приюта в его нежности.

Вернувшись в свою комнату, она мгновенно разделась, бросилась в постель, накрылась одеялом с головой и заплакала. Уткнувшись лицом в подушку, она плакала долго-долго, уничтоженная, обессиленная. Не было у нее ни мыслей, ни страданий, ни сожаления. Она не думала, не размышляла и сама не знала, почему плачет. Она плакала безотчетно, как случается, поют, когда на душе радостно. Измучившись, изнемогая от долгих слез и рыданий, разбитая усталостью, она наконец уснула.

Ее разбудил тихий стук в дверь, выходившую в гостиную. Было уже совсем светло, часы показывали девять. Она крикнула: «Войдите!» — и на пороге показался ее муж, веселый, оживленный, в дорожной фуражке, с неизменной дорожной сумкой через плечо, в которой он держал деньги.

Он крикнул:

— Как, ты еще спишь, дорогая! Я разбудил тебя? Нагрянул без предупреждения. Надеюсь, ты здорова? В Париже прекрасная погода.

И, сняв фуражку, он подошел, чтобы поцеловать ее.

Она съежилась и прижалась к стене в безумном нервном страхе перед этим румяным самодовольным человеком, вытянувшим губы для поцелуя. Потом вдруг закрыла глаза и подставила ему лоб. Муж спокойно приложился к нему и сказал:

— Ты позволишь мне помыться в твоей туалетной? Меня не ждали сегодня, и в моей комнате ничего не приготовлено.

Она ответила торопливо:

— Ну конечно, пожалуйста.

Он исчез за дверью позади кровати.

Христиана слышала, как он там возится, плещется, насвистывает. Потом он крикнул:

— Что у вас новенького? У меня очень хорошие новости. Результат анализа превзошел все ожидания. Мы можем излечивать на три болезни больше, чем курорт Руайя. Великолепно!

Она села в постели, едва дыша, совсем потеряв голову от неожиданного возвращения мужа, как от болезненного удара, пробудившего в ней угрызения совести. Он вышел из туалетной довольный, сияющий, распространяя вокруг себя крепкий запах вербены. Потом уселся в ногах постели и спросил:

— А что наш паралитик? Как он чувствует себя? Начал уже ходить?.. Невозможно, чтоб он не выздоровел: в воде обнаружено столько целебных свойств!..

Христиана совсем забыла о паралитике и уже несколько дней не ходила к источнику. Она пробормотала:

— Ну да... конечно... Кажется, ему уже лучше... Впрочем, я на этой неделе не ходила туда... Мне нездоровится...

Он посмотрел на нее внимательней и заметил:

— А правда, ты что-то бледненькая... Хотя это тебе очень идет. Очень! Как ты сейчас мила! Необыкновенно мила!..

Он пододвинулся и, наклонившись, хотел просунуть руку ей под спину, чтобы ее обнять.

Но она отпрянула с таким ужасом, что он остолбенел, застыл с протянутой к ней рукой и оттопыренными для поцелуя губами. Затем он спросил:

— Что с тобой? До тебя дотронуться нельзя! Я ведь не сделаю тебе больно!

И он опять потянулся к ней, глядя на нее загоревшимися глазами.

Она заговорила, запинаясь:

— Нет... Оставь меня... оставь меня... Потому что... потому что... Мне кажется... кажется, я беременна...

Она сказала это, обезумев от страха, наобум, думая только, как бы избежать его прикосновения,— так же могла бы она сказать, что у нее проказа или чума.

Он тоже побледнел — от глубокого, но радостного волнения — и только прошептал: «Уже?!» Теперь ему хотелось целовать ее долгими, нежными поцелуями счастливого и признательного отца семейства. Потом он забеспокоился:

— Да возможно ли это?.. Как же это?.. Ты уверена? Так скоро?

Она ответила:

— Да... возможно.

Тогда он закружился по комнате и закричал, потирая руки:

— Вот так штука, вот так штука! Какой счастливый день!

В дверь опять постучали. Андермат открыл ее, и горничная доложила:

— Пришел доктор Латон, хотел бы поговорить с вами по важному делу.

— Хорошо. Попросите в гостиную. Я сейчас приму его.

И Андермат вышел в смежную гостиную. Тотчас появился доктор. Вид у него был торжественный, натянутый и холодный. Он поклонился, едва пожав протянутую руку банкира, с удивлением смотревшего на него, сел и приступил к объяснению тоном секунданта, обсуждающего условия дуэли:

— Многоуважаемый господин Андермат, я попал в очень неприятную историю и должен изложить ее, для того чтобы вы поняли мое поведение. Когда вы оказали мне честь, пригласив меня к вашей супруге,

я немедленно явился, но, оказывается, за несколько минут до моего прихода к ней был приглашен маркизом де Равенель мой коллега, инспектор водолечебницы, который, очевидно, пользуется бо́льшим доверием госпожи Андермат, нежели я. И получилось так, что я, придя вторым, как будто бы хитростью отнял у доктора Бонфиля пациентку, хотя он по праву уже мог считать себя ее врачом, и, следовательно, я как будто совершил поступок некрасивый, неблаговидный, недопустимый между коллегами. А нам, многоуважаемый господин Андермат, при исполнении наших обязанностей необходимы большой такт, большая корректность и сугубая осторожность, во избежание всяческих трений, которые могут привести к серьезным последствиям. Доктор Бонфиль, осведомленный о моем врачебном визите к вам, счел меня виновным в неблаговидном поступке — действительно, обстоятельства говорили против меня — и отозвался об этом в таких выражениях, что, если бы не его почтенный возраст, я бы вынужден был потребовать у него удовлетворения. Для того чтобы оправдать себя в его глазах и в глазах всей местной медицинской корпорации, у меня остается только один выход: как мне это ни прискорбно, я должен прекратить лечение вашей супруги, рассказать всю правду об этом деле, а вас просить принять мои извинения.

Андермат ответил в большом замешательстве:

— Я прекрасно понимаю, доктор, в каком затруднительном положении вы оказались. Но ни я, ни моя жена тут не виноваты, всему виной мой тесть,— это он позвал доктора Бонфиля, не предупредив нас. Может быть, мне следует пойти к вашему коллеге и объяснить ему, что...

Доктор Латон перебил его:

— Это бесполезно, господин Андермат. Тут вопрос стоит о требованиях врачебной этики и чести, которые для меня непререкаемы, и, несмотря на глубочайшее мое сожаление...

Андермат, в свою очередь, перебил его. Как человек богатый, как человек, который хорошо платит, которому ничего не стоит заплатить за врачебный совет пять, десять, двадцать или сорок франков, купить его,

как покупают коробок спичек за три су; человек, уверенный, что все должно принадлежать ему по праву золотого мешка, знающий рыночную стоимость всего на свете, каждой вещи и каждого человеческого существа, признающий только эту стоимость и умеющий точно определить ее в денежном выражении,— он был возмущен дерзостью какого-то торговца рецептами и заявил резким тоном:

— Хорошо, доктор. На этом и покончим. Однако желаю вам, чтоб этот шаг не имел плачевных последствий для вашей карьеры. Еще посмотрим, кто больше пострадает от такого решения — вы или я.

Разобиженный доктор встал и, поклонившись с церемонной вежливостью, заявил:

— Конечно, я, милостивый государь! Нисколько в этом не сомневаюсь. Этот шаг будет мне стоить очень дорого во всех отношениях. Но если приходится выбирать между выгодой и совестью, я колебаться не привык!

И он вышел. В дверях он столкнулся с маркизом, который направлялся в гостиную, держа в руке какое-то письмо. Как только г-н де Равенель остался с зятем один на один, он воскликнул:

— Послушайте, дорогой! Какая со мной произошла досадная неприятность, и притом по вашей вине! Доктор Бонфиль обиделся, что вы пригласили к Христиане его коллегу, и послал мне счет с весьма сухой запиской, предупреждая, чтобы я больше не рассчитывал на его услуги.

Тут Андермат совсем рассердился. Он забегал по комнате, кричал, жестикулировал, сыпал словами, взвинчивая себя все больше, в том безобидном и напускном негодовании, которого никто всерьез не принимает. Он выкрикивал свои доводы: кто во всем виноват? Кто? Только его тесть. С какой стати ему вздумалось пригласить Бонфиля, этого болвана, дурака набитого, даже не предупредив его, Андермата, тогда как он прекрасно был осведомлен через своего парижского врача о сравнительных достоинствах всех трех анвальских шарлатанов!

Да и какое право имел маркиз устраивать эту врачебную консультацию за спиной мужа! Ведь только

муж может быть тут судьей, только он отвечает за здоровье своей жены! Словом, каждый день одно и то же! Вокруг него все делают глупости, одни только глупости! Он всегда, всегда об этом твердит. Но все его предупреждения — глас вопиющего в пустыне! Никто его не понимает, никто не верит его опытности, и убеждаются в его правоте, когда уже все пропало.

Он выкрикивал «мой доктор», «моя опытность» тоном собственника-монополиста. Притяжательные местоимения звякали в его тирадах, как монеты. А когда он восклицал: «Моя жена!» — чувствовалась полнейшая его убежденность, что маркиз потерял все права на свою дочь, поскольку он, Андермат, на ней женился, то есть купил ее,— для него это были равнозначащие понятия.

В самый разгар спора в комнату вошел Гонтран и, усевшись в кресло, стал с веселой усмешкой слушать. Он ничего не говорил, он только слушал и потешался.

Когда наконец банкир умолк, чтоб перевести дух, шурин его поднял руку и сказал:

— Прошу слова! Вы оба остались без докторов? Верно? Не беда! У меня есть кандидатура. Предлагаю доктора Онора, единственного, который имеет свое собственное мнение об анвальских водах, точное и непоколебимое. Он предписывает больным их пить, но сам их пить не станет ни за какие блага! Хотите, я приведу его? Переговоры беру на себя.

Другого выхода не было. Гонтрана попросили немедленно привести доктора Онора,— маркиза беспокоила мысль о перемене режима и лечения, и он желал сейчас же узнать мнение нового врача; Андермату не терпелось посоветоваться с ним относительно Христианы.

А Христиана слышала через тонкую стенку их разговоры, но не слушала, не понимала, о чем они говорят. Как только муж вышел из ее комнаты, она соскочила с постели, отбежала от нее, точно от какого-то опасного места, и торопливо оделась без помощи горничной. После того, что произошло с ней вчера, в голове у нее все перемешалось.

Все теперь стало для нее совсем другим, все изме-

нилось — и жизнь и люди. Снова послышался голос Андермата:

— А-а! Бретиньи! Здравствуйте, дорогой! Как поживаете?

Он уже не называл его «господином Бретиньи».

Второй голос ответил:

— Благодарю вас, очень хорошо, дорогой Андермат. Вы, что же, сегодня утром приехали?

У Христианы перехватило дыхание, когда она услышала голос Поля; она причесывалась в эту минуту и так и застыла с поднятыми кверху руками. Она как будто видела через стенку, как ее муж и Поль Бретиньи пожимают друг другу руки. От волнения ноги не держали ее, она села; волосы рассыпались у нее по плечам.

Теперь говорил Поль, и она вздрагивала всем телом при каждом его слове. Она не улавливала, не понимала смысла этих слов, но все они ударяли в сердце, как будто молотом били по нему.

И вдруг она произнесла почти громко: «Но ведь я люблю его... Я его люблю!» — как будто сделала вдруг неожиданное, поразительное открытие, нашла то, что могло ее утешить, спасти, оправдать перед собственной совестью. И она сразу же воспрянула духом, мгновенно приняла решение. Она снова стала причесываться и все повторяла шепотом: «У меня любовник, вот и все. У меня любовник». И, чтобы успокоить себя еще больше, избавиться от смятения и страха, она с пламенной убежденностью дала себе слово любить его всегда, беззаветной любовью, отдать ему свою жизнь, свое счастье, пожертвовать для него всем; следуя морали экзальтированных и побежденных сердец, в которых не заглох голос совести, она верила, что самоотверженная, преданная любовь все очищает.

И через стену, которая их разделяла, она посылала ему поцелуи. Все кончено, она отдает ему всю свою жизнь, как другие посвящают себя богу. Девочка, уже кокетливая, лукавая, но еще робкая и боязливая, вдруг умерла в ней — родилась женщина, созревшая для страстной любви, полная решимости и упорства, о которых до сих пор лишь смутно говорил твердый взгляд

голубых глаз, придававший смелое и почти дерзкое выражение тонким чертам ее лица.

Скрипнула дверь, и Христиана, не обернувшись, не взглянув, каким-то особым, внезапно проснувшимся в ней чутьем угадала, что вошел муж.

Он спросил:

— Ты скоро оденешься? Мы хотим пойти навестить паралитика, посмотреть, действительно ли ему лучше.

Христиана ответила спокойно:

— Сейчас, дорогой Виль, через пять минут.

Из гостиной Андермата позвал Гонтран, уже успевший вернуться.

— Представьте,— рассказывал он,— встретил сейчас в парке доктора Онора, и этот болван тоже отказался лечить вас,— из страха перед другими. Нес какую-то околесицу: установившиеся правила, обычаи, приличия, что скажут, что подумают... Словом, идиот, не лучше своих коллег. Вот уж, право, не думал, что он такая обезьяна!

Маркиз был потрясен. Мысль, что ему придется пользоваться водами без указаний врача, чего доброго, просидеть в ванне пять минут лишних, выпить одним стаканом меньше, чем полагается, приводила его в содрогание,— он верил, что все дозы, часы, стадии лечения основаны на незыблемых законах природы, которая позаботилась о больных, создав минеральные источники, и открыла их загадочные тайны только врачам, вдохновенным и умудренным жрецам науки.

Он закричал:

— Да что ж это! Тут и умереть недолго! Подохнешь, как собака, и ни один из этих господ не побеспокоится!..

Он кипел гневом, яростным гневом эгоиста, испугавшегося за свое драгоценное здоровье.

— Да какое они имеют право так поступать? Ведь они выбирают патент на врачебную практику, как лавочники-бакалейщики на свою торговлю! Мерзавцы! Надо их заставить! Они обязаны лечить всех, кто им платит; ведь обязан же кондуктор посадить в вагон всех пассажиров с билетами. Я напишу в газеты, я придам гласности это безобразие!

В волнении он шагал по комнате и вдруг остановился перед Гонтраном:

— Послушай, надо вызвать врача из Руайя или из Клермона! Что же, нам без докторов остаться?

Гонтран засмеялся.

— Господам целителям из Руайя и Клермона не могут быть досконально известны свойства анвальской влаги — она воздействует на органы пищеварения и кровообращения несколько иначе, чем их местные воды. А кроме того, будь уверен, они тоже откажутся, чтобы не подумали, что они хотят урвать клочок сенца из кормушки своих собратьев.

Маркиз в ужасе забормотал:

— Как же теперь? Что с нами будет?

Андермат схватился за шляпу.

— Не волнуйтесь. Предоставьте все это мне, и ручаюсь, что нынче же вечером,— слышите, нынче же вечером! — все трое — да, да, все трое — будут юлить перед нами. А теперь идемте навестить паралитика.

Он крикнул:

— Христиана, ты готова?

Она показалась в дверях, очень бледная, напряженная. Поцеловавшись с отцом и братом, она повернулась к Полю и протянула ему руку; он взял ее, опустив глаза и дрожа от мучительной тревоги. Маркиз, Андермат и Гонтран вышли, оживленно разговаривая, не обращая на них внимания; тогда Христиана устремила на Поля нежный и полный решимости взгляд и сказала твердо:

— Я принадлежу вам душой и телом. Теперь я вся в вашей власти.

И она вышла, не дав ему времени ответить.

Подходя к источнику Ориолей, они увидели широкополую шляпу старика Кловиса, как огромный гриб торчавшую из ямы, где он дремал на солнышке в теплой воде. Он уже привык к своей горячей ванне, просиживал в ней теперь все утро и уверял, что от этого у него кровь играет, как у молоденького.

Андермат разбудил его:

— Ну что, дружок, идет дело?

Узнав своего хозяина, старик осклабился:

— Идет, идет, как по маслу!

— И вы уже ходить начинаете?

— Прыгаю, как кролик, хозяин, как кролик! Вот кончится месяц — в воскресенье пойду плясать бурре со своей милочкой.

У Андермата забилось сердце, он повторил:

— В самом деле? Уже ходите?

Старик перестал шутить.

— Ну, еще не очень, не шибко еще хожу. А все-таки полегчало.

Банкиру захотелось сейчас же посмотреть, как ходит старый калека, и он засуетился, забегал вокруг ямы, в волнении командовал, как будто собирался поднять со дна моря затонувший корабль:

— Гонтран, возьмите его за правую руку! Бретиньи, берите за левую! Я буду поддерживать сзади. Ну, взяли! Раз, два, три! Дорогой тесть, тяните за ногу. Да нет, не за эту, а за ту, которая в воде. Ох, скорей, пожалуйста! Больше не могу! Ну, дружно! Раз, два, три — готово! Ух!

Старика вытащили и посадили на землю, а он смотрел на господ с насмешливым видом и нисколько не помогал их усилиям.

Потом его опять подняли, поставили на ноги, подали костыли, которыми он теперь пользовался для опоры, как палками, и он зашагал, согнувшись под прямым углом, волоча ноги и страдальчески охая. Он тащился по дороге, как улитка, оставляя за собою длинную мокрую полосу на белой пыли.

Андермат от восторга захлопал в ладоши и закричал, как кричат в театре, вызывая актеров:

— Браво! Браво! Великолепно! Браво!!!

Но старик как будто уже совсем изнемог, и Андермат бросился поддержать его, обхватил обеими руками, хотя с лохмотьев Кловиса стекала вода, и взволнованно заговорил:

— Довольно, довольно, не утомляйтесь! Мы сейчас опять посадим вас в ванну.

Четыре господина взяли бродягу за руки и за ноги, понесли бережно, как драгоценный, хрупкий предмет, и снова погрузили в воду.

Тогда паралитик возгласил из ямы убежденным тоном:

— Что ни говори, хорошая вода! Этакой воды нигде не сыскать. Не вода, а сущий клад.

Андермат вдруг повернулся к тестю:

— Не ждите меня к завтраку. Я пойду сейчас к Ориолям и не знаю, когда освобожусь. Такие дела затягивать нельзя!

И он пошел торопливым шагом, почти побежал, весело помахивая тросточкой.

Остальные уселись напротив ямы старика Кловиса, под ивами, окаймлявшими дорогу. Христиана сидела рядом с Полем и смотрела на высокий холм, откуда она не так давно видела взрыв утеса. Тогда она сидела вон там, на этой порыжевшей траве. Недавно, месяц тому назад. Только месяц! Ей вспомнилось все до мелочей: и трехцветные зонтики, и поварята, и кто что говорил — каждое слово. И собака, бедная собачонка, растерзанная взрывом. И тот почти незнакомый высокий человек, который по одному ее слову бросился спасать собаку. А теперь он ее любовник!.. Ее любовник!.. А она его *любовница, любовница!* И она все повторяла про себя: «Любовница, любовница!» Какое странное слово! Вот этот человек, что сидит рядом с ней и обрывает былинки, стараясь прикоснуться к ее платью, этот человек теперь связан с нею близостью телесной и душевной, таинственными узами, о которых нельзя, стыдно говорить, теми узами, которыми природа соединяет мужчину и женщину.

И мысленно, тем немым, внутренним голосом, который кажется душе таким громким в безмолвном ее смятении, она без конца повторяла: «Я его любовница! Его любовница! Его любовница! Как все это странно, неожиданно!»

«А *люблю* ли я его?» Она бросила на него быстрый взгляд. Глаза их встретились, и она почувствовала в его взгляде такую страстную, такую теплую ласку, что вся затрепетала. И вдруг у нее явилось желание дотронуться до его руки, игравшей травинками, неодолимое желание крепко сжать ему руку и все, все передать этим пожатием. Ее рука тихонько соскользнула с платья на траву и замерла, разжав пальцы. И тогда она увидела, как его рука осторожно приближается к ней, словно влюбленный зверек к своей подруге. Рука

продвигалась все ближе и мизинцем дотронулась до ее мизинца. Кончики пальцев коснулись друг друга, чуть-чуть, едва заметно, отодвинулись, снова сблизились, словно губы в робком поцелуе. Но эта никому не видная ласка, эти легкие прикосновения врывались в нее такой бурной волной, что она изнемогала, как будто он снова сжимал ее в объятиях.

И она вдруг поняла, что значит «принадлежать» любимому человеку, ибо любовь все отдала во власть ему, и он завладел всем твоим телом, душой, мыслями, волей, всей кровью в жилах, всеми нервами — всем, всем, словно ширококрылый ястреб, схвативший в свои когти пичужку.

Маркиз и Гонтран с увлечением разговаривали о будущем курорта, заразившись энтузиазмом Вильяма Андермата. И оба восхищались банкиром: какой точный ум, какая деловая сметка, безошибочность в спекуляциях, смелость действий и удивительно ровный характер! Тесть и шурин, уверенные в успехе нового предприятия, в один голос воспевали Андермата и радовались такому родству.

Христиана и Поль Бретиньи, поглощенные друг другом, как будто и не слышали их.

Маркиз сказал дочери:

— А знаешь, детка, ты, пожалуй, в один прекрасный день будешь одной из самых богатых женщин во всей Франции, твоя фамилия будет известна, как фамилия Ротшильдов. Виль — в самом деле замечательный, выдающийся человек, человек большого ума!

Странное, ревнивое чувство вдруг шевельнулось в душе Поля.

— Ах, оставьте,— сказал он.— Знаю я, что за ум у всех этих дельцов. У них только одно в голове — деньги! Все мысли, которые мы отдаем прекрасному, всю энергию, которую мы растрачиваем на прихоти, все часы, которые мы теряем на развлечения, все силы, которые мы расточаем на удовольствия, весь страстный, могучий жар души, который поглощает у нас любовь, дивное чувство любви, они употребляют на погоню за золотом и думают только о золоте, загребают золото! Человек тонкого ума живет бескорыстными, высокими интересами, его радости — это искусство, любовь,

наука, путешествия, книги, а если он добивается и денег, то лишь потому, что они облегчают возможность духовных наслаждений и даже сердечного счастья. А эти люди? Что у них в сердце и в уме? Ничего, кроме гнусной страсти к наживе. Эти стяжатели так же похожи на «выдающихся людей», как барышник, промышляющий картинами, похож на художника, как делец-издатель похож на писателя, а директор театра — на драматурга.

Но вдруг он оборвал свою тираду, поняв, что в увлечении позабыл о приличиях, и сказал уже спокойным тоном:

— Я это не про Андермата говорю, его я считаю весьма приятным человеком, во сто раз лучше других деловых людей. Он мне очень нравится...

Христиана убрала руку. Поль опять умолк.

Гонтран захохотал и ехидным, издевательским тоном, которым он в минуту откровенности мог выпалить что угодно, сказал:

— Как бы там ни было, милый мой, а у этих господ есть редкое достоинство, большое достоинство: они женятся на наших сестрах и производят на свет богатых дочерей, на которых женимся мы.

Маркиз поднялся в негодовании:

— Ах, Гонтран! Ты иной раз бываешь просто невыносимым!

А Поль, повернувшись к Христиане, прошептал:

— Способны ли эти люди умереть за женщину или хотя бы отдать ей все свое состояние... все, ничего не оставив себе?

Слова эти так ясно говорили: «Все, что у меня есть, даже моя жизнь, принадлежит вам»,— что Христиана была растрогана и ловко нашла предлог, чтобы взять его за руки.

— Встаньте и помогите мне подняться. У меня затекли ноги, пошевелиться не могу.

Он вскочил и, потянув ее за руки, поставил у края дороги, почти вплотную к себе. Она видела, как губы его шепчут: «Люблю вас»,— и быстро отвернулась, чтобы не повторить в ответ те же слова, которые неудержимо рвались из ее груди в порыве нежности, повлекшей ее к нему.

Потом все вернулись в отель.

На ванны уже было поздно идти. Стали дожидаться завтрака. Зазвенел колокол, созывая к столу, но Андермат все не возвращался. Прогулялись по парку и решили сесть за стол без него. Завтрак, как всегда, тянулся очень долго, но и к концу его банкир не появился. Все опять спустились в парк посидеть под деревьями. Проходил час за часом, солнце скользило по листве, склоняясь к горам, день уже был на исходе, а Вильям Андермат все не возвращался.

Вдруг он показался на дорожке. Он шел быстрым шагом, держа в одной руке шляпу, а другой вытирая лоб носовым платком; галстук у него съехал набок, жилет расстегнулся, и весь вид был точно он вернулся после долгого пути, рукопашной схватки, какого-то длительного и тяжкого напряжения сил.

Увидев тестя, он закричал:

— Победа! Скрутил старика! Но что это был за день, друзья мои, что за день! Помаяла меня эта старая лисица!

И он принялся рассказывать о своем сражении и подвигах.

Ориоль-отец сперва предъявил такие непомерные требования, что он, Андермат, прервал переговоры и ушел. Тогда его вернули. Продавать землю Ориоль не соглашался, а хотел передать ее в пользование акционерному обществу с правом получить обратно в случае неудачи. В случае же успеха давайте ему половину прибылей!

Банкиру пришлось подсчитывать на бумаге, набрасывать план земельных участков, доказывать, что все вместе они стоят не больше восьмидесяти тысяч, меж тем как акционерное общество с самого начала должно затратить миллион.

Старый овернец возразил, что он стоимость своих участков исчисляет иначе, цена им будет огромная, когда на них построят лечебницу и гостиницы, и он свою выгоду знает; считать надо не по теперешней стоимости, а по той, которую участки приобретут в дальнейшем.

Тогда Андермат сказал, что возможная большая прибыль бывает пропорциональна большому риску, и припугнул его опасностью убытков.

В конце концов пришли к такому соглашению: Ориоль-отец передает акционерному обществу в качестве своего пая все участки по берегам ручья, то есть как раз те, где есть надежда найти минеральные источники, а кроме того, вершину холма, где предполагается построить казино и отель, и еще несколько виноградников по склону холма, которые надо будет разбить на мелкие участки и преподнести виднейшим парижским врачам.

За этот пай, оцененный в двести пятьдесят тысяч франков, то есть почти в четыре раза дороже его действительной стоимости в настоящее время, крестьянину будут выплачивать четвертую часть всех прибылей общества. А так как земли у него еще осталось в десять раз больше и вся она расположена вокруг будущего ванного заведения, то в случае успеха курорта хитрый овернец, несомненно, наживет целое состояние, продавая клочками эту землю, которую он, по его словам, предназначил в приданое своим дочерям.

Как только договорились на таких условиях, Вильяму Андермату пришлось потащить отца и сына к нотариусу — составить запродажную с оговоркой, что сделка аннулируется, если минеральная вода не будет найдена в достаточном количестве.

Составление запродажной, придирчивое обсуждение каждого пункта, бесконечные повторения, пережевывание одних и тех же доводов — словом, нудная канитель тянулась до вечера.

Но теперь все было кончено. Банкир мог строить курорт. Однако он досадовал:

— Придется ограничиться водой, а земельные операции ухнули! Поймал меня этот хитрец.

Но тут же сообразил:

— Погодите! А старое общество? Вот на чем можно отыграться. Но это потом, а сегодня вечером надо ехать в Париж.

Маркиз удивленно воскликнул:

— Как! Сегодня же вечером?

— Ну конечно. Надо ведь подготовить все документы для окончательной сделки, пока Обри-Пастер будет вести здесь разведывательное бурение. Да еще надо устроить так, чтобы через две недели, не позже, можно

было приступить к работам. Нельзя терять ни одного часа. Кстати, предупреждаю: вы член правления моего общества, мне надо иметь подавляющее большинство. Даю вам десять акций. И вам, Гонтран, десять акций.

Гонтран засмеялся:

— Покорнейше благодарю. Позвольте продать их вам обратно. За вами, значит, пять тысяч.

Но Андермат нахмурился — что за шутки в важных делах? — и сухо сказал:

— Бросьте дурачиться. Если не хотите, я к другим обращусь.

Гонтран прищурил:

— Ну, что вы, дорогой! Вы же знаете, я всецело в вашем распоряжении.

Банкир повернулся к Полю:

— Дорогой господин Бретиньи, не согласитесь ли оказать мне дружескую услугу? Прошу и вас принять десяток акций и тоже войти в правление.

Поль, поклонившись, ответил:

— Разрешите отказаться от вашего лестного предложения и по-настоящему вступить в дело. Я считаю ваше начинание блестящим и охотно вложу в него сто тысяч франков. Это будет любезность не с моей, а с вашей стороны.

Вильям Андермат в бурном восторге пожимал ему руки: такое доверие совсем покорило его сердце. Впрочем, он всегда готов был кинуться на шею каждому, кто вносил деньги в его предприятия.

Но Христиана вся вспыхнула, покраснела до корней волос, так ей было неприятно. Ей показалось, что сейчас состоялась сделка купли-продажи: один купил ее, другой продал. Разве Поль предложил бы ее мужу сто тысяч франков, если бы не любил ее? Нет, конечно. И хоть бы он сделал это не при ней!..

Позвонили к обеду. Все направились к гостинице. Как только сели за стол, г-жа Пай-старшая сказала Андермату:

— Так вы основываете новый курорт?

Новость уже разнеслась по всему Анвалю, стала предметом всех разговоров, взбудоражила всех больных.

Вильям Андермат ответил:

— Боже мой, ну разумеется. Существующий курорт из рук вон плох.

И, повернувшись к Обри-Пастеру, сказал:

— Извините, пожалуйста, многоуважаемый господин Обри-Пастер, что я за столом буду говорить с вами о делах, но время не терпит: я сегодня вечером уезжаю в Париж,— а у меня есть к вам предложение. Не согласитесь ли вы руководить разведывательными работами, чтобы найти максимальное количество минеральной воды?

Польщенный инженер согласился, и среди всеобщего молчания они в несколько минут договорились, в каких местах и как производить разведку, которая должна была начаться немедленно. Все было обсуждено и решено с той четкостью и точностью, какие Андермат всегда вносил в свои дела. Потом заговорили о паралитике. Днем многие видели, как он проходил через парк, опираясь только на одну палку, тогда как утром еще пользовался двумя. Банкир восклицал:

— Да это чудо! Настоящее чудо! Излечение пошло гигантскими шагами!

Поль в угоду мужу Христианы подхватил:

— Нет, это сам папаша Кловис пошел гигантскими шагами.

За столом пробежал одобрительный смешок. Все глаза были устремлены на Андермата, из всех уст неслись льстивые возгласы. Лакеи ресторана теперь подносили кушанье ему первому, с раболепной почтительностью в лице и в движениях, мгновенно исчезавшей, когда они подавали блюдо его соседям.

Один из лакеев принес ему на тарелке визитную карточку. Андермат взял ее и прочел вполголоса: «Доктор Латон из Парижа был бы счастлив побеседовать несколько минут с господином Андерматом до его отъезда».

— Передайте, что у меня сейчас нет времени, но через неделю или дней через десять я вернусь.

И тут же Христиане принесли огромный букет цветов от доктора Онора.

Гонтран смеялся:

— Двое готовы. Только старикашка Бонфиль еще не сдается.

Обед подходил к концу. Андермату доложили, что его ждет ландо. Он поднялся к себе за дорожной сумочкой, а когда вышел из гостиницы, увидел, что у крыльца собралась половина деревни. Петрюс Мартель подскочил пожать Андермату руку и с актерской фамильярностью зашептал ему на ухо:

— У меня есть замечательное, потрясающее предложение, очень выгодное для вашего дела.

Вдруг появился доктор Бонфиль, как всегда спешивший куда-то. Он прошел мимо Андермата, отвесив ему низкий поклон, каким до сих пор удостаивал только маркиза, и сказал:

— Счастливого пути, барон.

— Проняло! — пробормотал Гонтран.

Андермат, торжествуя, пыжился от радости и гордости, пожимал направо и налево руки, восклицал: «До свидания! До свидания!» — и чуть было не позабыл проститься с женой, настолько все его мысли были заняты делами. От этого равнодушия Христиане стало легче на душе, и когда она увидела, как пара лошадей подхватила коляску и понесла ее крупной рысью по дороге, в сумеречную даль, ей показалось, что теперь уж до конца жизни никого не надо будет бояться.

Весь вечер она провела на скамейке перед гостиницей, сидя между отцом и Полем Бретиньи; Гонтран, по своему обыкновению, отправился в казино.

Христиане не хотелось ни двигаться, ни говорить; она сидела, не шевелясь, сложив руки на коленях, и глядела в темноту, томная и слабая, немного настороженная и все же счастливая; она почти ни о чем не думала, даже не мечтала, и когда минутами ее тревожили смутные укоры совести, она отгоняла их все одним и тем же заклинанием: «Я люблю его! Люблю его! Люблю!»

Она рано ушла к себе, чтобы побыть одной и помечтать. Закутавшись в широкий пеньюар, она села в кресло у открытого окна и стала смотреть на звезды, а в раме окна перед ее внутренним взором поминутно вставал образ того, кто завладел ею. Она так ясно видела его, доброго, нежного и необузданного, такого сильного и такого покорного перед нею. Да, этот человек завладел ею навсегда, на всю жизнь — она чувст-

вовала это. Теперь она уже не одинока, их двое — два сердца, слившиеся воедино, две слившиеся воедино души. Где он был сейчас, она не знала, но хорошо знала, что и он думает, мечтает о ней. Она как будто слышала, как на каждое биение ее сердца где-то отвечает другое сердце. Она чувствовала, как вокруг нее, словно птица, задевая ее крылом, реет желание, страстное желание, она чувствовала, как проникает в окно это пламенное желание, исходящее от него, ищет ее, молит в ночной тишине. Как хорошо, как сладко, как ново было для нее чувствовать, что она любима! Как радостно было думать о ком-то с такой глубокой нежностью, что слезы навертывались на глаза, и плакать от умиленного счастья! Ей хотелось открыть объятия тому, кого не было перед нею, послать ему призыв, открыть объятия навстречу его образу, возникавшему перед глазами, навстречу поцелуям, которые он непрестанно слал ей где-то вдали или вблизи, сгорая в лихорадке ожидания.

И она протянула руки в откинувшихся белых рукавах пеньюара ввысь, к звездам. Вдруг она вскрикнула. Большая черная тень, перешагнув через перила балкона, внезапно появилась в окне.

Она вскочила, замирая от страха. Это был он! И, даже не подумав о том, что их могут увидеть, она бросилась к нему на грудь.

VIII

Отсутствие Андермата затянулось. Обри-Пастер вел изыскания. Он нашел еще четыре источника, которые могли дать новому акционерному обществу вдвое больше воды, чем требовалось. Весь округ был в волнении от этих разведок, от этих открытий, от важных новостей, мгновенно перелетавших из уст в уста, от нежданных блестящих перспектив; все суетились, восторгались, только и говорили что о будущем курорте, только о нем и думали. Даже маркиз и Гонтран проводили целые дни около рабочих, буривших гранитные породы, и со все возраставшим любопытством слушали объяснения инженера и его поучительные рассказы о

геологическом строении Оверни. Теперь Поль и Христиана могли совершенно свободно, спокойно любить друг друга: никто ими не интересовался, никто ничего не подозревал, никому и в голову не приходило шпионить за ними,— все любопытство, все внимание людей, все их чувства поглощены были будущим курортом.

С Христианой происходило то же, что бывает с юношей, впервые опьяневшим от вина. Первый глоток — первый поцелуй — обжег, одурманил ее, второй бокал она выпила залпом и нашла, что он лучше, а теперь она пила жадными большими глотками и была пьяна любовью.

С того вечера, когда Поль проник в ее комнату, она жила, как в угаре, не сознавая того, что происходит вокруг. Время, вещи, люди теперь не существовали для нее. На земле и в небе был только один-единственный человек — тот, кого она любила. Глаза ее видели только его, все мысли были только о нем, все надежды устремлялись только к нему. Она жила, двигалась, ела, одевалась, как будто слушала, что ей говорят, отвечала, но ничего не понимала, не сознавала, что делает. И ничто теперь ее не страшило: никакое несчастье не могло ее сразить,— она ко всему стала нечувствительна. Никакая телесная боль не могла затронуть тело, подвластное только трепету любви. Никакие душевные страдания не могли коснуться завороженной души.

А он любил ее с той восторженностью, какую вносил во все свои страстные увлечения, и доводил ее чуть не до безумия. Часто в конце дня, зная, что маркиз и Гонтран пошли к источнику, он говорил:

— Пойдемте навестим наш небесный уголок.

Он называл их «небесным уголком» сосновую рощицу, зеленевшую на горном склоне, над самым ущельем. Они поднимались туда через молодой лес по крутой тропинке и шли так быстро, что Христиана задыхалась, но им надо было спешить, так как времени было мало. Чтобы ей легче было идти, он поддерживал ее за талию, подхватывал, приподнимал; и, положив ему руку на плечо, она опиралась на него, а иногда, обняв за шею, приникала поцелуем к его губам. Они восходили все выше, выше, воздух свежел, ветер овевал

им лица, и, когда они достигали сосен, их обдавало запахом смолы, живительным, как дыхание моря.

Они садились под темными соснами — она на мшистом бугорке, он ниже, у ее ног. Ветер пел в ветвях. Стволы звенели под ветром тихою песней сосен, всегда чем-то похожей на кроткую жалобу, а бескрайний простор Лимани, уходивший в невидимые дали, затянутые легкой дымкой тумана, действительно создавал впечатление океана. Да, конечно, там внизу простиралось море, никакого сомнения быть не могло,— они чувствовали его дуновение на своем лице.

Поль ласкался к ней и по-детски шаловливо говорил:

— Дайте-ка мне ваши пальчики. Я их съем, это мои любимые конфеты.

Он брал в рот один пальчик за другим и делал вид, что ест их, млея от наслаждения, как жадный лакомка.

— Ах, какие вкусные! В особенности мизинчик. Ничего на свете не может быть вкуснее.

Потом он становился на колени и, опираясь локтями о ее колени, шептал:

— Лиана, посмотрите на меня.

Он звал ее Лианой, потому что она обвивала его объятиями, как лиана обвивает ствол дерева.

— Посмотрите на меня, я хочу заглянуть вам в душу.

Они смотрели друг на друга неподвижным, пристальным взглядом, и в нем как будто сливались воедино. Он говорил:

— Настоящая любовь — это когда вот так принадлежишь друг другу, все остальное — только игра в любовь.

Сблизив лица так, что дыхание их смешивалось, они искали друг друга в прозрачной глубине глаз.

Он шептал:

— Я вижу вас, Лиана. Любимая, я вижу ваше сердце.

Она отвечала:

— И я вас вижу, Поль, я тоже вижу ваше сердце.

И они действительно видели друг друга, проникали в самую глубину души и сердца, потому что у обоих

в душе и сердце была только любовь, исступленный порыв любви друг к другу.

Он говорил:

— Лиана, у вас глаза, как небо! Такие же голубые, ясные, чистые, и столько в них света! Мне кажется, я вижу, как в них проносятся ласточки. Это, наверно, ваши мысли, Лиана. Да?

Они долго-долго смотрели друг на друга, а потом придвигались еще ближе, обменивались тихими поцелуями и после каждого поцелуя смотрели друг на друга. Иногда он брал ее на руки и бежал по берегу ручья, стекавшего к Аивальскому ущелью и водопадом низвергавшегося в него. В этой узкой долине чередовались луга и перелески. Поль бежал по траве и, поднимая на вытянутых сильных руках свою ношу, кричал:

— Лиана, улетим!

Восторженная, страстная любовь рождала в них это упорное, непрестанное, мучительное желание улететь прочь от земли. И все вокруг обостряло в них это стремление души: и прозрачный легкий воздух — крылатый воздух, как говорит Поль, и голубоватые широкие дали, куда им хотелось унестись вдвоем, держась за руки, и исчезнуть в высоте над этой беспредельной равниной, когда ее покроет ночная тьма. Улететь бы вдвоем в мглистое вечернее небо и никогда, никогда не возвращаться! Куда улететь? Они не знали. Но как их манила эта мечта!

Он бежал, держа ее на руках, пока хватало дыхания, потом опускал ее на выступ утеса и становился перед нею на колени. Он целовал ей ноги, он поклонялся ей, шептал детские, нежные слова.

Если б они любили друг друга в городе, страсть их была бы, вероятно, иной — более осторожной, более чувственной, не такой воздушной и романической. Но здесь, в этом зеленом краю, среди просторов, где душа ширилась и рвалась куда-то, одни, вдали от всего, что могло бы отвлечь их от захватившего их безрассудного чувства, они очертя голову ринулись в это поэтическое безумие страсти. И вся природа вокруг них, теплый ветер, леса́, ароматный вольный воздух днем и ночью пели им песню любви, и мелодия эта сводила их

с ума, как звуки бубна и пронзительный визг флейты приводят в исступление дервиша, который неистово кружится во власти навязчивой мысли.

Однажды вечером, когда они вернулись в отель к обеду, маркиз вдруг сказал им:

— Через четыре дня возвращается Андермат. Он уже уладил все дела. А после этого, на следующий день, мы уедем. Мы что-то зажились здесь. Не полагается чересчур затягивать курортный сезон.

Они были ошеломлены этими словами, как будто им возвестили, что завтра настанет конец света. За столом оба молчали, в растерянности думая, что же теперь будет. Значит, через несколько дней надо расстаться, и уж больше нельзя будет встречаться свободно. Это казалось им таким невероятным, таким нелепым, что они не могли себе представить, как же это возможно.

Действительно, Андермат приехал в конце недели. Он телеграфировал, чтобы к первому утреннему поезду выслали два экипажа. Христиана не спала всю ночь, взволнованная каким-то странным, новым для нее чувством — страхом перед мужем и вместе с тем гневом, необъяснимым презрением к нему и желанием бросить ему вызов. Она поднялась с постели на рассвете, оделась и стала его ждать. Он подъехал в первой коляске, в ней сидело еще трое — какие-то весьма приличные, хорошо одетые господа, державшиеся, однако, очень смиренно. Во второй коляске приехало еще четверо, по виду рангом пониже. Маркиз и Гонтран удивились. Гонтран спросил:

— Что это за люди?

Андермат ответил:

— Мои акционеры. Мы сегодня учредим акционерное общество и тут же выберем правление.

Он поцеловал жену, не сказав ей ни слова, едва взглянув на нее, так он был озабочен, и, повернувшись к семерым приезжим, стоявшим у крыльца в почтительном молчании, скомандовал:

— Велите подать себе завтрак, а потом прогуляйтесь. Встретимся здесь в полдень.

Все семеро двинулись разом, без слов, как солдаты по команде офицера, поднялись парами по ступенькам крыльца и исчезли в дверях гостиницы.

Гонтран, следивший за их шествием, спросил с серьезным видом:

— Где вы откопали этих статистов?

Банкир слегка улыбнулся.

— Вполне приличные люди. Биржевики, капиталисты...

И, помолчав, добавил, улыбаясь во весь рот:

— Занимаются моими делами.

Затем он поспешил к нотариусу, чтобы еще раз проглядеть документы и акты, хотя заранее прислал их совершенно готовыми.

В нотариальной конторе он встретился с доктором Латоном, с которым за время своего отсутствия успел обменяться несколькими письмами, и они долго шептались в углу, пока писцы царапали перьями по бумаге, как будто по ней бегали и шуршали какие-то проворные насекомые.

Учредительное собрание акционеров было назначено в два часа.

В кабинете нотариуса сделали приготовления, словно для концерта. Напротив стола, где должен был восседать нотариус, мэтр Ален, вместе со старшим письмоводителем, были выстроены в два ряда стулья для акционеров. Ввиду важности события мэтр Ален нарядился во фрак, уморительно облегавший его круглую, как шарик, фигурку. Этот низенький шамкающий старичок похож был на фрикадельку из белого куриного мяса.

Как только пробило два часа, в кабинет вошел Андермат в сопровождении своего тестя, шурина, Поля Бретиньи и свиты из семерых приезжих, которых Гонтран назвал статистами. У Андермата был вид полководца. Вскоре после этого прибыл старик Ориоль со своим Великаном — у обоих вид был встревоженный, недоверчивый, как и у всех крестьян, когда им надо подписывать бумаги. Последним явился доктор Латон. Он помирился с Андерматом, принеся ему в искусно закругленных фразах почтительные извинения, за которыми последовали изъявление полной, безоговорочной, беспрекословной покорности и предложение услуг.

В ответ банкир, чувствуя, что держит его в руках,

пообещал ему завидную должность главного врача на новом курорте.

Когда все собрались, наступило глубокое молчание. Наконец нотариус сказал:

— Прошу садиться, господа.

Он прошамкал еще несколько слов, которых никто не расслышал в шуме передвигаемых стульев.

Андермат вытащил для себя из шеренги один стул и устроился напротив своего отряда, чтобы можно было следить за ним, а когда все уселись, взял слово.

— Господа! Нет необходимости подробно излагать вам цель настоящего собрания. Прежде всего нам нужно учредить новое акционерное общество, в которое вы пожелали вступить пайщиками. Следует, однако, упомянуть о некоторых затруднениях, доставивших нам немало хлопот. Прежде чем предпринимать что-либо, я должен был иметь уверенность, что мы добьемся необходимого разрешения для основания нового общественно полезного учреждения. Эта уверенность у меня теперь есть. Все, что еще остается сделать в этом смысле, я беру на себя. Я уже заручился твердым обещанием министра. Но меня останавливает другая трудность. Нам, господа, придется вести борьбу со старым акционерным обществом Анвальских минеральных вод. Я не сомневаюсь, что борьба эта принесет нам победу — победу и богатство. Но как в битвах прежних времен воинам нужен был боевой клич, так и нам в современном сражении нужен свой клич — название нашего курорта, название звучное, заманчивое, удобное для рекламы, действующее на слух, как звук фанфары, и на глаз, как блеск молнии. Однако мы, господа, находимся в Анвале и не можем произвольно окрестить по-новому этот край. Нам остается только один выход: дать новое наименование курорту, только курорту.

И вот что я предлагаю.

Наша лечебница будет построена у подножия холма, который является собственностью господина Ориоля, присутствующего здесь; наше будущее казино мы воздвигнем на вершине того же самого холма. Итак, с полным правом можно сказать, что этот холм, вернее эта гора,— ибо это настоящая, хоть и небольшая го-

ра,— представляет собою основу нашего предприятия, ведь мы владеем ее подножием и ее гребнем. А посему я считаю вполне естественным, чтобы мы назвали наше предприятие «Источники Монт-Ориоля»[1], и таким образом название нашего курорта, который станет одним из знаменитейших курортов мира, будет связано с именем первого его владельца. Воздадим кесарево кесарю.

И заметьте, господа, что это наименование звучит великолепно. Будут говорить: «Монт-Ориоль», так же как говорят: «Мон-Дор». Начертание его радует глаз, звучание ласкает слух, его видишь, его слышишь, оно врезается в память: Монт-Ориоль! Монт-Ориоль. Источники Монт-Ориоля!

И Андермат то произносил это название нараспев, то бросал его скороговоркой, как мячик, напряженно вслушиваясь, как оно звучит. Он даже разыгрывал диалоги в лицах:

«— Вы едете на воды в Монт-Ориоль?

— Да, да, сударыня. Говорят, воды Монт-Ориоля бесподобны!

— О да, в самом деле превосходные воды! И к тому же Монт-Ориоль — дивная местность».

Он улыбался, менял интонации, изображая дамский разговор, помахивал пухлой рукой, изображая приветственный жест мужчины. Потом сказал, уже естественным голосом:

— Есть у кого-нибудь возражения?

Акционеры хором ответили:

— Нет, нет! Никаких возражений!

Трое из статистов даже зааплодировали.

Старик Ориоль, взволнованный, покоренный, польщенный в своей тайной гордости разбогатевшего крестьянина, смущенно вертел в руках шляпу, улыбался и невольно кивал головой, словно говорил: «Да, да!»,— выдавая свою радость, и Андермат, как будто и не смотревший на него, прекрасно это подметил.

Великан сидел с виду равнодушный, бесстрастный, но доволен был не меньше отца.

Тогда Андермат сказал нотариусу:

— Огласите, пожалуйста, устав, мэтр Ален.

---

[1] Монт-Ориоль (Mont-Oriol) — Гора Ориоля *(франц.)*.

Нотариус повернулся к письмоводителю:

— Начинайте, Марине.

Марине, чахоточный заморыш, кашлянул и с интонациями проповедника, с декламаторскими потугами начал читать пункты и параграфы устава акционерного общества «Водолечебное заведение Монт-Ориоль» в Анвале с учредительным капиталом в два миллиона.

Старик Ориоль перебил его:

— Погоди, погоди малость!

И вытащил из кармана засаленную тетрадку, за одну неделю побывавшую в руках всех нотариусов, всех ходатаев по делам, всех поверенных департамента. Это была копия устава, которую сам Ориоль и его сын почти уже затвердили наизусть.

Старик не спеша нацепил на нос очки, откинул голову, отодвинул от глаз тетрадку, отыскивая расстояние, с которого буквы лучше видны, и сказал:

— Валяй, Марине.

Великан пододвинул стул и стал следить по тетрадке вместе с отцом.

Марине опять начал читать сначала. Старик Ориоль, которого сбивала с толку необходимость и читать и слушать одновременно, терзаясь страхом, как бы не подменили какое-нибудь слово другим, пытаясь следить, не делает ли Андермат каких-нибудь знаков нотариусу, на каждой строчке по десять раз останавливал письмоводителя и срывал все его ораторские эффекты.

Он поминутно говорил:

— Ты что сказал? Как ты сказал? Я не расслышал. Помедленней читай.— И, слегка обернувшись к сыну, спрашивал:

— Так он, что ль, читает, Великан? Правильно?

Великан, лучше владевший собой, успокаивал его:

— Так, так, отец. Оставь. Все правильно.

Однако старик-овернец не мог успокоиться. Он водил по строчке крючковатым пальцем, бормотал себе под нос, но внимание его не могло раздваиваться: если он слушал, то не в состоянии был читать, если читал, то не слышал, что говорит письмоводитель. Он пыхтел, как будто поднимался в гору, и обливался пóтом, как будто мотыжил виноградник в палящую жару; время от времени он требовал остановки, чтобы вытереть

мокрый лоб и перевести дух, словно борец в рукопашной схватке.

Андермат нетерпеливо постукивал ногой об пол. Гонтран, заметив на столе нотариуса номер «Вестника Пюи-де-Дом», взял его и рассеянно пробегал глазами. А Поль, сидя верхом на стуле, опустив голову, с болью в сердце думал о том, что вот этот румяный человечек с круглым брюшком, сидящий напротив него, завтра увезет женщину, которую он, Поль Бретиньи, любит всей душой,— Христиану, его Христиану, его белокурую Христиану, хотя она принадлежит ему, Полю Бретиньи, всецело принадлежит ему, только ему. И он задавался вопросом, не похитить ли ее сегодня же вечером.

Семеро статистов сидели смирно, с серьезным и важным видом.

Через час чтение кончилось. Устав подписали.

Нотариус составил акт капиталовложений, затем обратился с вопросом к казначею Аврааму Леви, и тот подтвердил, что получил все вклады. Затем акционерное общество объявлено было законно существующим, и тут же открылось общее собрание акционеров-учредителей для выбора правления и председателя.

Председателем единодушно был избран Андермат— всеми голосами против двух. Двое отколовшихся — старик-овернец и его сын—предлагали выбрать в председатели Ориоля-отца. Бретиньи был выбран ревизором.

Затем правление, составленное из Андермата, маркиза де Равенеля, графа Гонтрана де Равенеля, Поля Бретиньи, двух Ориолей, доктора Латона, Авраама Леви и Симона Цидлера, попросило остальных акционеров, а также нотариуса и письмоводителя удалиться, и началось обсуждение наиболее важных, неотложных мероприятий.

Андермат вновь поднялся:

— Господа! Теперь мы вплотную подошли к самому животрепещущему вопросу: каким путем добиться успеха, который мы с вами должны завоевать во что бы то ни стало? Минеральные воды — такой же товар, как и прочие товары! Чтобы найти на них потре-

бителей, надо, чтобы о них говорили, говорили везде и очень веско.

Господа! Реклама — важнейшая проблема нашего времени. Реклама — это бог современной торговли и промышленности. Вне рекламы нет спасения. Однако реклама — это искусство весьма нелегкое, сложное, требующее большого такта. Пионеры этого двигателя деловой жизни применяли очень грубые приемы, привлекали внимание публики, так сказать, барабанным боем и пушечной пальбой. Но ведь знаменитый Манжен был только зачинателем. А в наши дни шумиха кажется подозрительной. Кричащие афиши вызывают теперь усмешку, имена, о которых трубят на всех перекрестках, скорее пробудят недоверие, чем любопытство. А между тем нам так или иначе надо привлечь внимание публики,— сначала поразить ее, потом убедить. Искусство рекламы как раз в том и состоит, чтобы найти единственно верный для этого способ, различный для каждого вида товара. Мы с вами, господа, собираемся торговать минеральной водой. Следовательно, мы можем покорить, завоевать больных только через докторов.

Врачи, даже самые знаменитые,— такие же люди, как и мы, грешные, с такими же слабостями. Я не хочу сказать, что их можно купить. Репутация знаменитостей медицинского мира, которые нам нужны, безупречна, никто не посмеет их заподозрить в продажности. Но существует ли на свете такой человек, которого нельзя было бы прельстить,— конечно, если взяться за дело умеючи. Ведь попадаются женщины, которых невозможно купить,— ну что ж, их можно обольстить.

Вот, господа, какое я вношу предложение, тщательно обсудив его с доктором Латоном.

Прежде всего мы разбили на три основных группы болезни, подлежащие излечению на нашем курорте. Первая группа — все виды ревматизма, лишаи, артриты, подагра, и так далее, и так далее. Вторая группа — болезни желудка, кишечного тракта и печени. Третья группа — все недомогания, вызванные неправильным кровообращением, так как совершенно бесспорно, что наши углекислые ванны оказывают самое благотворное действие на кровообращение.

Заметьте, господа, что чудесное исцеление старика Кловиса обещает нам чудеса.

Итак, определив болезни, излечиваемые нашими водами, мы обратимся к крупнейшим врачам, специалистам по этим болезням, со следующим предложением. «Господа,— скажем мы им,— приезжайте, убедитесь сами, убедитесь воочию, приезжайте с вашими пациентами, понаблюдайте за действием наших вод. Мы предлагаем вам погостить у нас. Местность у нас красивейшая, вам надо отдохнуть после тяжких трудов, утомивших вас в зимние месяцы. Приезжайте, милости просим. И знайте, господа профессора, вы приедете, собственно говоря, не к нам, а к себе домой, на свои дачи. Стоит вам пожелать, и вы приобретете их в полную собственность на самых сходных условиях.

Андермат остановился, перевел дух и продолжал свою речь уже более спокойным, деловым тоном:

— Вот как я думаю осуществить этот план. Мы выбрали шесть участков, каждый по тысяче квадратных метров. Бернское акционерное общество сборных швейцарских домиков обязуется построить на всех этих участках однотипные дачки. Мы бесплатно предоставим эти уютные и красивые дачи в распоряжение приглашенных нами врачей. Если им понравится там, они купят, при желании, эти дома у Бернского акционерного общества — только дома, а землю мы безвозмездно приподнесем им в собственность... Они нам заплатят за это... больными. Мероприятие, господа, выгодное во всех отношениях: на территории курорта вырастут нарядные виллы, которые ничего нам не будут стоить, мы привлечем к себе светил медицинского мира и полчища их пациентов, а главное, убедим крупных врачей в целительном действии наших вод, и эти знаменитости в самом скором времени станут здесь дачевладельцами. Переговоры, которые должны привести нас к таким результатам, я берусь осуществить не как торгаш-спекулянт, а как светский человек.

Старик Ориоль перебил Андермата. Вся его оверньская скаредность восстала против даровой раздачи земли.

Андермат вознесся на вершины красноречия: он противопоставил разумного землепашца, который щед-

рой рукой бросает семена в плодородную почву, хозяину-скопидому, который считает каждое зернышко и поэтому всегда собирает лишь самый скудный урожай.

Разобиженный крестьянин заупрямился, тогда Андермат поставил вопрос на голосование, и результаты его заткнули рот Ориолю: шесть голосов против двух.

Затем Андермат извлек из большого сафьянового портфеля планы новой водолечебницы, отеля и казино, сметы и контракты с подрядчиками, заготовленные для утверждения и подписи на настоящем заседании. Работы должны были начаться уже на следующей неделе.

Только отец и сын Ориоли потребовали рассмотрения и обсуждения всех этих документов. Андермат раздраженно воскликнул:

— Разве я прошу у вас денег? Ведь нет? Ну, так оставьте меня в покое! А если вы не довольны, давайте голосовать.

Ориолям пришлось подписаться вместе с остальными членами правления, и заседание было закрыто.

Все население Анваля столпилось на улице у дверей конторы, взволнованно ожидая выхода новых предпринимателей. Все им почтительно кланялись. Когда Ориоли собрались уже повернуть к себе домой, Андермат сказал им:

— Не забудьте, мы сегодня обедаем все вместе в отеле. И обязательно приведите с собой своих девчурок. Я привез им из Парижа маленькие подарки.

Решено было встретиться в семь часов вечера в гостиной *Сплендид-отеля*.

Банкир устроил парадный обед, на который были приглашены самые именитые из курортных гостей и сельские власти. Христиана сидела в середине стола, по правую руку от нее посадили приходского священника, по левую — мэра.

Говорили за обедом только о новом курорте и блестящем будущем Анваля. Сестры Ориоль нашли у себя под салфетками по футляру с браслетом, осыпанным жемчугом и изумрудами; обе были в восторге от подарков, оживились и превесело болтали с Гонтраном, которого посадили между ними; даже старшая сестра от души смеялась его шуткам; молодой парижанин, воодушевившись, всячески развлекал их, а про себя

производил им оценку, вынося о них то дерзкое тайное суждение, которое чувство и чувственность подсказывают мужчине близ каждой привлекательной женщины.

Поль ничего не ел, ничего не говорил... Ему казалось, что этот вечер — конец его жизни. И вдруг ему вспомнилось, как ровно месяц тому назад они ездили на Тазенатское озеро. Сердце его щемила тоска, скорее от предчувствия, чем от совершившегося несчастья,— тоска, знакомая только влюбленным, когда на душе так тяжело, нервы так напряжены, что вздрагиваешь от малейшего шума, когда одолевают горькие мысли и каждое слово, которое слышишь, как будто полно зловещего значения, связано с этими неотвязными мыслями.

Лишь только встали из-за стола, он подошел в гостиной к Христиане.

— Нам надо встретиться сегодня вечером, сейчас же,— сказал он.— Бог знает, когда еще удастся нам побыть вдвоем. Знаете, ведь сегодня ровно месяц, как...

Она ответила:

— Знаю.

— Слушайте. Я буду ждать вас на дороге в Ла-Рош-Прадьер, не доходя деревни, возле каштанов. Сейчас никто не заметит, что вас нет. Приходите на минутку, проститься, ведь завтра мы расстаемся.

Она прошептала:

— Через четверть часа.

И он ушел: ему нестерпимо было оставаться среди всех этих людей.

Он прошел через виноградники той самой тропинкой, по которой они поднимались, когда впервые ходили полюбоваться равниной Лимани. Вскоре он вышел на большую дорогу. Он был один, чувствовал себя одиноким, совсем одиноким на свете. Огромная, невидимая во мраке равнина еще усиливала это чувство одиночества. Он остановился на том месте, где читал ей когда-то стихи Бодлера о красоте. Как уже далек этот день! И час за часом Поль вспомнил все, что случилось с того дня. Никогда еще он не был так счастлив, никогда! Никогда не любил с такой безумной страстью и вместе с тем такой чистой, благоговейной любовью!

И в памяти его встал вечер на Тазенатском озере — ровно месяц прошел с тех пор; ему вспомнилось все: лесная прохлада, поляна, залитая мягким лунным светом, серебряный круг озера и большие рыбы, тревожившие рябью его поверхность; вспомнилось возвращение: он видел, как она идет впереди него то в голубоватом сиянии, то в темноте, и капельки лунного света дождем падают сквозь листву на ее волосы, плечи, руки. Какие это были прекрасные минуты, самые прекрасные в его жизни!

Он обернулся посмотреть, не идет ли она, но не увидел ее. На горизонте поднималась луна; та самая луна, которая поднималась в небе в час первого признания, светила теперь — в час первой разлуки.

Озноб пробежал у него по всему телу. Близилась осень — предвестница зимы. До сих пор он не замечал ее первых ледяных прикосновений, а теперь холод пронизал его насквозь, как мрачная угроза.

Пыльная белая дорога извивалась перед ним, словно река. На повороте вдруг выросла человеческая фигура. Он сразу узнал ее, но не двигался, ждал, весь трепеща от блаженного сознания, что она приближается, идет к нему, идет ради него.

Она шла мелкими шажками, не смея его окликнуть и беспокоясь оттого, что все еще не видит его,— он стоял под деревом; шла, взволнованная глубокой тишиной, светлой пустыней земли и неба, и перед нею двигалась ее тень, непомерно большая тень, которая вытянулась далеко впереди, как будто торопилась скорее принести ему какую-то частицу ее существа.

Христиана остановилась, и тень ее неподвижно легла на дороге.

Поль быстро сделал несколько шагов до того места, где на дороге вырисовывалась тень головы. И, словно боясь потерять хоть что-нибудь, исходящее от нее, он стал на колени и, нагнувшись, прильнул губами к краю темного силуэта. Как собака, томясь жаждой, подползает на животе к берегу ручья и пьет из него воду, так жадно целовал он в пыли очертания любимой тени. Он передвигался на коленях и на руках и все целовал, целовал контуры тени, как будто впивал в себя смутный дорогой ему образ, простертый на земле.

Удивленная, немного испуганная, она ждала, не решаясь заговорить с ним, и, только когда он подполз к ее ногам и, обхватив ее обеими руками, поднял к ней голову, она спросила:

— Что с тобой сегодня?

Он ответил:

— Лиана, я теряю тебя!

Она перебирала пальцами густые волосы своего друга и, запрокинув ему голову, поцеловала его в глаза.

— Почему теряешь? — спросила она, доверчиво улыбаясь ему.

— Завтра мы расстанемся.

— Расстанемся? Ненадолго, милый, совсем ненадолго.

— Кто знает! Не вернутся дни, прожитые здесь.

— Будут другие дни, такие же прекрасные.

Она подняла его, увлекла под дерево, где он когда-то ждал ее, усадила рядом с собой, чуть пониже, чтобы гладить и перебирать его волосы, и стала говорить серьезно и спокойно, как женщина рассудительная, твердая и пламенно любящая, которая все уже предусмотрела, чутьем угадала, что надо делать, и решилась на все:

— Слушай меня, милый. В Париже я чувствую себя совершенно свободно. Вильям не обращает на меня никакого внимания. Ему важны только его дела, а меня он и не замечает. Ты не женат, значит, я могу приходить к тебе. Я буду приходить каждый день, каждый день... в разное время: то утром, то днем, то вечером — ведь прислуга начнет сплетничать, если я буду уходить из дому в одни и те же часы. Мы можем встречаться так же часто, как здесь, и даже чаще,— не надо будет бояться любопытных.

Но он повторял, крепко обнимая ее за талию и положив голову ей на колени:

— Лиана! Лиана! Я потеряю тебя! Я чувствую, что потеряю тебя!

Она немножко рассердилась на него за эту неразумную, детскую печаль, не вязавшуюся с его мощным телом; рядом с ним она, такая хрупкая, была полна

уверенности в себе, уверенности, что никто и ничто не может их разлучить.

Он зашептал:

— Лиана, согласись, бежим вместе, уедем далеко-далеко, в прекрасную страну, полную цветов, и будем там любить друг друга. Скажи только слово, и мы сегодня же вечером уедем. Скажи, ты согласна?

Но она досадливо пожала плечами, недовольная, что он не слушает ее. Разве можно в такую минуту предаваться мечтаниям и ребяческим нежностям? Сейчас надо проявить волю и благоразумие, придумать средство, чтоб можно было всегда любить друг друга и не вызывать подозрений.

Она сказала:

— Послушай меня, милый. Нам надо все обдумать и договориться, чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности или ошибки. Во-первых, скажи: ты уверен в своих слугах? Больше всего надо бояться доноса, анонимного письма моему мужу. Сам он ни за что не догадается. Я хорошо знаю Вильяма...

Но это имя, которое она произнесла уже два раза, вдруг болезненно задело Поля. Он сказал с раздражением:

— Ах, не говори о нем сегодня!

Она удивилась:

— Почему? Ведь надо же... О, уверяю тебя, он совсем не дорожит мною.

Она угадала его мысли. Смутная, еще безотчетная ревность проснулась в нем. И вдруг, став на колени, он сказал, сжимая ее руки:

— Слушай, Лиана...

И умолк, не решаясь высказать свое беспокойство, возникшее вдруг постыдное подозрение, не находя слов, как выразить его.

— Слушай, Лиана... Как у тебя с ним?

Она не поняла:

— Что «как»? Очень хорошо...

— Да, да... Я знаю. Но послушай... пойми меня хорошенько... Ведь он твой муж... словом... Ах, если б ты знала, сколько я думал об этом последние дни! Как это меня мучает!.. Как это терзает меня! Ты поняла? Да?

Она на миг задумалась и вдруг, поняв его вопрос, вскрикнула с искренним негодованием:

— Ах, как ты можешь?.. Милый, как ты мог подумать?.. Зачем ты так!.. Я же вся твоя, слышишь? Только твоя... Ведь я люблю тебя, Поль!..

Он снова уронил голову ей на колени и тихо сказал:

— Лиана, маленькая моя!.. Но ведь он твой муж... Муж. Как же ты будешь? Ты подумала об этом? Скажи... Как будет сегодня вечером или завтра? Ты же не можешь... всегда, всегда говорить ему «нет»...

Она прошептала еле слышно:

— Я его уверила, что я беременна... и он успокоился. Ему это не очень важно... право. Не будем говорить об этом, милый, не надо. Если бы ты знал, как мне это обидно, как горько!.. Верь мне, ведь я люблю тебя!..

Он больше не двигался, молча целовал ее платье, вдыхая аромат ее духов, а она тихо гладила его лицо своими легкими, нежными пальцами.

Вдруг она сказала:

— Пора. Надо идти, а то могут заметить, что нас обоих нет.

Они простились, крепко, до боли сжав друг друга в долгом объятии, и она ушла первая, почти побежала, чтобы вернуться поскорее. Он смотрел ей вслед, пока она не исчезла, смотрел с такой печалью, как будто все его счастье, все надежды исчезли вместе с нею.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Через год, к первому июля, Анвальский курорт стал неузнаваем.

На вершине холма, поднимавшегося посреди долины, меж двух ее выходов, выросло строение в мавританском стиле, и на фронтоне его блестело золотыми буквами слово *Казино.*

Молодой лес по склону, обращенному к Лиману, превратился в небольшой парк. Перед казино, возвышаясь над широкой овернской равниной, протянулась терраса с каменной балюстрадой, которую из конца в конец украшали большие вазы поддельного мрамора.

Пониже, в виноградниках, мелькали крытые лаком фасады шести разбросанных в них швейцарских домиков.

На южном склоне сверкал белизной громадный «Гранд-отель Монт-Ориоля», привлекая взоры путешественников еще издали, как только они выезжали из Риома. А внизу, у подошвы того же самого холма, стояло теперь квадратное здание без всяких вычур в архитектуре, но просторное, окруженное садом, где пробегал ручей, вытекавший из ущелья,— это была водолечебница, и там больных ожидали чудеса исцеления, которые сулила им брошюра, написанная доктором Латоном. Надпись на фасаде гласила: *Лечебные ванны Монт-Ориоля;* на правом крыле буквами помельче сообщалось: *Гидротерапия. Промывание желудка. Бассейны с проточной водой;* на левом крыле: *Институт механизированной врачебной гимнастики.*

Все было новенькое, ослепительно-белое. Повсюду еще работали маляры, кровельщики, водопроводчики, землекопы, хотя ванное заведение уже месяц было открыто для больных.

С первых же дней успех превзошел все ожидания основателей. Три виднейших парижских врача, три знаменитости, профессора Ма-Руссель, Клош и Ремюзо, взяли новый курорт под свое покровительство и согласились пожить некоторое время в виллах, построенных Бернским обществом сборных дач и предоставленных в их распоряжение дирекцией курорта.

Доверяясь авторитету парижских светил, больные хлынули в Монт-Ориоль. Новенький «Гранд-отель» был переполнен.

Хотя водолечебница начала действовать в первых числах июня, официальное открытие курорта отложили до первого июля, чтобы привлечь побольше народу. Праздник решено было начать в три часа дня освящением источников. А вечером предполагалось большое представление, фейерверк и бал, который должен был объединить всех больных Монт-Ориоля и соседних курортов, а также именитых особ из населения Клермон-Феррана и Риома.

Казино на вершине горы уже расцветилось флагами, со всех сторон реяли голубые, красные, белые, желтые полотнища, окружавшие все здание пестрым трепещущим облаком, а в парке вдоль аллей водрузили гигантские мачты с длиннейшими вымпелами, извивавшимися, как змеи, в голубом небе.

Петрюс Мартель, получивший звание директора нового казино, воображал себя под сенью этих бесчисленных флагов всемогущим капитаном какого-то фантастического корабля; он выкрикивал приказания лакеям в белых фартуках грозным, громовым голосом, словно адмирал в разгар морского боя, и ветер доносил раскаты его баса до самой деревни.

На террасе появился Андермат, уже запыхавшийся от суеты. Петрюс Мартель выбежал ему навстречу, приветствуя его широким и величавым жестом.

— Ну как? Все хорошо? — спросил банкир.

— Превосходно, господин председатель.

— Если я понадоблюсь, найдете меня в кабинете главного врача. У нас сейчас заседание.

И он спустился с холма. У дверей водолечебницы встречать хозяина бросились смотритель и кассир, которых, как и директора казино, переманили от старого акционерного общества, жалкого, бессильного соперника, обреченного на гибель. Бывший тюремный надзиратель отдал банкиру честь по-военному, кассир согнулся в низком поклоне, как нищий, который просит милостыню.

Андермат спросил:

— Главный врач здесь?

Смотритель отрапортовал:

— Так точно, господин председатель. Господа члены правления все прибыли.

Банкир прошел через вестибюль, мимо почтительно кланявшихся служителей и горничных, повернул направо, отворил дверь и очутился в просторной комнате, обставленной очень строго, с книжными шкафами, с бюстами деятелей науки; тут собрались все находившиеся в Анвале члены правления: тесть Андермата маркиз де Равенель, шурин Гонтран де Равенель, Поль Бретиньи, доктор Латон и оба Орнола — отец и сын, постаравшиеся одеться, как господа, но такие длинные, сухопарые, в таких долгополых черных сюртуках, что оба напоминали факельщиков с рекламы бюро похоронных процессий.

Обменявшись торопливыми рукопожатиями, все сели, и Андермат произнес речь:

— Нам остается решить весьма важный вопрос: как назвать источники? Тут я совершенно не согласен с главным врачом, господином Латоном. Он предлагает дать трем нашим основным источникам имена трех светил медицины, являющихся нашими гостями. Разумеется, этот лестный знак внимания тронул бы их и еще больше привлек к нам. Но будьте уверены, господа, что это навсегда оттолкнуло бы от нас их знаменитых собратьев, еще не откликнувшихся на наше приглашение, а между тем мы должны ценой любых усилий, любых жертв убедить их в замечательном действии наших вод. Да, господа, человеческая природа всюду одна, надо ее знать и уметь ею пользоваться. Никогда

профессора Плантюро, де Ларенар и Паскалис — укажу хотя бы только на этих трех специалистов по заболеваниям желудка и кишечника — не пошлют к нам своих пациентов, цвет своей клиентуры, украшенной именами принцев и эрцгерцогов, светских львов и львиц, которым они обязаны своим состоянием и своей славой, никогда они не пошлют таких больных лечиться водами источника Ма-Русселя, источника Клоша или источника Ремюзо. Ведь тогда у этих пациентов, у всей публики будут некоторые основания думать, что именно профессора Ремюзо, Клош и Ма-Руссель открыли наши источники и все целебные их свойства. Совершенно несомненно, господа, что имя Гюблера, которым окрестили первый источник Шатель-Гюйона, надолго восстановило против этого курорта многих видных врачей, тогда как они могли взять его под свою опеку с самого начала, и ему не стоило бы таких трудов достигнуть нынешнего своего процветания.

Поэтому я предлагаю просто-напросто дать источнику, открытому первым, имя моей жены, а двум другим — имена дочерей господина Ориоля. Таким образом, у нас будут источники Христианы, Лизы и Шарлотты. Это звучит очень мило, очень поэтично. Что вы на это скажете?

Все согласились с его мнением, даже доктор Латон, который только добавил:

— В таком случае следовало бы попросить профессоров Ма-Русселя, Клоша и Ремюзо быть крестными отцами и в процессии вести под руку крестных матерей.

— Отлично! Отлично! — воскликнул Андермат.— Бегу к ним. Они согласятся, ручаюсь. До свидания. Встретимся в церкви, шествие двинется оттуда.

И он бегом бросился из кабинета.

Вслед за ним ушли маркиз и Гонтран. Затем Ориоли, надев на головы цилиндры, важно зашагали рядышком, две черные, мрачные фигуры на белой дороге; а Полю Бретиньи, приехавшему только накануне, к торжеству открытия курорта, доктор Латон сказал:

— Нет, нет, я вас не пущу, господин Бретиньи. Я хочу показать вам мое детище, от которого я жду настоящих чудес. Пойдемте посмотрим Институт механизированной врачебной гимнастики.

Он подхватил Поля Бретиньи под руку и потащил его с собой. Но когда они вышли в вестибюль, служитель остановил доктора:

— Господин Рикье ждет промывания.

В прошлом году доктор Латон злословил по поводу промываний желудка, апостолом коих был доктор Бонфиль, щедро применявший их в водолечебнице старого курорта, где он состоял главным врачом. Но времена меняются, а с ними изменилось и мнение доктора Латона — зонд Барадюка стал теперь важнейшим орудием пытки в руках главного врача нового курорта, и он с детской радостью засовывал его в пищеводы всех больных.

Он спросил у Поля Бретиньи:

— Вы когда-нибудь присутствовали при этой небольшой операции?

— Нет, никогда,— ответил Бретиньи.

— Так пойдемте, дорогой. Вы посмотрите — это весьма любопытно.

Они вошли в залу врачебных душей, где в ожидании доктора уже сидел в деревянном кресле г-н Рикье, человек с кирпично-красным лицом, искавший в этом году исцеления у новых источников Монт-Ориоля, ибо он каждое лето пробовал действие вод в каком-нибудь вновь открытом курорте.

Словно преступник в застенке средневековья, он был крепко связан, стянут неким подобием смирительной рубашки из клеенки, чтобы предохранить его платье от брызг и пятен. Вид у него был жалкий, испуганный и страдальческий, как у больного, приготовленного к опасной хирургической операции.

Как только доктор вошел, служитель схватил длинную резиновую кишку с двумя ответвлениями посередине, похожую на тонкую двухвостую змею. Конец одного отвода служитель насадил на отверстие крана, сообщавшегося с источником, конец второго опустил в стеклянную банку, куда должна была стекать жидкость, извергаемая желудком больного, а главный врач взял бестрепетной рукой среднюю, основную, трубку этого приспособления, с любезной улыбкой протянул ее к широко открытому рту г-на Рикье и, грациозно направляя кишку большим и указательным пальцами,

ловко засунул ее в горло больному, вводя все глубже, глубже и благодушно приговаривая:

— Так, так, так, великолепно! Идет, идет, идет. Превосходно!

У несчастного г-на Рикье лицо стало лиловым, глаза выкатились, на губах пузырилась пена, он задыхался, всхлипывая, икал и, уцепившись руками за локотники кресла, делал мучительные и тщетные попытки извергнуть из своего желудка заползавшую в него резиновую змею.

Когда он проглотил с полметра трубки, доктор сказал:

— Ну, хватит! Пускайте воду.

Служитель повернул кран, и вскоре живот у больного начал заметно вздуваться, наполняясь теплой водой источника.

— Покашляйте,— сказал врач,— покашляйте, чтобы начал действовать сифон.

Но у бедняги вместо кашля вырывался только хрип, он судорожно дергался, и казалось, глаза у него вот-вот выскочат из орбит. Вдруг на полу рядом с креслом что-то забулькало, зажурчало — сифон двухвостой трубки начал наконец выкачивать жидкость из желудка в стеклянную банку, а доктор внимательно рассматривал ее, отыскивая в ней признаки катара и приметные следы несварения.

— Никогда больше не ешьте зеленого горошка! — восклицал он.— И салата тоже! Ох, этот салат! Вы совсем его не перевариваете! И земляники не ешьте! Я вам десять раз говорил: забудьте о землянике!

Г-н Рикье, видимо, рассвирепел; он ерзал в кресле и вращал глазами, не в силах произнести ни слова, так как трубка заткнула ему горло. Но лишь только промывание кончилось и доктор осторожно вытащил зонд из его утробы, он завопил:

— А разве я виноват, что меня каждый день пичкают всякой дрянью, губят мое здоровье?! Чье это дело — следить, чем кормят в здешней проклятой харчевне? Это ваша обязанность! Я перебрался в новую гостиницу, потому что в старой меня отравляли мерзкой стряпней, но на этом огромном постоялом дворе, име-

нуемом «Грранд-отель Монт-Ориоля», меня совсем доконали. Честное слово!

Доктору пришлось его успокаивать, уговаривать и повторить несколько раз подряд, что он возьмет под свое наблюдение питание больных в отеле.

Затем он опять подхватил Поля Бретиньи под руку и увел его, разъясняя по дороге:

— Я изложу вам вкратце весьма разумные основы созданного мною специального лечения механизированной гимнастикой, которую я вам сейчас продемонстрирую. Вы слышали, конечно, о моей системе органометрической терапии? Не так ли? Я утверждаю, что большинство болезней, которыми мы страдаем, вызывается исключительно непомерным развитием какого-либо органа за счет других. Ненормально увеличившись в размерах, этот орган теснит своих соседей, мешает их функциям и вскоре разрушает общую гармонию всего организма, из чего проистекают весьма плачевные последствия.

Однако физические упражнения в сочетании с душами и теплыми минеральными ваннами самым действенным образом помогают восстановить нарушенное равновесие и сократить до нормальных размеров органы, захватившие чужое место.

Но как заставить больного заниматься физическими упражнениями? Ходьба, верховая езда, плавание или гребля требуют, помимо значительного физического усилия, еще и волевого усилия, а это особенно важно. Воля — вот что увлекает, вынуждает тело к действию и поддерживает его силы. Недаром же люди энергичные всегда отличаются подвижностью. Но источник энергии — душа, а не мышцы. Тело повинуется сильной воле.

Нечего и думать, дорогой мой, труса наделить смелостью, а слабодушного человека решимостью. Но мы можем достигнуть другого, можем сделать нечто большее — мы можем исключить храбрость, умственную энергию, волевые усилия, оставив лишь усилия телесные. Волевые усилия я с успехом заменяю чисто механическим внешним воздействием. Понятно вам? Не очень? Ну вот, посмотрите.

Доктор Латон отворил дверь, и они вошли в про-

сторный зал, где выстроились рядами какие-то странные приспособления: большие кресла на высоких деревянных подставках, топорно сделанные из сосны подобия лошадей, сооружения из планок, скрепленных шарнирами, подвижные брусья, укрепленные горизонтально перед стульями, привинченными к полу. Все эти предметы были снабжены сложной системой шестеренок и зубчатых колес, которые приводились в движение при помощи рукояток.

Доктор продолжал разъяснения:

— Вот взгляните. Существуют четыре главных вида физических упражнений, которые я называю естественными упражнениями: ходьба, верховая езда, плавание и гребля. Каждое из этих упражнений развивает особую группу наших органов, каждое оказывает специфическое воздействие на человеческое тело. И вот здесь мы искусственным способом воспроизводим все эти четыре вида. Самому́ больному ничего не надо делать, ни о чем не надо думать — он может целый час бегать или ездить верхом, плавать или грести, и ум его не будет принимать ни малейшего участия в этой чисто мышечной работе.

Как раз при этих словах вошел Обри-Пастер в сопровождении служителя с засученными рукавами, из-под которых выступали мощные бицепсы. Инженера еще больше разнесло с прошлого года. Он шел, задыхаясь, широко расставляя тучные ноги, растопырив руки.

Доктор сказал Полю Бретиньи:

— Вот вы сейчас во всем убедитесь de visu [1].— И обратился к своему пациенту: — Ну что, дорогой, чем мы сегодня займемся? Ходьбой или поскачем на коне?

Обри-Пастер, пожимая руки Полю Бретиньи, ответил:

— Дайте-ка мне сегодня немножко сидячей ходьбы. Она меня меньше утомляет.

Доктор Латон пояснил:

— У нас, видите ли, имеется ходьба сидячая и ходьба стоячая. Стоячая ходьба действует сильнее, но это

[1] Воочию *(лат.)*.

довольно трудное упражнение. Оно производится при помощи педалей: больной встает на них, педали приводят его ноги в движение, и он удерживает равновесие, держась за кольца, вделанные в стену. А вот тут у нас сидячая ходьба.

Инженер рухнул в кресло-качалку и опустил ноги на две деревянные суставчатые подставки, прикрепленные к этому креслу. Ляжки, икры и щиколотки ему стянули ремнями так, что он не мог сделать ни одного произвольного движения; затем служитель с засученными рукавами ухватился за рукоятку и стал вертеть ее изо всей силы. Кресло сначала закачалось, как гамак, а потом ноги инженера вдруг пришли в движение, они вытягивались, сгибались, поднимались, опускались с необыкновенной быстротой.

— Видите, бежит,— пояснил доктор и приказал: — Тише, пустите шагом!

Служитель стал вертеть рукоятку медленнее, пуская толстые ноги инженера более умеренным аллюром, отчего движения стали комически расслабленными.

В зале появились двое других больных — две огромные туши, за которыми следовали двое служителей с обнаженными мускулистыми руками.

Толстяков взгромоздили на деревянных коней, завертели рукоятки, и тотчас «лошади» заскакали на одном месте, встряхивая своих всадников самым безжалостным образом.

— Галопом! — крикнул доктор.

Деревянные лошади запрыгали, закачались, как лодки по волнам бурного моря, и до того измучили обоих пациентов, что они, задыхаясь, жалобно закричали в один голос:

— Довольно! Довольно! Сил нет больше! Довольно!

Доктор скомандовал:

— Стоп! — и добавил: — Передохните немного. Через пять минут продолжите.

Поль Бретиньи, едва удерживаясь от хохота, сказал доктору, что всадникам, кажется, совсем не жарко, зато вертельщики все в поту.

— Не поменяться ли им ролями? — спросил он.— Пожалуй, так будет лучше.

Доктор важным тоном ответил:

— Ну, что вы, дорогой! Нельзя же смешивать упражнения и утомительную работу. Вращать рукоятку колеса вредно для здоровья, а упражнять мышцы ходьбой или верховой ездой чрезвычайно полезно.

Поль заметил дамское седло.

— Да, да,— сказал доктор,— вечерние часы отведены для дам. Мужчины после полудня сюда не допускаются. Пойдемте теперь посмотрим сухое плавание.

Сложная система подвижных дощечек, скрепленных винтами в середине и по краям, вытягивавшихся ромбами, сдвигавшихся квадратами, как детская игрушка с марширующими деревянными солдатиками, позволяла привязать и распластать на них одновременно трех «пловцов».

Доктор пояснил:

— Мне нет необходимости указывать на преимущества сухого плавания — они и так ясны: тело при этом увлажняется только от испарины, и, следовательно, при таком воображаемом купании пациентам не грозит опасность ревматических заболеваний.

Но тут явился служитель и подал доктору визитную карточку.

— Извините, дорогой, прибыл герцог де Рамас. Я удаляюсь,— сказал доктор.

Оставшись один, Поль огляделся вокруг. Два всадника снова скакали; Обри-Пастер все еще упражнялся в сидячей ходьбе, а трое овернцев, у которых ломило руки, ныли спины от усталости, все вертели и вертели рукоятки, встряхивая своих клиентов. Казалось, они мололи кофе.

Выйдя из лечебницы, Бретиньи увидел доктора Онора с женой, которые смотрели на приготовления к празднику. Они поговорили немного, глядя на вершину холма, осененную ореолом флагов.

— Откуда двинется шествие? — спросила докторша.

— Из церкви.

— В три часа?

— В три часа.

— А господа профессора тоже пойдут?

— Да, они сопровождают крестных матерей.

Затем его остановили две вдовы Пай, потом г-н Монекю с дочерью, а потом Поль начал медленно подниматься на холм, так как уговорился со своим другом Гонтраном позавтракать в кофейне курортного казино,— он приехал накануне, еще не успел побеседовать с глазу на глаз со своим приятелем, с которым не виделся месяц, и теперь хотел пересказать ему множество бульварных новостей о кокотках и всяких злачных местах.

Они болтали до половины третьего, пока Петрюс Мартель не явился предупредить их, что все уже идут к церкви.

— Зайдем за Христианой,— сказал Гонтран.

— Зайдем,— согласился Поль.

Они встретили ее на крыльце нового отеля. Теперь у Христианы были впалые щеки, темные пятна на лице, как у многих беременных женщин; большой живот выдавал, что она по меньшей мере на седьмом месяце.

— Я поджидаю вас,— сказала она. — Вильям уже ушел, у него сегодня много хлопот.

И, подняв на Поля Бретиньи взгляд, полный нежности, она взяла его под руку.

Они тихо двинулись по дороге, обходя камни. Христиана повторяла:

— Какая я стала тяжелая!.. Ужасно тяжелая!.. Совсем разучилась ходить. Все боюсь упасть.

Поль осторожно вел ее, не отвечая ни слова, избегая встречаться с нею взглядом, а она беспрестанно поднимала глаза, чтобы посмотреть на него.

Перед церковью уже собралась густая толпа.

Андермат крикнул:

— Наконец-то, наконец-то! Идите скорей. Порядок шествия такой: впереди двое мальчиков из церковного хора, двое певчих в стихарях, крест, святая вода, священник. Потом Христиана в паре с профессором Клошем, мадмуазель Луиза под руку с профессором Ремюзо и мадмуазель Шарлотта с профессором Ма-Русселем. Далее идут члены правления, медицинский персонал, а за ним публика. Поняли? Становитесь.

Из церкви вышел священник со своим клиром, и они заняли место во главе процессии. Затем высокий гос-

по́дин с длинными седыми волосами, откинутыми назад — классический тип ученого академического образца — подошел к г-же Андермат и отвесил глубокий поклон.

Выпрямившись, он пошел рядом с ней, не надевая цилиндра, чтобы щегольнуть своей прекрасной шевелюрой ученого мужа; прижимая к бедру головной убор, он выступал так величаво, как будто учился у актеров Французской комедии этой поступи и умению выставить для обозрения публики орденскую розетку Почетного легиона, слишком большую для скромного человека.

Он заговорил с Христианой:

— Ваш супруг, сударыня, только что беседовал со мной о вас и о вашем положении, которое внушает ему некоторое беспокойство как заботливому мужу. Он рассказал мне о ваших сомнениях и неуверенности в сроке разрешения от бремени.

Христиана вся залилась краской и тихо сказала:

— Да, мне преждевременно показалось, что... я стану матерью... А теперь я уж не знаю, когда... право, не знаю...

От смущения она не знала, что говорить.

Позади них раздался голос:

— У этого курорта большое будущее. Я уже наблюдаю на своих пациентах поразительные результаты.

Так профессор Ремюзо занимал свою спутницу Луизу Ориоль. Это второе светило отличалось малым ростом, растрепанной рыжей гривой, дурно сшитым сюртуком и неопрятным видом, являя собою другой тип — ученого-замарашки.

Профессор Ма-Руссель, который шел под руку с Шарлоттой Ориоль, был благообразен, выхолен и дороден, не носил ни бороды, ни усов, гладко причесывал свои седеющие волосы, а в его бритом приветливом лице не было ничего поповского и актерского, как у доктора Латона.

За этой парой следовала группа членов правления во главе с Андерматом, и над ней покачивались высочепные цилиндры двух Ориолей.

Позади шел еще один отряд цилиндроносцев — медицинская корпорация Анваля, где недоставало только

доктора Бонфиля; впрочем, его отсутствие восполнили два новых врача: доктор Блек, низенький старик, почти карлик, поразивший всех с первого дня приезда своей набожностью, и высокий, стройный, щеголеватый красавец, единственный из всех врачей носивший мягкую шляпу,— доктор Мадзелли, итальянец, состоявший при особе герцога де Рамас или, как утверждали некоторые, герцогини де Рамас.

Далее шла публика, целый поток больных, крестьян и жителей соседних городов.

С обрядом освящения источников покончили очень быстро. Аббат Литр поочередно окропил их святой водой, и доктор Онора сострил, что теперь они получили новые свойства благодаря примеси хлористого натра. Затем все приглашенные направились в просторный читальный зал, где было подано угощение.

Поль сказал Гонтрану:

— Как похорошели сестрицы Ориоль!

— Да, дорогой, они просто очаровательны!

— Вы не видели господина председателя? — спросил молодых парижан бывший тюремный надзиратель.

— Вон он, в углу.

— А то, знаете, старик Кловис мутит народ у самых дверей.

Когда процессия направлялась к источникам, она прошла мимо старого калеки, в прошлом году излечившегося, а теперь совсем лишившегося ног; он останавливал на дороге приезжих, преимущественно только что прибывших, и рассказывал свою историю:

— Никуда их вода не годится, как есть никуда. Вроде как вылечит поначалу, а потом, глядишь, болезнь сызнова заберет, да еще пуще, хоть ложись и помирай. У меня раньше только ноги не ходили, а теперь и руки отнялись — вот до чего долечили! А ноги у меня теперь, как кувалды чугунные, ничуть не гнутся.

Андермат в отчаянии уже пытался засадить его в тюрьму, подавал на него в суд за клевету, наносящую ущерб акционерному обществу минеральных вод Монт-Ориоля, и за попытку к шантажу, но ничего не добился и никак не мог заткнуть рот этому нищему бродяге.

Лишь только ему сообщили, что старик болтает у дверей водолечебницы, он бросился унимать его.

На краю большой дороги собралась толпа, и из середины ее раздавались разъяренные голоса. Любопытные останавливались, теснились, чтобы послушать и посмотреть. Дамы спрашивали: «Что там такое?» Мужчины отвечали: «Да вот больного доконали здешние воды». Некоторые уверяли, что на дороге раздавили ребенка. А другие говорили, что с какой-то несчастной женщиной случился припадок падучей.

Андермат протискался сквозь толпу с обычной своей ловкостью, раздвигая круглым, как шар, брюшком ряды чужих животов. «Он доказывает,— говорил Гонтран,— преимущество шарообразных тел над остроконечными».

Старик Кловис сидел у придорожной канавы и плакался на свою горькую участь, рассказывал о своих страданиях, хныкал, а перед ним, загораживая его от публики, стояли возмущенные Ориоли, грозили ему, ругались и кричали во всю глотку.

— Врет он все,— вопил Великан,— врет! Кто он такой! Обманщик, лодырь, браконьер! Всякую ночь по лесам бегает.

Но старик, нисколько не смущаясь, причитал пронзительным фальцетом, так что его хорошо было слышно, несмотря на зычную ругань Ориолей.

— Убили они меня, добрые люди, убили своей водой. Прошлый год они меня силком в ней купали. И вот до чего довели. Куда я теперь гожусь, куда?

Андермат велел всем замолчать и, наклонившись к калеке, сказал, пристально глядя ему в глаза:

— Если вам стало хуже, это ваша вина. Понятно? Но если вы будете меня слушаться, я ручаюсь, что вылечу вас — двумя десятками ванн, самое большее. Приходите через час в лечебницу, когда все уйдут, и мы все уладим, дядюшка Кловис. А пока что помолчите.

Старик сразу понял. Он умолк и, сделав паузу, ответил:

— Я, что ж, я не против. Можно еще попробовать. Поглядим.

Андермат подхватил под руки Ориолей и живо увел их, а старик Кловис, щурясь от солнца, остался сидеть на траве у обочины дороги между своими костылями.

Вокруг него теснилась заинтересованная толпа зри-

телей. Хорошо одетые господа расспрашивали его, но он не отвечал, как будто не слышал или не понимал их, а в конце концов, когда ему надоело это бесполезное теперь любопытство, во все горло запел пронзительным и фальшивым голосом бесконечную песню на своем непонятном наречии.

Толпа мало-помалу начала расходиться. Лишь несколько ребятишек еще долго стояли перед Кловисом и, ковыряя в носу, созерцали его.

Христиана очень устала и вернулась в отель отдохнуть. Поль и Гонтран прогуливались в новом парке среди гостей. Вдруг они заметили компанию актеров, которые тоже изменили старому казино, связав свою карьеру с нарождающейся славой нового курорта.

Мадмуазель Одлен, теперь очень нарядная, прохаживалась под руку с раздобревшей, важной мамашей. Птинивель из *Водевиля* увивался около них, а позади дам шел Лапальм из *Большого театра* в Бордо, споря о чем-то с музыкантами — с неизменным маэстро Сен-Ландри, пианистом Жавелем, флейтистом Нуаро и мучеником контрабаса Никорди.

Завидев Поля и Гонтрана, Сен-Ландри бросился к ним. Зимой он написал крошечную музыкальную комедию в одном акте, поставленную в маленьком второстепенном театре, но газеты отозвались о ней довольно благосклонно, и теперь маэстро свысока говорил о Масснэ, Рейере и Гуно.

Он по-приятельски протянул обе руки Полю и Гонтрану и тотчас принялся пересказывать свой спор с музыкантами оркестра, которым дирижировал:

— Да, дорогой мой, со всеми песенниками старой школы покончено. Крышка им, крышка! Мелодисты отжили свой век. Вот чего они не желают понять. Музыка — новое искусство. А мелодия — ее младенческий лепет. Неразвитому, невежественному слуху приятны были ритурнели. Они доставляли ему детское удовольствие, как ребенку, как дикарю. Добавлю еще, что простонародью, людям неискушенным, примитивным, всегда будут нравиться песенки, арии. Мещанские вкусы, вкусы завсегдатаев кафешантанов!

Я прибегну к сравнению, чтобы вы лучше меня поняли. Глаз деревенщины привлекают резкие краски,

аляповатые картины; глаз образованного горожанина, лишенного, однако, художественного вкуса, радуют наивные, слащавые цвета и трогательные сюжеты; но художник с изощренным глазом любит, понимает и различает неуловимые нюансы, тончайшие переходы одного и того же тона, таинственные модуляции, аккорды оттенков, которых непосвященные не видят.

То же самое происходит и в литературе: швейцары любят приключенческие романы, буржуа — романы умилительные, а утонченные люди любят только такие книги, которые недоступны пониманию толпы.

Когда буржуа говорит со мной о музыке, мне хочется его убить. И если он заговаривает о музыке в *Опере,* я его спрашиваю: «Способны вы сказать мне, сфальшивила или нет третья скрипка в увертюре к третьему акту? Нет? Ну, так молчите. У вас нет слуха... Раз человек не может одновременно слушать весь оркестр в целом и каждый инструмент в отдельности, у него нет слуха, он не музыкант. Вот что! До свидания!»

Он повернулся на одной ножке и опять заговорил:

— Для артиста вся музыка в аккорде. Ах, дорогой, иные аккорды сводят меня с ума, врываются в самое мое нутро потоком неизъяснимого блаженства. Теперь у меня слух настолько изощрен, настолько выработан, настолько искушен, что мне уж стали нравиться даже некоторые фальшивые аккорды: ведь у знатоков утонченность вкуса иной раз доходит до извращенности. Я уже становлюсь распутником, ищу возбуждающих слуховых ощущений. Да, да, друзья мои. Иные фальшивые ноты — какое это наслаждение! Наслаждение извращенное и глубокое! Как они волнуют, какая это встряска нервам, как это царапает слух! Ах, как царапает, как царапает!..

Потирая в восторге руки, он запел:

— Вот услышите мою оперу, мою оперу, мою оперу! Вот услышите мою оперу!

Гонтран спросил:

— Вы пишете оперу?

— Да, уже заканчиваю.

Но тут раздался повелительный голос Петрюса Мартеля:

— Все поняли, да? Значит, решено: желтая ракета — и вы начинаете.

Он отдавал распоряжения относительно фейерверка. Гонтран и Поль подошли к нему. Он принялся разъяснять диспозицию и, вытягивая руку, как будто грозя вражескому флоту, указывал на белые деревянные щиты, расставленные по склону горы над ущельями, по ту сторону долины.

— Вон оттуда будут пускать. Я приказал своему пиротехнику быть на месте к половине девятого. Как только спектакль кончится, я подам из парка сигнал желтой ракетой, и тогда он зажжет первую фигуру.

Появился маркиз.

— Пойду к источнику выпить стакан воды,— сказал он.

Поль и Гонтран проводили его и спустились с холма. Подходя к лечебнице, они увидели, как в нее вползает старик Кловис, которого поддерживали отец и сын Ориоли, а за ними следуют Андермат и доктор Латон; паралитик еле волочил ноги и при каждом шаге страдальчески охал и корчился.

— Пойдем посмотрим,— сказал Гонтран. — Забавно будет.

Калеку усадили в кресло, потом Андермат сказал ему:

— Вот мое предложение, старый плут: предлагаю вам немедленно выздороветь, принимая по две ванны в день. Как только начнете ходить, получите двести франков...

Паралитик заохал:

— Да ноги-то у меня, как чугунные, господин хороший.

Андермат прикрикнул на него и продолжал:

— Слушайте хорошенько. Каждый год до самой вашей смерти — слышите? — до самой смерти вы будете получать по двести франков, если согласитесь продолжать пользоваться целебным действием наших вод.

Старик был озадачен. Выздоровление на длительный срок шло вразрез с его планами.

Он спросил неуверенным голосом:

— А зимой... когда ваша лавочка закроется... вдруг

меня опять схватит?.. Я-то что же могу поделать... раз у вас закрыто... ванны-то где брать?

Доктор Латон перебил его и сказал, обращаясь к Андермату:

— Превосходно!.. Превосходно!.. Мы его будем подлечивать каждое лето... Так даже лучше будет: наглядное доказательство необходимости ежегодно повторять курс лечения во избежание рецидива. Превосходно!.. Вопрос решен.

Но старик опять затянул:

— Да где уж там... теперь ничего не выйдет... Ноги-то у меня стали, как чугунные, как чугунные кувалды...

Доктора Латона осенила новая идея:

— А что, если я назначу ему несколько сеансов сидячей ходьбы?.. Это усилит действие минеральных вод, ускорит эффект. Надо испробовать.

— Превосходная мысль! — одобрил Андермат и добавил: — А теперь ступайте домой, папаша, и помните наше с вами условие.

Старик потащился по дороге со стонами и охами, и вся администрация Монт-Ориоля отправилась обедать, так как уже вечерело, а в половине восьмого назначено было театральное представление.

Спектакль устроили в большом зале нового казино, рассчитанном на тысячу человек.

Зрители, не имевшие нумерованных мест, начали собираться с семи часов.

К половине восьмого зал был переполнен. Подняли занавес, и начался водевиль в двух актах; за ним должна была последовать оперетта самого Сен-Ландри в исполнении певцов, приглашенных для такого торжества из Виши.

Христиана сидела в первом ряду между отцом и мужем. Она очень страдала от духоты и поминутно жаловалась:

— Не могу больше, право, не могу.

После водевиля, когда уже началась оперетта, ей чуть не стало дурно, и она сказала мужу:

— Виль, дорогой!.. Я уйду... Не могу больше. Я совсем задыхаюсь.

Банкир был в отчаянии. Ему так хотелось, чтобы

праздник с начала до конца прошел блестяще, без малейшей заминки. Он ответил Христиане:

— Ну, как-нибудь потерпи. Умоляю тебя! Если ты уйдешь, все будет испорчено. Тебе ведь надо пройти через весь зал.

Гонтран, сидевший рядом с Полем, позади их кресел, услышал этот разговор. Он наклонился к сестре.

— Тебе жарко? — спросил он.

— Да, я задыхаюсь.

— Хорошо. Подожди чуточку. Сейчас мы с тобой посмеемся.

Неподалеку было окно. Гонтран пробрался к нему, влез на стул и выпрыгнул. Почти никто этого не заметил.

Потом он вошел в совершенно пустую кофейню, сунул руку под конторку, куда на его глазах Петрюс Мартель спрятал сигнальную ракету, вытащил ее, побежал в парк, спрятался в кустах и зажег ракету.

Описав дугу, в небо взлетела желтая комета, дождем рассыпая огненные брызги. Тотчас же на соседней горе раздался оглушительный треск и в ночном мраке засверкал целый сноп ярких звезд.

В зрительном зале, где трепетали аккорды творения Сен-Ландри, кто-то крикнул:

— Фейерверк пускают!

В рядах, ближайших к двери, зрители вскочили и, стараясь не шуметь, отправились взглянуть, верно ли это. Остальные повернулись к окнам, но ничего не увидели, так как окна выходили на равнину Лимани.

Загудели голоса:

— Правда это? Правда?

Толпа, всегда падкая на несложные развлечения, нетерпеливо волновалась. Из дверей кто-то крикнул:

— Правда! Пускают!

В одно мгновение поднялся весь зал. Все бросились к выходу, толкались, кричали тем, кто застрял в дверях:

— Да скорее вы, скорее! Дайте пройти!

Все высыпали в парк. Маэстро Сен-Ландри в отчаянии продолжал отбивать такт перед рассеянным оркестром. А на горе трещали взрывы, вертелось одно огненное солнце за другим, взвивались римские свечи.

И вдруг громовой голос трижды огласил воздух неистовым криком:

— Прекратить, черт подери! Прекратить! Прекратить!

В это мгновение заполыхало зарево бенгальского огня, озарив огромные утесы и деревья фантастическим светом, направо багряным, налево голубым, и все увидели Петрюса Мартеля, который взобрался на одну из ваз поддельного мрамора, украшавших террасу казино, и, стоя на ней с непокрытой головой, в отчаянии простирал к небесам руки, жестикулировал и орал.

И вдруг зарево угасло, в небе замерцали только настоящие звезды. Но тотчас же зажглось новое огненное колесо, а Петрюс Мартель спрыгнул на землю, восклицая:

— Какое несчастье! Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!

С широкими трагическими жестами он прошел сквозь толпу, грозно потрясая кулаками, гневно топая ногой, и все выкрикивал:

— Какое несчастье! Боже мой, какое несчастье!

Христиана, взяв под руку Поля, вышла посидеть на свежем воздухе и с восторгом смотрела на ракеты, взлетавшие в небо.

Вдруг к ней подбежал Гонтран.

— Ну что, удачно вышло? Правда, забавно, а?

Она шепнула:

— Как! Это ты подстроил?

— Конечно, я. Здорово вышло, верно?

Она расхохоталась, находя, что вышло в самом деле забавно. Но тут подошел удрученный, подавленный Андермат. Он не мог догадаться, кто нанес ему такой удар. Кто мог украсть из-под конторки ракету и подать условленный сигнал? Подобную гнусность мог совершить только шпион, подосланный старым акционерным обществом, агент доктора Бонфиля.

И он твердил:

— Какая досада! Это просто возмутительно! Ухлопали на фейерверк две тысячи триста франков, и все пропало зря. Совершенно зря!

Гонтран сказал:

— Нет, дорогой мой, подсчитайте хорошенько,—

убытки не превышают четвертой, ну, самое большее третьей части стоимости фейерверка, то есть семиста шестидесяти шести. Значит, ваши гости насладились ракетами на тысячу пятьсот тридцать четыре франка. Это не так уж плохо, право.

Гнев банкира обратился на шурина. Он схватил его за плечо:

— Вот что, я должен с вами поговорить самым серьезным образом. Раз вы уж мне попались, пойдемте-ка походим по аллеям. Впрочем, разговор будет недолгий, минут через пять я вас отпущу.

И, обернувшись к Христиане, он сказал:

— А вас, дорогая, я поручаю нашему другу, господину Бретиньи. Только долго не оставайтесь тут, берегите свое здоровье; не дай бог вы простудитесь... Вам надо быть осторожной, очень осторожной.

Христиана тихо ответила:

— Ничего, друг мой, не бойтесь.

И Андермат увел с собой Гонтрана.

Как только они немного удалились от толпы, банкир остановился.

— Я хотел поговорить с вами о ваших финансовых делах.

— О моих финансовых делах?

— Да, да. Вы знаете, каковы они у вас?

— Нет. Зато вы, конечно, знаете — ведь вы ссужаете меня деньгами.

— Совершенно верно, я-то знаю! Вот почему я и решил поговорить с вами.

— Ну, мне кажется, момент для этого выбран неудачно... в самый разгар фейерверка!..

— Напротив, момент выбран очень удачно. Не в разгар фейерверка, а перед балом.

— Перед балом?.. Что это значит? Не понимаю.

— Ничего, сейчас поймете. Вот каково ваше положение: у вас одни долги и никогда ничего не будет, кроме долгов...

Гонтран сказал серьезно:

— Вы что-то уж слишком откровенны.

— Ничего не поделаешь, так надо. Слушайте внимательно! Вы промотали наследство, доставшееся вам после матери. Не будем о нем говорить.

— Не будем.

— У вашего отца тридцать тысяч годового дохода, то есть около восьмисот тысяч капитала. Позднее ваша доля в наследстве составит четыреста тысяч франков. А сколько у вас долгов? Одному мне вы должны сто девяносто тысяч. Да еще ростовщикам...

Гонтран бросил высокомерным тоном:

— Скажите лучше — евреям.

— Хорошо, евреям, если отнести к этим самым евреям церковного старосту собора святого Сульпиция, у которого посредником был некий священник, но к подобным пустякам я придираться не стану. Итак, вы должны различным ростовщикам, иудеям и католикам, почти столько же, сколько мне. Ну, скинем немного, будем считать сто пятьдесят тысяч. Итого, долгов у вас на триста сорок тысяч; с этой суммы вы платите проценты, для чего опять занимаете деньги, за исключением вашего долга мне, по которому вы ничего не платите.

— Правильно,— подтвердил Гонтран.

— Итак, у вас ничего нет.

— Верно, ничего. Кроме зятя.

— Кроме зятя, которому уже надоело давать вам взаймы.

— Что из этого следует?

— Из этого следует, дорогой мой, что любой крестьянин, живущий в одном из этих вот домишек, богаче вас.

— Прекрасно, а дальше что?

— А дальше... дальше... Если ваш отец завтра умрет, у вас не будет куска хлеба, понимаете вы это? Вам останется только одно: поступить на какое-нибудь место в мою контору, да и это будет лишь замаскированной пенсией, которую мне придется платить вам.

Гонтран заметил раздраженным тоном:

— Дорогой Вильям, мне надоел наш разговор. Я все это знаю не хуже вас и повторяю: вы неудачно выбрали момент, чтобы напомнить мне о моем положении так... так... недипломатично.

— Нет, уж позвольте мне докончить. Для вас одно спасение — выгодная женитьба. Однако вы неважная партия: имя у вас хоть и звучное, но не прославлен-

ное. Оно не из тех имен, за которое богатая наследница, даже иудейского вероисповедания, согласится заплатить своим состоянием. Итак, вам надо найти невесту, приемлемую для общества и богатую, а это нелегко...

Гонтран перебил:

— Говорите уж сразу, кто она. Так лучше будет.

— Хорошо. Одна из дочерей старика Ориоля. Любая — на выбор. Вот почему я и решил поговорить с вами перед балом.

— А теперь объяснитесь подробнее,— холодным тоном сказал Гонтран.

— Все очень просто. Видите, какого успеха я сразу же добился с этим курортом. Однако, если бы у меня в руках — вернее, у нас в руках — была вся та земля, которую оставил за собой хитрый мужик Ориоль, я бы золотые горы тут нажил. За одни только виноградники, расположенные между лечебницей и отелем и между отелем и казино, я бы завтра же, ни слова не говоря, выложил миллион — так они мне нужны. А все эти виноградники и еще другие участки вокруг холма пойдут в приданое за девочками. Старик сам мне это заявлял, а недавно еще раз повторил, может быть, с определенным намерением. Ну, что скажете? Если бы захотели, мы с вами могли бы завернуть тут большое дело.

Гонтран протянул задумчиво:

— Что ж, пожалуй. Я подумаю.

— Подумайте, подумайте, дорогой. Только не забудьте: я на ветер слов не бросаю, и уж если сделал какое-нибудь предложение, значит, я его обсудил со всех сторон, все взвесил, знаю все его возможные последствия и верную выгоду.

Но Гонтран вдруг поднял руку и воскликнул, как будто вмиг позабыв все, что сказал ему зять:

— Посмотрите! Какая красота!

В небе вдруг запылал фейерверк, изображавший ослепительно сверкающий замок, над ним горело знамя, на котором огненно-красными буквами начертано было *Монт-Ориоль,* и в это мгновение над долиной выплыла такая же красная луна, как будто и ей захотелось полюбоваться красивым зрелищем. Замок горел в небе не-

сколько минут, потом внезапно вспыхнул, взлетел вверх пылающими обломками, как взорвавшийся корабль, раскидывая по всему небу фантастические звезды; они тоже рассыпались градом огней, и все угасло, только луна, спокойная, круглая, одиноко сияла на горизонте.

Публика бешено аплодировала, кричала:

— Ура! Браво! Браво!

Андермат сказал:

— Ну, пойдемте, дорогой. Откроем бал. Угодно вам танцевать первую кадриль напротив меня?

— Разумеется, с удовольствием, дорогой Вильям.

— Кого вы думаете пригласить? Я уже получил согласие от герцогини де Рамас.

Гонтран ответил равнодушным тоном:

— Я приглашу Шарлотту Ориоль.

Они пошли вверх, к казино. Проходя мимо того места, где Христиана осталась с Полем Бретиньи, и увидев, что их уж нет там, Андермат пробормотал:

— Вот и хорошо, послушалась моего совета, пошла спать. Она очень утомилась сегодня.

И он торопливо направился в зал, который во время фейерверка служители казино уже успели приготовить для бала.

Но Христиана не пошла к себе в комнату, как думал ее муж.

Лишь только ее оставили одну с Полем Бретиньи, она сжала его руку и сказала еле слышно:

— Наконец-то ты приехал! Я заждалась тебя. Целый месяц каждое утро думала: «Может быть, сегодня увижу его». А вечером успокаивала себя: «Значит, приедет завтра». Что ты так долго не приезжал, любимый мой?

Он ответил смущенно:

— Да, знаешь, занят был... Дела всякие.

Прильнув к нему, она шепнула:

— Нехорошо, право, нехорошо! Оставил меня одну с ними, когда я в таком положении.

Он немного отодвинул свой стул:

— Осторожнее. Нас могут увидеть. Ракеты очень ярко освещают все кругом.

Христиана совсем не беспокоилась об этом, она сказала ему:

— Я так люблю тебя.— И, радостно встрепенувшись, прошептала: — Ах, какое счастье, какое счастье, что мы снова здесь вместе. Подумай только, Поль, как чудесно! Опять мы будем тут любить друг друга!

Тихо, тихо, точно дуновение ветерка, послышался ее шепот:

— Как мне хочется поцеловать тебя! Безумно, безумно хочется поцеловать тебя! Мы так давно не видались!

И вдруг с властной настойчивостью страстно любящей женщины, считающей, что все должно перед ней склониться, она сказала:

— Послушай, пойдем... сейчас же пойдем... на то место, где мы простились в прошлом году. Помнишь его? На дороге в Ла-Рош-Прадьер.

Он ответил изумленно:

— Что ты? Какая нелепость! Тебе не дойти. Ты ведь целый день была на ногах. Это безумие! Я не позволю тебе.

Но она уже поднялась и повторила упрямо:

— Сейчас же пойдем. Я так хочу. Если ты не пойдешь со мной, я одна пойду.

И, указывая на поднимавшуюся луну, сказала:

— Смотри. Совсем такой же вечер был тогда. Помнишь, как ты целовал мою тень?

Он удерживал ее:

— Христиана, не надо... Это смешно... Христиана!..

Она, не отвечая, шла к спуску, который вел к виноградникам. Он хорошо знал ее спокойную и непреклонную волю, какое-то кроткое упрямство, светившееся во взгляде голубых глаз, крепко сидевшее в ее изящной белокурой головке, не признававшей никаких препятствий; и он взял ее под руку, чтобы она не оступилась.

— Христиана, что, если нас увидят?

— Ты не так говорил в прошлом году. Да и не увидит никто. Все на празднике. Мы быстро вернемся, никто не заметит.

Вскоре начался подъем в гору по каменистой тро-

пинке. Христиана хрипло дышала и всей тяжестью опиралась на руку Поля; на каждом шагу она говорила:

— Ничего. Так хорошо, хорошо, хорошо помучиться из-за этого!

Он остановился, хотел вести ее обратно, но она и слушать ничего не желала:

— Нет, нет... Я счастлива... Ты не понимаешь этого. Послушай... Я чувствую, как шевелится наш ребенок... твой ребенок... Какое это счастье!.. Погоди, дай руку... чувствуешь?

Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов. Лишь только он узнал, что она беременна, он стал отдаляться от нее, чувствуя к ней невольную брезгливость. Когда-то он не раз говорил, что женщина, хотя бы однажды выполнившая назначение воспроизводительницы рода, уже недостойна любви. В любви он искал восторгов какой-то воздушной, крылатой страсти, уносящей два сердца к недостижимому идеалу, бесплотного слияния двух душ — словом, того надуманного, неосуществимого чувства, какое создают мечты поэтов. В живой, реальной женщине он обожал Венеру, священное лоно которой всегда должно сохранять чистые линии бесплодной красоты. Мысль о том маленьком существе, которое зачала от него эта женщина, о том человеческом зародыше, что шевелится в ее теле, оскверняет его и уже обезобразил его, вызывала у Поля Бретиньи непреодолимое отвращение. Для него материнство превратило эту женщину в животное. Она уже не была теперь редкостным, обожаемым, дивным созданием, волшебной грезой, а самкой, производительницей. И к этому эстетическому отвращению примешивалась даже чисто физическая брезгливость.

Но разве могла она почувствовать, угадать все это, она, которую каждое движение желанного ребенка все сильнее привязывало к любовнику? Тот, кого она обожала, кого с мгновения первого поцелуя любила каждый день все больше, не только жил в ее сердце, он зародил в ее теле новую жизнь, и то существо, которое она вынашивала в себе, толчки которого

отдавались в ее ладонях, прижатых к животу, то существо, которое как будто уже рвалось на свободу,— ведь это тоже был он. Да, это был он сам, ее добрый, родной, ее ласковый, единственный ее друг, возродившийся в ней таинством природы. И теперь она любила его вдвойне — того большого Поля, который принадлежал ей, и того крошечного, еще неведомого, который тоже принадлежал ей; любила того, которого она видела, слышала, касалась, обнимала, и того, кого лишь чувствовала в себе, когда он шевелился у нее под сердцем.

Она остановилась на дороге.

— Вот здесь ты ждал меня в тот вечер,— сказала она.

И она потянулась к нему, ожидая поцелуя. Он, не отвечая ни слова, холодно поцеловал ее.

А она еще раз спросила:

— Помнишь, как ты целовал мою тень? Я вот там тогда стояла.

И в надежде, что та минута повторится, она побежала по дороге, остановилась и ждала, тяжело дыша от бега. Но в лунном свете на дороге широко распластался неуклюжий силуэт беременной женщины. Поль смотрел на эту безобразную тень, протянувшуюся к его ногам, и стоял неподвижно, оскорбленный в своей поэтической чувствительности, негодуя на то, что она не сознает этого, не угадывает его мыслей, что ей недостает кокетства, такта, женского чутья, чтобы понять все оттенки поведения, которого требуют от нее изменившиеся обстоятельства, и он сказал с нескрываемым раздражением:

— Перестань, Христиана. Что за ребячество! Это смешно.

Она подошла к нему, взволнованная, опечаленная, протягивая к нему руки. И припала к его груди.

— Ты теперь меньше меня любишь. Я чувствую это! Уверена в этом!

Ему стало жаль ее. Он взял обеими руками ее голову и долгим поцелуем поцеловал ее в глаза.

И они молча двинулись в обратный путь. Поль не знал, о чем теперь говорить с ней, а оттого, что она, изнемогая от усталости, опиралась на него, он уско-

рял шаг,— ему неприятно было чувствовать прикосновение ее отяжелевшего стана.

Возле отеля они расстались, и она поднялась к себе в спальню.

Из казино неслась танцевальная музыка, и Поль зашел туда посмотреть на бал. Оркестр играл вальс, все вальсировали: доктор Латон с г-жой Пай-младшей, Андермат с Луизой Ориоль, красавец доктор Мадзелли с герцогиней де Рамас, а Гонтран с Шарлоттой Ориоль. Он что-то нашептывал девушке с тем нежным видом, который свидетельствует о начавшемся ухаживании. А она, прикрываясь веером, улыбалась, краснела и, казалось, была в восторге.

Поль услышал за своей спиной:

— Вот тебе на! Господин де Равенель волочится за моей пациенткой!

Это сказал доктор Онора, стоявший у дверей и с удовольствием наблюдавший за танцорами.

— Да, да,— добавил он,— вот уже полчаса, как ведется атака. Все заметили. И девчурке как будто это нравится.

И, помолчав, он сказал:

— А какая она милая — просто сокровище! Добрая, веселая, простая, заботливая, искренняя. Вот уж, право, славная девушка. Во сто раз лучше старшей сестры. Я их обеих с малых лет знаю. Но, представьте, отец больше любит старшую, потому что... потому что она вся в него, та же мужицкая складка. Нет той прямоты, как в младшей, эта расчетливее, хитрее и завистливее. Конечно, я ничего дурного не хочу о ней сказать, она тоже хорошая девушка, а все-таки невольно сравниваешь, а как сравнишь, так и оценишь их по-разному.

Вальс уже заканчивался. Гонтран подошел к своему другу и, заметив доктора Онора, сказал:

— Доктор, поздравляю! Медицинская корпорация Анваля, кажется, приобрела весьма ценных новых членов. У нас появился доктор Мадзелли, который бесподобно танцует вальс, и старичок Блек — тот, по-видимому, в большой дружбе с небесами.

Но доктор Онора ответил очень сдержанно. Он не любил высказывать суждения о своих коллегах.

II

Вопрос о докторах был теперь самым животрепещущим в Анвале. Доктора вдруг завладели всем краем, всем вниманием и всеми страстями его обитателей. Когда-то источники текли под строгим надзором одного только доктора Бонфиля, среди безобидной вражды между ним, шумливым доктором Латоном и благодушным доктором Онора.

Теперь все пошло по-другому.

Как только ясно обозначился успех, подготовленный зимою Андерматом и получивший могучую поддержку профессоров Клоша, Ма-Русселя и Ремюзо, причем каждый из них привлек на воды Монт-Ориоля не меньше чем по двести — триста больных, доктор Латон, главный врач нового курорта, стал важной особой, тем более что пользовался высоким покровительством профессора Ма-Русселя, учеником которого он был и которому подражал в осанке и в манерах.

О докторе Бонфиле уже и речи не было. Исполненный ярости и отчаяния, понося Монт-Ориоль на чем свет стоит, старый врач не высовывал носа из старой водолечебницы, где осталось лишь несколько старых пациентов. По мнению этих немногих, только он один знал по-настоящему все свойства источников и, так сказать, владел их тайной, поскольку официально ведал ими со дня основания курорта.

У доктора Онора остались теперь только местные пациенты, коренные овернцы. Он довольствовался своей скромною долей и жил в добром согласии со всеми, находя утешение в картах и белом вине, ибо предпочитал их медицине.

Однако благодушие его не доходило до братской любви к коллегам.

Доктор Латон так и остался бы верховным жрецом Монт-Ориоля, если бы в один прекрасный день там не появился крошечный человечек, почти карлик, с большущей головой, ушедшей в плечи, с круглыми глазами навыкате, короткими толстыми ручками — словом, существо, на вид весьма странное и смешное. Этот новый доктор, г-н Блек, привезенный в Анваль профессором Ремюзо, сразу же привлек к себе всеобщее внимание

своей чрезмерной набожностью. Почти каждое утро между врачебными визитами он забегал помолиться в церковь и почти каждое воскресенье причащался. Вскоре приходский священник доставил ему несколько пациентов — старых дев, бедняков, которых он лечил бесплатно, а также благочестивых дам, советовавшихся со своим духовным руководителем, прежде чем позвать к себе служителя науки, и наводивших тщательные справки о его воззрениях, такте и профессиональной скромности.

Затем стало известно, что в отель «Монт-Ориоль» прибыла престарелая немецкая принцесса Мальдебургская, ревностная католичка, и в первый же вечер пригласила к себе доктора Блека, рекомендованного ей римским кардиналом.

После этого доктор Блек сразу же вошел в моду. Лечиться у него считалось хорошим тоном, хорошим вкусом, большим шиком. О нем говорили, что среди докторов это единственный вполне приличный человек, единственный врач, которому может довериться женщина.

И теперь этот карлик с головой бульдога, всегда говоривший шепотком, бегал с утра до вечера из отеля в отель и шушукался там со всеми по углам. Казалось, ему постоянно надо было сообщить или выслушать какие-то важные тайны, его то и дело встречали в коридорах, занятого секретными беседами с содержателями гостиниц, с горничными его пациентов, со всеми, кто имел касательство к его больным.

Как только он замечал на улице кого-нибудь из своих знакомых, он сразу направлялся к нему мелкими, быстрыми шажками и тотчас начинал давать пространные советы, указания и, излагая их, бормотал себе под нос, как священник на исповеди.

Старые дамы его просто обожали. Он терпеливо выслушивал длинные истории их недугов, записывал в книжечку все их наблюдения, все вопросы, все пожелания.

Каждый день он то увеличивал, то уменьшал дозы минеральной воды, которые назначал своим больным, и это внушало им уверенность, что он неусыпно печется об их здоровье.

— На чем мы вчера остановились? Два и три четверти стакана, не так ли? — говорил он.— Прекрасно! Сегодня мы выпьем только два с половиной стакана, а завтра три. Не забудьте: завтра три стакана!.. Это очень, очень важно.

И все больные проникались убеждением, что это действительно очень, очень важно!

Чтобы не запутаться во всех этих целых числах и дробях, ни разу не ошибиться, он записывал их в книжечку. Пациент ни за что не простит ошибки на полстакана.

С такой же тщательностью он устанавливал или изменял длительность ежедневной ванны, основываясь на соображениях, известных ему одному.

Доктор Латон, завидуя и негодуя, с презрением пожимал плечами и восклицал:

— Вот шарлатан!

Ненависть к доктору Блеку доводила его до того, что иной раз он порочил даже свои минеральные воды:

— Поскольку мы еще сами-то плохо знаем, какое действие они оказывают, это ежедневное изменение дозировки — совершеннейшая нелепость, его нельзя обосновать никакими законами терапии. Такие недостойные приемы роняют авторитет медицины.

Доктор Онора только улыбался. Он всегда старался через пять минут после врачебной консультации выкинуть из головы, сколько стаканов воды предписал пить своему пациенту.

— Двумя стаканами больше, двумя меньше,— говорил он Гонтрану в веселую минуту,— это только источник заметит, да и ему-то все равно.

Он позволял себе лишь одну ехидную шутку относительно своего благочестивого коллеги, сказав, что тот врачует с благословения папского седалища. Зависть у него была осторожная, ядовитая и спокойная.

Иногда он добавлял:

— О, это молодец! Он знает больных, как свои пять пальцев, а для нашего брата это важнее, чем знать их болезни.

Но вот как-то утром в отель «Монт-Ориоль» прибыла чета высокородных испанцев — герцог и герцогиня де

Рамас-Альдаварра, которые привезли с собою своего домашнего врача, доктора Мадзелли из Милана.

Это был молодой человек лет тридцати, высокий, стройный, весьма приятной наружности, без бороды, но с пышными усами.

С первого же дня он покорил всех обедавших за общим столом; герцог, особа унылая, страдавший чудовищным ожирением, не выносил одиночества и пожелал обедать вместе со всеми. Доктор Мадзелли уже знал по фамилии почти всех завсегдатаев табльдота, сумел сказать комплимент каждой даме, любезность каждому мужчине, улыбался каждому лакею.

За столом он сидел по правую руку от герцогини, эффектной дамы лет тридцати пяти — сорока, с матовой бледностью лица, с черными очами, с густыми волосами цвета воронова крыла, и перед каждым блюдом говорил ей: «Чуть-чуть», или: «Нет, этого нельзя», или: «Да, да, кушайте». Он сам наполнял ее бокал, чрезвычайно заботливо соразмеряя пропорцию вина и воды.

Он наблюдал и за питанием герцога, но с явной небрежностью. Впрочем, пациент не принимал в расчет его указаний, ел с животной прожорливостью, выпивал за едой по два графина красного вина, отнюдь не разбавляя его водой, а затем выходил отдышаться на свежий воздух и, рухнув на стул у дверей отеля, принимался страдальчески охать и жаловаться на плохое пищеварение.

После первого же обеда доктор Мадзелли, успев с одного взгляда произвести всем оценку, подошел на террасе казино к Гонтрану, курившему сигару, представился и повел с ним разговор.

Через час они уже были приятелями. На следующее утро Мадзелли попросил представить его Христиане, когда она выходила из дверей водолечебницы, завоевал в десятиминутном разговоре ее симпатию и вечером познакомил с ней герцогиню, которая, как и герцог, не любила одиночества.

Он ведал решительно всем в доме этого испанского семейства, давал превосходные кулинарные рецепты повару, делал ценные указания горничной, как ей ухаживать за волосами хозяйки, чтобы они сохранили свой великолепный цвет, блеск и пышность, кучеру сообщал

полезные сведения по ветеринарии, помогал герцогской чете приятно скоротать вечерние часы, придумывал всевозможные развлечения и умел подобрать из случайных знакомых в отелях приличное общество.

Герцогиня говорила о нем Христиане:

— Ах, дорогая, он настоящий чародей, все знает, все умеет!.. Я обязана ему своей фигурой.

— Как так «фигурой»?

— Ну да. Я начала полнеть, а он спас меня режимом и ликерами.

Мадзелли умел сделать интересной даже медицину, говорил о ней непринужденно, весело и с поверхностным скептицизмом, тем самым показывая слушателям свое превосходство.

— Все это весьма просто,— заявлял он,— я не очень верю в лекарства,— вернее, совсем не верю. В старину медицина исходила из того принципа, что на всякую болезнь есть лекарство. Люди верили, что бог в неизреченном своем милосердии сотворил целебные снадобья от всякого недуга и лишь предоставил смертным, может быть из лукавства, заботу самим их открыть. И врачеватели открыли бесчисленное множество снадобий, но так и не узнали, от каких именно болезней они помогают. В действительности лекарств нет, а есть болезни. Когда болезнь определится, надо, по мнению одних, тем или иным способом прервать ее, а по мнению других — ускорить ее течение! Сколько в медицине школ, столько и методов лечения. В одном и том же случае применяются совершенно противоположные средства: одни назначают лед, другие — горячие припарки, одни предписывают строжайшую диету, другие — усиленное питание. Я уж не говорю о бесчисленных ядовитых лекарствах, которыми одарила нас химия, извлекая их из растений и минералов. Конечно, все это оказывает действие, но какое — неизвестно: иногда спасает, иногда убивает.

И он смело заявлял, что до тех пор, пока медицина не пойдет по новому пути, взяв исходной точкой химию органическую, химию биологическую, с уверенностью полагаться на нее невозможно, ибо она лишена научной основы. Он рассказывал анекдоты о чудовищных промахах крупнейших врачей в доказатель-

ство того, что вся их хваленая наука — сущий вздор и надувательство.

— Поддерживайте вместо всего этого энергичную деятельность тела,— говорил он,— кожи, мышц, всех органов, а главное, желудка, ибо он наш отец-кормилец, питающий весь человеческий механизм, его регулятор, средоточие жизненных сил.

Он утверждал, что по своему желанию, одним только режимом может сделать людей веселыми или печальными, способными к физическому или к умственному труду — в зависимости от назначаемого питания. Может даже воздействовать на самый интеллект — на память, на воображение, на всю работу мозга. И в заключение он шутливо заявлял:

— Я все недуги лечу массажем и кюрасо.

О массаже он говорил с благоговением и называл голландца Амстранга волшебником, чудотворцем, богом. Показывая свои белые тонкие руки, он восклицал:

— Вот чем можно воскрешать мертвых!

И герцогиня подтверждала:

— В самом деле, он массирует дивно!

Он считал также превосходным средством, возбуждающим действие желудка, употребление спиртных напитков небольшими дозами и сам составлял мудреные смеси, которые герцогиня должна была пить в определенные часы — одни перед едой, другие после еды.

Каждое утро, в половине десятого, он приходил в кофейню казино и требовал свои бутылки; ему приносили эти бутылки, запертые серебряными замочками,— ключ от них он держал при себе. Он наливал понемногу из каждой в очень красивый голубой бокал, который почтительно держал перед ним на подносе вышколенный лакей, а затем он отдавал приказание:

— Ну вот, отнесите это герцогине в ванную комнату,— пусть выпьет, как только выйдет из воды, еще не одеваясь.

Любопытные спрашивали:

— А что вы туда наболтали?

Он отвечал:

— Ничего особенного — крепкая анисовая, чистейший кюрасо и превосходная горькая.

Через несколько дней красавец доктор стал центром

внимания всех больных, и они пускались на всяческие уловки, чтобы добиться от него советов.

В часы прогулок, когда он прохаживался по аллеям парка, со всех стульев, где сидели красивые молодые дамы, отдыхая меж двумя предписанными стаканами воды из источника Христианы, раздавались возгласы: «Доктор!» Он останавливался с любезной улыбкой, и его увлекали ненадолго на узенькую дорожку, проложенную по берегу речки.

Сначала с ним беседовали о том, о сем, потом деликатно, ловко и кокетливо переходили к вопросам здоровья, но говорили таким безразличным тоном, словно речь шла о ком-то постороннем.

Ведь он не был достоянием публики, ему нельзя было заплатить, пригласить его к себе: он принадлежал герцогине, только герцогине. Но как раз это исключительное его положение и подстегивало прелестных дам, усиливало их старания. А так как все шепотком говорили, что герцогиня ревнива, страшно ревнива, между дамами началось отчаянное соперничество—каждой хотелось добиться врачебного совета от прекрасного итальянца.

Впрочем, он давал советы без особых упрашиваний.

И тогда между женщинами, которых он осчастливил своими указаниями, началась другая игра: они обменивались откровенными признаниями, желая доказать его особую заботливость.

— Ах, душечка, какие вопросы он мне задавал!

— Нескромные? Да?

— Ах, что там нескромные. Ужасные!.. Я не знала, что и отвечать... Он осведомлялся о таких вещах... о таких...

— Представьте, со мной было то же самое. Он все расспрашивал меня о моем муже.

— Да, да, и меня тоже. И с такими интимными подробностями... Право, я чуть не сгорела со стыда. Отвечать на такие вопросы... Хотя и понимаешь, что они необходимы.

— О, совершенно необходимы! От этих мелочей зависит здоровье. Знаете, он обещал массировать меня зимой в Париже. Мне это очень нужно, чтобы дополнить лечение водами.

— А скажите, милочка, как вы думаете отблагодарить его? Ведь ему нельзя заплатить.

— Бог мой, конечно, нельзя. Я думаю подарить ему булавку для галстука. Он, должно быть, любит булавки: я у него заметила уже две или три, и очень красивые.

— Ах, что же мне теперь делать! Какая вы, душечка, нехорошая! Перехватили мою мысль. Ну, ничего, я подарю ему кольцо.

Дамы составляли заговоры, придумывали сюрпризы, чтобы ему угодить, изящные подарки, чтобы его растрогать, всяческие милые знаки внимания, чтобы его пленить.

Он стал «гвоздем сезона», главной темой разговоров, единственным предметом всеобщего любопытства; но вдруг распространился слух, что граф Гонтран де Равенель ухаживает за Шарлоттой Орноль и собирается на ней жениться. Весь Анваль загудел шумными пересудами.

С того вечера, как Гонтран открыл с Шарлоттой бал на празднестве в казино, он ходил за нею, как пришитый; у всех на глазах он был необыкновенно внимателен к ней, как всякий мужчина, стремящийся понравиться девушке и не скрывающий своих намерений; отношения их приняли характер веселого и откровенного флирта, который постепенно и так естественно приводит к более глубокому чувству.

Они виделись почти ежедневно, потому что обе девочки влюбились в Христиану и очень дорожили ее дружбой, в чем немалую роль играло, конечно, польщенное тщеславие. Гонтран же стал вдруг неразлучен с сестрой. По утрам он устраивал прогулки, по вечерам игры, к великому удивлению Христианы и Поля. Потом они заметили, что он как будто увлекается Шарлоттой. Он весело поддразнивал ее, но в шутках его сквозили тонкие комплименты, выказывал ей множество изящных, едва заметных знаков внимания, связывающих нежной близостью два молодые существа. Привыкнув к непринужденно-фамильярным манерам этого великосветского шалопая-парижанина, девушка вначале ничего не замечала и по природной доверчивости простодушно смеялась и дурачилась с ним, как с братом.

Но однажды, когда сестры возвращались домой, проведя весь вечер в отеле за всяческими играми, в которых Гонтран несколько раз пытался поцеловать Шарлотту под предлогом выкупа «фанта», Луиза, за последние дни чем-то недовольная и угрюмая, вдруг сказала резким тоном:

— Не мешало бы тебе подумать о своем поведении. Господин Гонтран держит себя с тобой неприлично.

— Неприлично? А что он такого сказал?

— Ты прекрасно понимаешь! Нечего притворяться дурочкой. Много ли надо, чтобы скомпрометировать девушку? Раз ты не умеешь вести себя, я поневоле обязана напомнить тебе о приличиях.

Шарлотта, смущенная и пристыженная, растерянно лепетала:

— Да что же было?.. Уверяю тебя... Я ничего не заметила...

Сестра строго сказала:

— Послушай, так дольше продолжаться не может. Если он хочет на тебе жениться, пусть поговорит с папой; тут уж будет решать папа. А если он хочет только позабавиться, надо это немедленно прекратить.

Шарлотта вдруг рассердилась, сама не зная, на что и почему. Ей показалось ужасно обидным, что сестра взяла на себя роль наставницы и делает ей выговоры; дрожащим голосом, со слезами на глазах она потребовала, чтобы Луиза не вмешивалась в чужие дела, которые нисколько ее не касаются. Она разгорячилась, говорила, заикаясь, всхлипывая. Смутный, но верный инстинкт подсказывал ей, что в самолюбивой душе Луизы проснулась зависть.

Они отправились спать, не поцеловавшись на прощание, и Шарлотта долго плакала в постели, размышляя о многом таком, что раньше ей и в голову не приходило.

Потом она перестала плакать и задумалась.

Ведь и в самом деле Гонтран держит себя с нею совсем иначе, чем прежде. Она это сама чувствовала, но только не понимала. А теперь вот поняла. Он то и дело говорит ей что-нибудь милое, приятное. Один раз даже поцеловал ей руку. Чего ж он добивается? Она нравится ему, но очень ли нравится? А что, если он

хочет на ней жениться? И тотчас ей послышалось, что в ночной тишине, где уже реяли над нею сны, чей-то голос крикнул: «Графиня де Равенель!»

От волнения она привскочила и села в постели, потом нащупала ночные туфли под стулом, на который бросила платье, встала и, подойдя к окну, бессознательно распахнула его, словно мечтам ее тесно было в четырех стенах.

Из окна нижней комнаты слышался гул разговора, потом раздался громкий голос Великана:

— Оставь, оставь! Успеется! Посмотрим, что будет. Отец все уладит. Дурного-то пока ничего нет. Отец знает, что к чему.

На стене противоположного дома светлым прямоугольником вырисовывалось окно, отворенное под ее окном. И Шарлотта подумала: «Кто это там? О чем они говорят?» По освещенной стене промелькнула тень. Это была ее сестра. Как, значит, она еще не ложилась! Почему? Но свет погас, и Шарлотта вернулась к мыслям, смутившим ее сердце.

Теперь уж ей ни за что не уснуть. Неужели он ее любит? Ах, нет, нет, пока еще не любит. Но может полюбить, раз она ему нравится. А если он полюбит ее, сильно, сильно, безумно, страстно, как любят в светском обществе, он, конечно, женится на ней.

Дочка крестьянина-винодела хоть и получила воспитание в Клермонском монастырском пансионе, сохранила, однако, смиренную приниженность крестьянки. Она думала, что может выйти замуж за нотариуса или за адвоката, за врача, но никогда у нее и желания не возникало стать знатной дамой, носить фамилию с дворянским титулом. Лишь изредка, закрыв прочитанный роман, она несколько минут предавалась такого рода туманным мечтаниям, но грезы тотчас же улетали, как фантастические химеры, едва коснувшись ее души. И вдруг от слов сестры все это несбыточное, немыслимое стало как будто возможным, приблизилось, словно парус корабля, гонимого ветром.

И, глубоко вздыхая, она беззвучно шептала: «Графиня де Равенель».

Она лежала с закрытыми глазами, и в темноте перед ней проплывали видения: залитые светом красивые го-

стиные, красивые дамы, улыбающиеся ей, красивая карета, ожидающая ее у подъезда старинного замка, рослые лакеи в шитых золотом ливреях, сгибающие спину в поклоне, когда она проходит мимо.

Ей стало жарко в постели, сердце у нее колотилось. Она еще раз встала, выпила стакан воды и несколько минут постояла босая на холодном каменном полу.

Потом она мало-помалу успокоилась и заснула. Но на рассвете она уже открыла глаза: мысли, взволновавшие ее, не давали ей покоя.

Она оглядела свою комнатку, и ей стало стыдно, что все тут такое убогое: и стены, выбеленные известкой,— работа бродячего маляра-стекольщика, и дешевенькие ситцевые занавески на окнах, и два стула с соломенными сиденьями, никогда не покидавшие назначенного для них места по сторонам комода.

Среди этой деревенской обстановки, так ясно говорившей о ее происхождении, она чувствовала себя простой крестьянкой, полна была смирения, казалась себе недостойной этого красивого белокурого насмешника-парижанина, а меж тем его улыбающееся лицо неотступным видением вставало перед ней, стушевывалось, снова выступало и мало-помалу покоряло ее, запечатлевалось в сердце.

Шарлотта соскочила с постели и побежала к комоду за своим зеркалом, круглым туалетным зеркальцем величиной с донышко тарелки; потом снова легла и, держа в руках зеркало, стала рассматривать свое собственное личико, выделявшееся на белой подушке в рамке рассыпавшихся темных волос.

Порой она откладывала этот кусочек стекла, отражавший ее лицо, и задумывалась,— расстояние между графом де Равенелем и ею представлялось ей огромным, а брак этот — немыслимым. И сердце у нее сжималось. Но тотчас же она снова смотрелась в зеркало, улыбалась, чтобы понравиться себе, находила, что она хорошенькая, и все препятствия рассеивались, как дым.

Когда она сошла вниз к завтраку, сестра с раздраженным видом спросила:

— Ты что сегодня думаешь делать?

Шарлотта без колебаний сказала:

— Мы же едем сегодня в Руайя с госпожой Андермат. Ты разве забыла?

Луиза ответила:

— Можешь ехать одна, если хочешь. Но лучше бы ты вспомнила, что я тебе говорила вчера...

Младшая сестра отрезала:

— Я у тебя не спрашиваю советов, не вмешивайся. Это тебя не касается.

И они уж больше не разговаривали друг с другом.

Пришли отец и брат и сели за стол. Старик тотчас спросил:

— Ну, дочки, что нынче делать будете?

Шарлотта, не дожидаясь ответа сестры, заявила:

— Я поеду в Руайя с госпожой Андермат.

Отец и сын хитро переглянулись, у главы семейства промелькнула благодушная улыбка, всегда появлявшаяся на его лице в беседе о выгодном дельце.

— Ладно, ладно, поезжай,— сказал он.

Скрытое удовольствие, сквозившее во всех повадках отца и брата, удивило Шарлотту еще больше, чем откровенное раздражение Луизы, и она с некоторым смущением подумала: «Может быть, они уже говорили об этом между собой?»

Как только завтрак кончился, она поднялась к себе в комнату, надела шляпку, взяла зонтик, перекинула на руку легкую мантильку и пошла в отель, потому что выехать решено было в половине второго.

Христиана удивилась, что не пришла Луиза.

Шарлотта, краснея, ответила:

— Ей нездоровится, голова болит.

Все сели в ландо, в большое шестиместное ландо, в котором всегда совершали дальние прогулки. Маркиз с дочерью сидели на заднем сиденье, а Шарлотте оставили место на передней скамейке между Полем Бретиньи и Гонтраном.

Проехали Турноэль, потом свернули на дорогу, извивавшуюся под горой, обсаженную ореховыми и каштановыми деревьями. Шарлотта несколько раз замечала, что Гонтран прижимается к ней, но он делал это так осторожно, что она не могла оскорбиться. Он сидел справа от нее и, когда разговаривал с ней, едва не касался лицом ее щеки; отвечая ему, она не смела

повернуться, боясь его дыхания, которое она уже чувствовала на своих губах, боясь его глаз, взгляд которых смущал ее.

Он говорил ей всякий милый ребяческий вздор, забавные глупости, шутливые комплименты.

Христиана почти не принимала участия в разговоре, ощущая недомогание во всем своем отяжелевшем теле. Поль казался грустным, озабоченным. Один лишь маркиз поддерживал беседу, болтая невозмутимо и беззаботно, с обычной своей живой непринужденностью избалованного старого дворянина.

В Руайя вышли из коляски послушать в парке музыку; Гонтран, подхватив под руку Шарлотту, убежал вперед. В открытой беседке играл оркестр, дирижер помахивал палочкой, подбадривая то скрипки, то медные инструменты, а вокруг расселось на стульях целое полчище курортных обитателей, разглядывая гуляющих. Дамы демонстрировали свои туалеты, свои ножки, вытягивая их на перекладину переднего стула, свои воздушные летние шляпки, придававшие им еще больше очарования.

Шарлотта и Гонтран, бродя на кругу, отыскивали среди сидящей публики смешные физиономии и потешались над ними.

За их спиной то и дело раздавались возгласы:

— Смотрите, какая хорошенькая!

Гонтран был польщен, ему хотелось знать, за кого принимают Шарлотту: за его сестру, жену или за любовницу?

Христиана сидела между отцом и Полем Бретиньи, следила глазами за этой парочкой и, находя, что они слишком «расшалились», подозвала их, чтобы унять. Но они, не вняв ее наставлениям, опять отправились путешествовать в толпе гуляющих и забавлялись от души.

Христиана тихонько сказала Полю Бретиньи:

— Кончится тем, что он ее скомпрометирует. Когда вернемся домой, надо поговорить с ним.

Поль ответил:

— Я тоже подумал об этом. Вы совершенно правы.

Обедать поехали в Клермон-Ферран, так как, по мнению маркиза, любителя хорошо поесть, рестораны в

Руайя никуда не годились; в обратный путь отправились уже в темноте.

Шарлотта вдруг стала серьезной,— когда вставали из-за стола, Гонтран, передавая ей перчатки, крепко сжал ее руку. Девичья совесть забила тревогу. Ведь это было признание в любви! Намеренное! В нарушение приличий! Что теперь делать? Поговорить с ним? Но что же ему сказать? Рассердиться было бы смешно. В таких обстоятельствах нужен большой такт. А если ничего не сделать, ничего не сказать, ему покажется, что она принимает его заигрывания, готова стать его сообщницей, отвечает «да» на это пожатие руки.

И, взвешивая все, она корила себя за то, что чересчур разошлась, была в Руайя чересчур развязна, теперь ей уже казалось, что сестра была права, что она скомпрометировала, погубила себя. Коляска катилась по дороге; Поль и Гонтран молча курили, маркиз дремал, Христиана смотрела на звезды, а Шарлотта с трудом сдерживала слезы — в довершение всего она выпила за обедом три бокала шампанского.

Когда приехали в Анваль, Христиана сказала отцу:

— Какая темень! Папа, ты проводишь Шарлотту?

Маркиз предложил девушке руку, и они тотчас скрылись из глаз.

Поль схватил Гонтрана за плечи и шепнул ему на ухо:

— Зайдем-ка на пять минут к твоей сестре. У нее да и у меня тоже есть к тебе серьезное дело.

И все трое поднялись в маленькую гостиную, смежную с комнатами Андермата и его жены. Как только они уселись, Христиана сказала:

— Вот что, Гонтран, мы с господином Бретиньи хотим сделать тебе внушение.

— Внушение? А в чем я грешен? Я веду себя паинькой за отсутствием соблазнов.

— Не шути, пожалуйста. Неужели ты не видишь, что поступаешь очень неосторожно и просто некрасиво? Ты компрометируешь эту девочку.

Гонтран сделал удивленное лицо:

— Какую девочку? Шарлотту?

— Да, Шарлотту.

— Я компрометирую Шарлотту?..

— Да, компрометируешь. Здесь все об этом говорят! А сегодня вечером в парке Руайя вы вели себя очень... очень... легкомысленно. Правда, Бретиньи?

Поль ответил:

— Да, да. Я вполне с вами согласен.

Гонтран повернул стул, сел на него верхом, достал новую сигару, закурил и, выпустив дым, расхохотался:

— Ах, вот как! Я, оказывается, компрометирую Шарлотту Ориоль!

Он сделал паузу, чтобы усилить эффект своих слов, и отчеканил:

— А почему вы думаете, что я не хочу жениться на ней?

Христиана вздрогнула от изумления.

— Жениться на ней? Что ты! Ты с ума сошел!

— А отчего бы и не жениться?

— На ней? На этой крестьяночке?

— Та-та-та! Предрассудки!.. Откуда ты их набралась? От своего супруга?

Христиана ничего не ответила на этот недвусмысленный намек, и тогда он произнес целую речь, задавая вопросы и сам отвечая на них:

— Хорошенькая она? — Да.— Благовоспитанная?— Да. И к тому же чистосердечная, милая, искренняя, естественная — не то, что светские барышни. Образование же у нее не хуже, чем у них: говорит по-английски и по-овернски, а это уже целых два иностранных языка. Состояния у нее будет не меньше, чем у любой дворянской наследницы из бывшего Сен-Жерменского предместья, которое следовало бы окрестить «Пустокарманным предместьем». Она дочь мужика? — Ну что ж, значит, у нее здоровая кровь, и она народит мне прекрасных ребятишек. Вот вам!

Так как он излагал все эти доводы по-прежнему шутливым, насмешливым тоном, Христиана спросила нерешительно:

— Послушай, ты серьезно говоришь?

— Да еще как серьезно! Девчурка — само очарование. Сердце доброе, личико прелестное, характер веселый, настроение всегда прекрасное, щечки розовые,

глаза ясные, зубки белые, губки алые, косы длинные и густые, блестящие, шелковистые. Пускай ее папаша — мужик, зато он будет богат, как Крез, благодаря твоему супругу, дорогая сестрица! Дочь мужика! Подумаешь? Да неужели дочь мужика хуже, чем дочери всяких грабителей-дельцов, которые так дорого платят за сомнительные герцогские гербы, или дочери титулованных кокоток, которыми наградила нас Империя, или же дочери двух отцов, каких мы так часто встречаем в обществе? Да если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный поступок в моей жизни!

Христиана молчала, погрузившись в размышления; потом, покоренная, убежденная этими доводами, радостно воскликнула:

— А ведь он верно говорит!.. Все, все верно! Он совершенно прав!.. Так ты женишься на ней, миленький мой Гонтран?

Тогда он принялся охлаждать ее восторг:

— Ну, не спеши, не спеши! Дай мне поразмыслить. Я только высказываю несомненную истину: если я женюсь на Шарлотте, это будет первый разумный, рассудительный поступок в моей жизни. Но это еще не значит, что я женюсь на ней. Я подумываю об этом, приглядываюсь, немножко ухаживаю за ней, чтоб посмотреть, понравится ли она мне по-настоящему. Словом, я не говорю ни «да», ни «нет», но скорее готов сказать «да», чем «нет».

Христиана спросила:

— А что вы об этом думаете, господин Бретиньи? — Она звала Поля то господин Бретиньи, то просто Бретиньи.

Поля всегда пленяли поступки, в которых он усматривал душевное благородство, неравные браки, если он предполагал в них какие-нибудь рыцарские побуждения, всякий пышный покров, украшающий человеческие чувства. Он ответил:

— Я также считаю теперь, что он совершенно прав. Если она ему по душе, пусть женится. Лучшей невесты ему не найти...

Но тут явились маркиз и Андермат,— пришлось заговорить о другом. Поль и Гонтран отправились в казино посмотреть, открыт ли еще игорный зал.

С того дня Христиана и Поль начали явно покровительствовать открытому ухаживанию Гонтрана за Шарлоттой.

Девушку чаще стали приглашать, оставляли обедать, обращались с нею так, словно она уже была членом семьи.

Шарлотта все это прекрасно видела, понимала и была без ума от радости. Головка у нее кружилась, она строила воздушные замки. Правда, Гонтран ничего еще не сказал ей, но все его обращение, все его слова, тон, которым он говорил с нею, более почтительный оттенок ухаживания, ласковый взгляд ежедневно, казалось, говорил ей: «Вы моя избранница. Вы будете моей женой».

А у нее во всем сказывалось теперь нежное доверие к нему, кроткая покорность, целомудренная сдержанность, как будто говорившие: «Я все знаю, и, когда вы попросите моей руки, я отвечу «да».

В семье у нее шушукались. Луиза говорила с ней только для того, чтобы рассердить ее обидными намеками, ехидными колкостями. Но старик Ориоль и Жак, видимо, были довольны.

Однако Шарлотта ни разу не спросила себя, любит ли она этого красивого поклонника, чьей женой она, несомненно, будет. Он ей нравился, она непрестанно думала о нем, находила, что он очень мил, остроумен, изящен, но больше всего думала о том, что она будет делать, когда выйдет за него замуж.

В Анвале все позабыли о злобном соперничестве докторов и владельцев источников, о предполагаемом романе герцогини де Рамас с ее домашним врачом, о всех сплетнях, которых на курортах не меньше, чем воды в источниках, и заняты были только одной сенсационной новостью: граф Гонтран де Равенель женится на дочке Ориоля.

Тогда Гонтран решил, что пора действовать, и однажды утром, когда встали из-за стола, взял Андермата под руку и сказал ему:

— Дорогой мой, вспомним пословицу «Куй железо, пока горячо». Дело обстоит так. Девочка ждет моего предложения, хотя я еще ничем не связал себя, и, будьте уверены, она не отвергнет меня. Однако надо

прощупать намерения ее папаши, чтобы ни вы, ни я не остались в накладе.

Андермат ответил:

— Не беспокойтесь. Я возьмусь за это. Сегодня же отправлюсь на разведку и, ничем вас не компрометируя, не называя вашего имени, все узнаю. А как только положение станет совершенно ясным, сосватаю вас.

— Великолепно.

Помолчав немного, Гонтран добавил:

— Послушайте, может быть, это последний день моей холостяцкой жизни. Я поеду сейчас в Руайя — там я в прошлый раз видел кое-кого из знакомых. Я вернусь ночью и постучусь к вам, спрошу о результатах.

Он велел оседлать лошадь и поехал верхом горной дорогой, с наслаждением вдыхая чистый, живительный воздух, иногда поднимая лошадь в галоп, чтобы почувствовать, как быстрые, ласковые дуновения ветра приятно холодят лицо и щекочут его, забираясь в усы.

Вечер в Руайя прошел весело. Гонтран встретил приятелей, приехавших в сопровождении кокоток. Ужинали долго, и он вернулся очень поздно. В *Гранд-отеле Монт-Ориоля* все давно уже спали, когда Гонтран принялся стучать в дверь Андермата.

Сначала никто не отзывался, но когда он забарабанил изо всей силы, из комнаты послышался сонный, сиплый голос, сердито спросивший:

— Кто там?

— Это я, Гонтран.

— Подождите, сейчас отопру.

И на пороге появился Андермат в ночной сорочке, с заспанным лицом, с всклокоченной бородкой, с шелковым платком на голове. Потом он снова забрался в постель, сел и вытянул руки на одеяле.

— Ну, милый мой, не клеится дело! Я прощупал намерения этого старого хитреца Ориоля, не упоминая вашего имени,— сказал, что одному из моих друзей (можно было подумать, что Полю Бретиньи) подошла бы та или другая его дочка, и спросил, какое он дает за ними приданое. А он в ответ спросил: «Какое состояние у жениха?» Я сказал: «Триста тысяч франков да еще надежды на наследство».

— Но у меня же ничего нет,— пробормотал Гонтран.

— Я вам дам взаймы, дорогой. Если мы с вами обделаем это дельце, ваши участки принесут мне достаточно, чтобы возместить такую сумму.

Гонтран усмехнулся:

— Великолепно! Мне — жену, вам — деньги.

Но Андермат рассердился:

— Ах, так! За мои хлопоты да меня же оскорбляете! Довольно! Кончим на этом...

Гонтран извинился:

— Не гневайтесь, дорогой, простите меня. Я знаю, что вы вполне порядочный человек, безупречно честный в делах. Будь я вашим кучером, я бы не попросил у вас на водку, но будь я миллионером, я доверил бы вам свое состояние...

Вильям Андермат успокоился и продолжал:

— Мы еще поговорим об этом, а теперь давайте покончим с главным вопросом. Старик ловко вывернулся, он ответил: «Приданое... Это смотря, о ком речь. Если о старшей, о Луизе, так вот какое у ней приданое...» И он перечислил все участки вокруг наших построек — те самые, что соединяют водолечебницу с отелем и отель с казино,— словом, все те, которые нам необходимы, которым для меня цены нет. А за младшей он что ж дает? Другой склон горы. Позднее и та земля, конечно, тоже будет дорого стоить, да мне-то она не нужна. Уж я на все хитрости пускался, чтобы он поделил по-иному и дал за младшей то, что задумал дать старшей. Но куда там! Не убедишь этого упрямого осла... Уперся на своем. Поразмыслите-ка и скажите, что вы об этом думаете!

Гонтран, до крайности смущенный и озадаченный, ответил:

— А вы сами-то что думаете? Как вам кажется, он меня имел в виду, принимая такое решение?

— Несомненно. Хитрый мужик сообразил: «Раз девчонка ему нравится, побережем добро». Он надеется выдать за вас свою дочку, но лучшие земли не выпускать из рук. А может быть, он хлопочет о старшей дочери. Кто его знает!.. Она его любимица... Больше на него походит... куда хитрее, пронырливее, практичнее

младшей. По-моему, она девица с головой. Я бы на вашем месте взял другой прицел...

Гонтран растерянно бормотал:

— Как же это! Ах, черт, ах, черт! А те земли, которые за Шарлоттой дают... Вам они совсем не подходят?

Андермат воскликнул:

— Мне?.. Нет! Ни в какой мере! Мне нужны участки, соединяющие мою водолечебницу, мой отель и мое казино. Это же проще простого. Другие участки можно будет продавать клочками дачникам, но значительно позднее, а сейчас я за них ни гроша не дам.

Гонтран все твердил:

— Ах, черт! Ах, черт! Чепуха какая получается!.. Так вы, значит, советуете мне...

— Я ничего вам не советую. Я только говорю: подумайте хорошенько и тогда уж выбирайте между двумя сестрами.

— Да, да, правильно! Я подумаю. А сейчас пойду спать. Утро вечера мудренее...

Он поднялся. Андермат удержал его:

— Простите, дорогой, еще два слова — о другом. Я хоть и делаю вид, что не понимаю, но на самом деле прекрасно понимаю ваши непрестанные колкие намеки и больше их выслушивать не намерен. Вы корите меня за то, что я еврей, то есть умею наживать деньги, за то, что я скуп, что спекуляции мои, по-вашему, близки к мошенничеству. Однако, милый мой, я только и делаю, что ссужаю вас этими самыми мошеннически добытыми деньгами, даю их вам взаймы без отдачи, а они достаются мне не так уж легко. Ну хорошо, это все неважно. Но есть одно обвинение, которое я решительно отметаю, решительно! Скупым меня назвать нельзя. Кто делает вашей сестре подарки по двадцать тысяч франков? — Андермат. Кто купил за десять тысяч картину Теодора Руссо и преподнес ее вашему отцу, потому что ему хотелось ее иметь? — Андермат. А кто подарил вам здесь, в Анвале, лошадь, на которой вы сегодня ездили в Руайя? — Все тот же Андермат. Так в чем же проявляется моя скупость? В том, что я не позволяю себя обкрадывать? Ну что ж, это чисто еврейская черта, и мы правы, милостивый государь. Я сейчас выскажусь по этому поводу раз и навсегда. Нас счи-

тают скупцами потому, что мы всему знаем цену. Для вас рояль — это рояль, стул — это стул, брюки — это брюки. И для нас, конечно, тоже, но вместе с тем для нас — это товар, имеющий определенную рыночную стоимость, и практический человек должен уметь с одного взгляда точно ее установить — не из скупости, а чтобы не потакать жульничеству.

Что бы вы сказали, если б в табачной лавке с вас запросили четыре су за коробку восковых спичек или за марку в три су? Вы вознегодовали бы, вы побежали бы за полицейским, милостивый государь,— из-за одного су, из-за одного су! И все только потому, что вы случайно знаете цену этих двух предметов. А вот я знаю цену любых предметов, которые можно продать и купить. Вы преисполнитесь возмущения, если с вас потребуют четыре су за марку в три су, а я возмущаюсь, когда с меня запрашивают двадцать франков за дождевой зонт, стоящий пятнадцать франков. Понятно? Я протестую против гнусного воровства, укоренившегося в обычаях торговцев, слуг, кучеров. Я протестую против коммерческой непорядочности вашей нации, которая нас презирает. Я даю на чай в соответствии с оказанной мне услугой, а не так, как вы, ибо у вас во всем фантазия, и вы швыряете то пять франков, то пять су, смотря по настроению. Понятно вам?

Гонтран поднялся и с тонкой иронической усмешкой, так подходившей к его лицу, ответил:

— Понятно, все понятно, дорогой. Вы правы, вы совершенно правы, тем более что мой дед, старый маркиз де Равенель, почти ничего не оставил моему бедненькому папе, потому что имел дурную привычку не брать сдачи у купцов, если платил им за что-нибудь. Он считал это недостойным дворянина и всегда давал круглую сумму, и полновесной монетой.

И Гонтран вышел с очень довольным видом.

III

На следующий день, в обеденный час, когда все уже собрались перейти из гостиной в отдельную столовую, отведенную для семейства Андерматов и Равенелей, Гонтран распахнул дверь и на пороге возвестил:

— Сестры Ориоль!

Они вошли, стесняясь, краснея, а Гонтран, шутливо подталкивая их, объяснял:

— Вот и они! Похитил обеих среди бела дня, на глазах у возмущенных прохожих. Привел их силой, потому что желаю объясниться с мадмуазель Луизой и, конечно, не могу это сделать при посторонней публике.

Он отобрал у обеих девушек шляпки, зонтики — они возвращались с прогулки,— усадил их, поцеловал сестру, пожал руки отцу, зятю и Полю Бретиньи, затем снова подошел к Луизе.

— Ну-с, мадмуазель, извольте сказать, что вы имеете против нас с некоторых пор?

У Луизы был испуганный вид, словно у птицы, пойманной в сети и попавшей в руки птицелова.

— Ничего, сударь!.. Право же, ничего... Кто вам это сказал?

— Я сам вижу — по всему вижу. Вы к нам теперь не заглядываете, не катаетесь с нами в Ноевом ковчеге. (Так он окрестил дряхлое ландо.) При встрече со мною, при моих робких попытках заговорить с вами вы смотрите на меня суровым взглядом.

— Да нет же, вы ошибаетесь, сударь! Уверяю вас!

— Нет, не ошибаюсь. Я утверждаю истину. Однако довольно! Дольше я это терпеть не намерен и желаю сегодня же заключить мир. Прошу мне не перечить! Я дьявольски упрям. Сколько вы ни хмурьтесь, а я сумею отучить вас от таких повадок, и вы будете с нами приветливы, как ваша сестрица, сей ангел доброты!

Доложили, что обед подан, все направились в столовую. Гонтран повел к столу Луизу. Он расточал знаки внимания обеим сестрам, с удивительным тактом распределяя между ними свои любезности. Младшей он говорил:

— Вы наш старый товарищ, а поэтому я несколько дней буду менее внимателен к вам. С друзьями не церемонятся, как вам известно.

А старшей он говорил:

— Мадмуазель, я решил вас пленить и, как честный противник, предупреждаю вас о своем намерении

заранее. Я даже буду усиленно ухаживать за вами. Ах, вы краснеете? Хороший признак. Вы увидите, как я бываю неотразим, когда постараюсь. Не правда ли, мадмуазель Шарлотта?

Обе девушки краснели, а Луиза смущенно и степенно говорила:

— Ах, сударь!.. Какой вы ветреник!

Он восклицал:

— Полноте! То ли вы еще услышите в обществе, когда станете замужней дамой, что, несомненно, случится очень скоро. Боже! Сколько вам будут говорить комплиментов!

Христиана и Поль втайне одобряли его за то, что он привел Луизу; маркиз улыбался, забавляясь его вычурными любезностями; Андермат думал: «Молодчик-то, оказывается, неглуп!» А Гонтран злился, что ему приходится из корысти изображать вздыхателя старшей сестры, тогда как его влечет к младшей, и, улыбаясь Луизе, мысленно грозил ей, стискивая зубы: «Ну, погоди! Твой папаша, старый мошенник, вздумал надуть меня, так ты у меня попляшешь, ты у меня, деточка, будешь как шелковая!»

Он переводил взгляд с одной сестры на другую и сравнивал их. Конечно, младшая гораздо милее,— ему все нравилось в ней: задорная живость, чуть вздернутый носик, блестящие глаза и узкий лоб, прекрасные, несколько крупные зубы и алый, довольно большой рот.

Однако и старшая тоже очень недурна, хотя она холоднее, не такая веселая. Никогда она не позабавит остроумием, не очарует в интимной жизни, но если у дверей бальной залы лакей возвестит: «Графиня де Равенель»,— не стыдно будет войти с ней под руку, она, пожалуй, лучше, чем младшая сестра, сумеет поставить себя в свете, особенно когда попривыкнет и приглядится. И все-таки он был взбешен, он затаил злобу против них обеих, против их отца, против брата и давал себе слово отплатить им всем за свою неудачу — позднее, когда будет хозяином положения.

После обеда он подсел в гостиной к Луизе и попросил ее погадать ему на картах,— она слыла хорошей гадалкой. Маркиз, Андермат и Шарлотта внимательно

слушали, поддаваясь невольному влечению к неведомому, к невероятному, которое вдруг да станет возможным, той неискоренимой вере в чудесное, которая так крепко сидит в человеке, что иной раз даже самый трезвый ум смущают глупейшие измышления шарлатанов.

Поль и Христиана разговаривали в нише отворенного окна.

С некоторых пор Христиана была сама не своя, чувствуя, что Поль уже не любит ее так, как раньше. И разлад с каждым днем углублялся по вине их обоих. В первый раз она догадалась о своем несчастье в вечер празднества, когда повела Поля на дорогу в Ла-Рош-Прадьер. Она видела, что уже нет прежней нежности в его взглядах, прежней ласки в голосе, исчезло страстное внимание к ней, но не могла угадать причину такой перемены.

А началось это уже давно, с того часа, когда она, придя на ежедневное свидание, сияющая, счастливая, сказала ему: «А знаешь, я, кажется, в самом деле беременна». У него от этих слов холод побежал по спине — такое неприятное чувство они вызвали.

И с тех пор она при каждой встрече говорила с ним о своей беременности, переполнявшей радостью ее сердце, но постоянные разговоры о том, что Поль считал досадным, противным и каким-то неопрятным, коробили его, мешали его восторженному преклонению перед обожаемым кумиром.

Позднее, замечая, как она изменилась, похудела, осунулась, какие у нее некрасивые желтые пятна на лице, он стал думать, что ей следовало бы избавить его от такого зрелища, исчезнуть на несколько месяцев, а потом предстать перед ним, блистая свежестью и новой красотой, предав забвению неприятное происшествие или же умело сочетая с обольстительной прелестью любовницы иное обаяние — тонкое обаяние умной, неназойливой молодой матери, показывающей своего ребенка лишь издали в ворохе розовых лент.

И ведь у нее был на редкость удобный случай проявить тактичность, которой он ждал от нее: она могла уехать на лето в Монт-Ориоль, а его оставить в Париже, чтоб он не видел ее поблекшего лица и обезобра-

женной фигуры. Он очень надеялся, что она сама это поймет.

Но лишь только Христиана приехала в Овернь, она стала звать его в бесчисленных письмах, звала так настойчиво, с таким отчаянием, что он поддался слабости, жалости и приехал к ней. И теперь его тяготила неуклюжая, слезливая нежность этой женщины, ему безумно хотелось бросить ее, никогда больше не видеть, не слышать ее раздражающего, неуместного любовного воркования. Ему хотелось выложить все, что накипело на сердце, объяснить, как неловко и глупо она ведет себя, но сделать это было нельзя, а уехать тоже было неудобно, и нетерпеливая досада невольно прорывалась у него в желчных, обидных словах.

Она страдала от этого, страдала тем сильнее, что постоянно чувствовала теперь недомогание, тяжесть, что ее мучили все страхи беременных женщин, и она так нуждалась в утешении, в ласке, в нежной привязанности. Ведь она любила его всем своим существом, каждой жилкой, каждым движением души, любила беззаветной, беспредельной, жертвенной любовью. Теперь она уже считала себя не любовницей его, а его женой, подругой жизни, преданной, верной, покорной его рабой, его вещью. Теперь уж для нее и речи быть не могло о каких-то ухаживаниях, ухищрениях женского кокетства, о непрестанных стараниях нравиться и прельщать,— ведь она вся, вся принадлежала ему, они были связаны такими сладостными и могучими узами — у них скоро должен был родиться ребенок.

Как только они уединились в нишу окна, Христиана принялась за обычные свои нежные сетования:

— Поль, милый мой, родной мой, скажи, ты по-прежнему любишь меня?

— Да, да. Послушай, нельзя же так: каждый день одно и то же, одно и то же! Это в конце концов становится утомительным.

— Прости, но мне теперь уже не верится, мне так нужно, чтоб ты успокоил меня, так хочется услышать от тебя дорогое слово. А ты ведь не часто говоришь его теперь, вот и приходится выпрашивать его, выклянчивать, как милостыню.

— Ну хорошо, я тебя люблю. Но, ради бога, поговорим о чем-нибудь другом. Умоляю!

— Какой ты жестокий!

— Нет, неправда. Я совсем не жестокий. Только... только... Как ты не можешь понять, что...

— Ах, я все понимаю... прекрасно понимаю, что ты разлюбил меня. Если бы ты знал, как мне больно!

— Перестань, Христиана, прошу тебя, пощади мои нервы! Если б ты знала, до чего неумно ты себя ведешь!

— Боже мой! Если бы ты любил меня, ты никогда бы этого не сказал.

— Да черт возьми, если бы я тебя разлюбил, так ни за что бы сюда не приехал!

— Ну, не сердись. Ведь ты мой, такой мне близкий, и я тоже вся принадлежу тебе. Ведь мы с тобой одно, наш ребеночек связывает нас нерасторжимыми узами. А все-таки... все-таки... если когда-нибудь... если придет такой день, что ты разлюбишь меня, ты скажешь мне это? Обещаешь?

— Обещаю.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Но даже и тогда мы останемся друзьями. Ведь правда?

— Разумеется, останемся друзьями.

— В тот день, когда ты почувствуешь, что уже не любишь меня настоящей любовью, ты придешь ко мне и скажешь: «Милая моя Христиана, я очень тебя люблю, но это уже не то, совсем не то, что прежде. Будем друзьями, только друзьями».

— Ну, конечно, обещаю тебе.

— Даешь слово?

— Даю.

— И все же мне будет очень, очень горько! Как ты любил меня в прошлом году!..

У дверей раздался голос лакея:

— Герцогиня де Рамас-Альдаварра!

Она пришла запросто, по-соседски; Христиана каждый вечер принимала у себя курортную знать, как владетельные особы принимают заезжих гостей в своем королевстве.

За прекрасной испанкой следовал с покорной улыбкой доктор Мадзелли. Хозяйка и гостья пожали друг другу руки, сели и завели разговор.

Андермат позвал Поля:

— Дорогой друг, идите к нам. Мадмуазель Ориоль замечательно гадает на картах. Она столько мне тут предсказала!

И, взяв его под руку, Андермат добавил:

— Удивительный вы человек! В Париже мы вас видели раз в месяц, и того реже, несмотря на усердные приглашения моей жены. Чтобы вытащить вас сюда, нам пришлось бомбардировать вас письмами. А с тех пор как вы приехали, у вас такой унылый вид, словно вы ежедневно теряете по миллиону. Что с вами? Вас беспокоит какая-нибудь неприятность? Скажите, не скрывайте!.. Может быть, удастся помочь вам.

— Ну, что вы, дорогой, никаких неприятностей у меня нет. Если я не часто бывал у вас в Париже... так ведь это Париж... сами понимаете!

— Еще бы! Конечно, понимаю... Ну хоть здесь-то встряхнитесь, будьте повеселее. Я тут затеваю два — три праздника. Надеюсь, они пройдут удачно.

Лакей доложил:

— Госпожа Барр и профессор Клош.

Клош пришел со своей дочерью, молодой и вызывающе кокетливой рыжеволосой вдовушкой. И тотчас же лакей выкрикнул:

— Профессор Ма-Руссель.

Со вторым профессором явилась его жена, бледная перезрелая дама с гладкими начесами на висках.

Профессор Ремюзо накануне уехал, купив дачу, в которой он жил, и, как говорили, на очень выгодных условиях. Двум его коллегам очень хотелось узнать, что это за условия, но Андермат ответил только:

— О, мы очень легко договорились к обоюдной выгоде! Если вы пожелаете последовать его примеру,— пожалуйста, можно будет столковаться. Когда надумаете, сообщите мне, и мы побеседуем.

Затем явился доктор Латон, а за ним доктор Онора, без супруги,— он никогда не показывался с ней в обществе.

В гостиной раздавался теперь разноголосый гул

разговоров. Гонтран не отходил от Луизы, тихо говорил ей что-то, наклоняясь к ее плечу, и время от времени, смеясь, пояснял тем, кто проходил мимо них:

— Стараюсь покорить своего врага!

Мадзелли подсел к дочери профессора Клоша, он уже несколько дней ходил за ней по пятам, и бойкая вдовушка кокетничала с новым поклонником напропалую.

Герцогиня искоса следила за ними, раздувая ноздри, еле скрывая раздражение; вдруг она встала, прошла через всю гостиную и, прервав уединенную беседу своего врача с рыжеволосой красоткой, властно заявила:

— Мадзелли, не пора ли нам домой!.. Мне что-то нездоровится.

Лишь только они ушли, Христиана, подойдя к Полю, сказала:

— Бедняжка! Как она, должно быть, страдает!

Он опрометчиво спросил:

— Кто страдает?

— Герцогиня. Разве вы не заметили, что она ревнует?

Поль резко ответил:

— Ну, если вы приметесь оплакивать всех назойливых любовниц, у вас и слез не хватит.

Христиана отошла от него, готовая в самом деле заплакать,— такими жестокими были для нее эти слова, и, сев подле Шарлотты Ориоль, оставшейся в одиночестве, удивленно и растерянно смотревшей на Гонтрана, она высказала горькую, непонятную для этой девочки мысль:

— Бывают дни, когда хочется умереть.

Андермат в кружке медиков рассказывал о необыкновенном исцелении старика Кловиса, у которого парализованные ноги уже начали оживать. Он говорил с таким жаром, что никто не мог бы усомниться в его искренности.

С тех пор, как он разгадал уловку двух Ориолей и мнимого паралитика, и понял, что в прошлом году его обвели вокруг пальца, воспользовавшись его страстным желанием уверовать в целительное действие источника, и особенно с тех пор как ему пришлось откупиться

деньгами от коварных причитаний старика, он превратил папашу Кловиса в могущественное средство рекламы и теперь сам великолепно разыгрывал комедию.

Вернулся Мадзелли, освободившись от своей пациентки, которую он проводил домой.

Гонтран подхватил его под руку:

— Доктор-обольститель, прошу совета! Которая из двух девочек Ориолей лучше, а? Вы бы которую выбрали?

Красавец врач шепнул ему на ухо:

— В любовницы — младшую, в жены — старшую.

Гонтран рассмеялся.

— Смотрите-ка! Мы сошлись во мнении! Очень рад.

Затем он подошел к сестре, разговаривавшей с Шарлоттой.

— Знаешь что? Я придумал хорошую прогулку. Поедемте в четверг на Пюи-де-ла-Нюжер. Это самый красивый вулкан из всей цепи. Все согласны. Поедем?

Христиана сказала равнодушным тоном:

— Мне все равно. Как вы хотите...

Но тут подошли проститься профессор Клош со своей дочерью, и Мадзелли, предложив проводить их, вышел вслед за вдовушкой.

Через несколько минут разошлись и остальные гости, так как Христиана ложилась спать в одиннадцать часов.

Маркиз, Поль и Гонтран пошли проводить сестер Ориоль. Гонтран и Луиза шли впереди, а Бретиньи в нескольких шагах от них вел под руку Шарлотту и чувствовал, что рука ее слегка дрожит.

Прощаясь с девушками, им напомнили:

— Не забудьте в четверг к одиннадцати часам! Завтракать будем все вместе в отеле.

На обратном пути встретили Андермата, которого профессор Ма-Руссель задержал в уголке сада.

— Так, значит, решено,— говорил он.— Если не помешаю вам, я зайду завтра утром побеседовать относительно дачки.

Вильям Андермат отправился домой вместе с молодыми людьми и, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до уха своего шурина, шепнул ему:

— Поздравляю, голубчик! Вы, оказывается, молодец!

Гонтрана уже два года терзало безденежье, отравлявшее ему существование. Пока он проматывал состояние матери, ничто его не беспокоило, ничто не омрачало его врожденной беспечности, унаследованной от отца, его беспечальной жизни в среде золотой молодежи, богатых, пресыщенных и распутных хлыщей, чьи имена каждое утро упоминаются газетами в хронике светской жизни, ибо эти повесы принадлежат к большому свету, хотя и бывают в нем не часто, предпочитая ему общество продажных женщин, у которых они перенимают и нравы и весь душевный склад.

Компания его состояла из дюжины таких же фатов; каждую ночь, между полуночью и тремя часами утра, их можно было встретить на бульварах, в одной и той же кофейне. Элегантные, всегда во фраке и в белом жилете, с великолепными запонками ценою в двадцать луидоров, которые покупались у лучших ювелиров и сменялись каждый месяц, эти молодые люди не ведали в жизни иных забот, кроме непрестанной погони за удовольствиями, любовными утехами, за дешевой известностью и деньгами, добывая их всяческими средствами.

Ничто их не занимало, кроме свеженьких скандальных историй, сплетен об альковных делах и о конюшнях ипподрома, дуэлей и подвигов в игорных домах,— весь их умственный кругозор замыкался этими интересами. Они обладали всеми женщинами, высоко котировавшимися на рынке продажной любви, передавали, уступали, одалживали их друг другу и беседовали между собой о их любовных качествах, словно о статьях скаковой лошади. Бывали они также и в том шумном кругу титулованных особ, о котором много говорят и где почти у всех женщин есть любовные связи, ни для кого не составляющие тайны, проходящие на глазах у мужей, равнодушных, снисходительных или же близоруких до слепоты; о таких светских дамах эти молодые люди судили точно так же, как о кокотках, и в своей оценке делали лишь легкое различие из-за их происхождения и социального ранга.

Им столько приходилось изворачиваться, чтобы раз-

добывать деньги на свою веселую жизнь, обманывать кредиторов, занимать направо и налево, выпроваживать поставщиков, с наглым смехом встречать портных, предъявляющих каждые полгода счет, всякий раз возрастающий на три тысячи франков, выслушивать от кокоток, этих пожирательниц состояний, столько историй об их ловких проделках, столько подмечать шулерских плутней в клубах, знать и чувствовать, что и самих-то их надувают и обкрадывают на каждом шагу — слуги, торговцы, содержатели шикарных ресторанов, все, кому не лень,— проникать опытным взором в некоторые биржевые махинации и подозрительные делишки и даже прикладывать к ним руку, чтобы получить несколько луидоров, что их нравственное чувство в конце концов притупилось, стерлось, и единственным правилом чести было для них драться на дуэли при малейшем подозрении, что они способны на те мерзости, которые они совершали или вполне могли совершить.

Все они, или почти все, через несколько лет должны были кончить такое существование или выгодным браком, или громким скандалом, или самоубийством, или же загадочным исчезновением, полным исчезновением, подобным смерти.

Но все они, конечно, рассчитывали на богатую невесту. Одни надеялись, что ее подыщут для них заботливые родственники, другие сами искали втихомолку и составляли списки наследниц, как составляют списки домов, назначенных к продаже. Особенно охотились они на иностранок — на заморских невест из Северной и Южной Америки — и ослепляли их своим ореолом блестящих прожигателей жизни, очаровывали шумной славой своих успехов, изяществом своей особы. Кредиторы тоже рассчитывали на их выгодную женитьбу.

Но эта охота за богатой невестой могла затянуться. И, во всяком случае, она требовала поисков, утомительных трудов по обольщению, скучных визитов — словом, слишком большой затраты энергии, на что Гонтран по своему беспечному характеру совсем не был способен.

А безденежье с каждым днем донимало его все больше, и он уже давно говорил себе: «Надо бы все-

таки придумать какой-нибудь фортель». Но никакого фортеля придумать не мог.

Ему уже приходилось прибегать к весьма сомнительным уловкам, пускаться во все тяжкие, чтобы раздобыть хоть самые мелкие суммы,— в такой крайности он очутился; а теперь он вынужден был подолгу жить в своей семье, и вдруг Андермат подсказал ему мысль жениться на одной из сестер Ориоль.

Сначала он из осторожности промолчал, хотя на первый взгляд ему показалось, что эти девушки настолько ниже его, что он не может согласиться на такой неравный брак. Но, поразмыслив немного, он сразу изменил свое мнение и тотчас решил приступить к ухаживанию, вполне допустимому на водах, шутливому ухаживанию, которое его решительно ничем не свяжет и позволит, если понадобится, отступить.

Прекрасно зная своего зятя, он понимал, что Андермат все обдумал, взвесил, подготовил почву и, уж если сделал такое предложение, значит, случай действительно заманчивый и другой такой вряд ли представится.

Да и трудов никаких не надо: протяни руку и подхвати прехорошенькую девушку,— младшая сестра очень ему нравилась, и он не раз думал, что позднее, когда она выйдет замуж, весьма приятно было бы с ней встретиться.

Итак, он выбрал Шарлотту Ориоль и в короткий срок довел ухаживание до того момента, когда уже можно было сделать официальное предложение.

И что же! Вдруг оказалось, что надо или совсем отказаться от женитьбы или же выбрать старшую сестру, потому что землю, на которую зарился Андермат, отец дает в приданое за ней, а не за младшей дочерью.

В первый момент Гонтран до того разозлился, что решил было послать зятя ко всем чертям и остаться холостяком до нового подходящего случая.

Однако он в это время крепко сидел на мели, ему даже не с чем было заглянуть в казино, и пришлось попросить у Поля взаймы двадцать пять луидоров, а он уж немало перебрал у своего друга золотых монет, никогда их не возвращая! И, кроме того, как хлопотно было бы искать новую невесту, а подыскав, прельщать ее. Может быть, еще надо будет бороться против ее

враждебной родни. А тут невеста под рукой, стоит только поухаживать, полюбезничать несколько дней, и готово — он покорит старшую сестру так же легко, как покорил младшую. Женившись на ней, он в лице своего зятя обеспечит себе покладистого банкира, касса которого всегда будет для него открыта, потому что он возложит на Андермата всю ответственность за этот брак и вечно будет осыпать его упреками.

А жена? Ну что ж, он увезет ее в Париж, представит в обществе как дочь почтенного компаньона Андермата. Кстати, она носит имя этого курорта, а уж сюда-то он никогда, никогда с нею не вернется в силу того непреложного закона, что реки не текут вспять, к своим истокам. У нее миленькое личико, стройная фигура, достаточно изящества, чтобы стать вполне изысканной дамой, достаточно ума, чтобы усвоить правила света, уметь в нем держаться, занять видное место и даже сделать честь своему мужу. Все будут говорить: «Проказник женился на прелестной девушке и, кажется, преспокойно ее надувает». И, разумеется, он будет ее надувать,— в карманах у него опять появятся деньги, и он заживет на стороне холостяцкой жизнью.

Итак, он предпочел ухаживать за Луизой. И, пользуясь, сам того не ведая, ревностью, закравшейся в ее завистливое сердце, пробудил в ней еще дремавшее кокетство и смутное желание отбить у сестры красивого поклонника, носившего графский титул.

Она себе в этом не признавалась, даже не думала об этом, не лелеяла коварных замыслов — встреча с Гонтраном и «похищение» были для нее полной неожиданностью. Но, видя, как он с ней любезен и ласков, угадала по его манерам, по его взглядам, по всему его поведению, что он вовсе не влюблен в Шарлотту, и, не заглядывая далеко, была в тот вечер счастлива, радостно возбуждена, а отходя ко сну, чувствовала себя почти победительницей.

В четверг утро было пасмурное и душное, серое небо грозило дождем, и вопрос о поездке на Пюи-де-ла-Нюжер обсуждали очень долго. Но Гонтран так горячо настаивал, что увлек всех колебавшихся.

Завтрак прошел скучно. Поль и Христиана накануне поссорились, казалось, без всякой причины; Андер-

мат опасался, как бы не сорвалась женитьба Гонтрана, потому что в то утро старик Ориоль отзывался о нем очень двусмысленно. Гонтран, узнав об этом от зятя, пришел в ярость и решил добиться своего. Шарлотта, ничего не понимая в поведении Гонтрана, но предчувствуя торжество сестры, хотела было остаться дома, ее с трудом уговорили поехать.

Ноев ковчег повез своих обычных седоков, оказавшихся в полном сборе, к высокому плоскогорью, поднимающемуся над Вольвиком.

Луиза Ориоль вдруг стала очень говорлива и всю дорогу развлекала своих спутников. Она объясняла, что из черного вольвикского камня, который представляет собою не что иное, как застывшую лаву окрестных вулканов, построены все церкви и все дома в этих краях, и поэтому овернские города кажутся такими мрачными и как будто обгорелыми. Она показывала выемки в горе, где обтесывали этот камень, и массивы лавы, служившие каменоломнями, откуда его добывали; приглашала всех полюбоваться огромной черной богоматерью, покровительницей Вольвика, стоявшей на вершине горы и как будто вознесшейся над городом.

С нижнего плоскогорья поднялись к верхнему, где высились бугры былых вулканов. Лошади плелись шагом по длинному трудному подъему. По обеим сторонам дороги зеленели леса. В коляске все умолкли.

Христиана вспоминала о поездке на Тазенатское озеро. Та же коляска и теперь, и те же в ней люди, но сердца уже не те!.. Все как будто похоже, а совсем, совсем не то. Но что же изменилось? Почти ничто!.. Она любит немного больше... он немного меньше... Не изменилось почти ничего. Только та и разница, что тогда желание зарождалось, а теперь угасает!.. Почти ничто... Невидимая трещина... Любовь наскучила — вот и все. Ничто, почти ничто!.. Но вот уже и взгляд любимых глаз изменился. Глаза те же самые, но уже по-иному видят то же самое лицо. А что такое взгляд? Почти ничто!

Кучер остановил лошадей и сказал:

— Приехали. Сверните направо и ступайте лесом по тропинке. Идите все прямо, прямо и дойдете.

Все вылезли из коляски, кроме маркиза,— ему не

хотелось двигаться в такую жару. Луиза и Гонтран ушли вперед, а Шарлотта осталась с Полем и Христианой, которая шла с трудом. Лесная дорожка, показавшаяся им длинной-длинной, вывела на гребень, поросший высокой травой, и они стали подниматься к кратеру потухшего вулкана.

Луиза и Гонтран уже взобрались на самую верхнюю точку, остановились там, и оба, высокие, стройные, как будто парили в облаках. Когда все поднялись туда, впечатлительную душу Поля Бретиньи охватил лирический восторг.

Вокруг них — впереди, справа, слева — выросли какие-то странные усеченные конусы — одни устремленные вверх, другие приземистые, но все они сохраняли угрюмый облик мертвых вулканов. Эти грузные горы-обрубки с плоской, срезанной вершиной тянулись с юга на запад по огромному унылому плоскогорью, которое поднималось на тысячу метров над Лиманью, нависало над нею карнизом с востока и севера и уходило к невидимому горизонту, всегда затуманенному голубоватой дымкой.

Справа поднимался Пюи-де-Дом, выше всех своих братьев, семидесяти или восьмидесяти вулканов, давно уже спящих непробудным сном; подальше виднелись Гравнуар, Круэль, Педж, Со, Ношан и Ваш; ближе всех вырисовывались вершины Парну, Ком, Жюм, Трессу, Лушадьер. Огромное кладбище вулканов.

Всех поразила эта картина. А внизу зеленела травяным своим покровом большая и глубокая воронка — кратер Нюжера, на дне которого еще сохранились три исполинских темно-коричневых глыбы — лава, извергнутая последним вздохом чудовища, упавшая обратно в мертвую его пасть и навсегда застывшая в ней много веков назад.

Гонтран крикнул:

— Я спущусь на дно кратера! Хочу посмотреть, как эти зверюги умирали. Ну, кто со мной? Побежим под горку!

И, схватив за руку Луизу, он помчался, увлекая ее за собой. Шарлотта побежала было за ними, потом вдруг остановилась, посмотрела, как они несутся вприпрыжку, держась за руки, и, резко повернувшись, под-

нялась на верхушку ската, где сели на траву Поль и Христиана. Дойдя до них, она упала на колени и, зарывшись лицом в складки платья Христианы, разрыдалась.

Христиана все поняла: в последнее время чужое горе причиняло ей такую же боль, как свое собственное,— и, обняв девушку за плечи, она тоже заплакала и тихонько шептала:

— Бедная моя девочка! Бедная моя девочка!

Шарлотта все плакала, уронив голову ей на колени, а руками бессознательно вырывала из земли пучочки травы.

Бретиньи отошел в сторону, делая вид, что ничего не заметил, но это детское горе, это простодушное отчаяние вдруг возбудило в нем гнев против Гонтрана. Он, кого глубокие страдания Христианы только раздражали, был искренне растроган первым разочарованием этой девочки.

Он вернулся и, опустившись на колени возле Шарлотты, сказал:

— Ну, не надо, не плачьте, умоляю вас! Они сейчас вернутся. Успокойтесь, не нужно плакать при них.

Она вскочила, испугавшись мысли, что сестра застанет ее в слезах. Но рыдания все подступали к горлу, и оттого, что она их сдерживала и глотала слезы, на сердце у нее было еще тяжелее. Она лепетала, всхлипывая:

— Да... да... не надо... Я больше не буду плакать. Все уже прошло... Ничего... Все прошло... Посмотрите, ничего уже не заметно... Правда? Ведь не заметно?..

Христиана вытерла ее мокрые от слез щеки, потом провела платком по своему лицу и сказала Полю:

— Пойдите посмотрите, что они там делают. Куда они девались? Их совсем не видно за этими глыбами. А я побуду с девочкой и постараюсь утешить ее.

Бретиньи поднялся и дрожащим от негодования голосом ответил:

— Хорошо... Я пойду... Я их приведу. Но ваш братец будет иметь дело со мной... Сегодня же. Пусть объяснит свое поведение... Это просто гнусно, после того что он нам недавно сказал!

И он стал бегом спускаться на дно кратера.

Гонтран стремглав бежал по крутому скату и тянул за собой Луизу, чтобы ее подхватывать, поддерживать, ошеломить, испугать, чтобы у нее занялось дыхание. Он увлекал ее насильно, она пыталась остановиться, растерянно вскрикивала:

— Ах, тише! Тише, ради бога! Я упаду! Да вы с ума сошли! Я упаду!

Наконец они добежали до темных глыб и остановились, еле переводя дыхание. Потом обошли вокруг них, заглянули в широкую расселину, похожую на сквозную пещеру.

Когда вулкан, в котором уже иссякала жизнь, извергнул последнюю струю лавы, у него не хватило сил метнуть ее в небо, как прежде, он только чуть подбросил ее своим угасающим дыханием, загустевшую, почти холодную, и она окаменела на его мертвых устах.

— Посмотрим, что там делается,— сказал Гонтран.

И, подталкивая впереди себя Луизу, он вошел под темный свод. Как только они очутились в пещере, Гонтран воскликнул:

— Ну вот, мадмуазель, минута самая подходящая! Сейчас вам придется выслушать признание.

Она изумилась.

— Признание?.. Мне?..

— Именно вам. И всего в двух словах: вы очаровательны!

— Скажите это моей сестре.

— Ах, вы прекрасно знаете, что вашей сестре я этого не стал бы говорить!

— Неужели?

— Послушайте, значит, вы не настоящая женщина, если не поняли, что я ухаживал за вашей сестрой только для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет на вас, какими глазами вы будете смотреть на меня. А глазки ваши стали ужасно сердитыми! Ах, как я был доволен! Тогда я постарался дать вам понять, со всею должною почтительностью, что́ я на самом деле думаю о вас.

С Луизой никогда еще никто так не говорил. Она была преисполнена радостного смущения, восторга и гордости.

Гонтран продолжал:

— Я знаю, что очень дурно поступил с вашей сестрицей. Но что поделаешь! Впрочем, она нисколько не обманывалась в моих чувствах. Право, право! Вы же видите,— она осталась с Христианой, не захотела пойти с нами. О, она все поняла, прекрасно поняла!..

Он схватил руку Луизы и, тихонько, деликатно целуя ей кончики пальцев, шептал:

— Какая вы прелестная! Какая прелестная!

Луиза стояла, прижавшись к каменной стене, и слушала его молча, с замиранием сердца. Одна-единственная мысль выплывала в ее затуманенной голове: она победила сестру, восторжествовала над ней.

Вдруг у входа выросла большая тень. На них смотрел Поль Бретиньи. Гонтран непринужденно отпустил маленькую девичью ручку, которую держал у своих губ, и сказал:

— Ах, это ты! Ты один?

— Да. Дамы удивляются, что вы исчезли.

— Мы сейчас вернемся, дорогой. Мы осматривали этот грот. Довольно любопытный, не правда ли?

Луиза, красная от смущения, вышла первой и стала подниматься в гору, а Поль и Гонтран шли вслед за нею, разговаривая между собою вполголоса.

Христиана и Шарлотта, держась за руки, смотрели на них сверху.

Потом все направились к коляске, где их поджидал маркиз, и Ноев ковчег покатил обратно, в Анваль.

И вдруг, когда въехали в сосновый лесок, лошади остановились, а кучер принялся ругаться: дорогу перегородил труп старого осла.

Все вышли из коляски, чтобы посмотреть. Осел лежал в темной, почти черной пыли, сам такой же темный и такой худой, что, казалось, его кости, обтянутые истертой шкурой, прорвали бы ее, если бы он не успел издохнуть; все ребра четко вырисовывались под облезлой шерстью, а голова казалась огромной, но у этой жалкой головы с закрытыми глазами было какое-то умиротворенное, довольное выражение,— она тихо, спокойно лежала на ложе из острого битого щебня и как будто удивлялась новому для нее, блаженному отдыху.

Длинные, вялые теперь уши повисли, как тряпки. На коленках алели две свежие раны, говорившие о том,

что он не однажды падал в этот день, пока не рухнул в последний раз. Еще одна рана была в боку — в том месте, куда хозяин долгие годы колол его железным острием, насаженным на палку, подгоняя его отяжелевший шаг.

Ухватив мертвое животное за задние ноги, кучер потащил его в придорожную канаву; длинная шея осла вытянулась, словно он хотел в последний раз испустить свой жалобный крик. Сбросив его в высокую траву, кучер сердито заворчал:

— Вот скоты! Оставили падаль посреди дороги!

Никто не отозвался на эти слова; все сели снова в коляску.

Христиана, удрученная, расстроенная, представила себе всю жалкую жизнь несчастного осла, закончившуюся на краю дороги. Веселый, большеголовый и глазастый ослик, смешной и славный ослик с жесткой шерсткой и торчащими ушами, прыгал на воле, бежал около матери, путаясь у нее под ногами; потом первая упряжка, первая телега, первый подъем в гору, первые побои, а потом... потом... непрестанные мучительные переходы по бесконечным дорогам. И побои!.. побои!.. Непосильный груз, палящее солнце, вся пища — клочок соломы или сена, иногда несколько веточек, сорванных с куста, а кругом, по обеим сторонам каменистой дороги, манящие зеленые луга.

А потом пришла старость; гибкий прут заменили палкой с острым железным наконечником, началась жестокая пытка изнуренного животного; надрываясь, осел тащил в гору тяжелую поклажу, чувствуя мучительную боль в каждой косточке, во всем своем старом теле, изношенном, как рубище нищего. А потом смерть, благодетельная смерть в трех шагах от зеленой, сочной травы, в которую, ругаясь, сбросил его проезжий человек, чтобы освободить дорогу.

И в первый раз Христиана поняла страдания живых существ, обреченных рабству, поняла, что смерть порой бывает блаженным избавлением.

Но вот они проехали мимо тележки, которую, выбиваясь из сил, тащили полуголый мужчина, женщина в отрепьях и тощая собака.

Видно было, что люди эти обливаются по́том, что

им трудно дышать. Облезлая, шелудивая собака была привязана между оглоблями и плелась, высунув язык. В тележке навалены были дрова, подобранные повсюду, вероятно, и краденые,— пеньки, сучья, хворост, сломанные ветки,— и казалось, что под ними что-то спрятано; на ветках было разостлано какое-то тряпье, а на нем сидел малыш — виднелась только его головенка, выступавшая из бурых лохмотьев: маленький шарик с глазами, носом и ртом.

Это была семья, человеческая семья! Замученный осел пал на дороге, и человек без жалости к своему мертвому слуге оставил его там, не потрудившись хотя бы сбросить в канаву, чтобы он не мешал проезжающим экипажам. А сам он и жена его впряглись в оглобли и потащили телегу, как тащил ее прежде осел. Куда они шли? Куда? Зачем? Было ли у них хоть несколько медяков? А эта тяжелая тележка? Неужели они всегда будут ее тащить, потому что им не на что купить другого осла? Чем они будут жить? Где остановятся? Умрут, верно, на краю дороги, как умер их осел.

Кто они, эти нищие,— муж и жена или только «сожители»? И ребенок их, этот бесформенный зверек, закутанный в грязные тряпки, верно, будет жить такой же жизнью, как они.

Христиана с грустью думала обо всем этом, и потрясенная душа подсказывала ей совсем новые мысли. Она смутно угадывала теперь страшную участь бедняков.

Гонтран вдруг сказал:

— Не знаю почему, мне вспомнилось сейчас *Английское кафе*. Хорошо было бы пообедать там сегодня всем вместе! С удовольствием бы взглянул на бульвар!

Маркиз ответил:

— Ну, и здесь очень недурно. Новый отель гораздо лучше старого.

Проехали мимо Турноэля. Христиана узнала свой каштан, и сердце у нее забилось от воспоминаний. Она поглядела на Поля, но он сидел с закрытыми глазами и не увидел ее смиренного призыва.

Вскоре впереди коляски показались два крестьянина, возвращавшиеся с виноградников; наработавшись

за день, они шли усталым шагом, держа на плече мотыгу.

Сестры Ориоль покраснели до корней волос, узнав отца и брата; оба они, как и прежде, работали на виноградниках, поливая своим потом обогатившую их землю, с утра до вечера перекапывали ее, подставляя спины жгучим лучам солнца, меж тем как их прекрасные сюртуки, тщательно сложенные, покоились в комоде, а высокие цилиндры спрятаны были в шкафу. Оба они поклонились, с дружелюбной улыбкой сняли шляпы, а из коляски все в ответ замахали им руками.

Когда подъехали к отелю, Гонтран выскочил из Ноева ковчега и отправился в казино; Бретиньи пошел вместе с ним и, едва они сделали несколько шагов, остановил приятеля.

— Послушай, милый мой. Ты поступаешь нехорошо, и я обещал твоей сестре поговорить с тобой.

— О чем поговорить?

— О том, как ты ведешь себя за последние дни.

Гонтран спросил высокомерно:

— Как я себя веду? В отношении кого?

— В отношении этой девочки, которую ты бросил. Это подло.

— Ты так думаешь?

— Да, думаю... и имею для этого основания.

— Скажите, пожалуйста! Давно ли ты стал жалеть брошенных женщин?

— Ну, знаешь!.. Ты ведь имеешь дело не с кокоткой, а с молоденькой девушкой.

— Я это прекрасно понимаю. Я и не соблазнил ее. Разница большая.

Они зашагали дальше. Тон Гонтрана возмущал Поля, и он сказал:

— Если б ты не был мне другом, я бы сказал тебе пару теплых слов.

— А я не позволил бы тебе их сказать.

— Ах, оставь! Слушай. Мне жаль эту девочку. Она плакала сегодня.

— Вот как! Плакала? Очень лестно для меня.

— Перестань шутить. Скажи, что ты намерен сделать?

— Я? Ничего.

— Как это «ничего»? Ты зашел так далеко, что скомпрометировал ее. А ведь ты же сам на днях говорил своей сестре и мне, что думаешь жениться на ней...

Гонтран остановился и насмешливым тоном, в котором сквозила угроза, сказал:

— Лучше бы вам с моей сестрой не вмешиваться в чужие любовные дела. Я сказал тогда, что эта девочка мне нравится, и если б я женился на ней, то впервые в жизни поступил бы разумно и рассудительно. Вот и все. А теперь вот мне больше нравится старшая сестра. Чувство мое изменилось. Это со всяким случается.— И, глядя Полю прямо в глаза, добавил: — Скажи, а ты что делаешь, когда женщина перестает тебе нравиться? Ты щадишь ее?

Поль растерянно смотрел на него, стараясь проникнуть в затаенный смысл его слов. Кровь бросилась ему в голову, и он резко сказал:

— Я тебе еще раз повторяю: ты имеешь дело не с какой-нибудь продажной тварью и не с замужней женщиной, а с невинной девушкой, и ты обманул ее если не обещаниями, то, по крайней мере, всем своим поведением. Это низко! Слышишь? Порядочный человек, честный человек так не поступает!..

Гонтран побледнел и срывающимся голосом ответил:

— Замолчи!.. Ты и так уж слишком много наговорил... Довольно! Я тебе тоже скажу: не будь ты мне другом, я бы тебе показал, как меня оскорблять! Еще одно слово, и между нами все будет кончено. Навсегда!

И затем, отчеканивая каждое слово, он бросил Полю в лицо:

— Не тебе требовать от меня объяснений... Скорее я имею право потребовать их от тебя... Есть такого рода неделикатность, которая действительно недостойна порядочного человека... честного человека... Она проявляется в разных... в разных формах... Дружба должна бы предостеречь от нее, и любовь не может служить ей оправданием...— Но вдруг, переменив тон, весело, почти проказливо добавил: — А если эта девчурка так уж тебя растрогала и нравится тебе, возьми ее себе,

женись на ней. Женитьба иной раз бывает лучшим способом распутать узел. Это одновременно удобный выход и крепость, в которой можно забаррикадироваться от слишком упорной нежности. Девочка очень мила и богата!.. Ведь все равно придется тебе когда-нибудь проститься со своей свободой. Забавно было бы, если б мы оба с тобой повенчались здесь в один и тот же день,— я ведь женюсь на старшей... Только никому не говори, это пока секрет. И смотри не забывай, что ты меньше, чем кто-либо, имеешь право говорить о честности и щепетильности в любовных историях. А теперь довольно. Ступай по своим делам, а я пойду по своим.

И, круто повернувшись, он стал спускаться на дорогу, ведущую в деревню. Поль Бретиньи, в полном смятении ума и сердца, медленным шагом направился к отелю *Монт-Ориоль*.

Он старался припомнить каждое слово, сказанное Гонтраном, чтобы понять хорошенько его намеки, разгадать их смысл, и удивлялся, как ловко некоторые люди прячут от всех постыдную изнанку своей души.

Христиана спросила его:

— Что вам ответил Гонтран?

Поль, запинаясь, сказал:

— Бог мой!.. Ему... ему теперь больше нравится старшая сестра... Думаю даже, что он собирается жениться на ней... Я несколько резко упрекнул его... но он заткнул мне рот... он позволил себе намеки, неприятные для нас с вами.

Христиана тяжело опустилась на стул и прошептала:

— Боже мой!.. Боже мой!..

Но в эту минуту вошел Гонтран, возвратившийся к обеду, поцеловал сестру в лоб и весело спросил:

— Ну как, сестренка? Как ты себя чувствуешь? Не очень устала?

Затем он пожал руку Полю и, повернувшись к Андермату, который вошел в комнату вслед за ним, воскликнул:

— О зять мой! Лучший из всех зятьев, мужей и друзей, можете ли вы сказать мне точную цену старого осла, издохшего на дороге?

IV

Андермат и доктор Латон прогуливались перед казино по террасе, украшенной большими вазами поддельного мрамора.

— Он мне уж и не кланяется теперь,— жаловался доктор на своего собрата Бонфиля.— Засел в своем логове, как дикий кабан! Если б он мог, то, наверное, отравил бы наши источники.

Андермат шагал, заложив руки за спину и сдвинув на затылок серый котелок, обнаживший его лоб с залысинами. Он молчал, сосредоточенно размышляя о чем-то, и наконец сказал:

— Пустяки! Через три месяца старое общество запросит пощады. Они торгуются из-за десяти тысяч. Дурак Бонфиль их подзуживает, уверяет, что я соглашусь. Ошибается. Очень ошибается!

Главный врач подхватил:

— Вы знаете, они вчера закрыли свое казино. Никто туда не ходил.

— Знаю. Да и у нас народу не густо. Все сидят по своим гостиницам. А в гостиницах скучно, дорогой мой. Надо забавлять, развлекать больных, устроить им такую приятную жизнь, чтобы сезон показался им слишком коротким. А вы посмотрите, кто тут бывает по вечерам,— только те, кто живет в отеле *Монт-Ориоль,* потому что он рядом. Остальным не хочется выползать из гостиниц. А какая тому причина? Дороги. Весь вопрос в дорогах. Вообще успех всегда зависит от незаметных, как будто ничтожных причин. Только надо найти их. Дороги! Это очень важно. Дороги к месту приятного времяпрепровождения сами должны быть приятными, быть, так сказать, вступлением к ожидающим тебя удовольствиям.

А что за дороги ведут к нашему казино? Отвратительные дороги! Камни, бугры, ямы! Это недопустимо. Ведь если у человека мелькнет мысль: «Пойду туда-то», и дорога к этому месту ровная, широкая, днем тенистая, вечером не беспокоит крутизной,— на нее невольно потянет и в другой раз. Если б вы знали, как крепко хранит тело воспоминания о множестве ощущений, которые ум не считает нужным запечатлеть! Мне

думается, именно так создается память у животных. Идете вы, например, в знойный день по дороге, не укрытой деревьями, натрудили себе ноги, шагая по плохо утрамбованному щебню, поднимаясь по крутому откосу,— и у вас возникает непреодолимое, чисто физическое отвращение к такому пути, хотя вы шли по нему, думая совсем о другом. Вы весело болтали с приятелем, не огорчались мелкими неудобствами дороги, ни на что не смотрели, ничего не отмечали в памяти, но ваши ноги, мышцы, легкие, все ваше тело не забыло этих тягостных ощущений, и когда ум пожелает направить вас по той же дорожке, тело сразу скажет ему: «Нет, не пойду, мне там было очень неприятно». И голова без рассуждений подчинится протесту своих сотоварищей, которые несут ее.

Итак, нам нужны хорошие дороги, и, стало быть, нам нужны участки этого упрямого осла, дядюшки Ориоля. Но погодите, мы его скоро взнуздаем... Да, кстати, Ма-Руссель купил дачу на тех же условиях, что и Ремюзо. Пришлось пойти на эту маленькую жертву, зато она окупится сторицей. Постарайтесь узнать намерения Клоша.

— Клош от своих коллег не отстанет,— заметил Латон.— А вот меня другое беспокоит. Я уже несколько дней об этом думаю. Мы забыли о важнейшем деле — о метеорологическом бюллетене!

— Что, что? О каком бюллетене?

— О бюллетене в парижских газетах. Необходимейшая вещь! Надо показать, что Монт-Ориоль превосходит все соседние курорты, что температура в нем ровная, жара умеренная, нет резких перемен погоды. Абонируйте для метеорологического бюллетеня местечко в самых ходовых органах прессы, руководительницы общественного мнения, и я каждый вечер буду посылать по телеграфу соответствующие данные об атмосферном давлении и прочем. Я их так препарирую, эти данные, что в конце года, когда печатают средние цифры, Монт-Ориоль забьет своими «средними» все окрестные курорты. Температура! О-о!! Что бросается в глаза, когда разворачиваешь большие газеты? Температура в Виши, температура в Руайя, в Мон-Доре, в Шатель-Гюйоне, и так далее, и так далее. Это в летний

сезон, а в зимний — температура в Каннах, в Ментоне, в Ницце, в Сен-Рафаэле. На знаменитых курортах, дорогой директор, всегда должно быть тепло, всегда должна быть великолепная погода,— пусть парижане читают и завидуют: «Черт побери! Какие счастливцы те, кто ездит туда!»

Андермат воскликнул:

— Так, так, так! Вы правы! Как же я-то до сих пор об этом не подумал! Сегодня же займусь этим. Да, кстати, вы писали профессорам Ларенару и Паскалису? Как мне хочется залучить их обоих сюда!

— Неприступны, дорогой председатель, неприступны!.. Если только... если только сами на многочисленных опытах не убедятся, что наши воды действительно хороши... Но средствами... предварительного убеждения их не возьмешь... Нечего и думать.

Они поравнялись со столиком, за которым Поль и Гонтран пили после завтрака кофе; на террасе собрались уже и другие обитатели курорта, главным образом мужчины, так как женщины, выйдя из-за стола, обычно проводят час — другой в своих комнатах. Петрюс Мартель надзирал за лакеями и командовал: «Кюммелю! Рюмку коньяку! Графинчик анисовой!» — на тех же басистых, раскатистых нотах, которые каждодневно звучали в его голосе часом позднее, когда он выкрикивал указания на репетиции и давал тон примадонне.

Андермат остановился на минутку около столика молодых людей, перекинулся с ними несколькими словами и пошел дальше рядом с главным врачом.

Гонтран развалился на стуле, запрокинул голову на спинку, вытянул ноги, скрестил на груди руки и, погрузившись в полное блаженство, смотрел в небо, держа в зубах дымившуюся сигару.

Вдруг он спросил:

— Хочешь, пойдем сейчас прогуляться в долину Сан-Суси? Сестрички тоже пойдут.

Поль замялся было, но, подумав, согласился: — С удовольствием. — Затем добавил: — А как твои дела?.. Успешны?

— Еще как! Поймал, держу крепко! Теперь уж не сорвется.

Гонтран взял своего приятеля в наперсники и день за днем рассказывал ему о своих успехах и завоеваниях. Он даже обратил его в пособника и брал с собой на свидания с Луизой, которые устраивал очень ловко.

После поездки к кратеру Нюжера Христиана прекратила всякие прогулки, почти не выходила из комнаты, и Гонтрану было трудно видеться с Луизой.

Сначала затворничество сестры привело его в замешательство, но он нашел выход из положения.

Воспитанный в нравах Парижа, где мужчины его типа обычно смотрят на женщин, как охотники на дичь, и знают, что такая охота бывает сопряжена с трудностями, он был искушен в хитроумных способах сближаться с приглянувшимися ему дамами. Он мог бы научить любого, как пользоваться для этой цели простодушным посредничеством или же корыстными услугами, и с одного взгляда угадывал, кто из мужчин и женщин пригодится ему для его замыслов.

Лишившись бессознательной помощи Христианы, он для замены ее принялся искать среди окружающих необходимую ему союзницу — «сердобольную натуру», как он выражался,— и очень скоро остановил свой выбор на супруге доктора Онора. Для этого было много оснований. Во-первых, ее муж дружил с Ориолями, так как лечил все семейство лет двадцать; младшие дети родились и выросли на его глазах; каждое воскресенье он обедал у них в доме и сам приглашал их к себе по вторникам. Толстую докторшу, полуобразованную, вульгарную особу с большими претензиями, легко было приманить, пользуясь ее тщеславием,— она, конечно, из кожи будет лезть, чтобы всячески угодить графу де Равенелю, шурину самого владельца Монт-Ориоля.

Вдобавок Гонтран, не раз имевший дело с парижскими своднями, сразу распознал в ней женщину, весьма пригодную для этой роли; как-то раз, встретив ее на улице, он решил: «По виду она настоящая сводня, а значит, и душа у нее такая же».

И вот однажды он проводил доктора до дома и заглянул к ним. Он уселся, принялся болтать, наговорил толстухе всяких любезностей, а когда в отеле зазвонили к обеду, сказал, вставая:

— Как у вас вкусно пахнет! В вашем доме готовят, несомненно, куда лучше, чем в гостинице.

Г-жа Онора, раздувшись от гордости, залепетала:

— Ах, боже мой! Если бы я посмела... если бы посмела, граф...

— Что посмели, сударыня?

— Пригласить вас к нашему скромному столу.

— А что ж... я бы не отказался.

Доктор встревоженно бормотал:

— Да у нас ничего нет, совершенно ничего... Суп, говядина, курица — вот и все.

Гонтран хохотал:

— Ну и вполне достаточно! Принимаю приглашение!

И он остался обедать у супругов Онора. Толстая хозяйка, вскакивая со стула, выхватывала блюдо из рук горничной, чтоб та не пролила соус на скатерть, и, к явной досаде мужа, сама прислуживала за столом.

Граф расхвалил ее стряпню, ее уютный домик, ее радушие, и она преисполнилась пылким восхищением.

Он повторил свой гастрономический визит, опять напросился на обед и стал после этого постоянным гостем в доме г-жи Онора, куда то и дело забегали сестры Ориоль по долголетней привычке, по соседству и давней дружбе.

Гонтран проводил в обществе трех дам целые часы, был очень любезен с обеими сестрами, но с каждым днем оказывал все больше предпочтения Луизе.

Ревность, разъединившая сестер, когда Гонтран начал было ухаживать за Шарлоттой, приняла у старшей сестры характер воинственной ненависти, а у младшей — спокойного презрения. В скромных манерах Луизы, в ее недомолвках, в сдержанном обращении с Гонтраном сквозило больше умелого кокетства и заигрывания, чем в беспечной и шаловливой непосредственности младшей сестры. Шарлотта, скрывая из гордости свою сердечную рану, казалось, ничего не замечала и с удивительной выдержкой, с полным, казалось бы, равнодушием присутствовала при частых встречах у г-жи Онора. Она не хотела оставаться дома, чтобы не подумали, что она страдает и плачет, что она покорно уступила место старшей сестре.

Гонтран так гордился своей хитростью, что не мог удержаться и все рассказал Полю. А Поль нашел этот маневр забавным и весело расхохотался. К тому же он дал себе слово больше не вмешиваться в интриги своего приятеля, помня его двусмысленные намеки, и не раз думал с тревогой: «Известно ему что-нибудь обо мне и Христиане?»

Прекрасно зная Гонтрана, он считал его вполне способным закрыть глаза на любовную связь сестры. Но почему же он раньше ничем решительно не показывал, что догадывается или знает об этой связи? А все дело было в том, что Гонтран принадлежал к числу тех шалопаев, по мнению которых светской женщине даже полагается иметь одного или нескольких любовников, так как семья, по их глубокому убеждению,— не что иное, как общество взаимопомощи в житейских делах, нравственность — покров, накинутый на тайные влечения, вложенные в человека природой, а светские приличия — фасад, за которым следует скрывать приятные пороки. Он толкнул Христиану на брак с Андерматом если не с определенными намерениями, то, во всяком случае, со смутной мыслью, что этот еврей будет поживой для всего семейства, и, пожалуй, презирал бы сестру, если бы она хранила верность мужу, как презирал бы самого себя, если бы не черпал денег из кошелька своего зятя.

Поль думал обо всем этом, и все это смущало его душу, душу современного Дон-Кихота, склонного, однако, к сделкам с совестью. Теперь он стал очень осторожным в отношениях со своим загадочным приятелем.

Итак, когда Гонтран рассказал ему, для каких целей он пользуется знакомством с г-жой Опора, Поль расхохотался, а немного погодя согласился сопровождать его и очень охотно болтал с Шарлоттой.

Докторша с величайшей готовностью выполняла роль, для которой ее избрали, принимала гостей весьма радушно и в пять часов, в подражание парижским дамам, угощала их чаем и сдобными булочками собственного своего приготовления.

В первый же раз, как Поль появился в ее доме, она встретила его, словно старого друга, усадила, чуть не силой отобрала у него шляпу и положила ее на полку

камина, рядом с часами. Потом засуетилась, захлопотала, перебегала от одного к другому, огромная, с выпяченным животом, и все спрашивала:

— Не угодно ли закусить?

Гонтран говорил всякие забавные глупости, шутил, смеялся, держал себя весьма непринужденно. Потом он уединился с Луизой в глубокую нишу окна, а Шарлотта с волнением смотрела на них.

Г-жа Опора, развлекавшая разговором Поля, сказала ему материнским тоном:

— Милые детки, они приходят ко мне побеседовать несколько минут. Ведь это вполне невинно, не правда ли, господин Бретиньи?

— О, вполне невинно, сударыня!

Во второе посещение Бретиньи она уже запросто называла его «господин Поль» и держалась с ним запанибрата.

С тех пор Гонтран с обычным своим веселым ехидством сообщал приятелю о всех услугах, которые угодливо оказывала ему эта дама. Накануне он сказал ей:

— Отчего вы никогда не ходите с барышнями Ориоль на прогулку по дороге в Сан-Суси?

— Мы пойдем, граф, непременно пойдем!

— Вот пошли бы, например, завтра в три часа.

— Пойдем завтра в три часа. Обязательно!

— Как вы любезны, многоуважаемая госпожа Опора!

— Всегда рада услужить вам, граф!

И Гонтран объяснил Полю:

— Ты же понимаешь, у нее в гостиной мне неудобно приударить за Луизой как следует, на глазах младшей сестры. А в лесу мы можем уйти с ней вперед или отстать немножко. Ну как, пойдешь?

— С удовольствием.

— Пойдем.

Они поднялись и не спеша пошли по большой дороге, потом за деревней Ла-Рош-Прадьер свернули влево и, продираясь сквозь густые заросли кустов, спустились в лесистую долину. Перебравшись через узенькую речку, они сели на краю тропинки и стали ждать.

Вскоре показались все три дамы, они шли гуськом: Луиза впереди, г-жа Онора замыкала шествие.

Обе стороны выразили удивление: какая неожиданная встреча!

Гонтран воскликнул:

— Какая хорошая мысль пришла вам прогуляться в эту долину!

Докторша ответила:

— Это я придумала!

Дальше отправились уже вместе.

Луиза и Гонтран, постепенно ускоряя шаг, ушли далеко вперед и порой исчезали из виду за поворотами узкой дорожки.

Докторша шумно отдувалась и бормотала, провожая их снисходительным взором:

— Ах, молодость, молодость! Вот быстроногие! Где уж мне за ними угнаться!

Шарлотта воскликнула:

— Погодите, я сейчас их позову!

И она бросилась бежать по дорожке. Докторша окликнула ее:

— Не мешай им, детка! Пусть поболтают на свободе, если им хочется. Зачем расстраивать разговор? Они и сами вернутся.

Обмахиваясь платком, она села на траву в тени большой сосны. Шарлотта бросила на Поля жалобный взгляд, полный мольбы и отчаяния.

Он понял и сказал:

— Ну что ж, мадмуазель Шарлотта, пусть госпожа Онора посидит, отдохнет, а мы с вами догоним вашу сестру.

Она радостно воскликнула:

— Да, да, сударь, пойдемте!

Г-жа Онора ничего не имела против этого.

— Идите, детки, идите. Я вас здесь подожду. Только не очень долго гуляйте.

И они отправились. Сначала шли очень быстро, надеясь догнать Луизу и Гонтрана, но через несколько минут, не видя их на дорожке, решили, что они свернули в лес, направо или налево, и Шарлотта негромко позвала их дрожащим голосом. Никто не откликнулся.

Она сказала тихо:

— Господи! Где же они?

Поля снова охватило то чувство глубокой жалости к ней и, грустного умиления, которое он уже испытал у кратера Нюжера.

Он не знал, что сказать этой огорченной девочке. Хотелось отечески обнять ее, поцеловать, найти какие-нибудь ласковые, утешительные для нее слова. Но какие? А она тревожно озиралась, вглядывалась в зеленую чащу безумными глазами и, прислушиваясь к малейшему шороху, говорила:

— Наверно, они вон туда пошли... Нет, наверно, сюда. Вы ничего не слышите?

— Нет, ничего не слышу. Лучше всего нам здесь подождать их.

— Ах, боже мой!.. Нет... Надо их найти.

Он помолчал немного, потом нерешительно спросил:

— Так вам это очень больно?

Она подняла голову, взглянула на него с отчаянием, а глаза ее уже подернулись прозрачной влагой, и на темных длинных ресницах задрожали слезинки. Она хотела что-то сказать и не могла, не решалась, а между тем стесненному сердцу, переполненному горем, долго таившемуся его, так нужно было открыться.

Поль сказал:

— Значит, вы очень любите его?.. Не стоит он вашей любви, право!

Она больше не в силах была сдерживаться и, закрыв лицо руками, чтобы не видны были слезы, заговорила:

— Нет... нет... Я не люблю его... Он так гадко поступил со мной... Он играл мною... это очень гадко... это низко... и все-таки мне тяжело... очень тяжело... потому что обидно... очень обидно... А больше всего тяжело из-за сестры... сестра тоже меня не любит теперь. Она еще хуже со мной поступает... Я чувствую, что она теперь не любит меня... совсем не любит... ненавидит... а у меня только она одна и была... теперь у меня никого нет... За что? Что я ей сделала?..

Ему видны были только маленькое ее ухо и полоска гибкой шеи, уходившая под воротник платья из легкой ткани, к более округлым линиям девичьего стана. Он был глубоко взволнован жалостью, нежностью, охва-

чен бурным желанием взять ее под свою защиту, как это всегда с ним бывало, когда женщина затрагивала его душу. И его быстро загоревшаяся душа прониклась восторженным умилением перед этой детской скорбью, такой наивной и полной такого мучительного очарования.

Он протянул руку и безотчетно, не размышляя, как успокаивают плачущего ребенка, обнял ее за плечи. И вдруг рука его ощутила, что ее сердце бьется быстро-быстро, словно у пойманной птички.

Непрестанные торопливые толчки передавались по руке его собственному сердцу, и оно тоже забилось быстрее. Он чувствовал, как стучит ее сердце, и этот быстрый стук отзывался во всем его теле, в мышцах, в нервах, как будто два сердца слились воедино, страдали одним и тем же страданием, трепетали в едином биении и жили одной жизнью, словно часы, соединенные стальною нитью, так что их ход совпадает секунда за секундой.

Вдруг она отвела руки от покрасневшего, но по-прежнему милого личика и, быстро отирая слезы, сказала:

— Ах, зачем это я?!. Вот глупая! Не надо было говорить об этом. Пойдемте скорее обратно, к госпоже Онора. А про это забудьте, пожалуйста... Обещаете?

— Обещаю.

Она протянула ему руку.

— Вам-то я верю. Мне кажется, вы честный человек.

Они пошли обратно. Он подхватил ее на руки и перенес через ручей, как нес когда-то Христиану, год тому назад. Сколько раз он приходил сюда с Христианой этой же самой тропинкой в прежние дни, когда боготворил ее! И он подумал, удивляясь перемене в себе: «Как коротка была эта страстная любовь!»

Шарлотта потянула его за рукав и прошептала:

— Госпожа Онора уснула, сядем возле нее тихонько.

Толстуха действительно спала, прислонившись к стволу сосны, прикрыв лицо носовым платком, и мирно похрапывала, сложив руки на животе. Они опусти-

лись на траву в нескольких шагах от нее и сидели молча, чтоб не разбудить ее.

И тогда глубокая лесная тишина, царившая вокруг, стала для них тягостной, томительной. Слышалось только, как быстро журчит по камешкам вода, чуть-чуть шуршат в траве насекомые, гудит в воздухе рой мошкары и большие черные жуки шелестят сухими листьями.

Где же Луиза и Гонтран? Что они делают? Вдруг вдалеке зазвучали их голоса: они возвращались. Г-жа Онора проснулась и удивленно посмотрела вокруг.

— Ах, вы уже вернулись? А я и не слышала, как вы подошли! А где же остальные? Нашли вы их?

Поль ответил:

Вот они. Идут.

Донесся смех Гонтрана. И от этого веселого смеха с души Шарлотты как будто свалился камень. Она не могла бы сказать, почему ей стало легче.

Вскоре они показались на дорожке. Гонтран шел быстро, почти бежал и тянул за руку Луизу, красную, как пион. Ему не терпелось рассказать забавное приключение, и он еще издали закричал:

— Послушайте-ка! На кого мы сейчас наткнулись!.. Ни за что не угадаете! Застали на месте преступления обольстителя Мадзелли и рыжеволосую красотку-вдовушку, дочку профессора Клоша, знаменитого профессора Клоша, как сказал бы Виль. О, ужас! Мадзелли, мошенник этакий, целовал ее, да еще как!.. Как целовал!..

Г-жа Онора с видом оскорбленной добродетели прервала его игривый рассказ:

— Ах, граф!.. Подумайте, что вы говорите... При девушках!

Гонтран склонился в глубоком поклоне.

— Вы совершенно правы, многоуважаемая госпожа Онора. Благодарю вас, что вы напомнили мне о приличиях. Все ваши побуждения всегда возвышенны.

Затем все двинулись в обратный путь, но, чтоб не возвращаться вместе, молодые люди простились с дамами и пошли лесом.

— Ну как? — спросил Поль.

— Объяснился. Сказал, что обожаю и буду счастлив назвать ее своей супругой.

— А что она сказала?

— Сказала очень мило и пристойно: «Поговорите с папенькой. Я отвечу через него».

— И что же теперь? — спросил Поль.

— Немедленно уполномочу Андермата передать официальное предложение. А если старый мужлан Ориоль заартачится, скомпрометирую его дочку какой-нибудь выходкой.

Андермат все еще разговаривал с доктором Латоном на террасе казино. Гонтран отвел зятя в сторону и изложил ему положение дел.

Поль пошел по риомской дороге. Ему хотелось побыть одному, разобраться в хаосе взволнованных мыслей и чувств, в том смятении, которое охватывает нас на пороге любви.

Уже давно он бессознательно поддавался пленительному и чистому очарованию этой покинутой девочки. Он угадывал в ней милое, доброе существо, простое, искреннее, прямодушное и сначала чувствовал к ней жалость, ту теплую, ласковую жалость, которую вызывает в нас женское горе. Но участились встречи, и как-то незаметно в сердце дало ростки зернышко нежности,— ведь женщина может заронить его в нас так легко, а ростки его поднимаются так буйно. И теперь, особенно за последний час, он чувствовал, что его заполонило и преследует ощущение ее близости, хотя ее нет с ним,— первый признак любви.

Он шел по дороге, переполненный неотступными воспоминаниями о ее взгляде, о звуке ее голоса, о складочке в уголках губ, расцветающих улыбкой или скорбно опущенных в слезах, о ее походке, даже о цвете и шелесте ее платья.

И он думал: «Кажется, попался! Я знаю себя. Вот досада! Лучше бы мне вернуться в Париж. Ах, черт! Ведь это молоденькая девушка. Не могу же я сделать ее своей любовницей!»

Потом он стал мечтать о ней, как мечтал в прошлом году о Христиане. Да, эта девушка тоже совсем не по-

хожа на всех женщин, какие встречались на его пути, женщин, родившихся и выросших в городах; не похожа она и на девушек, с детства впитавших в себя кокетство, перенявших его уловки и от матерей и от всех своих знакомых. В ней не было ничего деланного, никаких ужимок, предназначенных для обольщения, ничего заученного в словах, ничего искусственного в движениях, ничего лживого во взгляде.

И она была не только нетронутым и чистым существом, но происходила из среды почти первобытной, была истой дочерью земли и только еще вступила в период превращения в городскую даму.

Он взвинчивал себя, стараясь подавить смутное сопротивление, минутами поднимавшееся в нем. В памяти его возникали поэтические образы, созданные Вальтером Скоттом, Диккенсом и Жорж Санд, и они еще более воспламеняли его воображение, вечно подстегиваемое женщиной.

Гонтран говорил о нем: «Поль? О, это норовистый конь, который мчит на своем хребте любовь; лишь только сбросит одну, на него вскочит другая».

Бретиньи шел долго; наконец, заметив, что уже темнеет, он повернул обратно.

Проходя мимо нового ванного заведения, он увидел, что неподалеку бродят по виноградникам и обмеряют землю Андермат и оба Ориоля. По их жестам он понял, что у них идет горячий спор.

Час спустя Вильям Андермат вошел в гостиную, где собралась вся семья, и сказал маркизу:

— Дорогой тесть, извещаю вас, что ваш сын Гонтран через полтора — два месяца женится на девице Луизе Ориоль.

Маркиз де Равенель был ошеломлен.

— Гонтран?! Что вы говорите!!

— Говорю, что, с вашего согласия, Гонтран через полтора — два месяца женится на девице Ориоль. Она будет очень богата.

Тогда маркиз сказал самым естественным тоном:

— Ах, боже мой, пусть женится, если ему так уж хочется!.. Я не возражаю...

И банкир рассказал, как он сосватал Гонтрану дочку старика-крестьянина.

Узнав от графа, что девушка готова дать согласие, он решил, не теряя ни минуты, вырвать согласие и у ее отца, чтобы хитрый винодел не успел придумать еще какую-нибудь ловушку.

Банкир побежал к Ориолям и застал старика за подведением счетов: с большим трудом он выводил цифры на засаленном клочке бумаги и складывал их с помощью Великана, который считал по пальцам.

Андермат присел к столу и сказал:

— С удовольствием бы выпил стаканчик вашего вина.

Как только Ориоль-младший принес стаканы и полный жбан красного вина, банкир осведомился, дома ли Луиза, попросил позвать ее и, едва она подошла к нему, поднялся, отвесил глубокий поклон и произнес:

— Мадмуазель Луиза, надеюсь, вы считаете меня своим другом, которому все можно сказать? Не правда ли? Так вот, я взял на себя очень деликатное поручение, которое касается вас. Мой шурин, граф Рауль-Оливье-Гонтран де Равенель, полюбил вас (выбор его я вполне одобряю), и он поручил мне спросить у вас в присутствии ваших родных, согласны ли вы стать его женой.

Луиза, захваченная врасплох, вскинула смущенный взгляд на отца; старик Ориоль испуганно смотрел на Великана, всегдашнего своего советчика, Великан на Андермата, а тот снова заговорил с некоторой надменностью:

— Примите во внимание, мадмуазель, что, взяв на себя это поручение, я пообещал моему шурину принести ответ немедленно. Он прекрасно понимает, что, возможно, не имел счастья понравиться вам, а в таком случае он завтра же уедет и больше никогда не вернется в эти края. Я полагаю, вы уже достаточно хорошо его знаете и можете смело сказать мне, ведь я только посредник: «Да, я согласна» или «Нет, я не согласна».

Она склонила голову, вся покраснела, но твердым тоном сказала:

— Да, я согласна.

И, повернувшись, выбежала из комнаты так стремительно, что ударилась о косяк двери.

Андермат снова сел и, без церемоний налив себе стакан вина, сказал:

— Ну, а теперь поговорим о делах.

И, как будто даже не допуская возможности малейших колебаний со стороны отца, он заговорил о приданом, опираясь на то, что старик Ориоль сообщил ему три недели тому назад. Состояние Гонтрана он определил в триста тысяч франков плюс будущее наследство и дал понять, что если такой жених, как граф де Равенель, просит руки девицы Ориоль, особы, впрочем, очаровательной, то уж семья ее, бесспорно, должна в знак признательности за такую честь пойти на некоторые материальные жертвы.

Крестьянин, расстроенный, но польщенный, почти обезоруженный, все же попытался защитить свое добро. Торг шел очень долго. Впрочем, Андермат с самого начала сделал заявление, облегчавшее сделку:

— Мы не требуем денег ни наличными, ни в ценных бумагах, а только землю — те самые участки, которые вы, как уже было сказано вами, предназначили в приданое мадмуазель Луизе, и еще кое-какие, на которые я укажу.

Возможность не выкладывать из мошны денег, драгоценных денег, накопленных за долгие годы, входивших в дом франк за франком, су за су, не отдавать серебряных или золотых кружочков, стершихся в руках, в кошельках, в карманах, на трактирных столах, в глубоких ящиках старых шкафов, не отдавать этой звонкой летописи стольких забот, огорчений, усталости, трудов; монеток, таких милых сердцу, глазам и мужицким пальцам; денег, которые дороже, чем корова, чем виноградник, поле, дом, которыми иной раз труднее пожертвовать, чем собственной своей жизнью,— возможность не расставаться с ними, расставаясь с родной дочерью, сразу внесла в душу Ориоля, как и его сына, великое успокоение, наполнила примирительными чувствами и тайной, сдерживаемой радостью.

Однако оба они упорно торговались, чтобы выгадать несколько клочков земли. На столе разложили подробный межевой план холма Монт-Ориоль и кре-

стиками отметили участки, назначавшиеся в приданое Луизе. Андермату понадобился целый час, чтобы отбить последние два квадратика. Затем, во избежание всяких подвохов с той и с другой стороны, отправились на место, захватив с собою план. Тщательно проверили в натуре все участки, отмеченные крестиками, и еще раз их переметили.

Андермат все же тревожился, подозревая, что Ориоли вполне способны при следующем свидании отречься от сделанных уступок и отхватить в свою пользу полоски виноградников, необходимые ему для его замыслов, и он старался придумать какое-нибудь практическое и надежное средство, чтобы закрепить достигнутое соглашение.

И вдруг банкиру пришла мысль, сначала показавшаяся ему забавной, а затем, при всей ее смехотворности, превосходной.

— Если желаете,— сказал он,— мы все это запишем, чтоб потом чего-нибудь не забыть.

На обратном пути, проходя через деревню, он купил в табачной лавке два листа гербовой бумаги. Он знал, что опись земель, составленная на гербовой бумаге, примет в глазах обоих крестьян характер чего-то незыблемого, потому что гербовые листы представляют закон — вездесущий, невидимый, но грозный закон, охраняемый жандармами, штрафами и тюрьмой.

И вот он на одном листе написал, а на другом переписал в копии следующее обязательство:

«Ввиду обещания вступить в брак, коим обменялись между собою граф Гонтран де Равенель и девица Луиза Ориоль, г-н Ориоль, отец невесты, дает за нею в приданое нижеследующие владения...»

И он подробно обозначил все участки, указав их номер в реестре поземельной переписи анвальской коммуны.

Потом, поставив дату и подписавшись, он заставил подписаться и старика Ориоля, который, в свою очередь, потребовал, чтобы в обязательство вписано было и состояние жениха; и, наконец, Андермат отправился к себе в отель с этой бумагой в кармане.

Все смеялись, слушая его рассказ; Гонтран хохотал веселее всех.

Потом маркиз сказал сыну с большим достоинством:

— Вечером мы с тобой нанесем визит этому семейству, и я сам повторю предложение, сделанное предварительно моим зятем, чтоб все было, как полагается.

V

Гонтран оказался примерным женихом, любезным и внимательным. Он сделал всем подарки (на деньги Андермата) и поминутно бегал повидаться с невестой то у нее в доме, то у г-жи Онора. Почти всегда его теперь сопровождал Поль, чтобы встретиться с Шарлоттой, хотя после каждой встречи давал себе слово больше не видеться с ней.

Шарлотта мужественно примирилась с предстоящим браком сестры, говорила о нем просто, непринужденно и, казалось, не затаила в душе никакой обиды. Только характер у нее как будто немного изменился: она стала более сдержанной, не такой непосредственной, как прежде. Пока Гонтран вполголоса вел в уголке нежные разговоры с Луизой, Поль беседовал с Шарлоттой спокойно и серьезно, постепенно погружаясь в эту новую любовь, поднимавшуюся в его сердце, как морской прилив. Он это понимал, но не боролся с ней, успокаивая себя мыслью: «Пустяки, в критическую минуту спасусь бегством, вот и все!» А расставшись с Шарлоттой, он шел к Христиане, которая теперь целые дни лежала на кушетке. Уже у дверей в нем накипало нервное раздражение, появлялась воинственная готовность к мелким ссорам, порождавшимся усталостью и скукой. Его заранее сердило все, что она говорила, все, что она думала; ее страдальческий вид, ее покорное смирение, ее молящий и укоризненный взгляд вызывали в нем только злобу, и лишь, как человек воспитанный, он сдерживал желание наговорить ей обидных слов; близ Христианы его не оставляла мысль о другой; перед глазами всегда стоял образ девушки, с которой он только что расстался.

Христиана мучилась оттого, что теперь почти не видела его, и донимала его расспросами, что он делал, где был; в ответ он сочинял всякие басни, а она внимательно слушала, пытаясь угадать, не влечет ли его к какой-нибудь другой женщине. Она чувствовала свое бессилие, знала, что не может удержать его, не может вызвать в нем хоть каплю той любви, которой терзалась сама, понимала, что она физически бессильна пленить его, вновь завоевать его хотя бы страстью, ласками, если уж не может вернуть его нежность, и страшилась всего, не зная еще, где таится опасность.

Но она уже ощущала, что какая-то страшная, неведомая беда нависла над ней, и ревновала его беспочвенной ревностью ко всему и ко всем, даже к женщинам, случайно проходившим мимо ее окна,— все они казались ей очаровательными и опасными, хотя она и не знала, говорил ли с ними хоть раз Поль Бретиньи.

— Вы заметили очень хорошенькую, довольно высокую брюнетку? Проходила мимо моего окна. Я ее раньше не видела, должно быть, она только на днях приехала.

А когда он отвечал: «Нет, не заметил»,— она подозревала, что он лжет, и, бледнея, говорила:

— Ну как это возможно! Как вы могли ее не заметить? Такая хорошенькая, ну просто красавица!

Он удивлялся ее настойчивости.

— Уверяю вас, что я ее ни разу не встречал. Постараюсь встретить.

И Христиана думала: «Это *она,* наверно, *она*». А иногда ей приходило в голову, что у него есть тайная связь, что он вызвал сюда какую-нибудь любовницу, может быть, свою актрису. И она начинала выпытывать у отца, у брата, у мужа, какие появились в Анвале молодые и привлекательные женщины.

Если бы ей хоть можно было ходить, самой посмотреть, последить за ним, она бы немного успокоилась, но почти полная неподвижность, которую ей предписали, делала ее мучение нестерпимой пыткой. И когда она говорила с Полем, уже в самом звуке ее голоса сквозило страдание, и это только раздражало охладевшего к ней любовника.

Спокойно он мог говорить с ней только об одном — о близкой женитьбе Гонтрана, потому что тогда он мог произносить имя Шарлотты и вслух думать о ней. И ему даже доставляло какое-то смутное, загадочное, необъяснимое удовольствие слышать, как Христиана произносит ее имя, расхваливает миловидность и душевные качества этой девушки, жалеет ее, бранит брата за то, что он пренебрег ею, и выражает пожелание, чтоб нашелся хороший человек, который оценил бы ее, полюбил и женился на ней

Он подтверждал:

— Да, да. Гонтран сделал ужасную глупость. Такая чудесная девушка!

И Христиана без малейшего подозрения повторяла за ним:

— Действительно чудесная! Просто сокровище, само совершенство!

Ни на одно мгновение не возникала у нее мысль, что такой человек, как Поль, мог полюбить такую девушку и жениться на ней. Она боялась только его любовниц.

И такова удивительная особенность мужского сердца: похвалы Шарлотте в устах Христианы приобретали для Поля какую-то особую значимость, воспламеняли его любовь и влечение к этой девушке, придавали ей неотразимую прелесть.

Но вот однажды, когда Поль с Гонтраном пришли к г-же Онора, чтобы встретиться там с сестрами Ориоль, они застали в гостиной доктора Мадзелли, расположившегося, как у себя дома.

Мадзелли протянул им обе руки, просияв чисто итальянской улыбкой, от которой казалось, что в каждое слово, в каждый жест он вкладывает все свое сердце.

С Гонтраном его связывали фамильярные и поверхностные приятельские отношения, основанные скорее на сродстве натур, на скрытом сходстве наклонностей, на своего рода сообщничестве, чем на истинной дружеской симпатии и доверии.

Граф спросил:

— Ну, как ваша блондинка, с которой вы прогуливались в роще Сан-Суси?

Итальянец улыбнулся.

— О! Мы охладели друг к другу! Она из тех женщин, которые только манят и ничего не дарят.

И они принялись болтать. Красавец-врач расточал любезности обеим девушкам, но особенно Шарлотте. Когда он говорил с женщинами, то непрестанно выражал голосом, жестами, взглядом преклонение перед ними. Вся его фигура, каждая поза как будто говорили: «Обожаю вас», и так красноречиво, что он неизменно покорял сердца.

У него была грация актрисы, порхающая походка балерины, гибкие движения вора-карманника, врожденный дар и выработанные тонкие приемы обольщения, которыми он пользовался непрестанно.

Возвращаясь с Гонтраном в отель, Поль угрюмо ворчал:

— Зачем втерся сюда этот шарлатан!

Граф ответил равнодушно:

— Разве узнаешь, что на уме у таких авантюристов? Эти молодцы всюду пролезут. А нашему красавцу, должно быть, надоели и бродячая жизнь и капризы его испанки, при которой он состоит скорее в роли лакея, чем домашнего врача, а может быть, и в какой-нибудь другой роли. Он ищет. Думал, верно, поймать дочку профессора Клоша, да промахнулся, судя по его словам. Младшая девица Ориоль для него была бы добычей не менее ценной. Вот он и пробует нащупать почву, вынюхивает, закидывает удочку. Чем плохо? Он стал бы совладельцем курорта, постарался бы спихнуть этого дурака Латона и уж, во всяком случае, каждое лето приобретал бы себе здесь выгодных пациентов на зиму... Ей-богу, к этому он и гнет! Можно не сомневаться.

В сердце Поля Бретиньи зашевелился глухой гнев, ревнивая враждебность.

Чей-то голос крикнул:

— Эй, погодите!

Их догонял Мадзелли.

Бретиньи спросил с злобной иронией:

— Куда вы так быстро бежите, доктор? Гонитесь за фортуной?

Итальянец улыбнулся и, не останавливаясь, только повернувшись к ним лицом, сделал несколько прыжков, грациозным жестом арлекина засунул руки в карманы, вывернул их, вытянул двумя пальчиками, чтобы показать, что в них пусто, и крикнул, смеясь:

— Увы! Еще не поймал ее!

И, сделав изящный пируэт, помчался дальше, как будто ему было очень некогда.

После этого приятели еще несколько раз встречали его в доме доктора Онора; он сумел угодить всем трем дамам и оказывал им множество мелких приятных услуг, проявляя ту же ловкость и изобретательность, которыми, вероятно, угождал и герцогине. Он все умел делать в совершенстве — и говорить комплименты и готовить макароны, да и не только макароны: он вообще был прекрасный повар и, повязав в защиту от пятен синий фартук кухарки, смастерив себе из бумаги поварской колпак, охотно занимался стряпней, распевая на итальянском языке неаполитанские песенки, все делал изящно, ни в чем не был смешным, всех забавлял и пленял, вплоть до придурковатой служанки, которая говорила про него:

— Ну чисто ангелок...

Вскоре его замыслы стали совершенно явными, и Поль уже не сомневался, что красавец Мадзелли старается влюбить в себя Шарлотту.

И казалось, это ему удается. Он так ловко умел польстить, был так услужлив, обладал таким искусством нравиться, что, когда он появлялся, у девушки лицо озарялось улыбкой удовольствия.

А Поль, не давая себе в этом отчета, занял позицию влюбленного соперника. Как только Мадзелли начинал увиваться около Шарлотты, Поль подходил к ней и совсем по-иному, прямее и откровеннее, старался завоевать ее расположение. Он выказывал ей грубоватую братскую нежность, преданность, говорил ей: «Право, я очень вас люблю»,— но так открыто, с такой простотой и искренностью, что никто не мог бы счесть это признанием в любви.

Удивившись неожиданному соперничеству, Мадзелли пустил в ход все свое умение, и когда Бретиньи, уязвленный ревностью, той инстинктивной ревностью,

которая жалит мужчину, даже если он еще не любит женщину, а она ему только нравится, когда Бретиньи по своей природной пылкости нападал, становился резким и надменным, противник, более изворотливый и никогда не терявший самообладания, отвечал ему остротами, колкостями и хитрыми, насмешливыми любезностями.

Борьба возобновлялась каждый день, соперники вели ее с ожесточенным упорством, хотя ни у того, ни у другого, может быть, и не было вполне определенной цели. Ни тот, ни другой не желал отступать, как два охотничьих пса, ухвативших одну и ту же добычу.

К Шарлотте вернулась прежняя ее веселость, но теперь в ней сквозило какое-то новое, более проницательное лукавство, появилось что-то необъяснимое, затаенное в улыбке и во взгляде. Казалось, измена Гонтрана многому ее научила, подготовила к возможности других разочарований, сделала ее более гибкой, вооружила опытом. Она непринужденно лавировала между двумя вздыхателями, каждому говорила то, что следовало сказать, чтобы не вызвать столкновения между ними, никогда не оказывала одному предпочтения перед другим, с каждым в отдельности подтрунивала над его соперником, предоставляла обоим вести борьбу на равных условиях, но как будто ни того, ни другого даже и не принимала всерьез. И во всем этом совсем не было кокетства, а только шаловливый, мальчишеский задор, который иногда придает молоденьким девушкам необыкновенное очарование.

Но вот Мадзелли как будто добился предпочтения. Казалось, между ним и Шарлоттой установилась какая-то близость, какое-то тайное согласие. Разговаривая с нею, он играл ее зонтиком или концом широкой ленты, перехватывавшей ее талию, а Поль, видя в этом своего рода моральное обладание, приходил в ярость и готов был дать итальянцу пощечину.

Однажды, когда все они собрались в доме Ориолей и Бретиньи разговаривал с Луизой и Гонтраном, искоса поглядывая на Мадзелли, который вполголоса рассказывал Шарлотте что-то вызывавшее у нее улыбку, он вдруг заметил, что она вся вспыхнула и страшно смутилась; сомнения не было: соперник объяснился в

любви. Она потупила глаза, перестала улыбаться, но слушала, слушала внимательно, и тогда Поль, чувствуя, что не в силах сдержать себя, сказал Гонтрану:

— Послушай, дорогой, выйдем на минутку, прошу тебя.

Граф извинился перед невестой и последовал за своим другом.

Как только они вышли на улицу, Поль взволнованно сказал:

— Милый мой, надо во что бы то ни стало помешать этому итальянцу соблазнить бедную девочку. Она совсем беззащитна перед таким мерзавцем.

— А что, по-твоему, я должен сделать?

— Предупреди ее, что он авантюрист.

— Э, милый мой, это меня не касается.

— Как! Она ведь будет твоей родственницей!

— Да, да, конечно. Но какие у нас основания думать, что у Мадзелли преступные виды на нее? Он совершенно так же любезничает со всеми женщинами и еще никогда не сделал и не сказал ничего неприличного.

— Хорошо! Если ты не желаешь взять эту обязанность на себя, я сам разделаюсь с ним, хотя меня это, несомненно, касается гораздо меньше, чем тебя.

— Ты что ж, влюблен в Шарлотту?

— Я?.. Нет... Но я прекрасно вижу, что за игру ведет этот негодяй.

— Знаешь, дорогой, ты собираешься вмешаться в очень деликатное дело, и если только ты не влюблен в Шарлотту, то...

— Да не влюблен я... Но прохвостов надо гнать.

— И что ж ты намерен сделать?

— Дать мерзавцу пощечину...

— Вот умно! Лучшее средство, чтобы она влюбилась в него. Вам придется драться, и ты ли будешь ранен, или Мадзелли — все равно в ее глазах он станет героем.

— А что, например, сделал бы ты?

— На твоем месте?

— Да, на моем.

— Я поговорил бы с девчуркой как друг. Она

очень тебе доверяет. Так вот, я бы ей без обиняков рассказал, что собой представляют эти проходимцы. У тебя такое обличение здорово получилось бы. Ты умеешь говорить с жаром. И я бы дал ей понять, во-первых, почему он прилип к испанке, во-вторых, почему он повел атаку на дочку профессора Клоша, в-третьих, почему он, потерпев поражение, обхаживает теперь девицу Шарлотту Орноль.

— Но отчего ж ты сам не хочешь это сделать? Подумай, ты ведь скоро будешь ее близким родственником.

— Да видишь ли... видишь ли... После того, что было между нами... Мне неудобно. Понимаешь?

— Верно, тебе неудобно. Я сам с ней поговорю.

— Хочешь, я сейчас же устрою тебе разговор с ней наедине?

— Ну, разумеется, хочу.

— Прекрасно. Пойди погуляй минут десять, а я тем временем уведу Луизу и Мадзелли, и, когда ты вернешься, она будет одна.

Поль Бретиньи пошел в сторону Анвальского ущелья, обдумывая, как начать этот щекотливый разговор.

Он действительно застал Шарлотту одну в холодной гостиной отцовского дома, выбеленной известкой, и, сев около нее, сказал:

— Это я, мадмуазель, попросил Гонтрана устроить мне встречу с вами наедине.

Она посмотрела на него своим ясным взглядом.

— А для чего?

— О, конечно, не для того, чтобы угощать вас пошлыми любезностями на итальянский лад, а чтобы поговорить с вами как искренний, преданный друг, дать вам совет.

— Говорите.

Он начал издалека, сослался на свой жизненный опыт, указал на ее неопытность, а затем в осторожных, но ясных словах рассказал ей об авантюристах, которые повсюду ищут себе поживы, с профессиональной ловкостью обирают добрых и простодушных людей, и мужчин и женщин, завладевают их кошельками и сердцами.

Шарлотта немного побледнела и слушала его настороженно и внимательно.

— Я и понимаю и не совсем понимаю. Вы, должно быть, имеете в виду какого-то определенного человека. Кого именно?

— Доктора Мадзелли.

Она потупилась и, помолчав немного, сказала тихим, неуверенным голосом:

— Вы так со мной откровенны, что и я должна отплатить вам тем же... Я вам признаюсь, что со времени... со времени помолвки моей сестры я уж не такая глупая, как раньше... поумнела немножко... Ну, так вот... Я и сама догадывалась о том, что вы мне сейчас сказали, и посмеивалась втихомолку... Я видела, к чему он клонит.

Она подняла голову, и в улыбке, озарившей ее личико, в хитром взгляде и во вздернутом носике, во влажном блеске зубов, сверкнувших между приоткрытыми губами, было столько свежей, юной прелести, веселого задора, милой шаловливости, что Бретиньи охватил бурный порыв такого же страстного влечения, который бросил его год тому назад к ногам покинутой теперь женщины. А сердце его было полно ликующей радости: значит, она вовсе не оказала предпочтения Мадзелли. Победа досталась ему.

Он спросил:

— Так вы его не любите?

— Кого? Мадзелли?

— Да.

Она ничего не ответила, только посмотрела на него таким грустным взглядом, что у него вся душа перевернулась, и он с мольбой спросил:

— И никого... никого не любите?

Она потупилась.

— Не знаю... Люблю тех, кто меня любит.

Он схватил обе ее руки и принялся целовать то одну, то другую в каком-то исступлении, в том сладком безумии, когда в голове человека туман и слова, срывающиеся с уст, подсказывает ему не разум, куда-то вдруг исчезнувший, а взбудораженные чувства. И между поцелуями он лепетал:

— Шарлотта... маленькая моя... Так ведь это я... я люблю вас.

Она вырвала одну руку и, закрывая ему рот, испуганно зашептала:

— Молчите... Не надо... Молчите... Прошу вас. Мне будет так больно, если и это ложь.

Она встала, встал и он и, сжав ее в объятиях, крепко поцеловал в губы.

Внезапно раздался какой-то шум, они отпрянули друг от друга,— в комнату вошел старик Ориоль и с ужасом уставился на них. Вдруг он закричал:

— Ах, прррроклятый!.. прррроклятый!.. Пес прррроклятый!

Шарлотта убежала. Мужчины остались одни, лицом к лицу. Прошло несколько секунд тяжелого молчания, потом Поль попытался объясниться:

— Ах, боже мой... Я, конечно, виноват. Я повел себя, как...

Но старик его не слушал. Распалившись гневом, он двинулся на Поля и, сжимая кулаки, рычал:

— Ах, прррроклятый!.. Черррт прроклятый!..

И, подойдя к Полю вплотную, схватил его за шиворот жилистыми мужицкими руками. Но Поль, такой же рослый и превосходивший овернца силой и ловкостью спортсмена, отбросил его плечом и, прижав к стене, сказал:

— Послушайте, дядюшка Ориоль. Не стоит нам драться. Лучше давайте договоримся. Ну, я поцеловал вашу дочь. Это правда. Даю честное слово, в первый раз поцеловал. И даю честное слово, что хочу на ней жениться.

Жажда физической расправы стихла в старике от увесистого толчка противника, но гнев его не остыл, и он, заикаясь, бормотал:

— Ага, вот оно как! Приманил девку, да еще деньги ему подавай. Жулики прррроклятые!..

И все, что накипело у него на сердце, вырвалось в потоке многословных горьких жалоб. Он не мог утешиться, что обещал дать за старшей дочерью виноградники, что они попадут в руки парижан. Он уже догадывался теперь, что Гонтран нищий, что Андермат надул его, и, забывая о нежданном богатстве, кото-

рое принес ему банкир, изливал теперь свою желчь и затаенную ненависть к этим злодеям, из-за которых он теперь все ночи глаз не смыкает.

Можно было подумать, что Андермат со всей своей родней, со всеми друзьями-приятелями каждую ночь приходят грабить его, крадут его виноградники, его дочерей, его минеральные источники.

Он бросал в лицо Поля Бретиньи злобные упреки, обвинял этого парижанина в коварных намерениях завладеть его добром, обзывал его мошенником, кричал, что он хочет жениться на Шарлотте только затем, чтобы заполучить ее землю.

Бретиньи, потеряв наконец терпение, закричал:

— Ах ты, старый осел! Да я богаче тебя. Я еще тебе самому могу дать денег!

Старик умолк, выслушав это недоверчиво, но внимательно, потом опять принялся обвинять и жаловаться.

Поль теперь возражал ему, объяснял, доказывал и, считая себя связанным нежданным происшествием, в котором он один был виновен, заявлял, что женится на Шарлотте без всякого приданого.

Старик Ориоль мотал головой, притворялся глухим, переспрашивал, не верил, ничего не мог понять. Он все еще считал Поля нищим проходимцем.

Бретиньи в отчаянии закричал во весь голос:

— Да ведь у меня доходу больше ста двадцати тысяч в год, старый болван! Слышишь ты? У меня капиталу три миллиона!

Старик вдруг спросил:

— А бумагу выправите? Напишете, сколько у вас?

— Напишу.

— И подпишетесь?

— Подпишусь.

— На гербовой бумаге?

— На гербовой.

Тогда дядюшка Ориоль вылез из угла, отпер шкаф, извлек оттуда два листа гербовой бумаги, вытащил обязательство, которое Андермат потребовал от него несколько дней назад, и по этому образцу сам составил диковинное брачное обещание с гарантированной женихом наличностью в три миллиона франков и заставил Бретиньи подписаться под ним.

Когда Поль вышел на улицу, ему показалось, что вся земля перевернулась. Итак, он жених, помимо своей воли, помимо ее воли, просто случайно, только оттого, что коварное стечение обстоятельств не оставило ему иного выхода.

Он пробормотал:

— Вот безумие!

А затем подумал: «Да нет. Лучше Шарлотты мне, пожалуй, во всем мире не найти». И в глубине души порадовался ловушке, которую поставила ему судьба.

VI

На следующий день с самого утра на Андермата посыпались несчастья. Придя в ванное заведение, он узнал, что ночью в *Сплендид-отеле* умер от апоплексического удара Обри-Пастер. Помимо того, что инженер приносил большую пользу своими знаниями, бескорыстным рвением и любовью к Монт-Ориолю, который он считал почти своим детищем, было очень неприятно, что больной, приехав на воды лечиться от полнокровия, грозившего апоплексией, умер именно от удара в середине курса лечения, да еще в разгар сезона и на заре нарождающейся славы курорта.

Банкир нервно ходил по кабинету отсутствующего главного врача и старался измыслить иную причину этой злополучной смерти — какой-нибудь несчастный случай, падение с горы, неосторожность или хотя бы разрыв сердца. Он с нетерпением поджидал доктора Латона, чтобы научить его, как поумнее составить медицинский акт, не вызывая ни малейших подозрений об истинной причине смерти.

Латон влетел в кабинет бледный, взбудораженный и, едва переступив порог, спросил:

— Слышали печальную новость?

— Слышал. Умер Обри-Пастер.

— Да нет, не то! Доктор Мадзелли бежал с дочерью профессора Клоша!..

У Андермата мурашки побежали по спине.

— Что?.. Что вы говорите!..

— Ах, дорогой директор, какое несчастье! Какое ужасное несчастье! Просто катастрофа!..

Он сел и, вытирая мокрый лоб, принялся рассказывать подробности события, которые узнал от Петрюса Мартеля, а тот выведал их от профессорского камердинера.

Мадзелли усиленно волочился за рыжеволосой красоткой-вдовой, отчаянной кокеткой, недавно похоронившей мужа, который умер от чахотки,— говорят, в результате слишком нежного супружества. Однако г-н Клош догадался о планах итальянца и, не желая иметь зятем этого авантюриста, весьма решительно выгнал его, застав его однажды на коленях перед своей дочерью.

Господина Мадзелли выставили за дверь, а он пролез в окно по шелковой лестнице влюбленных. О том, как это случилось, ходили разные слухи. По одной версии, он влюбил в себя профессорскую дочь до безумия, возбудив в ней ревность, а по другой — втайне продолжал с нею встречаться, хотя для отвода глаз оказывал внимание другой женщине; но, узнав от любовницы, что профессор неумолим, увез ее нынче ночью, и теперь уж, после такого скандала, брак неизбежен.

Доктор Латон вскочил, прислонился к камину и, глядя на ошеломленного Андермата, шагавшего по комнате, воскликнул:

— Подумайте только! Ведь он врач, член медицинской корпорации. Какая распущенность!..

Удрученный Андермат взвешивал последствия события, распределял их по рубрикам, как будто подводил итог убытков:

1. Весьма неприятные слухи. Распространятся по соседним курортам, дойдут и до Парижа. Впрочем, если взяться за дело с умом, романтическое похищение может даже послужить рекламой. Тиснуть десятка полтора хлестких хроникерских заметок в газетах с большим тиражом — и к Монт-Ориолю будет привлечено внимание широкой публики.

2. Отъезд профессора Клоша — огромный убыток.

3. Отъезд герцога и герцогини де Рамасс-Альдавар-

ра — второй неизбежный и совершенно невозместимый убыток.

В итоге катастрофа. Доктор Латон прав

И, повернувшись к Латону, банкир заторопил его:

— Идите сейчас же в *Сплендид-отель*. Надо составить акт о смерти Обри-Пастера. Поосторожнее составьте, чтобы и намека не было на апоплексию.

Латон взялся за шляпу и уже у дверей сказал:

— Ах да, еще одна новость! Говорят, ваш друг Бретиньи женится на Шарлотте Ориоль. Правда это?

Андермат даже вздрогнул от удивления.

— Бретиньи?! Полноте!.. Кто это вам сказал?

— Да все тот же Петрюс Мартель, а он узнал от самого дядюшки Ориоля.

— От Ориоля?

— Да, да. Старик хвастался, что у его будущего зятя трехмиллионное состояние.

Андермат не знал, что и думать. Он пробормотал:

— А впрочем, что ж... Возможно... За последнее время он явно ухаживал за ней. Но в таком случае... Послушайте... ведь в таком случае весь холм в наших руках. Ого! Надо мне поскорее самому разузнать.

И он торопливо вышел вслед за доктором, чтобы поговорить до завтрака с Полем Бретиньи.

Как только Андермат вошел в гостиницу, ему сообщили, что жена уже несколько раз спрашивала его. Он застал Христиану еще в постели; она разговаривала с отцом и братом, который рассеянно пробегал газеты.

Она чувствовала себя плохо, очень плохо и тревожно. Она чего-то боялась, сама не зная чего. И потом уже несколько дней ее преследовало, не давало ей покоя одно желание, прихоть беременной женщины. Ей хотелось посоветоваться с доктором Блеком. Окружающие так часто вышучивали доктора Латона, что она потеряла к нему всякое доверие и хотела услышать мнение другого врача, мнение доктора Блека, который все больше входил в славу. А ее с утра до вечера мучили черные мысли, обычные у женщин к концу беременности. Прошлой ночью ей приснился страшный сон, и она вообразила, что у ребенка непра-

вильное положение, что она сама не разрешится и надо будет прибегнуть к кесареву сечению. И она все думала об этом, мысленно представляя себе, как ей будут делать операцию. Ей рисовалось, как она лежит на спине, живот у нее разрезан, кровать вся залита кровью и из комнаты уносят что-то красное, недвижимое, немое — мертвое. Она даже нарочно закрывала глаза, чтоб сосредоточиться и яснее вообразить себе ужасную, мучительную пытку. И вот она решила, что один только доктор Блек скажет ей правду, и стала требовать, чтобы его позвали сейчас же, немедленно, сию же минуту: пусть он ее осмотрит.

Андермат растерянно слушал, не зная, что ответить.

— Видишь ли, милая детка... Это очень сложно, из-за моих отношений с Латоном... вернее, просто невозможно... Погоди, погоди, я придумал другое. Я лучше приглашу профессора Ма-Русселя, он во сто раз больше знает, чем Блек. Он не откажется и придет к тебе, если я попрошу.

Но Христиана ничего не хотела слышать. Блек, только Блек, другого ей никого не надо. Она чувствовала непреодолимую потребность увидеть его вот тут, подле себя, увидеть его большую бульдожью голову. В этом упорном желании было что-то болезненное и суеверное. Ей нужен был Блек, только он.

Банкир попытался отвлечь ее от этой мысли.

— А знаешь, какая у нас новость? Интриган Мадзелли нынче ночью увез дочку профессора Клоша. Удрали вдвоем. Куда — неизвестно. Вот история!

Христиана приподнялась на подушках; глаза у нее расширились от горестного удивления, и она воскликнула:

— А что будет с герцогиней?.. Бедная! Как мне ее жаль!

Она уже давно понимала сердцем муки этой страстной, уязвленной души. Ведь она сама испытывала те же страдания и плакала теми же слезами.

Но тотчас она вернулась к своей мысли:

— Виль, пожалуйста, попрошу тебя, сходи за Блеком. Если он не придет, я умру. У меня предчувствие.

Андермат схватил ее руку и поцеловал с нежностью.

— Ну что ты, Христиана! Успокойся, дорогая. Будь умницей... пойми...

Увидев, что у нее глаза полны слез, он повернулся к маркизу:

— Знаете что, дорогой тесть, придется вам самому позвать его. Я не могу: мне неудобно. Блек пользует принцессу Мальдебургскую и ежедневно приходит в отель в первом часу. Остановите его в вестибюле и приведите сюда. Христиана, ты ведь можешь подождать часок, правда?

Она согласилась подождать час, но отказалась встать с постели к завтраку, и мужчины одни вышли в столовую.

Поль Бретиньи уже ждал их. Завидя его, Андермат крикнул:

— Ага, вот и он! Послушайте, что это мне сегодня рассказывали? Вы будто бы женитесь на Шарлотте Ориоль? Выдумки, конечно, да?

Бретиньи тревожно взглянул на запертую дверь спальни и ответил вполголоса:

— Боже мой, почему выдумки? Женюсь.

Никто из его друзей еще не знал этого, и все трое изумленно смотрели на него.

— Что это вам взбрело в голову? — воскликнул Андермат.— Зачем? При вашем-то состоянии! Привязать себя женитьбой к одной женщине, когда они все в вашем распоряжении! Да и семейство-то незавидное, манеры там далеко не светские. Для Гонтрана такая родня еще куда ни шло, раз у него нет ни гроша в кармане, но вам!..

Бретиньи рассмеялся:

— Мой отец разбогател, торгуя мукой,— у него были большие мельницы. И вы, безусловно, нашли бы, что у него тоже не светские манеры. А что касается Шарлотты...

Андермат перебил его:

— О, она-то прелестна! Очаровательна! Прелесть

как мила... и, знаете, она будет богата... пожалуй, богаче вас. Ручаюсь в том.. ручаюсь...

Гонтран процедил сквозь зубы:

— Да, женитьба — удобный выход.... Ничему не мешает и прикрывает отступление. Только напрасно ты нас не предупредил. Как же это дело сделалось, черт побери?

Тогда Поль Бретиньи рассказал историю своего сватовства, несколько изменив ее. Сгущая краски, он говорил о своих колебаниях, о решении, возникшем мгновенно, когда девушка обронила слово, которое позволило ему думать, что она любит его. Особенно красочно он описал неожиданное появление дядюшки Ориоля, свою ссору с ним, сомнения жадного крестьянина, не поверившего в капиталы жениха, и рассказал про гербовую бумагу, извлеченную из шкафа.

Андермат хохотал до слез, от восторга стучал кулаком по столу.

— Ха-ха-ха! Гербовая бумага!.. К моему приему прибегнул! Ведь это мое изобретение...

Поль слегка покраснел и, запинаясь, сказал:

— Прошу вас пока ничего не говорить вашей жене. Мы с ней друзья, она может обидеться, если не я сам сообщу ей эту новость...

Гонтран смотрел на своего приятеля с какой-то странной и веселой улыбкой, казалось, говорившей: «Отлично! Право, отлично. Вот как надо кончать: без шуму, без скандалов, без драм».

Он предложил:

— Если хочешь, дружище, мы пойдем к ней вместе после завтрака, когда она встанет, и ты ей сообщишь о своем решении.

Они посмотрели друг другу в глаза пристальным, непроницаемым взглядом и тотчас отвернулись.

Поль ответил равнодушным тоном:

— Хорошо, с удовольствием. Мы еще поговорим об этом.

Вошел коридорный доложить, что доктор Блек уже поднимается к принцессе, и г-н де Равенель поспешно вышел из комнаты, чтобы перехватить его на дороге.

Он сообщил доктору о состоянии своей дочери,

разъяснив затруднительное положение зятя, сказал о желании Христианы, и Блек без всяких отговорок пошел к ней.

Как только большеголовый карлик переступил порог спальни, Христиана сказала:

— Папа, оставь нас.

Маркиз удалился. Тогда Христиана перечислила все, чего она боялась, рассказала о своих страшных снах, мучительных мыслях. Она говорила тихим, кротким голосом, как на исповеди, а доктор слушал ее, точно духовник; иногда он окидывал ее пристальным взглядом своих круглых рачьих глаз, легкими кивками показывая, что слушает внимательно, бормотал: «Так, так»,— будто хотел сказать: «Да знаю я все это, знаю прекрасно и без труда вылечу вас, если захочу».

Когда она кончила, он, в свою очередь, чрезвычайно подробно стал расспрашивать об ее образе жизни, о привычках, о режиме, который ей предписан, о лекарствах. Выслушивая ответы, он, казалось, то одобрял, помахивая рукой, то протяжно восклицал: «О-о!» — с какой-то сдержанной укоризной. Когда она решилась наконец сказать, как ей страшно, что у ребенка, возможно, неправильное положение, он поднялся и с целомудрием духовного пастыря, деликатно, осторожно исследовал ее сквозь простыню и решительным тоном сказал:

— Нет, все нормально.

Ей хотелось расцеловать его. Ах, какой он славный человек, этот доктор!

Он взял со стола листок бумаги, принялся писать рецепт, подробные указания и писал долго-долго. Потом он опять сел у постели и завел со своей пациенткой разговор, но говорил уже совсем другим тоном, словно желая показать, что свою священную врачебную миссию он уже выполнил.

Голос у этого коренастого карлика был густой и басистый, и в каждой, даже в самой обычной фразе сквозило желание что-нибудь выведать. Говорил он обо всем. По-видимому, его очень интересовала женитьба Гонтрана. Потолковав об этом, он вдруг заметил с гадкой улыбкой злого уродца:

— О женитьбе господина Бретиньи я, конечно, считаю пока еще неудобным беседовать с вами, хотя это уже ни для кого не тайна: дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному.

Христиана вдруг вся похолодела, холод леденящей струей побежал от кончиков пальцев по рукам, к плечу, по груди, по животу, по икрам ног. Она еще не понимала всего смысла этих слов, но ужас охватил ее, что Блек не договорит, а значит, она ничего не узнает, и она нашла в себе силы схитрить:

— Ах, вот как! Дядюшка Ориоль рассказывает об этом всякому встречному и поперечному?

— Да, да. Он и мне рассказывал. Мы только что с ним расстались. Кажется, господин Бретиньи очень богат и любит эту юную Шарлотту уже давно. Впрочем, обе свадьбы устроила супруга доктора Онора. Она любезно предоставляла влюбленным парочкам и свою помощь и свой дом для свиданий.

Глаза у Христианы закатились, она потеряла сознание.

Доктор стал звать на помощь, прибежала горничная, за нею маркиз, Андермат и Гонтран, и все бросились доставать уксус, эфир, лед и всякие другие ненужные тут средства.

Вдруг Христиана дернулась, открыла глаза и, вытягивая над головой руки, извиваясь всем телом, закричала диким голосом. Она пыталась говорить, но бросала только бессвязные слова:

— Ох, больно!.. Боже мой, как больно!.. Поясница... Все разрывает... Ох! Боже мой!

И она опять принялась кричать. Вскоре стало ясно, что начались роды.

Андермат помчался к доктору Латону и застал его за завтраком.

— Скорей... идите скорей... С женой плохо! Скорей!

По дороге он придумал уловку, сказал Латону, что, когда начались первые схватки, в гостинице находился доктор Блек и пришлось его позвать.

Доктор Блек поддержал перед коллегой эту выдумку:

— Я уже вошел в комнаты принцессы, как вдруг меня вызвали к госпоже Андермат, сказали, что ей дурно. Я прибежал и, слава богу, подоспел вовремя.

У Вильяма колотилось сердце, он себя не помнил от волнения и, вдруг усомнившись в обоих докторах, побежал с непокрытой головой к Ма-Русселю и стал умолять его прийти. Профессор тотчас же согласился, машинальным жестом врача, отправляющегося по визитам, застегнул сюртук и двинулся в путь твердым, быстрым шагом, широким, уверенным шагом знаменитости, одно появление которого может спасти человеческую жизнь.

Лишь только он вошел, оба доктора, почтительно поздоровавшись, принялись докладывать ему, спрашивать советов.

— Вот как это началось, дорогой профессор. Обратите внимание, дорогой профессор... Не считаете ли вы нужным, дорогой профессор... Не следует ли нам, дорогой профессор?..— И так далее.

Андермат совсем потерял голову от душераздирающих воплей жены и, засыпая Ма-Русселя вопросами, тоже повторял ежеминутно: «Дорогой профессор».

Христиана лежала почти голая перед всеми этими мужчинами и ничего не видела, ничего не замечала, ничего не понимала: ее терзали такие мучительные боли, что в голове не было ни единой мысли. Ей казалось, что живот, поясницу и таз ей перепиливают тупой пилой, медленно водят ею, дергают рывками, останавливаются на мгновение и снова раздирают стальными зубьями кости и мышцы.

Иногда пытка, разрывавшая на части ее тело, стихала, но тогда пробуждалась мысль, и начиналась другая пытка, еще более жестокая, терзавшая душу; эта боль была страшнее, чем физические муки: он любит другую, он женится.

И, чтобы заглушить страшную мысль, сверлившую мозг, она старалась снова вызвать невыносимые муки тела, выгибалась, напрягала мышцы, опять начинались схватки, и тогда она хоть ни о чем не думала.

Роды длились пятнадцать часов, и Христиана была так измучена, разбита, истерзана физическими и душевными страданиями, что хотела только одного — умереть, умереть поскорее, лишь бы кончились нестерпимые муки. И вдруг, когда она вся содрогалась от долгой, не отпускавшей ни на секунду боли, еще более страшной, чем прежде, ей показалось, что все внутренности вырвались из ее тела. И все кончилось... Боли стихли, как успокаиваются волны. И это прекращение пытки было таким блаженством, что даже горе ее ненадолго замерло. С ней говорили, она отвечала усталым, слабым голосом.

К ее лицу склонилось лицо Андермата, и он сказал:

— Родилась девочка. Она жива... И почти доношена.

— Боже мой!..

И больше она ничего не могла сказать. Ребенок!.. У нее ребенок! Он жив, будет жить, будет расти. Ребенок Поля! И ей хотелось кричать, выть от новой боли, терзавшей сердце. У нее ребенок... Девочка. Нет, не надо!.. Никогда ее не видеть.. Никогда не притрагиваться к ней...

Ее заботливо уложили, укутали, гладили, целовали. Кто? Наверно, отец и муж — она никого не замечала. Где он? Что делает? Как она была бы счастлива сейчас, если б он любил ее!

Время шло, часы сменялись часами, она их не различала, не знала, ночь это или день, ее огнем жгла неотвязная мысль: он любит другую.

И вдруг забрезжила надежда: «А может быть, это неправда? Как же я ничего не знала, пока этот доктор не сказал мне?»

Но тут же заговорил рассудок: от нее нарочно все скрыли. Поль старался, чтоб она ничего не узнала.

Она открыла глаза, посмотреть, есть ли кто в комнате. Около постели сидела в кресле какая-то незнакомая женщина. Должно быть, сиделка. Христиана не посмела расспросить ее. У кого же, у кого можно спросить про это?

Тихо отворилась дверь. В комнату на цыпочках

вошел муж. Увидев, что у нее глаза открыты, он подошел к постели.

— Ну как? Тебе лучше?

— Да, спасибо.

— Как ты нас вчера напугала! Но теперь, слава богу, опасность прошла. Только вот не знаю, как быть с тобою. Я телеграфировал нашей милой приятельнице госпоже Икардон — ведь она обещала приехать к твоим родам; я сообщил, что роды произошли преждевременно, умолял ее поспешить. Но оказывается, у нее племянник болен скарлатиной, и она ухаживает за ним... А ведь нельзя тебя оставить одну... И нужна все-таки женщина хоть сколько-нибудь приличная... И вот одна здешняя дама вызвалась ухаживать за тобой и развлекать тебя... Я, знаешь ли, согласился. Это госпожа Онора.

Христиане вспомнились слова доктора Блека. Она вздрогнула и простонала:

— Ах нет... нет... не надо... только не ее, только не ее.

Андермат не понял и принялся уговаривать:

— Ну что ты, детка. Я, конечно, знаю, что она вульгарная особа, но Гонтран ее хвалит за услужливость, она была ему очень полезна. И к тому же она, говорят, была прежде повивальной бабкой; Онора и познакомился с нею у постели роженицы. Если она будет тебе очень уж неприятна, мы ее живо отставим. Давай все-таки попробуем. Пусть она придет разок-другой.

Христиана молча думала. Ее томила потребность узнать правду, всю правду; и в надежде на болтливость этой женщины, от которой слово за словом можно будет выпытать эту страшную правду, истерзать себе сердце, ей уже хотелось ответить: «Да... приведи ее... сейчас же... сейчас же приведи».

К непреодолимому желанию все узнать примешивалась какая-то странная потребность выстрадать до конца свою боль, чтоб она острыми шипами впилась в душу — таинственная, болезненная, неистовая жажда мученичества.

И она тихо сказала:

— Хорошо. Я согласна. Приведи госпожу Онора.

Но тут же она почувствовала, что не в силах ждать дольше, что ей надо немедленно убедиться, твердо убедиться в его предательстве. И она, едва дыша, почти беззвучно спросила:

— Правда, что господин Бретиньи женится?

Андермат спокойно ответил:

— Да, правда. Мы бы тебе раньше сказали, да ведь с тобой нельзя было говорить.

И она спросила:

— На Шарлотте?

— На Шарлотте.

Однако у Вильяма тоже была теперь навязчивая мысль, всецело завладевшая им,— он думал о своей дочери, еле мерцающем огоньке жизни, и поминутно ходил посмотреть на нее. Его обижало, что, очнувшись, жена не пожелала сразу же увидеть ребенка, а говорит о чем-то постороннем, и он сказал с нежным упреком:

— Разве ты не хочешь посмотреть на дочку? Знаешь, она превосходно чувствует себя.

Христиана вздрогнула, словно он коснулся открытой раны, но ей надо было пройти весь крестный путь.

— Принеси ее,— сказала она.

Он исчез за опущенным пологом в ногах кровати, затем снова вынырнул его сияющее гордостью, счастливое лицо, и он поднес ей неловкими руками белую запеленутую куклу.

Осторожно положив ребенка на вышитую подушку возле Христианы, задыхавшейся от волнения, он сказал:

— А ну, посмотри, какая красавица у нас дочка!

Христиана взглянула.

Он отвел двумя пальцами легкое кружево, и Христиана увидела красное личико, очень маленькое и красное, с закрытыми глазками и кривившимся ротиком.

И, склонившись к этому зачатку человеческого существа, она думала: «Это моя дочь... дочь Поля... И из-за этого комочка я столько выстрадала... Этот комочек — моя дочь... моя дочь...»

Сразу исчезло отвращение к ребенку, рождение которого истерзало ее бедное сердце и ее хрупкое

женское тело. Она смотрела на него с горестным и жгучим любопытством, с глубоким изумлением молодого животного, увидавшего своего первого детеныша. Андермат, ожидавший, что она со страстной материнской нежностью станет целовать дочь, удивленно и обиженно взглянул на нее.

— Что же ты ее не поцелуешь?

Христиана тихо склонилась к красному лобику, а он как будто звал, притягивал к себе ее губы; когда же они приблизились, коснулись этого чуть влажного лобика и мать ощутила живое тепло крошечного существа, которому она передала часть своей собственной жизни, ей показалось, что она не в силах будет оторваться от него, что она навсегда прильнула к нему.

Что-то защекотало ей щеку — это муж наклонился, чтобы поцеловать ее. Он прижал ее к себе в долгом объятии, полном благодарной нежности; потом ему захотелось приласкать и дочь, и, выпятив губы, он стал целовать ее носик осторожными мелкими поцелуями.

Христиана смотрела на них, и у нее сжималось сердце — ее ребенок и он... он...

Потом Андермат заявил, что пора отнести дочь в колыбель.

— Нет,— сказала Христиана,— пусть еще немного побудет тут, хоть минутку, чтобы я чувствовала, что она рядом со мной. Не говори больше, не двигайся, оставь нас, подожди немного.

Она охватила рукой запеленутое тельце ребенка, прижалась лбом к его сморщенному красному личику, закрыла глаза и лежала, не шевелясь, ни о чем не думая.

Но через несколько минут Вильям осторожно тронул ее за плечо.

— Довольно, дорогая. Будь умницей. Тебе вредно волноваться.

Он взял девочку на руки, а мать следила за ней взглядом, пока она не исчезла за пологом кровати. Затем Андермат вернулся и сказал:

— Значит, решено? Завтра я пошлю к тебе госпожу Онора, пусть посидит с тобою.

Христиана ответила ему окрепшим голосом:

— Да, друг мой. Пришли ее... завтра утром.

И она вытянулась в постели, усталая, разбитая, но, быть может, уже не такая несчастная.

Вечером пришли ее навестить отец и брат и рассказали последние новости: профессор Клош поспешно уехал разыскивать дочь; герцогиня де Рамас не показывается — ходят слухи, что и она помчалась разыскивать Мадзелли. Гонтран весело смеялся по поводу этих происшествий и извлекал из них комическую мораль:

— Нет, право, на водах творятся настоящие чудеса. Курорты — это единственные волшебные уголки на нашей прозаической земле. За два месяца на них разыгрывается столько романов, сколько не случится во всем мире за целый год. Право, из земли бьют не минеральные, а какие-то колдовские источники. И везде та же самая история — в Эксе, Руайя, Виши, Люшоне и на морских купаниях: Дьеппе, Этрета, Трувиле, Биаррице, в Каннах, в Ницце. Везде!.. А какая пестрая смесь племен, сословий, характеров и рас, какие великолепные экземпляры проходимцев вы там встретите! Сколько там удивительных приключений! Женщины там выкидывают невероятные фокусы, да еще с какой очаровательной легкостью и быстротой! В Париже, посмотришь, недотрога, а тут удержу ей нет... Солидные господа вроде Андермата находят здесь богатство, другие — смерть, как Обри-Пастер, а ветрогонов подстерегает тут кое-что похуже — законный брак, как меня и Поля. Вот глупость, правда? Ты, наверно, уже знаешь, что Поль женится?

— Да, Вильям мне говорил,— тихо сказала Христиана.

Гонтран принялся разъяснять:

— Он правильно делает, честное слово! Ничего, что она дочка мужика. Это все же куда лучше, чем девицы из подозрительных семей или девицы легкого поведения. Я Поля знаю, как свои пять пальцев. Он в конце концов женился бы на какой-нибудь твари, если б она месяца полтора сумела ему противиться. А ведь устоять перед ним может только прожжен-

ная шельма или воплощенная невинность. Он натолкнулся на воплощенную невинность. Тем лучше для него.

Христиана молча слушала, и каждое его слово вонзалось ей в сердце, причиняло жестокую боль.

Она закрыла глаза.

— Я очень устала. Хочу отдохнуть немного.

Маркиз и Гонтран поцеловали ее и ушли.

Но спать она не могла: сознание работало лихорадочно и мучительно. Мысль, что он больше не любит, совсем не любит ее, была так невыносима, что, если бы она не видела возле своей постели сиделки, дремавшей в кресле, она встала бы, распахнула окно и бросилась вниз головой на каменные ступени крыльца. Между занавесками окна пробился тонкий лунный луч, и на паркет легло светлое круглое пятно. Она заметила этот голубоватый кружок, и сразу ей вспомнилось все: озеро, лес, первое, еле слышное, такое памятное признание: «Люблю вас»,— и Турноэль, и их ласки, и темные тропинки, и дорога к Ла-Рош-Прадьер. Вдруг ясно-ясно она увидела перед собой белую ленту дороги, и звездное небо, и Поля. Но он шел теперь с другой и, склоняясь к ней на каждом шагу, целовал ее... целовал другую женщину. И она знала эту женщину. Он обнимал теперь Шарлотту. Он обнимал ее и улыбался той улыбкой, какой нет больше ни у кого на свете; шептал ей на ухо такие милые слова, каких нет ни у кого на свете; потом он бросился на колени и целовал землю у ее ног, как целовал он когда-то землю у ног Христианы. И ей стало больно, так больно, что она застонала, и, повернувшись, зарылась лицом в подушку, и разрыдалась. Она рыдала громко, еле сдерживая крик отчаяния, терзавшего душу.

Она слышала, как неистово билось в груди сердце; каждое его биение отдавалось в горле, в висках и без конца выстукивало: Поль... Поль... Поль... Она затыкала уши, чтоб не слышать этого имени, прятала голову под одеяло, но все равно с каждым толчком сердца, не находившего успокоения, в груди отзывалось: Поль... Поль.

Сиделка сонным голосом спросила:

— Вам нехорошо, сударыня?

Христиана повернулась к ней лицом, залитым слезами, и сказала, задыхаясь:

— Нет, я спала... Мне приснился страшный сон...

И она попросила зажечь свечи, чтобы померк в комнате лунный свет.

Под утро она забылась сном.

Она дремала уже несколько часов, когда Андермат привел к ней г-жу Онора. Толстуха сразу повела себя очень развязно, уселась у постели, взяла Христиану за руки, принялась расспрашивать, как врач, и, удовлетворенная ее ответами, заявила:

— Ну что ж, ну что ж. Все идет нормально.

Потом она сняла шляпку, перчатки, шаль и сказала сиделке:

— Можете идти, голубушка. Если вы понадобитесь, я позвоню.

Христиана, чувствуя к ней отвращение, сказала мужу:

— Принеси ненадолго маленькую.

Как и накануне, Андермат принес ребенка, умиленно его целуя, и положил на подушку. И так же, как накануне, мать прижалась щекой к закутанному детскому тельцу, которого она еще не видела, и, ощущая сквозь ткань его теплоту, сразу прониклась блаженным спокойствием.

Вдруг малютка завозилась и принялась кричать тоненьким, пронзительным голоском.

— Грудь хочет,— сказал Андермат.

Он позвонил, и в комнату вошла кормилица, огромная, краснощекая, большеротая женщина, осклабив в улыбке широкие и блестящие костяшки зубов. Эти людоедские зубы даже испугали Христиану. Кормилица расстегнула кофту, выпростала тяжелую и мягкую грудь, набухшую молоком, точно коровье вымя. И когда Христиана увидела, как ее малютка присосалась губами к этой мясистой фляге, ей захотелось схватить свою дочку на руки, отнять ее у этой женщины; она смотрела на кормилицу с чувством ревности и брезгливости.

Г-жа Онора надавала кормилице всяких советов, и та, покормив ребенка, унесла его.

Вслед за ней ушел и Андермат. Женщины остались одни.

Христиана не знала, как заговорить о том, что грызло ей душу, боялась, что от волнения потеряется, заплачет, выдаст себя. Но г-жа Онора принялась болтать, не дожидаясь приглашения. Пересказав все местные сплетни, она добралась до семейства Ориолей.

— Славные люди,— говорила она,— очень славные. А если б вы знали, какая у них была мать! Уж такая работящая, такая хорошая женщина. Десятерых стоила. Дочки обе в нее пошли.

Она собиралась было перейти к другой теме, но Христиана спросила:

— А вам которая больше нравится: Луиза или Шарлотта?

— Я-то больше люблю Луизу, невесту вашего братца, она серьезнее, хозяйственнее, у нее во всем порядок. А моему мужу больше по душе младшая. У мужчин, знаете ли, другие вкусы, не такие, как у нас.

Она умолкла. Христиана, чувствуя, что мужество ее слабеет, с трудом выговорила:

— Мой брат часто встречался у вас со своей невестой?

— Ну еще бы, сударыня, очень часто, чуть не каждый день. Все у меня и сладилось, все. Я не мешала им беседовать. Что ж, молодость! И, знаете, как мне было приятно, что и младшая не в обиде, раз она приглянулась господину Полю.

Христиана, задыхаясь, спросила:

— Он ее очень любит?

— Ах, сударыня! Уж так любит, так любит! За последнее время совсем голову потерял. А потом, знаете ли, когда итальянец — ну вот, что увез дочь у доктора Клоша — стал увиваться вокруг Шарлотты так, для пробы, только поглядеть, не клюнет ли у него, я думала, что господин Поль вызовет его на дуэль... Ах, если б вы видели, какими злыми глазами он смотрел на итальянца! А на нее посмотрит так, будто перед ним пресвятая мадонна... Приятно видеть такую любовь!

И тогда Христиана стала расспрашивать обо всем,

что совершилось на глазах этой женщины, что говорили влюбленные, что они делали, как ходили на прогулку в долину Сан-Суси, где столько раз Поль говорил ей когда-то слова любви. К великому удивлению толстухи, она задавала такие вопросы, какие никому не могли бы прийти в голову, потому что она непрестанно сравнивала, вспоминала тысячи подробностей истории своей любви, начавшейся прошлым летом, изящное ухаживание и тонкое внимание Поля, его изобретательность в стремлении понравиться, все милые, чарующие, нежные заботы, в которых сказывается властное желание мужчины пленить женщину. Ей хотелось знать, расточал ли он все эти соблазны перед другой, с прежним ли жаром вел новую осаду, чтоб покорить другую женскую душу непреодолимой силой страсти.

И всякий раз, как Христиана узнавала в рассказах старухи какую-нибудь знакомую черточку, волнующий сердце нежданный порыв чувства, так щедро изливавшегося у Поля, когда им овладевала любовь, она страдальчески вскрикивала: «Ах!»

Удивленная этими странными возгласами, г-жа Онора усиленно старалась заверить, что она нисколько не выдумывает.

— Истинная правда, ей-богу, как я говорю, так все и было. Никогда не видела, чтобы мужчина так влюблялся!

— Он читал ей стихи?

— А как же! Читал. И все такие красивые.

Наконец обе они умолкли, и слышалась только тихая, однообразная песенка кормилицы, убаюкивавшей ребенка в соседней комнате.

В коридоре вдруг раздались все приближавшиеся шаги. Больную пришли навестить Ма-Руссель и Латон. Оба нашли, что она возбуждена и что состояние ее ухудшилось со вчерашнего вечера.

Как только они удалились, Андермат приоткрыл дверь и спросил:

— Доктор Блек хочет тебя проведать. Ты примешь его?

Христиана резким движением приподнялась на постели и крикнула:

— Нет... нет!.. Не хочу... Нет!

Вильям вошел в комнату и, изумленно глядя на нее, сказал:

— Да как же это?.. Все-таки надо бы. Мы в долгу перед ним... Прими его, пожалуйста.

У Христианы было совсем безумное лицо, глаза непомерно расширились, губы дрожали, и, глядя в упор на мужа, она крикнула таким громким и таким звонким голосом, что, верно, он разнесся по всему дому:

— Нет!.. Нет!.. Никогда!.. Пусть никогда не является!.. Слышишь?.. Никогда!

И, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, что говорит, она вытянула руку и, указывая на г-жу Онора, растерянно стоявшую посреди комнаты, закричала:

— И эту тоже... выгони ее, выгони!.. Не хочу ее видеть!.. Выгони ее!

Андермат бросился к жене, крепко обнял, поцеловал ее в лоб.

— Христиана, милая! Успокойся! Что с тобой? Да успокойся!

У нее перехватило горло, слезы полились из глаз, и она прошептала:

— Скажи, чтоб они ушли... Пусть все, все уйдут... Только ты один останься со мной.

Испуганный Андермат подбежал к толстой докторше и, осторожно оттесняя ее к двери, забормотал:

— Оставьте нас одних на минутку, прошу вас. У нее лихорадка. Молоко в голову бросилось. Я ее сейчас успокою и приду за вами.

Когда он подошел к постели, Христиана уже лежала неподвижно, с застывшим, каменным лицом, по которому катились безмолвные обильные слезы. И впервые в жизни Андермат тоже заплакал.

Действительно, ночью у Христианы началась молочная лихорадка, и она стала бредить.

Несколько часов она металась в жару и вдруг заговорила громко, отчетливо.

В комнате сидели маркиз и Андермат, решившие остаться на ночь подле нее; они играли в карты и вполголоса считали взятки. Им показалось, что она зовет их, и они подошли к постели.

Но она их не видела или не узнавала. Белое, как полотно, лицо смутно выделялось на подушке, белокурые волосы рассыпались по плечам, голубые, широко открытые глаза пристально вглядывались в тот неведомый, таинственный, фантастический мир, где блуждает мысль безумных.

Руки, вытянутые на одеяле, иногда шевелились, вздрагивали, дергались в непроизвольных и быстрых движениях.

Сначала она не то чтобы разговаривала с кем-то, а рассказывала о том, что видит перед собою. И то, что говорила она, казалось бессвязным и непонятным. Вот она стоит на огромной каменной глыбе и не решается спрыгнуть, боится вывихнуть ногу, а тот человек, что стоит внизу и протягивает к ней руки,— он ведь чужой, она мало с ним знакома. Потом она заговорила о запахах и как будто вспоминала чьи-то полузабытые слова: «Что может быть прекраснее?.. Есть запахи, опьяняющие, как вино... Вино пьянит мысли, аромат опьяняет мечты... В ароматах впиваешь самое существо природы, всего нашего земного мира, прелесть цветов, деревьев, травы на лугах, проникаешь в душу жилищ, дремлющую в старой мебели, в старых коврах, в занавесях на окнах».

Потом у губ ее вдруг легли страдальческие складки, как будто от усталости, от долгой усталости. Она поднималась в гору медленным, грузным шагом и говорила кому-то: «Понеси меня еще раз, пожалуйста, прошу тебя... Я умру тут, больше сил нет идти. Возьми меня на руки... Помнишь, как тогда, на тропинке... над ущельем? Помнишь? Как ты любил меня тогда!»

А потом она вдруг испуганно вскрикнула, и ужас наполнил ее глаза. Перед нею лежало мертвое животное, и она умоляла убрать его с дороги, но осторожно, чтоб не сделать ему больно.

Маркиз тихо сказал зятю:

— Ей чудится осел, которого мы видели, когда возвращались с Нюжера.

А она теперь говорила с этим мертвым ослом. Утешала его, рассказывала ему, что она тоже несчастна, гораздо несчастнее, чем он, потому что ее покинули.

Потом она как будто противилась кому-то, отказывалась сделать то, что от нее требовали: «Ах, только не это!.. Как? Ты велишь мне везти телегу?»

Дыхание у нее стало тяжелым, прерывистым, словно она действительно тащила телегу, из глаз лились слезы, она стонала, вскрикивала. Больше получаса она все поднималась по крутой дороге и тащила телегу, в которую ее заставили впрячься,— должно быть, вместо околевшего осла.

И, должно быть, кто-то жестоко бил ее, потому что она жалобно молила: «Не надо, не бей! Мне больно!.. Ну, хоть не бей меня! Я повезу, повезу телегу, я все сделаю, что ты велишь. Только не бей меня больше!»

Потом горячечное возбуждение улеглось, она уже не кричала, а только тихо бормотала что-то до самого утра. Наконец она умолкла и впала в забытье. Очнулась она только к двум часам дня и вся еще горела в лихорадке, но сознание уже вернулось к ней.

Все же до следующего утра мозг отказывался работать, мысли расплывались, ускользали. Когда она просила что-нибудь, то не сразу вспоминала нужные слова и с большим трудом подбирала их.

Ночью сон принес ей отдых, она проснулась с совершенно ясной головой.

Однако она чувствовала в себе великую перемену, как будто болезнь принесла душевный перелом. Она меньше страдала и больше думала. То, что было для нее так ужасно и совершилось так недавно, теперь словно уже отошло в далекое прошлое, и она все видела в ясном свете мысли, каким никогда еще не освещалась для нее жизнь. Свет, внезапно все озаривший, тот свет, что загорается в сознании в часы тяжкого горя, показал ей жизнь, людей, их дела, весь мир со всем в нем сущим совершенно иными, чем она видела их прежде.

И тогда она почувствовала, что она покинута и одинока в жизни, еще более одинока, чем в тот вечер, когда у себя в спальне, после возвращения с Тазенатского озера, думала о своей жизни. Она поняла, что люди идут в жизни рядом, бок о бок, но ничто не связывает истинной близостью два человеческих существа.

Измена того, кому она так верила, открыла ей, что другие люди, все люди, будут для нее лишь равнодушными спутниками на переходах жизненного пути, коротких или долгих, печальных или радостных, в зависимости от грядущих дней, которые предугадать нельзя. Она поняла, что даже в объятиях этого человека, когда ей казалось, что она сливается с ним, вся проникает в него, что они душой и телом становятся единым существом, они были близки лишь настолько, чтобы коснуться той непроницаемой пелены, которой таинственная природа окутала человека, обрекая его на одиночество. Она хорошо видела теперь, что никто не может преодолеть невидимую преграду, разъединяющую людей, и они далеки друг от друга, как звезды, рассеянные в небе.

Она угадала, как напрасно извечное, непрестанное стремление людей разорвать оболочку, в которой бьется душа, навеки одинокая узница, как напрасны усилия рук, уст, глаз, нагого тела, трепещущего страстью, усилия любви, исходящей в лобзаниях лишь для того, чтобы дать жизнь новому существу, которое тоже будет одиноким, покинутым.

Ее охватило непреодолимое желание взглянуть на своего ребенка, и, когда его принесли, она попросила распеленать его: ведь она до сих пор видела только его личико.

Кормилица распеленала малютку, и хрупкое тельце новорожденного зашевелилось на глазах у матери в тех непроизвольных, беспомощных движениях, какими начинается человеческая жизнь. Мать робко дотронулась до него дрожащей рукой, потом губы ее сами потянулись к нему, и она осторожно стала целовать грудку, животик, красные ножки, икры, потом, устремив на ребенка неподвижный взгляд, забылась в странных мыслях.

Двое людей встретились случайно, полюбили друг друга с восторженной страстью, и от их телесного слияния родилось вот это существо. В этом существе соединились и до конца его дней будут неразрывно соединены те, кто дал ему жизнь, в нем есть что-то от них обоих, от него и от нее, и еще что-то неведомое, отличное от них. Оба они повторятся в этом существе: в

строении его тела, в складе ума, в чертах лица, в глазах, в движениях, в наклонностях, вкусах, пристрастиях, даже в звуке голоса и в походке,— и все же в нем будет что-то иное, новое.

Они теперь разлучились, расстались безвозвратно. Никогда больше их взгляды не сольются в порыве любви, которая делает бессмертным род человеческий.

И, прижимая к груди своего ребенка, она прошептала:

— Прощаї! Прощай!

«Прощай»,— шептала она на ухо своей малютке, и это было прощание с тем, кого она любила, мужественное и скорбное прощание гордой души, прощание женщины, которая будет страдать еще долго, быть может, всю жизнь, но найдет в себе силы скрыть от всех свои слезы.

— Ага! Ага! — закричал Вильям Андермат, приотворив дверь. — Поймал тебя! Отдавай-ка мне мою дочку!

Он подбежал к постели, схватил малютку на руки уже умелым, ловким движением и поднял к своему лицу.

— Здравствуйте, мадмуазель Андермат! Здравствуйте, мадмуазель Андермат!

Христиана думала: «Вот это мой муж!» — и с удивлением смотрела на него, как будто впервые его видела. Вот с этим человеком ее навсегда соединил закон, сделал навсегда его собственностью. И он должен навсегда быть, согласно правилам людей, требованиям морали, религии и общества, частью ее существа, ее половиной. Нет, больше того — ее господином, господином ее дней и ночей, ее души и тела. И ей даже хотелось улыбнуться, так все это сейчас казалось ей странным, потому что между ними не было и никогда не могло возникнуть ни одной из тех связующих нитей, которые рвутся так быстро, но кажутся людям вечными и несказанно сладостными, почти божественными узами.

И не было у нее никаких укоров совести из-за того, что она обманывала его, изменяла ему. Она удивилась: почему же это? Наверно, потому, что слишком уж чужды они были друг другу, слишком разной

породы. Все в ней было непонятно ему, и ей все было непонятно в нем. А между тем он был хорошим, преданным, заботливым мужем.

Но, должно быть, только люди одного и того же духовного склада могут чувствовать друг к другу нерасторжимую привязанность, соединяющую их священными узами добровольного долга.

Ребенка снова запеленали. Вильям сел у кровати.

— Послушай, милочка,— сказал он.— Я уж просто боюсь и заикнуться о ком-нибудь, после того как ты оказала доктору Блеку столь любезный прием. А все-таки сделай мне удовольствие, разреши доктору Бонфилю навестить тебя!

Христиана засмеялась — в первый раз, но вялым, равнодушным смехом, не веселившим душу.

— Доктор Бонфиль? — переспросила она.— Вот чудо! Вы помирились?

— Да, да, помирились. Скажу тебе по секрету важную новость: я купил старый курорт. Теперь тут все мое! Что скажешь, а? Какой триумф! Бедняга доктор Бонфиль пронюхал об этом раньше всех и пустился на хитрость: стал ежедневно наведываться сюда, справлялся о твоем здоровье, оставлял у швейцара свою визитную карточку со всякими сочувственными словами. В ответ на его заигрывания я нанес ему визит, и теперь мы с ним в прекрасных отношениях.

— Ну, что ж, пусть придет, если ему хочется. Буду рада его видеть.

— Великолепно! Благодарю тебя, милочка! Я завтра же его приведу. Нечего и говорить, что Поль постоянно просит передать тебе привет, шлет наилучшие пожелания и интересуется нашей дочкой. Ему очень хочется посмотреть на нее.

Несмотря на все мужественные решения, у нее защемило сердце. Все же она пересилила себя.

— Поблагодари его от меня.

Андермат сказал:

— Он все беспокоился, не забыли ли мы сообщить о его женитьбе. Я сказал, что ты уже знаешь, и он несколько раз спрашивал, как ты на это смотришь.

Христиана напрягла всю свою волю и тихо сказала:

— Передай ему, что я вполне его одобряю.

Вильям продолжал терзать ее:

— И еще ему очень хочется знать, как мы назовем нашу дочку. Я сказал, что мы еще не решили, Маргарита или Женевьева.

— Я передумала,— сказала она.— Я хочу назвать ее Арлеттой.

Когда-то, в первые дни беременности, они с Полем обсуждали, как назвать будущего ребенка, и решили, если родится девочка, назвать ее Маргаритой или Женевьевой, но теперь Христиана не могла больше слышать эти имена.

Вильям Андермат повторил за нею:

— Арлетта... Арлетта... Что ж, очень мило. Ты права. Но мне хотелось бы назвать ее Христианой, как тебя. Мое любимое имя... Христиана!

Она тяжело вздохнула.

— Ах, нет! Имя распятого — символ страданий.

Андермат покраснел: такое сопоставление не приходило ему в голову; он торопливо поднялся и сказал:

— Ну, что ж, Арлетта — красивое имя. До свидания, дорогая.

Когда он ушел, Христиана позвала кормилицу и велела, чтобы колыбель ребенка поставили у ее постели.

Когда легкую, зыбкую колыбель с пологом на согнутом медном пруте, похожую на зыбкую лодочку с белым парусом, поставили у широкой кровати, мать протянула руку и, дотронувшись до уснувшего ребенка, прошептала:

— Бай, бай, моя маленькая. Никто никогда не будет любить тебя так, как я!

Следующие дни она провела в тихой грусти, много думая, закаляясь душой в одинокой скорби, чтобы мужественно вернуться к жизни через несколько недель. И теперь главным ее занятием было смотреть на свою дочку: она все пыталась уловить первый луч сознания в ее глазках, но пока видела только два голубоватых кружочка, неизменно обращенные к светлому квадрату окна.

И сколько раз с глубокой печалью думала она о том, что мысль, еще спящая, проглянет в этих глазках и они

увидят мир таким, каким его видела она сама: сквозь радужную дымку иллюзий и мечтаний, которые опьяняют счастьем и доверчивой радостью молодую женскую душу. Глаза ее будут любить все то, что любила мать,— чудесные ясные дни, цветы, леса и людей тоже, на свое горе. Они полюбят одного человека среди всех людей. Они будут любить. Будут носить в себе знакомый дорогой образ; вдали от него будут видеть его вновь и вновь, будут загораться, увидев его близ себя. А потом... потом они научатся плакать. Слезы, жгучие слезы потекут по этим щечкам. И эти еще тусклые глазки, которые будут тогда синими, станут неузнаваемыми от страданий обманутой любви, заволокутся слезами тоски и отчаяния.

И она с безумной, страстной нежностью целовала свою дочь.

— Не люби, не люби никого, кроме меня, моя маленькая.

Но вот настал день, когда профессор Ма-Руссель, навещавший ее каждое утро, объявил:

— Ну, что ж, можно вам сегодня встать ненадолго.

Когда врач ушел, Андермат сказал жене:

— Как жаль, что ты еще не совсем поправилась! У нас сегодня в институте гимнастики будет интереснейший опыт. Доктор Латон сотворил настоящее чудо: излечил папашу Кловиса своей механизированной гимнастикой. Представь себе, безногий-то ходит теперь, как здоровый! Улучшение заметно с каждым сеансом.

Христиана спросила, чтобы доставить ему удовольствие:

— Так у вас сегодня публичный сеанс?

— И да, и нет. Мы пригласим только докторов и кое-кого из наших друзей.

— В котором часу это будет?

— В три часа.

— Господин Бретиньи приглашен?

— Ну конечно. Он обещал прийти. Все правление будет присутствовать. Для медиков это очень любопытный опыт.

— Знаешь,— сказала она,— я в это время как раз встану и могла бы принять господина Бретиньи. По-

проси его навестить меня. Он составит мне компанию, пока вы все будете заняты этим опытом.

— Хорошо, дорогая.

— А ты не забудешь?

— Нет, нет, будь покойна.

И Андермат ушел собирать зрителей.

Когда-то Ориоли ловко надули его своей комедией исцеления паралитика, а теперь он вел ту же игру, пользуясь легковерием больных, жаждущих чудес от всяких новых методов лечения, и говорил об этом исцелении так часто, с таким пылом и убежденностью, что и сам уже не разбирался, верит он в это или не верит.

К трем часам все, кого ему удалось залучить, собрались у дверей ванного заведения, поджидая Кловиса. Старик приплелся наконец, опираясь на две палки, все еще волоча ноги, и учтиво кланялся направо и налево.

За Кловисом следовали оба Ориоля и обе девушки. Поль и Гонтран сопровождали своих невест.

Доктор Латон, беседуя с Андерматом и доктором Онора, поджидал публику в большом зале, оснащенном приборами на шарнирах.

Как только он увидел папашу Кловиса, на его бритых губах засияла радостная улыбка.

— Ну как? Как мы чувствуем себя сегодня? — спросил он.

— Идет дело, идет!

Пришли Петрюс Мартель и Сен-Ландри: им тоже хотелось посмотреть. Первый уверовал, второй сомневался. Ко всеобщему удивлению, вслед за ними явился доктор Бонфиль, поклонился своему сопернику и пожал руку Андермату. Последним прибыл доктор Блек.

— Милостивые государи и милостивые государыни,— сказал доктор Латон с легким поклоном в сторону Луизы и Шарлотты,— сейчас вы будете свидетелями весьма любопытного опыта. Прежде всего до начала его попрошу вас отметить, что этот больной старик уже ходит, но с трудом, с большим трудом. Можете вы ходить без палок, папаша Кловис?

— Ох, нет, сударь!

— Прекрасно. Начнем.

Старика взгромоздили в кресло, мигом пристегнули ему ремнями ноги к членистым подставкам, затем доктор Латон скомандовал: «Начинай! Потихоньку!»,— и служитель в халате с засученными рукавами стал медленно вращать рукоятку.

Тотчас же правая нога бродяги согнулась в колене, поднялась, вытянулась, вновь согнулась, затем левая проделала те же движения, а папаша Кловис вдруг развеселился и, потряхивая длинной седой бородой, стал качать головой в такт движению своих ног.

Четыре врача и Андермат, наклонившись, следили за его ногами с важностью авгуров, а Великан хитро переглядывался с отцом.

Двери оставили открытыми, и в них беспрестанно входили все новые зрители — верующие или любопытные скептики — и теснились вокруг кресла, чтобы лучше все видеть.

— Быстрей! — скомандовал доктор Латон.

Служитель подбавил скорости. Ноги Кловиса побежали, а он принялся хохотать, закатываясь неудержимым смехом, как дети, когда их щекочут, и, захлебываясь, мотая головой, взвизгивал:

— Вот шикозно! Вот шикозно!

Это словечко он, несомненно, подслушал у кого-нибудь из курортных гостей.

Великан тоже не выдержал, разразился зычным хохотом и, топая ногой, хлопал себя по ляжкам, выкрикивая:

— Эх, черртов Кловис!.. Эх, черртов Кловис!

— Довольно! — сказал Латон служителю.

Бродягу отвязали, и врачи расступились, чтобы понаблюдать за результатами опыта.

И тогда Кловис на глазах у всех без всякой помощи слез с кресла и пошел по комнате. Правда, он шел мелкими шажками, горбился, морщился от тяжких усилий, но все же он шел без палок!

Доктор Бонфиль первым заявил:

— Случай совершенно исключительный!

Доктор Блек перещеголял в оценке своего коллегу. Только доктор Онора не вымолвил ни слова.

Гонтран прошептал на ухо Полю:

— Ничего не понимаю! Взгляни на их физиономии. Кто они: обманутые дураки или угодливые обманщики?

Но вот заговорил Андермат. Он подробно изложил весь ход лечения, с первого дня, рассказал о рецидиве болезни и, наконец, о новом, полном и окончательном выздоровлении. И весело добавил:

— Если даже в состоянии нашего больного за зимние месяцы наступит некоторое ухудшение, мы его летом подлечим.

Затем в торжественной и пышной речи он восславил воды Монт-Ориоля и все их целительные свойства, все до единого.

— Я сам,— говорил он,— на собственном опыте и на опыте дорогого мне существа убедился в их благотворном действии. Мой род теперь не угаснет, и я обязан этим Монт-Ориолю!

И тут он вспомнил вдруг, что обещал жене прислать к ней Поля Бретиньи. Ему стало совестно за такую забывчивость, потому что он был внимательный муж. Он огляделся по сторонам и, заметив Поля, подошел к нему:

— Дорогой мой, я совсем забыл сказать вам: ведь Христиана ждет вас сейчас.

Бретиньи пробормотал:

— Меня?.. Сейчас?..

— Да, да. Она сегодня в первый раз встала и хочет вас видеть раньше всех наших знакомых. Бегите скорей и передайте ей мои извинения.

Поль направился к отелю; сердце у него сильно билось от волнения.

По дороге он встретил маркиза де Равенеля, и тот сказал ему:

— Христиана уже встала и удивляется, что вас нет до сих пор.

Он ускорил шаг, но на площадке лестницы остановился, обдумывая, что сказать ей. Как она его встретит? Будет ли она одна? Если она заговорит о его женитьбе, что отвечать?

С тех пор, как у нее родился ребенок, он думал о ней, содрогаясь от мучительного волнения, краснел и бледнел при мысли о первой встрече с нею. С глубо-

ким смущением думал он также об этом неведомом ему ребенке, отцом которого он был; его преследовало желание увидеть свою дочь, и было страшно ее увидеть. Он чувствовал, что он увяз в какой-то грязи, нравственно замарал себя, совершил один из тех поступков, которые навсегда, до самой смерти, остаются пятном на совести мужчины. Но больше всего он боялся встретить взгляд женщины, которую любил так сильно и так недолго.

Что ждет его сейчас: упреки, слезы или презрение? Быть может, она позвала его лишь для того, чтобы выгнать?

И как держать себя с нею? Смотреть на нее смиренным, скорбным, молящим или же холодным взглядом? Объясниться или выслушать ее, ничего не отвечая? Можно ли сесть, или надо разговаривать стоя? А когда она покажет ребенка, какое чувство следует выразить?

Перед дверью он снова остановился в нерешительности, потом протянул руку, чтобы нажать кнопку электрического звонка, и заметил, что рука его дрожит.

Однако он надавил пальцем пуговку из слоновой кости и услышал задребезжавший в передней звонок.

Горничная отворила дверь и сказала: «Пожалуйте». Он вошел в гостиную и в отворенные двери спальни увидел Христиану. Она лежала в глубине комнаты на кушетке и смотрела на него.

Эти две комнаты, которые надо было пройти, показались ему бесконечными. У него подкашивались ноги, он боялся наткнуться на кресла, на стулья и не решался посмотреть себе под ноги, не смея отвести от нее глаза. Она не пошевелилась, не сказала ни слова, ждала, пока он подойдет. Правая ее рука вытянулась на платье, а левой она опиралась на край колыбели с опущенным пологом.

Он остановился в трех шагах от нее, не зная, что делать. Горничная затворила дверь. Они остались одни.

Ему хотелось упасть перед ней на колени, просить прощения.

Но она медленно подняла и протянула ему правую руку.

— Добрый день,— сдержанно сказала она.

Он не осмелился пожать ей руку и, низко склонив голову, чуть коснулся губами ее пальцев.

Она промолвила:

— Садитесь.

Он сел на низенький стул у ее ног.

Надо было что-то сказать, но он не находил слов, растерял все мысли, не решался даже посмотреть на нее. Наконец он выговорил, запинаясь:

— Ваш муж забыл мне передать, что вы ожидаете меня, а то бы я пришел раньше.

Она ответила:

— Это не имеет значения. Раньше или позже, все равно пришлось бы встретиться...

И она умолкла. Он торопливо спросил:

— Надеюсь, вы теперь хорошо себя чувствуете?

— Благодарю вас, хорошо, насколько это возможно после таких потрясений.

Она была очень бледна, худа, но красивее, чем до родов. Особенно изменились глаза; такого глубокого выражения он никогда раньше не видел в них, и они теперь как будто потемнели. Их голубизна сменилась густой синевой. А руки были восковые, как у покойницы.

Она заговорила снова:

— Да, пришлось пережить тяжелые часы. Но когда столько выстрадаешь, чувствуешь, что силы в тебе хватит до конца жизни.

Он был глубоко взволнован и тихо сказал:

— Да, это тяжелые испытания, ужасные!

Она, словно эхо, повторила:

— Ужасные!

Уже несколько секунд полог колыбельки колыхался, и за ним слышался шорох, говоривший о пробуждении спящего младенца. И Бретиньи теперь не сводил глаз с колыбели, томясь все возраставшим беспокойством: ему мучительно хотелось увидеть то живое существо, которое дышало там.

И вдруг он заметил, что края полога сколоты сверху донизу золотыми булавками, которые Христиана

обычно носила на своем корсаже. Он не раз когда-то забавлялся, вытаскивая и снова вкалывая в сборки платья у плеч своей возлюбленной эти изящные булавочки с головками в виде полумесяца. Он понял ее мысль, и сердце его больно сжалось при виде этой преграды из золотых точек, которая навсегда отлучала его от ребенка.

Из этой белой темницы послышался тоненький голосок, тихая жалоба. Христиана качнула легкий челнок колыбели и сказала немного резко:

— Прошу вас извинить меня, но я больше не могу уделить вам времени: моя дочь проснулась.

Он поднялся, снова поцеловал ей руку и направился к выходу. Когда он был уже у дверей, она сказала:

— Желаю вам счастья.

Антиб, вилла Мютерс,
1886 г.

НА ВОДЕ

НА ВОДЕ

Этот дневник не содержит какой-либо интересной повести, какого-либо интересного приключения. Предприняв прошлою весною небольшое плавание вдоль берегов Средиземного моря, я каждый день для собственного удовольствия записывал то, что видел и о чем думал.

В общем, я видел воду, солнце, облака и скалы — мне больше не о чем рассказывать — и думал просто, как думают, когда волна баюкает вас, укачивает и несет на себе.

1888.

6 апреля.

Я крепко спал, когда мой капитан Бернар бросил мне в окно горсть песку. Я открыл окно, и восхитительное прохладное дыхание ночи пахнуло мне в лицо, в грудь, в самую душу. Небо было прозрачное, синеватое и казалось живым от мерцания звезд.

Капитан, стоя под окном, сказал:

— Хорошая погода, сударь.

— Откуда ветер?

— С берега.

— Хорошо, иду.

Полчаса спустя я большими шагами сходил с прибрежного склона. Горизонт начинал бледнеть, и вдалеке, за Бухтой Ангелов, виднелись огоньки Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша.

Передо мной в полумраке смутно виднелся Антиб; две его башни возвышались над городом, что построен воронкою и доныне окружен старыми стенами, возведенными еще Вобаном.

На улице — лишь несколько собак и редкие прохожие, только что вставшие рабочие. В порту — лишь легкое покачивание тартан вдоль набережной и еле ощутимый плеск почти неподвижной воды. По временам слышен лязг натягивающейся якорной цепи или шорох баркп, задевающей о кузов большого судна. Суда, камни и само море — все, кажется, спит под усеянным золотой пылью небосводом и под оком маленького маяка, который высится в конце мола, охраняя свой маленький порт.

Впереди, против верфи судостроителя Ардуэна, я увидал огонек, заметил движение, услышал голоса. Меня ждали. *Милый друг* был готов к отплытию.

Спустившись в салон, освещенный двумя свечами — они висели в ногах над диванами, служащими ночью для спанья, и качались, как стрелка в бусоли,— я облачился в морскую кожаную куртку, надел теплую фуражку и снова поднялся на палубу. Канатные привязи были уже спущены, и оба матроса, вытягивая из воды цепь, приводили корму яхты к отвесному положению над якорем. Затем они наставили большой парус, медленно поднявшийся под монотонный скрип блоков и реи. Он вставал широким бледным пятном среди ночи, заслоняя собой небо и звезды, и уже трепетал на ветру.

Этот ветер, сухой и холодный, доносился к нам с горы, которой еще не было видно; чувствовалось, что на ней лежит снег. Ветер был очень слабый, едва пробудившийся, нерешительный и прерывистый.

Матросы втаскивали якорь; я взялся за румпель, и судно, словно большой призрак, скользнуло по спокойной воде. Чтобы выйти из порта, нам приходилось лавировать между дремлющими тартанами и шхунами. Мы медленно направляли яхту то к одной набережной, то к другой, таща за собой нашу короткую круглую шлюпку, и она следовала за нами, как следует за лебедем его птенец, едва вылупившийся из яйца.

Как только мы очутились в фарватере, между молом и квадратным фортом, яхта встрепенулась, ускорила ход и как будто оживилась, словно ее охватила веселость. Она плясала на легких волнах, бесчисленных и мелких, на этих подвижных бороздах безграничной равнины. Выйдя из мертвых вод порта, она почувствовала живое движение моря.

Зыби не было; я направил яхту между городскою стеною и баканом, который носит название *Пятьсот франков* и указывает свободный проход судам; затем, пойдя по ветру, я начал огибать мыс.

Брезжило утро, звезды гасли, маяк Вильфранша в последний раз закрыл свое вращающееся око, и впереди, в небесных далях, над Ниццей, еще незримой, я увидел странные розовые отблески: то были вершины альпийских ледников, зажженные утренней зарей.

Я передал румпель Бернару, чтобы посмотреть на восход солнца. Свежеющий бриз гнал нас по лиловой трепетной воде. Зазвучал колокол, бросая в поток ветра три отрывистых удара, призывающих к «Анжелюсу»[1]. Почему звук колокола кажется бодрее на рассвете и тяжелее при наступлении ночи? Я люблю этот прохладный и легкий утренний час, когда человек еще спит, а земля пробуждается. Воздух полон таинственной дрожи, которой не ведают люди, встающие поздно. Вдыхаешь, пьешь, видишь возрождающуюся жизнь, вещественную жизнь мира, жизнь, обегающую все планеты, тайна которой доставляет нам величайшие муки.

Ремон сказал:

— Будет восточный ветер.

Бернар ответил:

— Скорее, пожалуй, западный

Бернар, капитан яхты, худ, гибок, исключительно чистоплотен, старателен и осторожен. Он зарос бородою до самых глаз, у него добрый взгляд и добрый голос. Это человек преданный и чистосердечный. Но на море все вызывает в нем тревогу: внезапно появившаяся зыбь, предвещающая бриз в открытом море, вытянувшееся над Эстерелем облако — признак ми-

[1] Католическая молитва

страляя на западе, и даже поднимающийся барометр, потому что он может предсказывать бурю с востока. При всем том превосходный моряк, он непрестанно за всем наблюдает, а его страсть к чистоте доходит до того, что он готов протирать медные части яхты, чуть на них попадет капля воды.

Ремон, его зять,— здоровый парень, черноволосый и усатый, неутомимый и смелый, столь же преданный и чистосердечный, как и Бернар, но не такой подвижной и не такой нервный; он спокойней, он покорнее сносит неожиданности и вероломство моря.

Бернар, Ремон и барометр иногда противоречат друг другу и разыгрывают передо мною забавную комедию с тремя действующими лицами, одно из которых, немое, всегда осведомленней других.

— Черт побери, сударь, здорово идем,— говорит Бернар.

В самом деле, мы оставили за собою залив Салис, миновали Гарупу и приближались к мысу Гро — плоской и низкой скале, едва выступающей из волн.

Теперь видна вся цепь Альп — чудовищная волна, грозно нависшая над морем, гранитная волна, увенчанная снегом, все остроконечные гребни которой кажутся неподвижными, замерзшими всплесками пены. А из-за этих льдов подымается солнце, бросая на них потоки расплавленного серебра.

Но вот мы огибаем мыс Антиб, и нашему взору открываются Леренские острова, а подальше за ними — изогнутый кряж Эстереля. Эстерель — это украшение Канн, прелестная гора из кипсека, синеватая и изящно обрисованная, произведение кокетливого, но художественного воображения, словно написанное акварелью на фоне театрального неба каким-то благожелательным художником, чтобы она служила моделью англичанкам-пейзажисткам и вызывала восторги титулованных особ — чахоточных или попросту праздных.

Эстерель меняет свой облик каждый час в продолжение дня и восхищает взоры high life'а [1].

---

[1] Высший свет *(англ.)*.

По утрам горная цепь правильно и четко вырисовывается на голубом небе нежной и чистой голубизны, подлинной и прелестной голубизны, идеальной голубизны южного края. Но по вечерам лесистые склоны берегов темнеют и накладывают черное пятно на огненное небо, на это неправдоподобно драматическое алое небо. Нигде я не видывал таких волшебных закатов, таких пожаров во всю ширь горизонта, таких облачных взрывов, таких искусных и роскошных мизансцен, такого ежедневного возобновления напряженных великолепных эффектов, которые приводят в восторг, но вызвали бы, пожалуй, улыбку, будь они нарисованы человеком.

Леренские острова, окаймляющие с востока Каннский залив и отделяющие его от залива Жуан, сами кажутся двумя опереточными островками, помещенными там для вящего удовольствия зимующих и больных.

Из дали открытого моря, где мы теперь находимся, они похожи на два темно-зеленых сада, выросших в воде. Прямо перед нами, на конце Сент-Онора́, возвышается омываемая морем вполне романтическая руина, настоящий вальтерскоттовский замок, и об нее беспрестанно бьют волны; здесь когда-то защищались от сарацинов монахи: ведь Сент-Онора́ всегда принадлежал монахам, за исключением революционных лет. Остров был куплен в то время одной актрисой Французского театра.

Укрепленный замок, воинствующие монахи, ставшие ныне жирными траппистами, с улыбкой собирающими подаяния, хорошенькая лицедейка, приезжающая, конечно, затем, чтобы скрывать свои любовные похождения на этом островке, покрытом соснами и зарослями и окруженном кольцом очаровательных скал,— все, вплоть до флориановских названий *Лерен, Сент-Онора́, Сент-Маргерит,* приветливо, нарядно, романтично, полно поэзии и чуть-чуть приторно на этом пленительном побережье, у Канн.

Симметрично к старинному замку с бойницами, стройно возвышающемуся на самом конце Сент-Онора́, со стороны моря, остров Сент-Маргерит заканчивается со стороны материка знаменитой крепостью,

местом заключения Железной Маски и Базена. Пролив шириною около мили отделяет от мыса Круазетт этот замок, похожий на древний приземистый дом, не имеющий в себе ничего горделивого и величественного. Он словно пригнулся к земле, тяжелый и угрюмый,— настоящая мышеловка для узников.

Я вижу теперь все три залива. Прямо передо мною, за островами, Каннский, ближе залив Жуан, а сзади Бухта Ангелов, над которой высятся снежные вершины Альп. Дальше берега убегают далеко за итальянскую границу, и на конце мыса я различаю в подзорную трубу белую Бордигеру.

И повсюду — города, стоящие у самой воды вдоль этого нескончаемого берега, деревни, прилепившиеся выше их по склонам гор; а бесчисленные виллы, рассеянные в зелени, кажутся похожими на белые яйца, снесенные на песке, на скалах, в сосновых лесах чудовищными птицами, прилетевшими ночью из страны снегов, виднеющейся там, наверху.

На Антибском мысу, длинной косе меж двух морей, в чудеснейшем саду, где растут лучшие цветы Европы, мы видим снова виллы, а на самом конце его — Эйлен-Рок, обворожительную и причудливую постройку, которую ездят осматривать из Ниццы и из Канн.

Ветер слабеет, и яхта движется еле-еле.

После берегового ветра, который властвует ночью, мы ждем ветра с моря, надеемся на него и радостно его встретим, откуда бы он ни подул.

Бернар по-прежнему настаивает на западе, Ремон — на востоке, а барометр стоит неподвижно, чуть пониже семидесяти шести.

Теперь солнце сияет, затопляет лучами землю, сверкающие стены домов, также похожих издали на разбросанный снег, и наводит на море прозрачный, отливающий голубым светоносный глянец.

Мало-помалу, пользуясь легчайшим дуновением — этою лаской воздуха, которая едва ощутима кожей, но, тем не менее, гонит по гладкой воде чувствительные и хорошо оснащенные яхты,— мы минуем последний выступ мыса, и перед нами открывается весь залив Жуан с эскадрой посередине. Издали броненос-

цы похожи на скалы, на островки, на рифы, поросшие сухими деревьями. Дымок поезда бежит по берегу, идущему от Канн в Жуан-ле-Пен, который, может быть, станет со временем самым привлекательным курортом побережья. Три тартаны с косыми парусами, из которых один красный, а два других белые, остановились между островом Сент-Маргерит и материком.

Вот он, покой, нежный и теплый покой весеннего утра на юге; и мне уже кажется, что прошли недели, месяцы, годы с тех пор, как я покинул болтливых и суетливых людей; я чувствую, как в меня проникает опьянение одиночества, сладкое опьянение отдыха, который ничем не будет потревожен: ни белым конвертом письма, ни голубой телеграммой, ни звонком у моей двери, ни лаем моей собаки. Меня не могут позвать, пригласить, утащить за собою, замучить улыбками, извести любезностями. Я один, в самом деле один, в самом деле свободен. Дымок поезда бежит по берегу! А я, я плыву в крылатом жилище, и оно покачивается, прелестное, как птица, маленькое, как гнездышко, удобное, как гамак, и блуждает на волнах, по воле ветра, не сдерживаемое ничем. У меня два послушных матроса, чтобы катать меня и прислуживать, несколько книг для чтения и запас продовольствия на две недели. Две недели молчания, какое счастье!

Я закрыл глаза от солнечного зноя, наслаждаясь глубоким покоем моря, но в это время Бернар сказал вполголоса:

— Вон там бриг идет под ветром.

Действительно, там, очень далеко, напротив Агэ, навстречу нам идет бриг. Я отлично вижу в бинокль его круглые, наполненные ветром паруса.

— Ну, значит, ветер с Агэ,— ответил Ремон,— он затихает у мыса Ру.

— Болтай больше, будет западный ветер,— не соглашается Бернар.

Я наклонился посмотреть на барометр, находящийся в салоне. Он упал за последние полчаса. Я сообщаю об этом Бернару; тот улыбается и бормочет:

— Он чует западный ветер, сударь.

Готово: разбужено мое любопытство, то особое любопытство, свойственное путешествующим по морю, которое заставляет все видеть, за всем наблюдать и горячо интересоваться малейшим пустяком. Я не отнимаю больше от глаз подзорной трубы, приглядываюсь к цвету воды на горизонте. Вода все так же светла, глянцевита, блестяща. Если и будет ветер, то он еще далеко.

Каким живым существом является ветер для моряков! О нем говорят, как о человеке, как о всемогущем властителе, то страшном, то благословенном. О нем беседуют больше всего, о нем беспрестанно думают и днем и ночью. Вы не знаете его, живущие на суше! А нам лучше отца, лучше матери знаком он, незримый, страшный, капризный, угрюмый, вероломный, свирепый. Мы любим его и боимся, мы знаем его коварство и гнев, предугадывать которые нас мало-помалу приучают приметы в небе и на море. Он заставляет нас думать о нем каждую минуту, каждую секунду, потому что наша с ним борьба не прекращается никогда. Все наше существо настороже для этой битвы: и глаза, которые пытаются воспринять еле уловимые признаки, и кожа, которая ощущает его ласку или порыв, и ум, который распознает его настроение, предугадывает его козни и судит о том, спокоен ли он или буен. Никакой враг, никакая женщина не доставят нам такого ощущения боя, не принудят нас к такой предусмотрительности, как он, ибо он владыка морей: его можно избегнуть, использовать, убежать от него, но укротить — никогда. И в душе моряка, как в душе верующих, царит представление о вспыльчивом и ужасающем боге,— таинственный, религиозный, не знающий пределов страх перед ветром и уважение к его могуществу.

— Вот он, сударь,— говорит мне Бернар.

Там, вдали, на самом горизонте, по воде вытягивается черновато-синяя полоса. Это пустяк, оттенок, неуловимая тень, но это он. Теперь мы ждем его, стоя неподвижно в солнечном зное.

Я смотрю на часы: восемь. И говорю:

— Черт возьми! Рановато для западного.

— Крепко задует после полудня,— отвечает Бернар.

Я поднимаю глаза на парус, плоский, вялый, мертвый. Его сверкающий треугольник словно вздымается до самого неба: мы подняли над фоком большой флагшток ясной погоды, рея которого на два метра выше вершины мачты. Ничто не шелохнется; можно подумать, что мы на суше. Барометр продолжает падать. Между тем темная полоса, замеченная нами вдали, приближается. Металлический блеск воды, потускнев, становится вдруг цвета грифельной доски. Небо ясно, безоблачно.

Внезапно вокруг нас на гладкой, как стальная пластинка, поверхности моря то там, то здесь начинает проскальзывать проворная, тотчас же исчезающая, почти неуловимая дрожь, словно в море бросили тысячи щепоток мелкого песку. Парус трепещет, но едва-едва, потом гик медленно перемещается от кормы к правому борту. Теперь я чувствую на лице ласку ветра, а вздрагивания воды вокруг нас учащаются, словно на воду непрерывно падает песчаный дождь. Яхта вновь начинает подвигаться. Она скользит все прямо, и вдоль бортов поднимаются легкие всплески. Туже становится под моей рукой румпель, длинный медный румпель, кажущийся на солнце огненным стеблем, а бриз нарастает с каждой секундой. Придется лавировать, но это не беда: корабль хорошо идет по ветру, и ветер, если только не ослабеет, пригонит нас, галс за галсом, в Сен-Рафаэль к наступлению ночи.

Мы приближаемся к эскадре, шесть броненосцев и два вестовых корабля которой медленно поворачиваются на якорях носом на запад. Затем мы меняем курс, становясь другим бортом к открытому морю, чтобы миновать посреди залива Формигские острова, с возвышающейся над ними башней. Ветер свежеет все более и более с поразительной быстротою, уже подымаются частые, набегающие друг на друга волны. Яхта накреняется под всеми парусами и бежит, а за нею следом по-прежнему скользит лодка на натянутом канате, носом кверху, кормой в воде, между двумя вспененными валиками.

Приближаясь к острову Сент-Онора́, мы проходим вблизи голой, красной, ощетинившейся, как дикобраз, скалы, до такой степени шершавой и до того вооруженной зубьями, остриями и когтями, что на нее почти нельзя ступить; приходилось бы ставить ногу в углубления между ее колючками и подвигаться вперед с предосторожностями; она называется Сен-Ферреоль.

Небольшое количество земли, неизвестно откуда взявшейся, накопилось в трещинах и щелях скалы, и там выросла особая порода лилий, а также прелестные синие ирисы, семена которых словно упали с неба.

На этом причудливом рифе в открытом море было погребено и скрыто в течение пяти лет тело Паганини. Событие это под стать всей жизни гениального и зловещего артиста, о котором говорили, что в него вселился дьявол, артиста, столь странного манерами, телом, лицом, чей сверхчеловеческий талант и чудовищная худоба сделали его легендарным существом, каким-то персонажем из Гофмана.

Возвращаясь на родину, в Геную, в сопровождении сына, единственного человека, который мог разобрать его речь — до того голос его стал слаб,— он умер в Ницце от холеры 27 мая 1840 года.

Сын погрузил тело отца на корабль и направился в Италию. Но генуэзское духовенство отказалось хоронить этого одержимого. Запросили Рим, однако и курия не осмелилась дать разрешение. Тем временем тело собирались выгрузить, но муниципалитет воспрепятствовал этому под предлогом, что артист умер от холеры. В Генуе тогда свирепствовала эпидемия этой болезни, тем не менее сочли, что присутствие нового трупа поведет к усилению бедствия.

Сын Паганини вернулся в Марсель, где ему не позволили высадиться по тем же причинам. Он направился в Канн, но не мог проникнуть и туда.

Так он оставался в море, баюкая на волнах тело этого странного гения, которого люди гнали отовсюду. Он больше не знал, что ему делать, куда направиться, куда везти священного для него мертвеца, как вдруг увидел среди волн голую скалу Сен-Ферреоль. Там он выгрузил его и зарыл посредине островка.

Только в 1845 году с двумя друзьями вернулся он за останками отца и перевез их в Геную на виллу Гайона.

Не лучше ли было бы необыкновенному скрипачу так и остаться на щетинистом рифе, где поют волны в причудливых вырезах скал?

Дальше, в открытом море, поднимается замок Сент-Онора́, который был уже виден нам, когда мы огибали Антибский мыс, а еще дальше — ряд утесов, замыкаемых башней: это Монахи.

Сейчас они совсем белые, пенятся и шумят.

Ночью это одно из самых опасных мест всего побережья, так как там нет ни одного сигнального огня; кораблекрушения там довольно часты.

Внезапный шквал так накреняет нас, что палубу заливает водой, и я приказываю спустить флагшток, потому что яхта уже не в состоянии нести его без риска сломать мачту.

Волны проваливаются, расходятся, курчавятся пеной, ветер свистит, свирепея, налетая бурными порывами; он угрожает и кричит: «Берегись!»

— Придется нам заночевать в Канне,— говорит Бернар.

Через полчаса мы и в самом деле должны были убрать большой кливер и заменить его вторым парусом, на котором подогнули риф; еще через четверть часа пришлось подогнуть второй риф. Тогда я решил направиться в Каннский порт, небезопасный и ничем не защищенный порт, рейд которого открыт морю с юго-запада, из-за чего все стоящие там корабли подвергаются опасности. Когда подумаешь о значительных суммах, которые этот город получал бы от больших иностранных яхт, если бы они находили здесь надежное пристанище, понимаешь, как могущественна беспечная апатия южан, до сих пор не сумевших добиться от государства производства этих необходимых работ.

В десять часов мы бросаем якорь рядом с пароходом *Каннец,* и я схожу на сушу, расстроенный этим перерывом в моем путешествии. Весь рейд — в белой пене.

Канн, 7 апреля, 9 час. вечера

Принцы, принцы, всюду принцы! Счастливы те, кто любит принцев.

Едва ступив вчера утром на набережную Круазетт, я встретил сразу троих, шедших один за другим. В нашей демократической стране Канн стал городом титулов.

Если бы можно было открывать человеческие головы, как приподнимают крышку кастрюли, то в голове математика нашли бы цифры, в голове драматурга — силуэты жестикулирующих и декламирующих актеров, в голове влюбленного — образ женщины, в голове развратника — непристойные картинки, в мозгу поэта — стихи, но в черепах людей, приезжающих в Канн, оказались бы одни короны всех образцов, плавающие, как клецки в супе.

Люди собираются в игорных домах потому, что любят карты, на ипподроме — потому, что любят лошадей. В Канне же собираются потому, что питают любовь к императорским и королевским высочествам.

Эти высочества чувствуют себя здесь, как дома, и безмятежно царствуют в верноподданных им салонах за неимением отнятых у них королевств.

Среди них встречаются высокие и низенькие, бедные и богатые, печальные и веселые — на все вкусы. Вообще они скромны, стараются понравиться и в своих сношениях с простыми смертными проявляют тонкость и обходительность, которых почти никогда не встретишь у наших депутатов, этих князей избирательной урны.

Но если принцы, бедные странствующие принцы, не имеющие ни бюджета, ни подданных, живущие как буржуа в этом нарядном и цветущем городе, ведут себя просто и не дают повода для насмешек даже людям непочтительным, то этого никак не скажешь о любителях высочеств.

Эти суетятся вокруг своих кумиров с религиозным и комическим рвением и, лишившись одного, тотчас же принимаются разыскивать другого, словно их уста могут отверзаться только для произ-

несения в третьем лице обращений: «Монсиньор» или «Ее высочество».

Вы не проведете в их обществе и пяти минут без того, чтобы они не рассказали, что́ ответила им принцесса, что́ сказал им великий герцог, какую прогулку собираются совершить с одним, какую остроту слышали от другого. Чувствуешь, видишь, догадываешься, что они и не бывают в другом обществе, кроме общества людей королевской крови, что если они снисходят до разговора с вами, то лишь затем, чтобы точно осведомить вас о происходящем на этих высотах.

Ведется борьба, ожесточенная борьба, в которой пускаются в ход всевозможные хитрости, чтобы иметь за своим столом, по крайней мере один раз в сезон, принца, настоящего принца, одного из первенствующих. Какое уважение внушают те, кто играл в лаун-теннис с великим герцогом или кто был хотя бы представлен «Уэльскому», как выражаются сверхшикарные.

Запись в передней этих «изгнанников», как называет их Доде, или этих полетевших кувырком, как сказали бы иные, составляет для многих постоянное, утонченное, всепоглощающее и полное значительности занятие. Книга записи покоится в вестибюле, а по сторонам ее стоят два лакея, один из которых предлагает вам перо. Каждый вписывает свое имя после двух тысяч других разнородных имен, где изобилуют титулы и кишат частицы «де». Затем человек уходит надменный, словно его облагородили, счастливый, словно выполнил священную обязанность, и с гордостью говорит первому встретившемуся знакомому:

— Я только что расписался у великого герцога Герольштейнского.

Затем вечером, за обедом, торжественно повествует:

— Я сегодня заметил в книге у великого герцога Герольштейнского имена X, Y и Z.

И все слушают с интересом, словно речь идет о событии величайшей важности.

Но зачем смеяться над этим и удивляться невин-

ной и кроткой мании изящных любителей принцев, когда в Париже мы можем встретить с полсотни различных пород любителей великих людей, любителей, не менее забавных?

Всякий, у кого имеется свой салон, считает нужным выставлять напоказ знаменитостей; за ними организована настоящая охота. Нет такой светской женщины, даже из лучшего круга, которая не стремилась бы иметь своего собственного художника или своих собственных художников; в их честь она устраивает обеды, чтобы в городе и провинции знали, что у нее бывают умные люди.

Позировать ли ради ума, которым сам не обладаешь, но за которым гоняешься шумливо и трескуче, позировать ли ради знакомства с принцем... какая, собственно, разница?

Наибольшим успехом из всех великих людей у молодых и стареющих женщин пользуются, несомненно, музыканты. Некоторые дома обладают полными коллекциями их. Художникам этого рода свойственно, между прочим, то неоцененное преимущество, что они бывают полезны на вечерах. Но особы, дорожащие настоящими редкостями, вряд ли могут надеяться на то, чтобы им удалось совместить когда-либо двоих таких избранников на одном канапе. Прибавим, что нет такой низости, на которую не была бы способна известная, занимающая положение в свете женщина ради того, чтобы украсить свой салон знаменитым композитором. Мелочей, которыми стараются привязать к себе живописца или просто литератора, оказывается совершенно недостаточно, когда речь заходит о торговце звуками. По отношению к нему применяются приемы соблазна и способы лести, совершенно небывалые. Ему целуют руку, как монарху, перед ним становятся на колени, как перед богом, когда он соблаговолит самолично исполнить свою Regina Coeli [1]. В перстне носят волосок из его бороды, делают себе медальон, священный медальон, бережно хранимый на золотой цепочке на груди,— из пуговицы, оторвавшейся как-то вечером от его штанов,

[1] Царица небес *(лат.)*.

когда он сделал резкое движение рукой, заканчивая свой *Тихий отдых.*

Живописцы ценятся несколько меньше, но все же высоко. В них меньше божественного и больше богемы. Их манеры недостаточно мягки, а главное, недостаточно возвышенны. Вдохновение они часто заменяют слегка пряными шутками и балагурством. От них порядком попахивает мастерской, а у тех из них, кто постарался отделаться от этого запаха, начинает чувствоваться поза. К тому же они непостоянны, переменчивы, склонны к пустословию. Никогда нельзя быть уверенным, что сумеешь их удержать, а музыкант — тот вьет себе в семейном доме постоянное гнездо.

За последние годы достаточным успехом пользуется и писатель. Кстати сказать, у него большие преимущества: он умеет говорить, говорить долго, говорить много, говорить для всех, и, так как ум — его профессия, можно слушать его и восхищаться им с полным доверием.

Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держат попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержек,— такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше неожиданного. Поэты сентиментальнее, романисты положительнее. Это дело вкуса и темперамента. У поэта больше интимного очарования, у романиста частенько больше ума. Но романист таит в себе некоторые опасности, которых нет в поэте: он анализирует, грабит, старается использовать все, что ему попадается на глаза. С ним никогда нельзя быть спокойной, никогда нельзя быть уверенной, что он в один прекрасный день не уложит вас в голом виде на страницах какой-нибудь книги. Глаз его, как насос, поглощает все и всегда за работой, как рука жулика. От него ничего не укроется; он беспрестанно собирает и схватывает; он собирает движения, жесты, намерения — все, что проходит и происходит перед ним; он схватывает самые ничтожные слова, самые ничтожные поступки, самые ничтожные вещи. С утра до вечера он ссыпает в кучу наблюде-

ния всякого рода, из которых делает повести на продажу, повести, которые ходят по всему свету и будут прочитаны, обсуждены, истолкованы тысячами, миллионами людей. Ужаснее же всего то, что ведь он, негодяй, помимо своей воли, бессознательно добьется полного сходства, потому что он верно видит, а рассказывает то, что видел. Несмотря на все его усилия и ухищрения, чтобы замаскировать своих персонажей, будут говорить: «Узнали ли вы г-на X или г-жу Y? Они поразительно похожи!»

Безусловно, людям света так же опасно ухаживать за романистами и привлекать их к себе, как было бы опасно лабазнику вскармливать крыс в своем амбаре.

И, тем не менее, романисты пользуются успехом.

Итак, когда женщина остановит свой выбор на писателе и пожелает заполучить его, она приступает к осаде путем комплиментов и всякого рода знаков внимания, путем баловства. Как вода, падая капля за каплей, продалбливает самую крепкую скалу, похвала слово за словом западает в чувствительное сердце писателя. Лишь только она приметит, что он разнежен, растроган, завоеван этой постоянной лестью, она изолирует его, перерезает мало-помалу нити, быть может, связывающие его с чем-то еще, и незаметно приучает его приходить к ней, с приятностью проводить у нее время, привязаться к ее дому. Чтобы как следует акклиматизировать его у себя, она старательно подготавливает его успехи, выставляет его напоказ и выражает ему перед всеми прежними завсегдатаями ее дома подчеркнутое уважение, восхищение свыше меры.

Тогда, почувствовав себя кумиром, он остается в этом храме. Впрочем, он извлекает немало выгоды из этого положения, так как другие женщины начинают относиться к нему с изысканной благосклонностью, чтобы вырвать его у той, которая его покорила. Но если он достаточно ловок, он не уступит ухаживанию и кокетству, которыми его одолевают. И чем более верным он себя выкажет, тем больше его будут преследовать, упрашивать, любить. О, пусть он будет осторожен и не даст увлечь себя всем этим салонным

сиренам: он потеряет три четверти своей цены, если начнет переходить из рук в руки.

Вскоре он уже образует литературный центр, церковь, в которой он — бог, единственный бог; ведь в настоящих религиях никогда не бывает нескольких богов. В дом начнут ходить, чтобы видеть и слышать его, восхищаться им так, как приходят издалека к святым местам. Будут завидовать ему, будут завидовать ей! Они будут говорить о литературе, как жрецы говорят о догматах, со знанием дела и важностью; их будут слушать, и его, и ее, а выходить из этого литературного салона будут с таким ощущением, словно выходят из собора.

Успехом пользуются и кое-кто другие, но уже в меньшей степени: так, генералы, пренебрегаемые настоящим большим светом, где их ставят разве чуть повыше депутатов, еще играют первую скрипку в мелкобуржуазных кругах. На депутатов бывает спрос только в моменты кризиса. В периоды парламентского затишья их лишь изредка зовут к обеду. Есть свои сторонники и у человека науки,— всякие ведь бывают вкусы, и даже столоначальник очень ценится людьми, обитающими на седьмом этаже. Но эти люди не приезжают в Канн. Буржуазия едва представлена здесь несколькими робкими образцами.

Только до полудня можно встретить на Круазетт всех этих благородных иностранцев.

Круазетт — это длинный бульвар, идущий полукругом вдоль побережья от мыса напротив Сент-Маргерит до гавани, над которой расположился старый город.

Молодые и стройные женщины — худоба почитается хорошим тоном,— одетые по-английски, идут быстрым шагом в сопровождении проворных молодых людей в лаун-теннисных костюмах. Иной раз встречается и какое-нибудь несчастное, изможденное существо, которое еле волочит ноги, опираясь на руку матери, брата или сестры. Они кашляют и задыхаются, эти бедняги, закутанные в шали, несмотря на жару, и провожают вас глубоким взглядом, безнадежным и злым.

Они страдают, они умирают, потому что этот восхитительный и теплый край — в то же время и госпиталь для светских людей, цветущее кладбище аристократической Европы.

Ужасный недуг, не знающий пощады и называемый нынче туберкулезом, недуг, который гложет, жжет и разрушает людей тысячами, словно нарочно избрал это побережье, чтобы добивать там свои жертвы.

Как должны проклинать во всех уголках земли эту прелестную и страшную местность, это душистое и мягкое преддверие Смерти, где столько семей, скромных и царственных, титулованных и буржуазных, оставили кого-нибудь навеки, и почти всегда ребенка, в котором таились их надежды и которого нежно любили.

Я вспомнил Ментону — самый теплый, самый здоровый из этих зимних курортов. Как около укрепленных городов видишь форты на окрестных высотах, так над этим пляжем умирающих виднеется кладбище на вершине холма.

Каким роскошным местом для живых был бы этот сад, где спят мертвецы! Розы, розы, повсюду розы! Они кроваво-красные, чайные, белые или расцвеченные пунцовыми прожилками. Могилы, аллеи, места, которые еще пусты сегодня и наполнятся завтра,— все ими покрыто. Сильный запах дурманит, кружит голову, заставляет пошатываться.

И всем, кто лежит здесь, было по шестнадцать, по восемнадцать, по двадцать лет.

Идешь от могилы к могиле и читаешь имена этих существ, убитых в таком юном возрасте неизлечимой болезнью. Это — кладбище детей, кладбище, похожее на те «белые балы», куда не допускаются женатые люди.

С этого кладбища открывается вид влево на Италию, вплоть до мыса, где Бордигера выдвигает в море свои белые дома; вправо — до гористого мыса Мартен, купающего в воде густолиственные склоны.

Впрочем, всюду вдоль этого пленительного побережья мы в гостях у Смерти. Но она здесь скромна,

затянута флером, полна житейского опыта и стыдливости — словом, хорошо воспитана. Никогда не встретишься с ней лицом к лицу, хотя она соприкасается с вами каждый миг.

Можно подумать даже, что здесь вообще не умирают, потому что все соучаствует в обмане, которым тешится эта властительница. Но как ее чувствуешь, как чуешь, как замечаешь иной раз край ее черного одеяния! Поистине необходимо это множество роз и цветущих лимонных деревьев, чтобы никогда нельзя было уловить в дуновении ветра ужасный запах, исходящий из комнат, где лежат покойники.

На улицах никогда ни гроба, ни траурного крепа, ни погребального звона. Вчерашний исхудалый прохожий не проходит больше под вашим окном: вот и все.

Если вы удивитесь, что не видите его больше, и побеспокоитесь о нем, метрдотель и все слуги с улыбкой ответят вам, что ему стало лучше и что он, по совету врача, уехал в Италию. Действительно, у Смерти в каждой гостинице есть своя потайная лестница, свои наперсники и кумовья.

Моралист прежних времен наговорил бы много хороших вещей о контрасте и близости такой изысканной жизни с таким бедствием.

Сейчас полдень, бульвар опустел, и я возвращаюсь на борт *Милого друга,* где меня ждет скромный завтрак, приготовленный руками Ремона, которого я застаю одетым в белый фартук и поджаривающим картофель.

Весь остаток дня я читал.

Ветер по-прежнему дул с неистовой силой, и яхта плясала на обоих своих якорях: нам ведь пришлось опустить и якорь правого борта. Покачивание в конце концов усыпило меня, и я несколько времени дремал. Когда Бернар вошел в салон зажечь свечи, я увидел, что было уже семь часов, и, так как прибой, ударявший о набережную, затруднял высадку, я пообедал на яхте.

Затем я вышел наверх посидеть на свежем воздухе. Вокруг меня Канн расстилал свои огни. Нет ничего красивее города, освещенного огнями, если гля-

деть с моря. Налево старый квартал, дома которого словно карабкаются друг на друга, сливал огни свои со звездами; направо газовые рожки бульвара Круазетт извивались, как огромная змея, на протяжении двух километров.

И я думал о том, что во всех этих виллах, во всех этих гостиницах сегодня вечером собрались вместе люди, как собирались вчера, как соберутся завтра, и что они разговаривают. Они разговаривают! О чем же? О принцах, о погоде!.. А потом? О погоде, о принцах!.. А потом? Больше ни о чем!

Существует ли что-нибудь мрачнее разговора за табльдотом? Я живал в гостиницах, я познал, что такое человеческая душа, выказывающаяся там во всей своей плоской сути. Право, нужно принудить себя к высшей степени безразличия, чтобы не заплакать от горя, отвращения и стыда, слушая, как говорит человек. Человек, обыкновенный человек, состоятельный, известный, почтенный, уважаемый, ценимый, довольный самим собой,— он ничего не знает, ничего не понимает, а говорит об интеллекте с удручающей гордостью.

Нужно быть слепым, надо захмелеть от глупого высокомерия, чтобы считать себя чем-то иным, а не животным, едва возвышающимся над другими животными! Послушайте-ка их за столом, этих несчастных! Они разговаривают! Они разговаривают искренне, доверчиво, мягко и называют это — обмениваться мыслями. Какими мыслями? Они сообщают, где они гуляли: «дорога была прелестна, но на обратном пути стало немного свежо»; «кухня в гостинице неплоха, хотя ресторанная пища всегда немного возбуждает». И они пускаются в рассказы о том, что сделали, что любят, во что верят!

Мне чудится, что я вижу в них всю мерзость их души, словно чудовищный зародыш в банке со спиртом. Я присутствую при медленном развертывании общих мест, постоянно ими повторяемых, чувствую, как из этих складов глупости падают слова в их дурацкие рты, а изо ртов — в ленивый воздух, доносящий их до моих ушей.

А их мысли, самые возвышенные мысли, самые про-

никновенные, самые уважаемые,— не являются ли они неопровержимыми доказательствами извечной, всеобщей, нерушимой и всемогущей глупости?

Все их представления о боге, о неискусном боге, который неудачно творит и вновь вызывает к жизни первоначальные существа, выслушивает наши признания и записывает их, о боге-жандарме, иезуите, адвокате, садовнике, о боге, одетом в латы, в судейскую тогу или носящем сабо, все их отрицания бога, основанные на земной логике, аргументы за и против, история религиозных верований, расколов, ересей, философских систем, утверждения и сомнения, все ребячество принципов, хищная и кровавая ярость изобретателей гипотез, хаос споров, все жалкие усилия этих несчастных существ, не способных что-либо постичь, угадать, познать и столь быстро готовых уверовать,— все доказывает, что они попали в этот столь ничтожный мир единственно для того, чтобы пить, есть, рожать детей, сочинять песенки и для времяпрепровождения убивать себе подобных.

Блаженны те, кого удовлетворяет жизнь, кто забавляется, кто доволен!

Есть люди, которые все любят, которых все восхищает. Они любят солнце и дождь, снег и туман, празднества и тишину своего жилища. Все, что они видят, все, что делают, все, что говорят, все, что слышат.

Одни из них ведут тихое, спокойное и довольное существование среди своих отпрысков. Другие — существование шумное, полное удовольствий и развлечений.

Ни те, ни эти не скучают.

Жизнь для них — своего рода занимательный спектакль, где они сами являются актерами, приятный, разнообразный спектакль, который восхищает их, не слишком изумляя.

Но другие люди, скользнув молнией мысли по узкому кругу возможных поводов к довольству, останавливаются, застыв от ужаса, перед ничтожеством счастья, перед однообразием и бедностью земных радостей.

Едва им стукнет тридцать лет, все для них кончено.

Чего им ждать? Ничто их более не развлекает, они завершили круг наших скудных отрад.

Блаженны те, кому неведомо ужасающее отвращение к постоянной повторяемости одних и тех же действий; блаженны те, у кого хватает силы каждый день исполнять заново одни и те же обязанности, с теми же жестами, в одной и той же домашней обстановке, перед тем же горизонтом, под тем же небом, проходить каждый день по тем же улицам, встречая тех же людей и тех же животных. Блаженны те, кто не замечает с чувством величайшего отвращения, что ничто не меняется, ничто не проходит и все наводит скуку.

Надо иметь вялый, ограниченный и нетребовательный ум, чтобы удовлетворяться тем, что есть. Как случилось, что зрители мира до сих пор еще не крикнули: «Занавес!», не потребовали следующего акта с другими существами вместо людей, с другими формами, другими празднествами, другими растениями, другими светилами, другими выдумками, другими приключениями?

Значит, никто еще не почувствовал ненависти к постоянно одинаковому человеческому лицу, ненависти к животным, кажущимся живыми механизмами из-за своих низменных инстинктов, передаваемых в семени от первого к последнему в их породе, ненависти к вечно похожим друг на друга пейзажам, ненависти к никогда не обновляемым развлечениям?

Утешьтесь, говорят нам, любовью к науке и искусствам.

Так, стало быть, не видят, что мы всегда пленники самих себя, не имеющие возможности уйти от себя, прикованные к ядру нашей бескрылой мечты!

Весь прогресс наших мозговых усилий заключается в констатировании фактов материального мира с помощью инструментов, до смешного несовершенных, но все же немножко восполняющих неспособность наших органов чувств. Каждые двадцать лет какой-нибудь бедняга-исследователь, умирающий, не закончив своего дела, открывает, что воздух содержит еще один неведомый газ, что путем трения воска о сукно можно вызвать действие какой-то неуловимой, невыразимой и неопределимой силы, что среди бесчисленных неизвест-

ных звезд находится одна, еще не отмеченная, по соседству с другой, уже давно видимой и получившей название. Но не все ли это равно?

Наши болезни происходят от микробов? Очень хорошо. А откуда происходят микробы и болезни самых этих невидимых существ? А откуда происходят солнца?

Мы ничего не знаем, ничего не видим, ничего не можем сделать, ничего не угадываем, ничего не в силах себе представить, мы заперты, заключены в самих себя. А люди восторгаются человеческим гением!

Искусства? Живопись состоит в воспроизведении красками монотонных пейзажей, никогда не похожих на природу, в изображении людей с вечно безуспешным стремлением придать им живой образ. И вот так, бесцельно, год за годом, лезут из кожи вон, чтобы добиться сходства с тем, что есть, и едва достигают лишь того результата, что прищуренный глаз, глядя на эту неподвижную и немую копию жизненных явлений, догадывается, что́ именно хотели изобразить.

К чему эти усилия? К чему это тщетное подражание? К чему это пошлое воспроизведение вещей, которые так грустны сами по себе? Какое убожество!

Поэты делают словами то, что художники пытаются сделать красками. Опять-таки к чему?

Если вы прочли четверых из них, самых искусных, самых одаренных, уже бесполезно раскрывать какого-либо другого. Ничего нового не узнаешь. Они, эти люди, тоже способны лишь подражать человеку. Они истощают себя в бесплодном труде. Ведь поскольку неизменен человек, их бесполезное искусство недвижимо. С тех пор как бьется наша куцая мысль, человек все тот же; его чувства, верования, ощущения все те же; он не подвинулся вперед, не пошел назад, не тронулся с места. К чему же мне узнавать, что я собою представляю, читать то, что думаю, видеть самого себя в пошлых приключениях из какого-нибудь романа?

Ах, если бы поэты могли пересекать пространство, исследовать светила, открывать иные миры, иные существа, непрерывно изменять для моего сознания при-

роду и форму вещей, непрерывно вести меня за собою через изменяющееся и поражающее неизвестное, открывать таинственные двери к неожиданным и чудесным горизонтам,— я читал бы и день и ночь. Но они, эти беспомощные существа, только и могут, что изменить порядок слов или показать мне мой собственный образ, как и художники. К чему?

Ибо человеческая мысль неподвижна.

Достигнув однажды точных, близких, непереходимых пределов, она кружится, как лошадь на арене цирка, как муха в закупоренной бутылке, долетая лишь до стенок и постоянно ударяясь о них.

И все-таки, за неимением лучшего, сладко предаваться размышлениям, когда живешь один.

На этом маленьком суденышке, которое колеблется в море и может быть залито или опрокинуто волною, я знаю и чувствую, сколь мнимо все, что мы постигли, ибо земля, плывущая в пустоте, еще более одинока, более сиротлива, чем это судно на морских волнах. Значение их одинаково, судьба их когда-нибудь свершится. И я радуюсь, постигая ничтожество верований и суетность надежд, взращенных нашей гордостью, гордостью насекомых!

Убаюканный килевой качкой, я заснул и проспал тем глубоким сном, каким спят на воде, до той самой минуты, когда Бернар разбудил меня, сказав:

— Плохая погода, сударь, нам не отплыть сегодня утром.

Ветер стих, но сильная волна в открытом море не дает возможности держать путь на Сен-Рафаэль.

Придется еще день провести в Канне.

К полудню снова поднялся западный ветер, хотя и не такой сильный, как накануне, и я решил воспользоваться им, чтобы посмотреть эскадру в заливе Жуан.

Милый друг, пересекая рейд, плясал, как коза, и мне пришлось управлять рулем с великим вниманием, чтобы при каждой волне, набегающей на нас и бившей почти прямо в борт, вода не плескала мне в самое лицо. Скоро, однако, я укрылся под защиту островов и вошел в фарватер под фортом Сент-Маргерит.

Его отвесная стена начинается у самых скал, о ко-

торые бьет прибой, а верх даже не поднимается над невысоким берегом острова. Его можно сравнить с головой, втянутой между могучих плеч.

Место, где спустился Базен, хорошо видно. Не нужно было быть ловким гимнастом, чтобы соскользнуть на такие гостеприимные скалы.

Об этом побеге мне со всеми подробностями рассказал человек, который, по его словам, хорошо знал, да и действительно мог знать, обстоятельства дела.

Базен жил довольно свободно, получая каждый день свидания с женою и детьми. Но вот г-жа Базен, женщина энергичная, объявила мужу, что она уедет от него навсегда вместе с детьми, если он не убежит отсюда, и изложила ему свой план. Его смущали опасности побега и неуверенность в успехе, но когда он увидел, что жена готова выполнить угрозу, он согласился.

Тогда в крепость стали каждый день потихоньку приносить игрушки для малышей, составившие целый комплект комнатных гимнастических приборов миниатюрнейшего размера. Из этих приборов и была сделана веревочная лестница, необходимая маршалу. Она изготовлялась медленно, чтобы не возбуждать подозрений, а затем была тщательно спрятана дружеской рукой в углу тюремного двора.

Был назначен день побега. Выбрали воскресенье — охрана казалась в этот день не столь бдительной.

Г-жа Базен на некоторое время отлучилась.

Маршал обычно гулял на дворе до восьми часов вечера в обществе начальника тюрьмы, любезного и нравившегося ему человека. Затем он возвращался в свое помещение, которое старший сторож закрывал снаружи на засов и запирал на замок в присутствии своего начальника.

Вечером, перед побегом, Базен притворился, что ему нездоровится, и пожелал вернуться к себе часом раньше. Он действительно вошел в свое помещение, но как только начальник тюрьмы отправился за сторожем, чтобы тот немедленно запер заключенного, маршал быстро вышел и спрятался во дворе.

Темница была заперта пустой. И все разошлись по своим квартирам.

Около одиннадцати часов Базен вышел из своего убежища с веревочной лестницей в руках. Он привязал ее и спустился на скалы.

На рассвете один из сообщников отвязал веревку и бросил ее к подножию стен.

Около половины девятого начальник тюрьмы Сент-Маргерит осведомился об узнике, удивившись, что еще не видел его, так как Базен каждое утро выходил рано. Лакей маршала отказался войти к нему в комнату.

Наконец в девять часов начальник тюрьмы решил открыть дверь силой и увидел, что клетка пуста.

Г-жа Базен, со своей стороны, чтобы выполнить свой план, отыскала человека, которому ее муж когда-то оказал весьма важную услугу. Она обратилась к признательному сердцу и нашла союзника, столь же преданного, сколь и энергичного. Они вместе разработали все детали, потом она отправилась под вымышленным именем в Геную и наняла, якобы для поездки в Неаполь, небольшой итальянский пароходик за тысячу франков в день, обусловив в договоре, что путешествие продлится не менее недели и что договор может быть продлен на такой же срок и на тех же условиях.

Судно отправилось в путь, но едва только вышло в открытое море, путешественница как будто изменила свое решение и спросила капитана, не возражает ли он против того, чтобы заехать в Канн за ее свояченицей. Моряк охотно согласился и в воскресенье вечером бросил якорь в заливе Жуан.

Г-жа Базен сошла на сушу и приказала шлюпке не удаляться. Преданный сообщник ждал ее с другой лодкой на набережной бульвара Круазетт; они пересекли пролив, отделяющий материк от островка Сент-Маргерит. Ее муж был уже там, на скалах, в изодранном платье, с разбитым лицом, с окровавленными руками. Море было довольно бурное, и ему пришлось войти в воду, чтобы добраться до лодки,— она разбилась бы о скалы, если б попытались причалить.

Подъехав к берегу, лодку бросили.

После этого перебрались на первую шлюпку, а за-

тем на судно, стоявшее под парами. Г-жа Базен заявила капитану, что ее свояченица слишком плохо себя чувствует, чтобы отправиться с нею, и, указывая на маршала, добавила:

— Так как у меня нет слуги, я наняла себе лакея. Этот болван только что свалился на скалы, и вы видите, в каком он состоянии. Поместите его, пожалуйста, с матросами и велите дать ему все необходимое, чтобы он мог перевязать себя и зашить лохмотья.

Базен отправился ночевать в кубрик.

На следующий день, на рассвете, вышли в открытое море. Г-жа Базен еще раз изменила свой план и, сказавшись больной, велела отвезти себя в Геную.

Однако весть о побеге уже распространилась, и знавшая об этом чернь столпилась, вопя, под окнами гостиницы. Шум сделался вскоре таким неистовым, что перепуганный хозяин помог путешественникам скрыться через потайную дверь.

Я передаю рассказ так, как я его слышал, и ничего не утверждаю.

Мы приближаемся к эскадре, тяжелые броненосцы которой, выстроившиеся в одну линию, похожи на военные башни, возведенные прямо в море. Вот *Кольбер, Опустошение, Адмирал Дюперре, Курбе, Неукротимый, Ришелье,* затем два крейсера, *Ласточка* и *Милон,* и четыре торпедных катера, готовящиеся войти в залив.

Я хочу посетить *Курбе,* считающийся образцом совершенства в нашем флоте.

Ничто не дает лучшего представления о человеческом труде, о кропотливом и невероятном труде этого ничтожного зверька с искусными руками, чем эти огромные крепости из железа, которые плывут, движутся, несут на себе целую армию солдат, целый арсенал чудовищных орудий и которые сделаны — такие махины — из пригнанных друг к другу, припаянных, прикованных, прикрепленных на болтах мельчайших частей: это работа муравьев и великанов, показывающая одновременно всю гениальность, всю беспомощность и все неизлечимое варварство этой породы существ, такой деятельной и такой слабой, расходующей

свои силы на создание механизмов, предназначенных для ее же уничтожения.

Люди прошлого, строившие из камней кружевные соборы, феерические дворцы, убежища ребяческих и благочестивых грез, разве не стоили они людей нашего времени, пускающих по морю стальные здания, подлинные храмы смерти?

Как раз в ту минуту, когда я спускаюсь с корабля, чтобы вернуться на свою скорлупку, с берега раздается ружейный залп. Это английский полк упражняется в стрельбе среди песков и елей. Дым подымается белыми клубами, похожими на испаряющиеся облака хлопка, и по берегу, вдоль моря, пробегают красные солдатские штаны.

И морские офицеры, вдруг заинтересовавшись, направляют подзорные трубы на сушу, и сердца их бьются живее при виде этого подобия войны.

Когда я только подумаю об этом слове «война», я впадаю в какую-то растерянность, словно мне говорят о колдовстве, об инквизиции, о чем-то ушедшем далеко-далеко, окончившем свое существование, отвратительном, чудовищном, противоестественном.

Когда говорят о людоедах, мы горделиво улыбаемся, выказывая свое превосходство над этими дикарями. Но кто же дикари, настоящие дикари? Те ли, кто сражается, чтобы съесть побежденных, или те, кто сражается ради убийства, ради одного только убийства?

Маленькие пехотинцы, бегущие вон там, обречены на смерть, как стадо, гонимое мясоторговцем по дорогам. Они когда-нибудь упадут на равнине с рассеченной ударом сабли головою или с пробитой пулей грудью; а ведь это молодые люди, которые могли бы трудиться, производить, быть полезными. Их отцы стары и бедны; их матери, в течение двадцати лет любившие и обожавшие их, как могут обожать только матери, узнают через полгода или, может быть, через год, что их сын, их дитя, их большое дитя, воспитанный с таким трудом, с такими затратами, с такой любовью, брошен в яму, словно издохшая собака, после того как ему разворотило снарядом живот или он был растоптан, раздавлен, превращен в кашу кавалерийской атакой.

За что убили ее мальчика, ее славного мальчика, ее единственную надежду, ее гордость, ее жизнь? Она не знает. И в самом деле, за что?

Война!.. Сражаться!.. Убивать!.. Устраивать людскую бойню!.. И у нас, сегодня, в нашу эпоху, при нашей цивилизации, при развитии науки, при том высоком уровне философии, которого, по нашему мнению, достиг человеческий гений,— у нас есть школы, где обучают убивать, убивать издалека и усовершенствованным способом, убивать много людей зараз, убивать несчастных людей, ни в чем не повинных, обремененных семьями и не имевших судимости! Убивать, не поинтересовавшись даже, кто они такие!

А самое удивительное то, что народ не восстает против правительства. Какая же разница после этого между монархиями и республиками? Самое удивительное то, что общество в целом не подымает восстания при одном только слове «война».

Ах! Мы вечно будем жить под бременем старых и отвратительных привычек, преступных предрассудков, хищных воззрений наших варваров-предков, потому что мы животные и мы останемся животными, пребывающими во власти инстинкта, и ничто нас не изменит.

Разве всякого другого, не будь он Виктор Гюго, не заклеймили бы презрением, если б он бросил этот великий клич освобождения и правды?

«В наши дни сила называется насилием, и ее начинают привлекать к ответственности; война посажена на скамью подсудимых. Цивилизация, по иску человеческого рода, производит следствие и готовит огромное судебное дело против завоевателей и полководцев. Народы начинают понимать, что увеличение размеров злодеяния не является смягчающим обстоятельством для этого злодеяния; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что если кража постыдна, то и завоевание не поведет к славе.

Ах! Провозгласим эти абсолютные истины! Обесчестим войну!»

Напрасный гнев, напрасное негодование поэта. Война в почете более чем когда-либо.

Один знаток этого дела, гениальный мастер бойни г-н фон Мольтке, однажды ответил делегатам-пацифистам следующими странными словами:

«Война — святое, божественное установление; это один из священных законов человечества; она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость; словом, она мешает им впасть в самый омерзительный материализм».

Значит, объединяться в четырехсоттысячные людские стада, без отдыха маршировать день и ночь, ни о чем не думать, ничему не учиться, ничего не знать, ничего не читать, никому не приносить пользы, гнить в грязи, спать в слякоти, жить, как скотина, в непрерывном отупении, грабить города, жечь деревни, разорять народы, а затем встречаться с другим таким же скопищем человеческого мяса, обрушиваться на него, создавать озера крови, равнины наваленных тел, смешанных с размокшей и обагренной землей, нагромождать груды трупов и остаться без рук и ног, с расколотым черепом, без выгоды для кого-либо издохнуть где-нибудь в поле, в то время как твои старые родители, твоя жена и дети умирают с голоду,— так вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.

Люди войны — это бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, со всякого рода препятствиями, чтобы немного скрасить наше жалкое существование. Разные люди — благотворители, ученые — обрекают себя на труд, всю жизнь ищут то, что может оказать хоть какую-нибудь помощь, поддержку, принести хоть какое-нибудь облегчение их братьям. Они идут вперед, с великим рвением выполняя свой полезный труд, накапливая открытие за открытием, увеличивая человеческий кругозор, расширяя науку, принося каждый день человеческому разумению некую сумму новых знаний, принося каждый день своему отечеству все больше благополучия, богатства, силы.

Приходит война. В полгода генералы разрушают все, что создано двадцатилетними усилиями, терпением и талантом.

Вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.

Мы ее видели, войну. Мы видели людей, снова превратившихся в скотов, обезумевших, убивавших из удовольствия, из страха, из бравады, из хвастовства. Когда право перестало существовать, когда закон умер, когда исчезло всякое понятие о справедливости, мы видели, как на дорогах расстреливали невинных людей, ставших подозрительными оттого, что им было страшно. Мы видели, как стреляли в собак, привязанных на цепи у хозяйских дверей, чтобы испробовать новый револьвер, мы видели, как расстреливали лежащих в поле коров без всякой причины, просто, чтобы пострелять, так, смеха ради.

Вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.

Вторгаться в чужую страну, убивать защищающего свой дом человека, потому что он одет в блузу и не носит кепи на голове, сжигать жилища несчастных людей, у которых больше нет хлеба, ломать мебель, а то и красть ее, пить вино, найденное в погребах, насиловать женщин, встреченных на улице, тратить на миллион франков пороха и оставлять позади себя нищету и холеру.

Вот что называется не впасть в самый омерзительный материализм.

Что они сделали, военные люди, для доказательства хоть малой толики ума? Ничего. Что они изобрели? Пушки и ружья. И только.

Разве изобретатель тачки не больше сделал для человека своей простой и практичной идеей — приладить колесо к двум палкам, чем изобретатели современной фортификации?

Что нам осталось от Греции? Книги, статуи. В победах ли ее величие или в том, что она создала?

Разве персидское нашествие помешало ей впасть в самый омерзительный материализм?

Разве варварские нашествия спасли и возродили Рим?

Разве Наполеон I продолжил великое умственное движение, начатое философами в конце прошлого века?

Так вот, если правительства считают себя, таким

образом, вправе приговаривать к смерти народы, то нет ничего удивительного, что иногда и народы считают себя вправе приговаривать к смерти правительства.

Они защищаются. Они правы. Ни у кого нет абсолютного права управлять другими. Оно возможно лишь для блага тех, кем управляют. Тот, кто управляет, обязан избегать войны так же, как капитан корабля— кораблекрушения.

Когда капитан погубит корабль, его судят — и осуждают, если он окажется повинен в небрежности или даже в неспособности.

Почему бы не судить правительства за каждое объявление войны? Если бы народы поняли это, если бы они сами расправлялись с кровожадными властями, если бы они не позволили убивать себя без всяких причин, если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для избиения,— в этот день война умерла бы... Но этот день не придет!

Агэ, 8 апреля

— Хорошая погода, сударь.

Я встаю и поднимаюсь на палубу. Три часа утра; море гладко; беспредельное небо похоже на огромный свод мрака, усеянный огнями. С суши веет легонький бриз.

Кофе вскипел, мы пьем его и, не теряя ни минуты, отплываем, чтобы воспользоваться благоприятным ветром.

Вот мы уже скользим по воде к открытому морю. Берег исчезает; вокруг нас ничего не видно — одна чернота. Какое ощущение, какое волнующее и восхитительное чувство — углубляться так в эту пустую ночь, в это безмолвие, по этой водной глади, далеко-далеко от всего! Кажется, что покидаешь мир, что никогда больше никуда не приедешь, что не будет больше берега, что никогда не наступит день. У моих ног маленький фонарь освещает компас, указывающий мне путь. Надо пройти по крайней мере три мили открытым морем, каков бы ни был ветер, чтобы наверняка обогнуть

мысы Ру и Драммон до восхода солнца. Во избежание аварии я велел зажечь сигнальные фонари: на бакборте—красный, на штирборте—зеленый—и наслаждаюсь опьянением этого безмолвного, непрерывного и спокойного бегства.

Вдруг впереди нас раздается крик. Я вздрагиваю, так как голос прозвучал близко, но не могу ничего разглядеть, ничего, кроме сплошной стены мрака, в которую я погружаюсь и которая вновь смыкается позади меня. Ремон, стоящий на вахте на носу, говорит мне:

— Это тартана, идущая на восток: подойдите-ка, сударь, мы проходим позади нее.

И внезапно, совсем близко, вырастает некий призрак, страшный и смутный,— огромная качающаяся на волнах тень высокого паруса; она видна несколько секунд и почти тотчас же исчезает. Нет ничего более причудливого, более фантастического, более волнующего, чем эти мимолетные видения на море ночью. Рыбацкие суда и шаланды с песком всегда идут без огней; их замечаешь только, едва не задев, и от этого сжимается сердце, как от встречи с чем-то сверхъестественным.

Я слышу вдалеке птичий свист. Птица приближается, проносится мимо и исчезает. Почему не могу я блуждать, как она?

Наконец занимается заря, медлительная и нежная, без единого облачка; за ней наступает день, настоящий летний день.

Ремон утверждает, что будет восточный ветер. Бернар по-прежнему настаивает на западном, советует изменить курс и галсом штирборта идти на подымающийся вдали Драммон. Я сразу соглашаюсь с ним, и мы, медленно гонимые замирающим бризом, подходим к Эстерелю. Длинное красное побережье отражается в воде, придавая ей фиолетовый оттенок. Оно причудливо, щетинисто, очаровательно с его бесчисленными мысами и заливами, с капризными и кокетливыми скалами — тысячами причуд восхищающей всех горы. По склонам ее подымаются еловые леса до самых гранитных вершин, похожих на замки, на

города, на каменные армии, бегущие друг за другом. А море у подножия горы так прозрачно, что местами можно различить песок или водоросли на его дне.

Конечно, в иные дни я чувствую ужас перед всем существующим, и такой ужас, что хочется умереть. Я испытываю обостреннейшее страдание от неизменной монотонности пейзажей, лиц и мыслей. Ограниченность мира поражает и возмущает меня; мелочность всего окружающего внушает мне отвращение; убожество человеческое подавляет меня.

В другие же дни, наоборот, я всем наслаждаюсь с животной радостью. Если мой беспокойный ум, измученный трудом и перенапряженный, рвется к несвойственным нашей природе надеждам, чтобы, убедившись в их призрачности, снова погрузиться в презрение ко всему, то моя животная плоть опьяняется всеми восторгами жизни. Я люблю небо — как птица, леса — как бродяга-волк, скалы — как серна, высокую траву — за то, что по ней можно валяться, можно носиться, как лошадь, прозрачную воду — за то, что в ней можно плавать, как рыба. Я чувствую, во мне трепещет что-то, свойственное всем видам животных, всем инстинктам, всем смутным желаниям низших тварей. Я люблю землю, как они, а не так, как вы, люди, я люблю ее, не восхищаясь ею, не поэтизируя ее, не приходя в восторг. Я люблю звериной и глубокой любовью, презрительной и священной, все, что живет, все, что растет, все, что мы видим, потому что все это, не беспокоя ума, волнует мне зрение и сердце: и дни, и ночи, и реки, и моря, и бури, и леса, и утренние зори, и взгляд, и плоть женщин.

Вода, ласкающая песчаные отмели или гранитные скалы, волнует и умиляет меня, а радость, которой я охвачен, когда меня гонит ветер и несет волна, рождается из того, что я весь отдаюсь грубым и естественным силам мира, что я возвращаюсь к первобытной жизни.

Когда, как сегодня, погода хороша, в моих жилах — кровь древних фавнов, бродячих и похотливых, и я больше не брат людям, но брат всем живым существам и всем вещам!

Солнце поднимается над горизонтом. Бриз слабеет, как и третьего дня, но западный ветер, предсказанный Бернаром, не поднимается, так же как и восточный, возвещенный Ремоном.

До десяти часов мы не двигаемся вперед и лишь качаемся по волнам, точно обломок крушения; затем легкое дуновение с моря вновь подталкивает нас, спадает, опять возникает, словно смеясь над нами, дергая парус и непрерывно обещая нам бриз, который все не поднимается. Оно совсем незаметно, словно дыхание или помахивание веером; однако этого достаточно, чтобы мы не оставались на месте. Дельфины, эти клоуны моря, играют вокруг нас, быстрым рывком выскакивают из воды, словно собираясь улететь, проносятся в воздухе, как молния, потом ныряют и вновь появляются немного дальше.

Около часу дня, когда мы стояли как раз против Агэ, ветер совсем стих, и я понял, что мне придется ночевать в открытом море, если я не спущу в воду бот, чтоб вести яхту на буксире, и не найду себе пристанища в этой бухте.

Я велел обоим матросам сойти в шлюпку; отплыв вперед метров на тридцать, они начали тянуть меня. Бешеное солнце обрушивалось на море, обжигало палубу судна.

Матросы гребли очень медленно и размеренно, как два истертых рычага в машине, которые уже еле движутся, однако не прекращают своего механического усилия.

Рейд в Агэ образует красивый, хорошо защищенный бассейн; с одной стороны он загорожен красными отвесными скалами с семафором на вершине горы, продолжением которых в сторону моря служит Золотой остров, названный так за свой цвет; с другой — цепью низких скал и маленьким, заливаемым водою мыском, на котором возвышается маяк, указывающий вход в гавань.

На берегу — гостиница, дающая приют капитанам, корабли которых находят здесь убежище в непогоду, а летом — рыбакам; железнодорожная станция, где останавливаются всего два поезда в день и где никто не слезает; красивая речушка, уходящая в глубь Эстереля

до ложбины, называемой Маленферме и полной олеандров, как африканское ущелье.

К этой восхитительной бухте не выходит ни одной дороги. Только тропинка ведет в Сен-Рафаэль через драмонские порфировые каменоломни; но по ней не мог бы проехать ни один экипаж. Следовательно, это самая настоящая горная местность.

Я решил прогуляться пешком до наступления темноты по дорогам, окаймленным цистом и мастиковыми деревьями. Их запах, могучий и благоуханный запах диких растений, наполняет воздух и смешивается с широким смолистым веянием огромного леса, который словно тяжело дышит от зноя.

После часа ходьбы я очутился среди леса, редкого елового леса, росшего на пологом склоне горы. Пурпуровые граниты, этот костяк земли, казалось, стали красны от солнца; я шел медленно, счастливый, как, должно быть, счастливы ящерицы на раскаленных камнях, когда вдруг заметил, что со склона ко мне спускаются, не видя меня, двое влюбленных, охмелевших от своего блаженного сна.

Они были милы, прелестны, эти два существа; взявшись за руки, они рассеянной походкой сходили вниз в полосах солнца и тени, которыми был испещрен покатый склон.

Она показалась мне очень изящной и очень простой в сером дорожном платье и смелой, кокетливой фетровой шляпке. Его я совсем не разглядел. Только заметил, что у него был вполне порядочный вид. Я сел за ствол сосны, чтобы посмотреть, как они будут проходить мимо. Не видя меня, они продолжали спускаться, держа друг друга за талию, безмолвно,— так любили они друг друга.

Когда я перестал их видеть, я почувствовал, что у меня сердце наполнилось тоской. Мимо меня близко-близко прошло счастье, которого я никогда не знал, смутно понимая, однако, что оно лучшее из возможных на свете. И я вернулся к бухте Агэ, почувствовав себя теперь слишком усталым, чтобы продолжать прогулку.

До вечера я лежал, растянувшись на траве, на берегу речки, а около семи пошел в гостиницу обедать.

Мои матросы предупредили хозяина, и он ждал меня. Стол для меня был накрыт в низенькой комнате, выбеленной известью, рядом с другим столом, за которым уже обедали, сидя друг против друга и смотря друг другу в самую глубину глаз, мои давешние влюбленные.

Мне было совестно стеснять их, словно я совершал что-то неприличное и гадкое.

Несколько секунд они внимательно смотрели на меня, потом заговорили вполголоса.

Трактирщик, давно знавший меня, взял стул и подсел ко мне. Он толковал о кабанах и кроликах, о хорошей погоде, о мистрале, об итальянском капитане, ночевавшем у него вчера, а затем, чтобы польстить мне, стал расхваливать мою яхту, черный кузов которой и высокую мачту с красно-белым вымпелом я видел в окно.

Мои соседи быстро поели и тотчас вышли. Я же медлил, любуясь на тонкий серп луны, распылявший свет по маленькому рейду. Наконец я увидел свою шлюпку; она подходила к берегу, разрезая неподвижное и бледное сияние, упавшее на воду.

Когда я спустился, чтобы сесть в лодку, я заметил, что влюбленные стоят на пляже и смотрят на море.

И, удаляясь под частые всплески весел, я все еще различал на берегу их силуэты, их прижавшиеся друг к другу тени. Они наполняли собою бухту, ночь, небо,— так струилась от них любовь, распространяясь по всему горизонту, придавая им великое и символическое значение.

И, взойдя снова на корабль, я долго сидел на палубе, грустя неведомо над чем, сожалея неведомо о чем, не решаясь спуститься наконец в каюту, словно мне хотелось еще и еще вдохнуть хоть немного этой нежности, разлитой в воздухе вокруг них.

Вдруг одно из окон гостиницы осветилось, и я увидел профили их обоих. Тогда одиночество совсем подавило меня, и в теплоте этой весенней ночи, при легком плеске волн на песке, под тонким полумесяцем, падавшим в море, я почувствовал в сердце такую жажду любви, что чуть не закричал от отчаяния.

Потом мне стало стыдно этой слабости, и, не желая признаваться себе, что я такой же человек, как другие, я стал обвинять лунный свет, что он помутил мне рассудок.

Впрочем, я всегда полагал, что луна оказывает на человеческий мозг таинственное влияние.

Она заставляет поэтов расплываться мыслью, делает их пленительными или смешными и действует на нежность влюбленных, как катушка Румкорфа на электрические токи. Человек, нормально любящий при свете солнца, неистово обожает при луне.

Как-то раз одна молодая и прелестная женщина убеждала меня, не помню по какому поводу, что солнечные удары в тысячу раз менее опасны, чем лунные. Они незаметно поражают во время прогулок в восхитительные ночи, говорила она, и от них уже никогда не выздороветь: люди остаются сумасшедшими, но не буйными, которых нужно запирать, а больными особым безумием, сладким и постоянным; они уже ни о чем не могут думать так, как другие.

Несомненно, в этот вечер я получил лунный удар, потому что чувствую себя безрассудным и словно в бреду, а тоненький месяц, спускающийся к морю, волнует меня, разнеживает, раздирает мне сердце.

Что же в ней такого соблазнительного, в этой луне, скользящей по небу, в этом древнем умершем светиле с желтым лицом и тоскливым покойницким светом, почему она так нас смущает, нас, волнуемых блуждающей мыслью?

Любим ли мы ее за то, что она мертва, как об этом говорит поэт Арокур?

Потом был русый век ветров и остываний.
Луна наполнилась волной живых роптаний:
Все было у нее — и реки без числа,
И глубь морей, стада и грады, смех и стоны,
Была любовь, был бог, искусство и законы —
Все постепенно тень взяла [1].

Любим ли мы ее потому, что поэты, кому мы обязаны вечной иллюзией, окутывающей нас в этой жизни,

[1] Стихотворные отрывки переведены Георгием Шенгели.

смутили наш взор всеми образами, привидевшимися им в ее лучах, научили нас на тысячу ладов, всею нашею экзальтированной чувствительностью понимать то однообразное и нежное воздействие, которое она, блуждая, оказывает на мир?

Когда она подымается из-за деревьев, когда она льет свой трепетный свет на струящуюся реку, когда она роняет сияние сквозь ветви на усыпанные песком аллеи, когда она одиноко восходит в черном и пустом небе, когда она спускается к морю, расстилая по его поверхности, волнистой и текучей, огромную световую полосу,— разве нас не осаждают все прекрасные стихи, навеянные ею великим мечтателям?

Когда мы идем с веселым сердцем ночью и вдруг увидим ее, совсем круглую, круглую, как желтый глаз, следящий за нами, и примостившуюся как раз над крышей,— в нашей памяти начинает петь бессмертная баллада Мюссе.

И разве не он, поэт-насмешник, тотчас показывает нам ее такой, какою он увидел ее своими глазами?

Ночь веет желтой мглою;
Вот башня, в забытьи,—
С луною,
Как точкою над i.

Какой угрюмый гений
На нитке вздернуть мог
Сквозь тени,
Луна, твой диск иль рог?

Когда в тоскливый вечер мы гуляем по освещенному ею пляжу на берегу океана, не начинаем ли мы почти невольно читать вслух эти два стиха, такие значительные и меланхолические?

Луна бродячая, одна в дали морской,
Гладь черных вод кропит серебряной слезой.

Когда мы просыпаемся в постели, освещенной длинным лучом, проникающим через окно, разве не кажется нам, что к нам спускается белая фигура, вызываемая в воображении Катюлем Мендесом?

Она сходила к нам, сжимая стебли лилий,
И плавные лучи тропинкой ей служили.

Когда вечером, гуляя в полях, мы вдруг услышим, как на какой-нибудь ферме протяжно и зловеще завоет собака, разве в нас не возникает вдруг воспоминание о *Ревунах,* великолепном произведении Леконта де Лиля?

Лишь бледная луна, прорезав толщу туч,
Лампадой мрачною свой зыблет грустный луч.
Клейменный яростью, туманно-лучезарный
Осколок, мертвый мир, весь поглощенный мглой,—
Она роняет вниз с орбиты ледяной
Свой отсвет гробовой на океан полярный.

Вечером, в час свидания, идешь тихонько по дороге, обнимая стан возлюбленной, сжимая ей руку и целуя ее в висок. Она слегка утомлена, слегка взволнована и идет усталой походкой. Показывается скамья под листвой, залитой тихою волною сладостного света.

Разве не вспыхивают тогда у нас в сознании, в сердце, как пленительная песнь любви, два прелестных стиха?

И пробудить, садясь, тот блик печальный,
Тот лунный блик, что дремлет на скамье.

Можно ли смотреть на лунный серп, вырисовывающий свой тонкий профиль, как сегодня вечером, на широком, усеянном звездами небе, и не подумать в конце концов о шедевре Гюго, называющемся *Спящий Вооз?*

...И вопрошала Руфь,
Полуоткрыв глаза, смеженные дотоле,
Под легкою фатой застыв: — Какой же бог,
Жнец лета вечного, так беззаботно мог
Серп золотой забыть на этом звездном поле?

А кто когда-нибудь сказал лучше Гюго о нежной луне, покровительнице влюбленных?

Ночь пала; смолкло все; погашены огни;
Чуть слышно плакали ручьи в лесной тени,
И соловей в гнезде, на ветке потаенной,
Запел вдруг как поэт, запел вдруг как влюбленный,
Все скрылось в заросли, в листву густых кустов;
Безумицы, смеясь, скликали мудрецов;
Ушла любовница во тьму с любимым другом,
И, как во сне, полны смущеньем и испугом,
Они почуяли, как проливался в них,

В их речи тайные, в огонь их глаз живых,
В их чувства, в их сердца, в их нежную истому
Свет голубой луны, что плыл по окоему.

Я вспоминаю также великолепную молитву к луне, которой открывается одиннадцатая книга *Золотого осла* Апулея.

Но все-таки всех этих человеческих песен недостаточно, чтобы вселить нам в сердце ту сентиментальную грусть, какую внушает нам это бедное светило.

Мы жалеем луну, жалеем вопреки себе, неизвестно почему, неизвестно за что, и поэтому любим ее.

Нежность к ней смешана также с состраданием; мы жалеем ее, как старую деву, ибо, вопреки поэтам, смутно догадываемся, что она не мертва, а девственна.

Планеты, как и женщины, нуждаются в супруге, а бедная луна, отвергнутая солнцем, не осталась ли всего-навсего, как говорится, христовой невестой?

Вот почему ее робкий свет и наполняет нас неосуществимыми надеждами и недостижимыми желаниями. Все, что мы смутно и тщетно ожидаем здесь на земле, все это под бледными лучами луны тревожит нам сердце, как что-то бессильное и таинственное. Поднимая на нее глаза, мы трепещем от несбыточных грез и томимся невыразимой нежностью.

Тонкий, как золотая нить, серп полумесяца окунал теперь в воду свой острый конец; незаметно, медленно он погрузился до другого конца, такого тонкого, что я не увидел, как он исчез.

Тогда я перевел глаза на гостиницу. Освещенное окно только что закрылось. Тяжелое отчаяние раздавило меня, и я спустился в каюту.

10 апреля

Едва я разделся, как почувствовал, что не засну, и остался лежать на спине, закрыв глаза, с настороженным сознанием и вибрирующими нервами. Ни единого звука, ни близкого, ни отдаленного, не доносилось через тонкую деревянную перегородку; слышалось только дыхание двух моряков.

Вдруг что-то скрипнуло. Что? Не знаю, наверно, какой-нибудь блок в снастях; но этот звук был такой нежный, болезненный, жалобный, что все мое тело пронизало дрожью; затем — ничего, только великая тишина, идущая от земли к звездам; ничего — ни дуновения, ни шороха волны, ни вздрагивания яхты; ничего, но вдруг снова тот же непостижимый тоненький стон. Я слушал его, и точно зазубренное лезвие распиливало мне сердце.

Как иные звуки, иные ноты, иные голоса терзают нас, внезапно ввергая нам в душу всю боль, безумие и отчаяние, которые она только может вместить! Я вслушивался, выжидал, и еще раз услышал этот звук, как бы исходивший из меня самого, исторгнутый из моих нервов,— вернее, звучавший во мне как задушевный глубокий и горестный призыв. Да, это был жестокий голос, знакомый, ожидаемый голос, приводивший меня в отчаяние. Этот слабый и странный звук проносился надо мною как сеятель смятения и бреда, ибо он обладал властью тотчас же пробуждать ужасающее отчаяние, постоянно дремлющее в глубине сердца у каждого человека. Что это было? Это был тот голос, который бесконечно кричит у нас в душе, упрекает нас непрерывно, глухо и болезненно, голос, мучащий, изводящий, неведомый, неукротимый, незабываемый, свирепый, упрекающий нас за все, что мы сделали, и одновременно за все, что не сделали, голос смутных раскаяний, бесплодных сожалений, конченных дней, встреченных нами женщин, которые, может быть, полюбили бы нас, голос исчезнувших вещей, суетных радостей, умерших надежд, голос всего уходящего, всего бегущего, всего обманывающего, всего утраченного, всего недостигнутого и недостижимого, слабый тоненький голос, кричащий о неудаче жизни, о бесполезности усилий, о беспомощности разума и слабости плоти.

Своим коротким бормотанием, непрерывно возобновляющимся после угрюмых промежутков глухого ночного безмолвия, этот голос говорил мне обо всем, что я мог бы любить, обо всем, чего я смутно желал, ожидал, о чем грезил, обо всем, что мне хотелось бы увидеть, понять, узнать, испробовать, обо всем, чего

мой ненасытный, бедный и слабый ум касался в порыве напрасной надежды, обо всем, к чему он пытался улететь, не будучи в силах разорвать приковывающую его цепь неведения.

Ах, я жаждал всего, но ничем не насладился. Мне была бы нужна жизненная энергия целого народа, весь многоразличный разум, рассеянный во всех живых существах, все способности, все силы и тысяча существований в запасе, потому что я несу в себе все вожделения и все виды любопытства, а сам обречен на все смотреть и ничего не улавливать.

Отчего же мне причиняет страдание жизнь, в которой большинство людей находит только удовлетворение? Отчего эта неведомая, снедающая меня мука? Отчего не познавать мне действительных удовольствий, надежд и наслаждений?

Дело в том, что я ношу в себе второе зрение, составляющее одновременно и силу и несчастье писателей. Я потому пишу, что понимаю все существующее, что страдаю от него, что слишком его знаю, и более всего потому, что, не имея возможности им насладиться, я созерцаю его внутри себя, в зеркале своей мысли.

Пусть нам не завидуют, а жалеют нас, ибо вот чем писатель отличается от себе подобных.

Для него не существует больше никакого простого чувства. Все, что он видит, его радости, удовольствия, страдания, отчаяние — все мгновенно превращается для него самого в предмет наблюдения. Вопреки всему, вопреки своей воле он беспрерывно анализирует сердца, лица, жесты, интонации. Как только он что-нибудь увидал и что бы ни увидал, ему тотчас надо знать: а почему это? У него нет ни одного порыва, ни одного восклицания, ни одного поцелуя, которые были бы искренни, ни одного из тех непосредственных поступков, который совершают потому, что так нужно, совершают, не осознавая, не размышляя, не понимая, не отдавая себе отчета.

Если он страдает, он берет на заметку свое страдание и дает ему определенное место в своей памяти. Возвращаясь с кладбища, где он оставил того или ту, кого любил больше всего на свете, он думает: «Как странно

то, что я испытал; это было какое-то болезненное опьянение и т. д.». И тут он начинает припоминать все подробности: вид и позы стоявших рядом с ним людей, фальшивые жесты, фальшивую скорбь, фальшивые лица и тысячу незначащих мелочей,— наблюдения, доступные лишь художнику,— крестное знамение старушки, державшей за руку ребенка, луч света в окне, собаку, перебежавшую дорогу процессии, вид погребальных дрог под высокими кладбищенскими тисами, лицо факельщика, искаженные черты и напряженные тела четверых мужчин, опускавших гроб в могилу,— словом, тысячу вещей, которые всякий порядочный человек, страдающий всей душой, всем сердцем, всем существом, никогда бы и не заметил.

Он невольно все видел, все запомнил, все отметил, потому что он прежде всего писатель, потому что его ум устроен таким образом, что отражение звука у него гораздо сильнее, гораздо естественнее, если можно так выразиться, чем первое сотрясение; эхо у него более звонко, чем первоначальный звук.

У него словно две души: одна из них регистрирует, истолковывает и комментирует каждое ощущение своей соседки, обыкновенной, как у всех людей, души. И он живет, осужденный на то, чтобы всегда, при всяком случае, быть отражением самого себя и отражением других, осужденный наблюдать, как сам он чувствует, действует, любит, думает, страдает, и никогда не страдать, не думать, не любить, не чувствовать, как прочие люди — чистосердечно, искренне, попросту, не анализируя себя после каждой радости и каждого рыдания.

Когда он разговаривает, его речь кажется злословием исключительно потому, что мысль его прозорлива и он разнимает на части все скрытые пружины чувствований и действий других людей.

Когда он пишет, он не может удержаться, чтобы не включить в свои книги все то, что он понял, все, что знает; и тут нет исключений ни для родных, ни для друзей; с жестоким беспристрастием он обнажает сердца тех, кого любит или кого любил; он даже преувеличивает, чтобы достичь бо́льшего эффекта, заботясь только о своем произведении, но отнюдь не о своих привязанностях.

И если он любит, если он любит женщину, он вскрывает ее, как труп в больнице. Все, что она говорит, все, что делает,— все мгновенно взвешивается на этих тонких весах наблюдения, которые он носит в себе, и расценивается по своей документальной ценности. Бросится ли она ему на шею в бессознательном порыве, он разберет это движение со стороны его своевременности, правильности, драматической силы и молчаливо осудит его, почувствовав, что оно ложно или неудачно выполнено.

Одновременно актер и зритель в отношении самого себя и других, он никогда не бывает только актером, как бесхитростно живущие простые люди. Все вокруг него делается прозрачным, как стекло: сердца, поступки, тайные намерения,— и он болеет странной болезнью, каким-то раздвоением ума, отчего и становится существом, страшно вибрирующим, превращенным в механизм, сложным и утомительным для себя самого.

Свойственная ему особенная и болезненная чувствительность вдобавок превращает его как бы в человека с содранной кожей, для которого почти все ощущения оборачиваются страданием.

Я вспоминаю черные дни, когда мое сердце до такой степени разрывалось от зрелища, на секунду мелькнувшего передо мною, что воспоминание о виденном продолжает жить во мне, как незакрывшаяся рана.

Однажды утром на проспекте Оперы, среди весело движущейся толпы, опьяненной майским солнцем, я вдруг заметил неописуемое существо, согнутую в три погибели старушку, одетую в лохмотья, бывшие когда-то платьем, в черной соломенной шляпе, лишенной всех своих прежних украшений — лент и цветов, исчезнувших в незапамятные времена. Она шла, с таким трудом волоча ноги, что мое сердце чувствовало, не меньше ее самой, а может быть, и больше муку при каждом ее шаге. Две палки служили ей опорой. Она проходила, никого не видя, равнодушная ко всему — к шуму, к людям, к экипажам, к солнцу! Куда она шла? В какую конуру? Она несла что-то завернутое в бумагу и висевшее на бечевке. Что это было? Хлеб?

Да, наверно. Никто, ни один из соседей не мог или не захотел сделать за нее это путешествие, и она сама должна была предпринять ужасный переход из своей мансарды в булочную. Два часа пути туда и обратно по меньшей мере! И какая мучительная дорога! Какой крестный путь — страшнее, чем путь Христа!

Я перевел взгляд на крыши громадных домов. Идти ей туда наверх! Когда же она доберется туда? Сколько раз придется ей, задыхаясь, останавливаться на ступеньках черной извилистой лестницы?

Все оборачивались на нее. Бормотали: «Бедная женщина!» — и проходили мимо. Ее юбка, вся в лохмотьях, тащилась по тротуару, едва держась на тощем теле. И в этом теле жила мысль! Мысль? Нет, скорей невероятное, непрерывное, раздирающее страдание! О, эта нищета стариков, у которых нет хлеба, стариков, у которых нет ни надежд, ни детей, ни денег, ничего, кроме надвигающейся смерти,— думаем ли мы об этой нищете? Думаем ли мы о них, о стариках, голодающих по чердакам? Задумываемся ли мы над слезами этих мутных глаз, что были когда-то блестящими, возбужденными, радостными?

В другой раз, в дождливый день, я охотился один на нормандской равнине и шел по жирной, грязной земле обширных пашен, проваливавшейся и скользившей под моими ногами. Время от времени куропатка, прижавшаяся к комку земли и захваченная врасплох, тяжело взлетала под потоками ливня. Выстрел, заглушаемый льющейся, как из ведра, водою, еле звучал, подобно щелканью бича, и серая птица падала с кровью на перьях.

Мне было так тоскливо, что хотелось плакать, плакать, подобно этим облакам, плакавшим над миром и надо мною; тоска пронизывала меня до самого сердца, усталость одолевала меня до того, что я еле подымал облепленные глиной ноги. Я подходил уже к дому, когда среди поля, на дороге, пересекающей мой путь, заметил кабриолет доктора.

Гнедая лошадь тащила низкий черный экипаж с поднятым круглым верхом, и он двигался как призрак смерти, блуждающей по деревенскому простору в этот

зловещий день. Вдруг экипаж остановился; высунулась голова доктора, и он крикнул:

— Эй!

Я подошел к нему. Он сказал:

— Не поможете ли мне полечить дифтеритную больную? Я один, и надо бы ее подержать, пока я буду снимать пленки в горле.

— Я еду с вами,— ответил я и влез в его экипаж.

Он рассказал мне следующее.

Ангина, ужасная ангина, которая душит несчастных людей, забралась на ферму бедняков Мартине.

Отец и сын умерли в начале недели. Теперь умирали мать и дочь.

Соседка, ухаживавшая за ними, сама вдруг почувствовала себя плохо и вчера сбежала, оставив дверь открытой и покинув обеих больных на их соломенных тюфяках; им нечего было пить, они оставались одни, хрипя, задыхаясь, агонизируя, совершенно одни в течение целых суток!

Доктор очистил горло матери и дал ей пить, но ребенок, обезумевший от боли и доведенный до отчаяния удушьем, забился в солому и прятал голову, не давая дотронуться до себя.

Доктор, привыкший ко всяким бедам, повторял печальным и покорным голосом:

— Не могу же я просиживать у своих больных целыми днями. Черт побери! Они обе разрывают мне сердце. Подумать только: целые сутки ничего не пили. Ветер доносил дождь до самых их кроватей. Все куры забились в печь.

Мы подъехали к ферме. Он привязал лошадь к суку яблони перед дверью, и мы вошли.

Резкий запах болезни и сырости, лихорадки и плесени, больницы и погреба захватил нам горло. В этом нетопленном, безжизненном, сером и мрачном доме было холодно, холодно, как в болоте. Часы остановились; дождь лил через широкую печную трубу; куры рассыпали повсюду золу из печи; из темного угла слышался шум хриплого и частого дыхания. Это дышала девочка.

Мать, лежавшая на чем-то вроде большого деревянного ящика — обычной крестьянской кровати, и на-

крытая ветхими одеялами и ветхим рваньем, казалась спокойной.

Она слегка повернула голову к нам.

Доктор спросил:

— Есть у вас свеча?

Она ответила слабым, сдавленным голосом:

— В буфете.

Он зажег свет и повел меня в глубь помещения, к постели девочки.

Она тяжело дышала, щеки ее ввалились, глаза блестели, волосы спутались; она была страшна. На ее худой, напряженной шее образовывались при каждом вдохе глубокие ямки. Она лежала на спине, сжимая обеими руками покрывавшие ее лохмотья, и как только увидела нас, повернулась, чтобы спрятать лицо в тюфяк.

Я взял ее за плечи, а доктор, заставив ее раскрыть рот, вытащил из горла большую беловатую пленку, показавшуюся мне сухой, как кусок кожи.

Девочке сразу стало легче дышать, и она немного отпила. Мать, приподнявшись на локте, смотрела на нас. Она пробормотала:

— Готово?

— Да, готово.

— Мы так и останемся одни?

Голос ее дрожал от страха, от ужасного страха перед этим одиночеством, этой заброшенностью, темнотой и смертью, которую она ощущала так близко.

Я ответил:

— Нет, матушка, я подожду здесь, пока доктор пришлет вам сиделку,— и, обернувшись к врачу, сказал: — Пришлите тетку Модюи. Я заплачу.

— Отлично. Сейчас пришлю.

Он пожал мне руку, вышел, и я услыхал шум его кабриолета, удалявшегося по сырой дороге.

Я остался один с двумя умирающими.

Моя собака Паф улеглась перед черной печью и этим навела меня на мысль, что немного огня было бы всем нам кстати. Я вышел наружу поискать дров и соломы, и скоро вся комната осветилась сильным пламенем, до самого угла, где лежала девочка, снова начинавшая дышать с трудом.

Я уселся, вытянув ноги к огню.

Дождь хлестал в окна; ветер рвал крышу; я слышал короткое, резкое, свистящее дыхание обеих больных и дыхание моей собаки, которая, свернувшись перед сияющим очагом, вздыхала от удовольствия.

Жизнь! Жизнь! Да что же это такое? Эти две несчастные, которые всегда спали на соломе, ели черный хлеб, работали, как волы, страдали от всех напастей, какие только возможны на земле, теперь должны умереть! В чем же они провинились? Умер отец, умер сын. И, однако, эти бедняги слыли за хороших людей, которых любили и уважали, за простых честных людей!

Я смотрел, как идет пар от моих сапог, как спит моя собака, и меня охватила вдруг постыдная и чувственная радость от сравнения моей собственной судьбы с судьбою этих каторжников!

Девочка начала хрипеть, и вдруг мне стало непереносимо слушать ее дыхание: оно терзало меня, словно какое-то острие, удар за ударом входившее мне в сердце.

Я подошел к ней.

— Хочешь пить? — спросил я.

Она шевельнула головой в знак согласия, и я влил ей в рот немного воды, но она не могла проглотить.

Мать, остававшаяся более спокойной, повернулась, чтобы посмотреть на дочь. И вдруг меня обуял страх, жуткий страх, скользивший по коже, как прикосновение невидимого чудовища. Где я находился? Я уже сам не знал этого! Не сон ли это? Какой кошмар овладел мною?

Правда ли, что случаются подобные вещи, что люди так умирают? И я стал смотреть во все темные углы лачуги, словно ожидая увидеть в одном из них омерзительную, неописуемую, ужасающую фигуру, которая забилась туда и подстерегает человеческие жизни, чтобы убить их, загрызть, раздавить, задушить, которая любит красную кровь, воспаленные лихорадкой глаза, морщины и увядание плоти, седину и разложение.

Огонь угасал. Я подбросил дров и стал греть себе спину — так меня бросало в дрожь.

У меня, по крайней мере, была надежда умереть в хорошей комнате, где вокруг постели врачи, а на столах лекарства.

А эти женщины одни пробыли целые сутки в этой хижине без огня, хрипя на соломе!

Вдруг я услышал топот копыт и грохот экипажа; вошла сиделка, спокойная, довольная тем, что нашла работу, нисколько не удивленная этой нищетой.

Я оставил ей денег и убежал со своей собакой. Я спасался, как злоумышленник, убегал под дождем, все еще продолжая слышать хрип двух глоток, убегал к своему теплому дому, где меня ждали слуги, готовя мне вкусный обед.

Но я никогда этого не забуду, не забуду и множества других вещей, заставляющих меня ненавидеть землю.

Как мне хотелось бы порой перестать думать, перестать чувствовать, как бы хотелось жить, подобно животному, в светлой и теплой стране, в желтой стране, где нет грубой и яркой зелени, в одной из тех стран Востока, где засыпаешь без печали, где просыпаешься без горя, суетишься без забот, где любишь без тоскливого чувства, где едва ощущаешь собственное существование.

Я поселился бы в большом квадратном доме вроде огромного ящика, ослепительно сверкающего на солнце.

С террасы видно море, где проходят белые, подобные остроконечным крыльям, паруса греческих или мусульманских фелюг. Наружные стены почти без отверстий. Большой сад с тяжелым воздухом под зонтами пальм образует середину этого восточного жилища. Между деревьев бьет струя фонтана и рассыпается мелкими брызгами, ниспадая в просторный мраморный бассейн, дно которого усыпано золотым порошком. Я непрерывно купался бы там в промежутке между двумя трубками, двумя мечтами или двумя поцелуями.

У меня были бы красивые черные рабы, закутанные в легкие ткани; они быстро бегали бы босыми ногами по коврам, заглушающим шаги.

Стены были бы мягки и упруги, как женские груди, а на диванах, стоящих в каждой комнате по стенам, подушки всевозможных форм позволяли бы мне ложиться в любых положениях, какие только можно принять.

Потом, когда я уставал бы от упоительного отдыха, уставал бы от наслаждения неподвижностью и моей вечной мечтой, уставал бы от безмятежного благоденствия, я приказывал бы подвести к моей двери лошадь, белую или вороную, гибкую, как газель.

И я мчался бы вскачь на ее спине, впивая хлещущий и хмельной воздух, свистящий ветер бешеных галопов.

И я летел бы, как стрела, по этой многокрасочной земле, которая опьяняет взор своим видом, сладостным, как вино.

В тихий вечерний час я летел бы, обезумев от быстрой езды, к необъятному горизонту, окрашенному заходящим солнцем в розовый цвет. В сумерках все там становится розовым: опаленные горы, песок, одеяния арабов, дромадеры, лошади и палатки...

Розовые фламинго взлетают с болот в розовое небо; я испускал бы исступленные крики, купаясь в безграничности розового мира.

Я не видел бы больше, как вдоль тротуаров, оглушаемые грохотом фиакров по мостовой, сидят на неудобных стульях люди, одетые в черное, пьющие абсент и разговаривающие о делах.

Я ничего не знал бы о биржевых курсах, о политических событиях, о смене министерств, о всех бесполезных глупостях, на которые мы тратим наше короткое и обманчивое существование. К чему весь этот труд, эти страдания, эта борьба? Я отдыхал бы, защищенный от ветра в своем роскошном и светлом жилище.

У меня было бы четыре или пять жен в потайных, глухих помещениях, пять жен из пяти частей света, и они дарили бы мне сладость женской красоты, цветущей под всеми широтами.

Крылатая мечта еще витала перед моими закрытыми глазами в начинавшем успокаиваться мозгу, когда я услышал, что матросы проснулись, зажгли фонарь на

мачте и принялись за какую-то длительную и молчаливую работу.

Я крикнул им:

— Что вы там делаете?

Ремон ответил нерешительным голосом:

— Готовим перемет, сударь. Мы подумали, что вам доставит удовольствие половить рыбу на восходе, если погода будет хорошая.

Действительно, Агэ в течение лета — сборный пункт рыбаков всего побережья. Сюда приезжают семьями, ночуют на постоялом дворе или в лодках и едят буйабес на берегу моря, в тени сосен, смола которых потрескивает на солнце.

Я спросил:

— Который час?

— Три часа, сударь.

Тогда я, не вставая, протянул руку и открыл дверь, отделяющую мою каюту от помещения для экипажа.

Оба матроса сидели, согнувшись, в чем-то вроде низкой ниши,— через нее проходит мачта, укрепленная внизу на кильсоне,— в нише, настолько загроможденной различными необычайными предметами, что она походит на воровской притон: по дощатым стенам развешаны в порядке всякого рода инструменты, пилы, топоры, шилья, свайки и кастрюли, а на полу, между двумя койками, стоят ведро, печурка, бочонок, медные обручи которого сверкают под падающим на них лучом фонаря, подвешенного между якорными битенгами, возле якорных цепей; мои матросы были заняты насаживанием бесчисленных крючков на веревку перемета.

— В котором часу мне встать? — спросил я их.

— Да уже пора, сударь.

Через полчаса мы все трое садились в шлюпку и отчаливали от *Милого друга,* чтобы протянуть перемет у подножия Драммона, около Золотого острова.

Когда наш перемет, длиною от двухсот до трехсот метров, был опущен в глубину моря, мы насадили приманку на три небольших удочки-донки, спустили со шлюпки вместо якоря камень, привязанный к веревке, и начали удить рыбу.

Уже рассветало; я отчетливо различал берег Сен-Рафаэля, близ устья Аржанса, и темные Мавританские горы, бегущие до самого мыса Камара́, и открытое море за заливом Сен-Тропез.

Из всей Ривьеры я больше всего люблю этот уголок. Я люблю его, словно я тут родился, словно тут вырос, люблю, потому что он дик и красочен, потому что парижанин, англичанин, американец, светский господин и богач-спекулянт еще не изгадили его.

Вдруг леска, которую я держал в руке, дернулась; я вздрогнул; потом ничего, потом опять легкое сотрясение веревки, намотанной на палец, потом еще раз, уже сильнее, так что мне встряхнуло всю кисть руки; сердце мое забилось, и я потихоньку, с трепетом начал вытаскивать леску, пронизывая взглядом прозрачную голубую воду, и скоро заметил в тени, отбрасываемой лодкой, сверкающую молнию, быстро описывавшую кривые.

Рыба как будто была огромная, но в лодке она оказалась величиной с сардинку.

Затем стали попадаться и другие: синие, красные, желтые и зеленые, сверкающие, серебристые, полосатые, золотистые, в мелких и крупных пятнах — все эти красивые рыбы, живущие у скалистых берегов Средиземного моря, столь разнообразные, столь пестрые по своим цветам, что они кажутся нарочно раскрашенными, чтобы пленять глаза; потом попались щетинистые ельцы и безобразные чудовища — мурены.

Нет ничего забавнее, чем тащить перемет. Что-то появится из моря? Какая неожиданность, радость или разочарование каждый раз, как вытаскиваешь из воды новый крючок! Какое волнение, когда замечаешь в глуби бьющуюся крупную рыбу, которая медленно поднимается к нам!

В десять часов мы вернулись на яхту, и оба матроса с сияющими лицами сообщили, что наш улов весил одиннадцать кило.

Но мне пришлось расплатиться за ночь без сна! Мною завладела мигрень — ужасный недуг, который истязает людей, как не умела истязать никакая пытка, разламывает голову, доводит до безумия, пугает мыс-

ли, рассеивает память, как пыль по ветру,— и я должен был растянуться на кушетке, держа у носа пузырек с эфиром.

Через несколько минут мне почудилось, что я слышу неясный шум, который скоро превратился в какое-то гуденье, и мне стало казаться, что все мое тело изнутри становится легким, легким, как воздух, что оно испаряется.

Потом душа моя оцепенела и погрузилась в дремотное блаженство, несмотря на то, что боли не унимались, хотя и утратили свою остроту. Теперь это было одно из тех страданий, какие можно терпеть, а не та ужасная, исступленная боль, против которой восстает все наше измученное тело.

Вскоре странное и чудесное ощущение пустоты, появившееся у меня в груди, распространилось до конечностей, которые, в свою очередь, стали легкими, совсем легкими, словно мясо и кости растаяли и осталась только кожа, одна кожа, необходимая, чтобы воспринимать прелесть жизни и лежания в этом блаженном покое. Я заметил тогда, что больше не страдаю. Боль исчезла, она тоже растаяла, испарилась, и я услышал голоса, четыре голоса — два диалога, в которых я не мог разобрать ни слова. Иногда это были только неясные звуки, иногда до меня долетали отдельные слова. Однако я понял, что это был просто ритмичный гуд у меня в ушах. Я не спал, я бодрствовал, понимал, чувствовал, рассуждал с необычайной ясностью, глубиной, силой мысли,— и какая-то духовная радость, какое-то странное опьянение возникали от этого удесятерения моих мыслительных способностей.

Это не были грезы, навеваемые гашишем, это не были те слегка болезненные видения, какие вызывает опиум; это было изумительное обострение рассудка, новый способ видеть, судить, оценивать вещи и жизнь, связанный с уверенностью, с абсолютным убеждением в том, что именно этот способ единственно правилен.

И старый образ священного писания внезапно пришел мне на память. Мне показалось, что я вкусил от древа познания, что все тайны разоблачены для меня — до такой степени я был во власти новой, стран-

ной и неотразимой логики. И целым роем наплывали доводы, рассуждения, доказательства, немедленно опровергаемые другими, еще более вескими доказательствами, рассуждениями, доводами. Моя голова стала полем битвы для мыслей. Я был высшим существом, вооруженным непобедимым разумом, и испытывал изумительное блаженство от сознания своего могущества...

Это продолжалось долго-долго. Я по-прежнему нюхал горлышко пузырька с эфиром. Вдруг я заметил, что пузырек опустел. И боль возобновилась.

В течение десяти часов я должен был терпеть эту пытку, против которой нет никаких средств, потом заснул, а на следующий день, чувствуя себя бодрым, как после выздоровления, я написал эти несколько страниц и отплыл в Сен-Рафаэль.

Сен-Рафаэль, 11 апреля

Мы прибыли сюда, пользуясь восхитительной погодой, легким западным бризом, который пригнал нас шестью галсами. Когда мы обогнули мыс Драммон, я увидал виллы Сен-Рафаэля, укрывшиеся среди елей — маленьких тощих елей, которые целый год треплет ветром, непрерывно дующим со стороны Фрежюса. Затем я прошел между Львами — красивыми красными скалами, которые словно охраняют город, и проник в гавань, занесенную в глубине песком, что не позволяет подходить к набережной ближе, чем на пятьдесят метров; затем я спустился на берег.

Перед церковью было большое скопление народу. Там происходило венчание. С торжественной важностью священник вещал по-латыни одобрение животному акту, возвышенному и комическому, так сильно волнующему людей, заставляющему их столько смеяться, столько страдать, столько плакать. По обычаю, семьи пригласили всех своих родственников и всех своих друзей на эти похороны девичьей невинности, на это непристойное и благочестивое зрелище, во время которого священник дает советы, предшествующие советам матери, и публично благословляет то, что обычно скрывают так тщательно и стыдливо.

Вся округа пришла туда с игривыми мыслями, побуждаемая скромным и шаловливым любопытством, притягивающим людей к такого рода зрелищам, пришла посмотреть, как будут держать себя молодые. Я вошел в толпу и стал разглядывать ее.

Боже, как уродливы люди! В сотый раз, по крайней мере, я убеждался на этом празднике, что человеческая порода — самая отвратительная из всех животных пород. Здесь к тому же был разлит запах толпы, сладковатый и тошнотворный запах грязного тела, жирных волос и чеснока, этот запах чеснока, который жители Юга распространяют вокруг себя через рот, через нос и через кожу, как льют свой аромат розы.

Конечно, люди всегда одинаково уродливы и всегда одинаково скверно пахнут, но наши глаза, привыкшие видеть их, наш нос, привыкший их обонять, замечают их безобразие и источаемый ими запах лишь после того, как мы в течение некоторого времени лишены были их вида и вони.

Человек ужасен! Чтобы составить галерею гротесков, способную рассмешить и мертвеца, достаточно взять первый десяток встречных, поставить их в ряд и сфотографировать все их неодинакового роста фигуры, их слишком длинные или слишком короткие ноги, слишком толстые или слишком худые туловища, их лица, красные или бледные, бородатые или бритые, с улыбающимся или серьезным выражением.

Когда-то, в первые времена существования мира, дикий человек, сильный и нагой, был так же прекрасен, как лошадь, олень или лев. Благодаря упражнению мышц, свободной жизни, постоянному применению своей силы и ловкости сохранялась у него прелесть движений — первое условие красоты — и изящество форм, которое дается только физическим трудом. Позднее художественно одаренные народы, влюбленные в пластическую красоту, сумели сохранить в умственно развитом человеке эту грацию и это изящество при помощи ухищрений гимнастики. Уход за телом, игры, основанные на силе и гибкости, ледяная вода, горячие бани сделали из греков настоящие образцы человеческой красоты, и они оставили нам свои статуи как на-

зидание, чтобы мы знали, чем были тела этих великих художников.

Но теперь! О Аполлон, посмотрим теперь на людей, когда они собираются в праздничные толпы! Дети, пузатые с колыбели, потерявшие стройность из-за ранних учебных занятий, отупевшие от школы, которая физически истощает их к пятнадцати годам, приводя в изнеможение их ум раньше, чем он успеет созреть, становятся юношами и девушками с неправильными, дурно развитыми телами, в которых естественные пропорции никогда не сохранены.

А посмотрим на людей, семенящих по улице в своем грязном платье! А крестьяне! Господи боже мой! Взглянем на крестьянина в поле: не человек, а коряга, узловатый, долговязый, как жердь, всегда скрюченный, сгорбленный; он уродливее, чем типы дикарей, которых можно видеть в антропологических музеях.

И вспомним, как прекрасны телом, если не лицом, негры, эти большие и гибкие бронзовые люди, как изящно телосложение арабов и их осанка!

Впрочем, у меня и другое основание питать отвращение к толпе.

Я не могу бывать в театре, не могу присутствовать на публичных торжествах. Я сразу чувствую странное, невыносимое недомогание, ужасное нервное раздражение, словно мне приходится напрягать всю свою силу для борьбы с неотразимым и таинственным влиянием. И я действительно борюсь с душою толпы, пытающейся проникнуть в меня.

Сколько раз я приходил к выводу, что ум возрастает и возвышается, как только начинаешь жить в одиночестве, и что он снижается и мельчает, как только снова смешиваешься с другими людьми. Общение, распространяемые кругом идеи, то, что говорят, то, что бываешь вынужден слушать и понимать, на что должен отвечать,— все действует на мысль. Прилив и отлив идей совершается из одной головы в другую, из дома в дом, из улицы в улицу, из города в город, от народа к народу,— и в результате устанавливается средний уровень ума для любого многочисленного скопления индивидуумов.

Качества умственной инициативы, свободы суждения, мудрой рассудительности и даже проникновенности, свойственные человеку в одиночестве, обычно пропадают, как только этот человек смешивается с множеством других людей.

Вот отрывок из письма лорда Честерфилда (1751) к сыну, с редким смирением констатирующий это внезапное исчезновение активных способностей разума во всяком многочисленном собрании:

«Лорд Макклезфилд, принимавший самое близкое участие в подготовке билля, один из самых крупных английских математиков и астрономов, говорил после меня с глубоким знанием дела и со всей ясностью, какая только возможна, в таком запутанном вопросе. Но так как его слова, построение периодов и приемы красноречия значительно уступали моим, то предпочтение было единодушно отдано мне и, признаюсь, весьма несправедливо. Так будет всегда. Всякое многочисленное собрание есть толпа; кто бы ни были составляющие ее индивидуальности, с этой толпой никогда не следует говорить языком чистого рассудка. Обращаться следует только к ее страстям, к ее чувствам, к ее очевидным интересам.

Коллектив индивидуумов уже не обладает способностью понимания и т. д.».

Это глубокое наблюдение лорда Честерфилда, наблюдение, которое, кстати сказать, часто делают и с интересом отмечают также философы научной школы, является одним из самых серьезных доводов против представительного правительства.

То же явление, поразительное явление, происходит каждый раз, как собирается большое количество народу. Все эти люди, оказавшиеся друг с другом рядом, различные, не сходные по своим умственным способностям, по развитию, по своим страстям, по воспитанию, по верованиям, по предрассудкам, внезапно, в силу одного только факта совместного пребывания, образуют некое особое существо, наделенное собственной душою, новым и общим для всех способом мыслить, который является не поддающимся анализу результатом, вытекающим из средней арифметической индивидуальных мнений.

Это — толпа, а толпа есть некто, некая огромная коллективная индивидуальность, столь же отличная от другой толпы, сколь один человек отличен от другого.

Народное выражение гласит, что «толпа не рассуждает». Но почему же толпа не рассуждает, если каждый отдельный человек в толпе рассуждает? Почему толпе свойственны непреодолимые побуждения, хищные желания, глупые увлечения, которых никто не остановит, и почему она, поддаваясь этим необдуманным увлечениям, совершает поступки, которых ни один из составляющих ее индивидов не совершил бы?

Какой-то неизвестный испускает крик, и вот всеми овладевает нечто вроде неистовства, и все в одном общем порыве, которому никто не пытается сопротивляться, увлекаемые одною и тою же мыслью, мгновенно ставшей общею им всем, невзирая на различие каст, мнений, верований и нравов, бросаются на человека, убивают, топят его без всякого основания, почти без всякого повода, в то время как каждый, будь он один, бросился бы, рискуя собственной жизнью, на спасение того, кого он убивает.

А вечером каждый, вернувшись домой, спросит себя, что за бешенство, что за безумие охватило его, внезапно заставив изменить своей природе и своему характеру, и как мог он уступить этому хищному побуждению?

Дело в том, что он перестал быть человеком и сделался частью толпы. Его личная воля смешалась с общей волей, подобно капле воды, распустившейся в реке.

Его личность исчезла, став мельчайшей частицей огромной и странной личности, личности толпы. Паника, охватывающая армию, мнения, которые, как ураган, увлекают целый народ, безумие плясок смерти — разве же это не захватывающие примеры того же самого явления?

В конечном итоге зрелище индивидуумов, объединяющихся в одно целое, не менее удивительно, чем зрелище образования одного тела из сцеплений молекул.

Этой тайной должны быть объяснены столь специфическая духовная природа зрительных зал, такое странное расхождение в оценках между публикой генеральной репетиции и публикой премьеры и между публикой премьеры и последующих спектаклей, изменение впечатлений от вечера к вечеру, ошибка общественного мнения, осуждающего такие произведения, как *Кармен,* на долю которых впоследствии выпадает громадный успех.

Впрочем, то, что я сказал о толпах, должно быть применено к обществу в целом, и тот, кто хотел бы сохранить абсолютную цельность своей мысли, гордую независимость своего суждения, кто хочет смотреть на жизнь, на человечество и на мир как свободный наблюдатель, стоящий выше всех предрассудков, всяких предвзятых мнений, всяких догматов, то есть выше всяких опасений,— тот должен был бы совершенно устранить себя от так называемых светских отношений, ибо всеобщая глупость настолько заразительна, что нельзя общаться с подобными себе, видеть и слышать их, не оказавшись вопреки своей воле захваченным со всех сторон их убеждениями, их мыслями, их суевериями, их традициями, их предрассудками, ударяющими рикошетом, их обычаями, их законами и их моралью, поразительной по своему лицемерию и подлости.

Те, кто пытается сопротивляться этим безостановочно действующим и принижающим влияниям, тщетно бьются в тонких, непреодолимых, бесчисленных и почти не ощутимых тенетах. А вскоре и прекращают борьбу от усталости.

Но вот в публике произошло движение, новобрачные должны были выйти. И внезапно я поступил, как все: я приподнялся на цыпочки, чтобы видеть, меня захватило желание посмотреть, глупое, низкое, отталкивающее желание, желание толпы. Любопытство моих соседей овладело мною, как опьянение; я был частью этой толпы.

Чтобы занять чем-нибудь остаток дня, я решил прокатиться на лодке по Аржансу. Эта река, почти неизвестная и восхитительная, отделяет Фрежюсскую равнину от диких Мавританских гор.

Я взял с собою Ремона, который на веслах провез меня вдоль обширного низкого пляжа до устья, оказавшегося недоступным для лодки и частью занесенного песком. Сообщение с морем было только по одному рукаву, но до того быстрому, до того кипящему пеной, обратными течениями и водоворотами, что мы не могли его преодолеть.

Тогда нам пришлось вытащить шлюпку на землю и пронести ее на руках через дюны к тому месту, где Аржанс образует нечто вроде очаровательного озера.

Среди болотистой зеленой местности, того яркого зеленого цвета, который свойствен деревьям, растущим в воде, река течет между берегов, настолько заросших зеленью, высокой и непроницаемой растительностью, что за ними почти не видны соседние горы; река непрерывно извивается, постоянно сохраняя свое сходство со спокойным озером и совершенно не позволяя увидеть или догадаться, что ее течение идет и дальше по этой тихой стране, пустынной и великолепной.

Как на низких равнинах севера, где ручьи прямо под ногами сочатся из земли, текут по ней и животворят ее, словно кровь, прозрачная ледяная кровь почвы, так и здесь также испытываешь необычное ощущение жизненного изобилия, свойственного всякой напитанной влагой местности.

Большие птицы с длинными свисающими ногами вылетают из камышей, протягивая в небо острый клюв; другие, широкие и увесистые, тяжело перелетают с берега на берег; третьи, маленькие и быстрые, носятся над самой водой, словно камни, брошенные рукою и делающие рикошеты. Горлицы — им нет числа — воркуют на вершинах деревьев или, кружась, порхают с дерева на дерево, словно обмениваясь любовными визитами. Чувствуется, что везде вокруг этих глубоких вод, на всей этой равнине до самой подошвы гор, есть еще вода, обманчивая, сонная и живая вода болот, большие зеркальные поверхности, где отражается небо, где скользят облака и откуда вздымаются разбросанные всюду купы причудливых камышей; прозрачная и плодоносная вода, где гниет жизнь, как дрожжи,

бродит смерть, вода, питающая лихорадки и миазмы, являющаяся одновременно и жизненным соком и ядом, привлекательно и прелестно разливающаяся над этим таинственным разложением. Воздух, вдыхаемый здесь, восхитителен, но он расслабляет, и он опасен. На всех откосах, разделяющих эти обширные спокойные лужи, во всех густых травяных зарослях кишмя кишит, лазает, скачет и ползает липкое и отталкивающее племя существ с ледяной кровью. Я люблю этих холодных и увертливых животных, которых все избегают и боятся: в них для меня есть что-то священное.

В часы заката болото опьяняет меня и сводит с ума. Оно, бывшее весь день большим молчаливым прудом, весь день усыпленное зноем, с наступлением сумерек становится феерической и сверхъестественной страной. В его спокойное и беспредельное зеркало падают тучи — тучи золотые, кровавые, огненные, они падают туда, окунаются, тонут, влачатся по воде. Они и там, вверху, в огромном воздушном пространстве, и внизу, под нами, такие близкие и неуловимые в этой мелкой водяной луже, сквозь которую, как щетина, прорастает острая трава.

Все дарованные миру краски, прелестные, разнообразные, опьяняющие, предстают перед нами с чарующей законченностью, изумительной яркостью, бесконечными оттенками вокруг листа водяной лилии. Все тона красного, розового, желтого, синего, зеленого, лилового — тут, в небольшом кусочке воды, где явлено нам все небо, все пространство, вся греза и где проносятся летающие птицы. В болотах на закате солнца есть и еще нечто. Я чувствую его как смутное обнаружение какой-то непознаваемой тайны первобытной жизни, которая возникла, может быть, из газового пузырька, всплывшего к исходу дня на каком-нибудь болотце.

Сен-Тропез, 12 апреля

Сегодня утром, около восьми часов, мы вышли из Сен-Рафаэля под сильным северо-западным бризом.

В заливе не было волн, но море белело от пены, белело, как намыленное: ветер, ужасный ветер из Фрежюса, дующий почти каждое утро, казалось, кидался

на него, стремясь сорвать с него кожу, и, подцепив ее, закручивал узкими гребешками в пену, которая затем разлеталась мелкими брызгами и тут же накоплялась вновь.

Жители порта уверили нас, что этот шквал спадет к одиннадцати часам, и мы решились пуститься в путь с тремя подогнутыми парусами и маленьким кливером.

Шлюпка была погружена на палубу, укреплена у основания мачты, и *Милый друг,* казалось, полетел, едва только отчалил от мола. Хотя парусов на яхте почти не было, я никогда еще не знал за ней такой быстроты бега. Казалось, она совсем не касается воды; нельзя было и предположить, что в своем широком киле глубиною в два метра она несет свинцовый брус весом в тысячу восемьсот килограммов и что балласт в ее кузове весит две тысячи килограммов, не считая всего, что у нас на борту,— снаряжения, якорей, цепей, причалов и инвентаря.

Я быстро пересек залив, в глубине которого находится устье Аржанса, и как только очутился под защитой высоких берегов, бриз почти совершенно упал. Здесь началась дикая, мрачная и величественная местность, еще называемая Мавританской областью. Это длинный гористый полуостров, одна береговая линия которого развертывается более чем на сто километров.

Сен-Тропез, расположенный при входе в этот замечательный залив, называвшийся раньше заливом Гримо,— столица этого маленького сарацинского царства, в котором почти все селения, построенные на вершинах остроконечных скал, защищавших их от нападений, еще полны мавританских построек с аркадами, узкими окнами и внутренними дворами, где выросли высокие пальмы, подымающиеся теперь выше крыш.

Если проникнуть пешком в глубину неизвестных долин этого странного горного массива, обнаружишь дикую до неправдоподобия страну, где нет путей, нет дорог, нет тропинок, нет деревень, нет жилищ.

Время от времени, после семи — восьми часов ходьбы, можно встретить хижину, нередко покинутую, а иногда обитаемую нищей семьей угольщика.

У Мавританских гор будто бы совершенно особое геологическое строение и ни с чем не сравнимая фло-

ра, как говорят, самая богатая в Европе; они поросли огромными лесами сосен, пробкового дуба и каштана.

Вот уже три года, как я совершил прогулку в глубь этой страны, к развалинам монастыря Шартрез-де-ла-Верн, от которых у меня осталось незабываемое воспоминание. Если завтра будет хорошая погода, я еще раз побываю там.

По морскому побережью из Сен-Рафаэля в Сен-Тропез идет новая дорога. Вдоль всего этого великолепного проспекта, проложенного сквозь леса с видом на несравненный морской берег, пытаются создать зимние лечебные станции. Первой запроектирована станция Сент-Эгюльф.

Место это очень своеобразно. Посреди елового леса, спускающегося к самому морю, во все стороны открываются широкие дороги. Нет еще ни одного здания — одни только просеки в чаще — будущие улицы. Вот площади, перекрестки, бульвары. На металлических дощечках написаны даже их названия: бульвар Рейсдаля, бульвар Рубенса, бульвар Ван-Дейка, бульвар Клода Лоррена. Невольно задаешься вопросом: при чем тут все эти художники? Как при чем? *Общество* сказало, как сказал господь, зажигая солнце: «Здесь будет лечебная станция художников!»

Общество! Во всем остальном мире остается неизвестным, сколько с этим словом связано надежд, опасностей, денег, нажитых или потерянных на средиземноморских берегах! *Общество!* Таинственное, роковое, многозначительное, обманчивое слово!

Здесь, однако, *Общество* как будто начинает осуществлять свои надежды, потому что у него уже есть покупатели, и притом покупатели высокого сорта, из среды художников. То здесь, то там можно прочесть: «Участок, купленный г-ном Каролюсом Дюраном», «Участок г-на Клерена», «Участок м-ль Круазетт» и т. д. И тем не менее... почем знать? Средиземноморским *Обществам,* вообще говоря, не везет.

Нет ничего потешнее этой бешеной спекуляции, приводящей к крупнейшим банкротствам. Кто-нибудь, выиграв случайно десять тысяч франков, покупает на десять миллионов земли по двадцать су за квадратный

метр, чтобы перепродать ее затем по двадцать франков. Намечают бульвары, проводят воду, строят газовый завод и ждут охотников. Охотники не являются, но разорение приходит.

Далеко впереди я замечаю башни и бакены, указывающие при входе в залив Сен-Тропез места волнорезов у обоих берегов.

Первая башня называется башней Сардино и отмечает настоящий скалистый риф у самой поверхности воды; некоторые скалы даже высовывают наружу свои темные головы; вторая носит название Бализ-де-ла-Сэш.

Мы подъезжаем теперь ко входу в залив; он врезается далеко в глубь материка и окаймлен по обоим берегам гористыми, покрытыми лесом откосами вплоть до деревни Гримо, выстроенной на одной из горных вершин, в самом конце. Там виднеется старинный замок Гримальди; эта высокая руина высится над деревней и предстает в дымке каким-то видением из сказочной страны.

Ветра как не бывало. Залив похож на огромное спокойное озеро, и мы проникаем туда, пользуясь последними дуновениями утренней бури. Вправо от прохода смотрится в воду Сент-Максим — маленький белый порт, дома которого отражаются в море крышами вниз и видны в нем так же четко, как на берегу. Напротив появляется Сен-Тропез, защищенный старинным фортом.

В одиннадцать часов *Милый друг* причаливает к набережной рядом с маленьким пароходиком, совершающим рейсы до Сен-Рафаэля. Это бывшая прогулочная яхта *Морской Лев,* которая вместе со старым почтовым дилижансом, пробирающимся ночью по единственной дороге через горы, является единственным средством сообщения жителей этого маленького уединенного порта с остальным миром.

Эта гавань — одна из прелестных и простых дочерей моря, один из хороших, скромных маленьких городков, которые вырастают в воде, подобно раковинам, питаются рыбой и морским воздухом и рожают матросов. Над гаванью высится бронзовая статуя Бальи де Сюффрена.

Здесь пахнет рыбным уловом, горящей смолой, рассолом и кузовами лодок. На уличных мостовых блестят, как жемчуг, чешуйки сардин, а на каменных скамьях вдоль стен порта греется на солнце множество хромых и параличных старых моряков. Время от времени они заводят разговор о прошлых плаваниях и о тех, кого они знавали когда-то, — о дедах бегающих здесь ребят. Их лица и руки сморщились, задубились, потемнели, высохли от ветров и усталости, от водяных брызг, от экваториальной жары и холода северных морей, ибо они видели, блуждая по океанам, весь мир с лица и с изнанки, оборотную сторону всех стран и всех широт. Перед ними проходит, тяжело опираясь на палку, бывший капитан дальнего плавания, начальствовавший на *Трех сестрах,* или на *Двух друзьях,* или на *Мари-Луизе,* или на *Юной Клементине.*

Все приветствуют его, как солдаты на перекличке, и слова: «Здравствуйте, капитан» — звучат акафистом, модулированным на разные тона.

Здесь морская страна, честный маленький городок, пропитанный солью, храбрый, бившийся когда-то с сарацинами, с герцогом Анжуйским, с берберийскими корсарами, с коннетаблем Бурбонским, с Карлом V, с герцогом Савойским и герцогом д'Эперноном.

В 1637 году его жители, предки нынешних мирных горожан, без всякой посторонней помощи отразили испанскую флотилию. С тех пор здесь каждый год с удивительным старанием воспроизводят зрелище этой атаки и защиты, что наполняет весь город толкотней и шумом и странно напоминает большие народные забавы средневековья.

В 1813 году город таким же образом отразил посланную против него английскую эскадрилью.

Теперь здесь ловят рыбу. Ловят тунцов, сардины, морских волков, лангустов — все породы прелестных рыб этого голубого моря; городок один кормит немалую часть побережья.

Я привел себя в порядок, сошел на набережную, когда на часах било полдень, и увидел двух служащих, писцов какого-нибудь нотариуса или адвоката, шедших обедать; они были похожи на престарелых рабочих во-

лов, которых ненадолго распрягли, чтобы дать им поесть овса из холщового мешка.

О свобода, свобода! Единственное счастье, единственная надежда, единственная мечта! Из всех несчастливцев, из всех классов людей, из всех разрядов трудящихся, из всех индивидов, которым приходится изо дня в день вести жестокую борьбу за существование, эти люди наиболее достойны жалости, наиболее обездолены.

Этому не верят. Этого совсем не знают. У них нет сил жаловаться; они не смеют возмутиться; руки их связаны, а рот заткнут нищетой, позорной нищетой чернильных душ!

Они учились, знают юридические науки, они, быть может, бакалавры.

Как мне нравится это посвящение Жюля Валлеса:

«Всем тем, кто, вскормленные греческим и латынью, умерли с голоду».

Знает ли кто-нибудь, сколько зарабатывают эти бедняки? От восьмисот до полутора тысяч франков в год!

Служащие темных контор, служащие министерских департаментов, вы, наверно, каждый день читаете на двери своей мрачной тюрьмы знаменитую фразу Данте:

Оставь надежду всяк, сюда входящий!

Туда попадают в двадцать лет и остаются до шестидесяти и больше, и за все это долгое время ничего не случается. Вся жизнь проходит в маленьком темном служебном помещении, сохраняющем все тот же вид, с теми же зелеными папками. Туда входят молодыми, в час бодрых надежд. Оттуда выходят стариками, которым осталось умирать. Вся та жатва воспоминаний, которую доставляет нам жизнь, — неожиданные события, нежная или трагическая любовь, полные приключений путешествия, все случайные повороты судьбы, свойственные свободному существованию,— неизвестна этим каторжникам.

Все дни, все недели, все месяцы, все времена года и все годы похожи друг на друга. В тот же час приходят на службу, в тот же час завтракают, в тот же час уходят домой — и так от двадцати до шестидесяти лет.

Только четыре события являются заметными датами: женитьба, рождение первого ребенка, смерть отца, смерть матери. И больше ничего, — простите: еще повышения по службе. Об обычной жизни, о мире они ничего не знают! Они не знают даже веселых солнечных дней на улице, не знают, что такое бродить по полям, потому что никогда не могут уйти ранее положенного часа. Они становятся узниками в восемь часов утра; тюрьма выпускает их в шесть часов вечера, когда уже близка ночь. Но в награду за это они получают полное право, — впрочем, право, которое оспаривают, из-за которого торгуются, которым попрекают, — просиживать дома две недели в году. Ибо куда они могут поехать без денег?

Плотник взбирается к самому небу, извозчик рыскает по улицам, машинист поезда мчится через лес, равнины, горы, мчится беспрестанно от городских стен к широкому голубому горизонту морей. Служащий не выходит из своей конторы, этого гроба для живых; и в то же маленькое зеркало, в которое он смотрелся молодым, с белокурыми усами, в день своего первого прихода, он глядится облысевшим и седобородым в день, когда его выставляют вон. Тогда все кончается, жизнь замкнута, будущее закрыто. Как случилось, что это уже наступило? Как же можно было состариться так, без малейшего события в жизни, никогда не взволновавшись от чего-либо непредвиденного? И, тем не менее, это так. Уступайте место молодым, молодым служащим!

И приходится уходить, чувствуя себя еще более несчастным, и почти тотчас же умирать — из-за резкого перелома в давнишней и настойчивой привычке к одной и той же конторе, к одним и тем же движениям, к одним и тем же действиям, к одним и тем же обязанностям, исполняемым в одни и те же часы.

Когда я входил в гостиницу, чтобы позавтракать, мне передали пугающе большую пачку писем и газет, ожидавших меня, и сердце мое сжалось, как под угрозой несчастья. Я боюсь писем и ненавижу их: это узы. Когда я разрываю эти маленькие четырехугольники, на

которых стоит мое имя, мне кажется, что они гремят, как цепи, — как цепи, связывающие меня с живыми людьми, которых я знал или знаю.

Хотя они написаны разными почерками, но все говорят мне одно и то же: «Где вы? Что вы делаете? Почему вы исчезли, не сообщив, куда едете? С кем вы прячетесь?» В другом письме добавляли: «Как же вы хотите, чтобы к вам питали привязанность, если вы всегда бегаете от друзей; для них это даже оскорбительно...»

Ну, так пусть и не питают ко мне привязанности! Значит, никто не способен понять душевное расположение, к которому не присоединялась бы мысль об обладании и деспотизме? Выходит, что никакие отношения немыслимы, если они не сопровождаются обязательствами, обидчивостью и некоторой долей рабства. Как только вы ответили улыбкой на любезность неизвестного вам человека, этот неизвестный человек уже наседает на вас, беспокоится о том, что вы делаете, и упрекает вас, что вы пренебрегаете им. Если дело доходит до дружбы, то каждый воображает, что он приобрел какие-то права: отношения превращаются в обязанности, и узы, соединяющие людей, словно оканчиваются какими-то затяжными петлями.

Эта беспокойная приязнь, эта подозрительная, выслеживающая и цепкая ревность человеческих существ, встретившихся друг с другом и возомнивших, что раз они друг другу понравились, то они уже скованы какими-то цепями,— все это возникает только из мучительного страха перед одиночеством, преследующего людей на земле.

Каждый из нас, чувствуя вокруг себя пустоту, бездонную пустоту, в которой колотится его сердце, в которой бьется его мысль, бежит, как сумасшедший, раскрыв объятия, протянув губы, в поисках кого бы обнять. И он обнимается направо и налево с кем попало, не разбирая, не глядя, не понимая, только чтобы не быть одному. Он словно говорит, едва успев пожать руку другому человеку: «Теперь вы мне немного принадлежите. Вы должны мне какую-то частицу себя, своей жизни, своих мыслей, своего времени». Вот почему имеется столько людей, уверенных во взаимной

любви и совершенно не знающих один другого, столько людей, идущих рука об руку или слившись губами и не имевших даже времени друг друга разглядеть. Им нужно любить, чтобы не быть одинокими, любить по-дружески или с нежностью, но только любить навсегда. И они говорят об этом, клянутся, приходят в восторг, изливают все свое сердце другому неизвестному им сердцу, обретенному накануне, изливают всю свою душу душе случайного встречного, лицо которого им понравилось. Из этого торопливого порыва к общению и рождается столько недоразумений, разочарований, ошибок и драм.

Но как мы остаемся одинокими, несмотря на все усилия, так же мы остаемся свободными, несмотря на всю силу объятий.

Никто никогда не принадлежит другому. Этой кокетливой или же страстной игре в обладание предаются вопреки себе, но никогда не отдаются полностью. Человек, доведенный до отчаяния потребностью быть чьим-либо господином, учредил тиранию, рабство и брак. Он может убивать, мучить, держать в заключении, но человеческая воля всегда ускользает от него, даже тогда, когда она на некоторое время согласилась покориться.

Разве матери владеют своими детьми? Разве крохотное существо, едва выйдя из материнской утробы, не начинает кричать, чтобы сказать о своих желаниях, чтобы заявить о своем одиночестве и утвердить свою независимость?

Разве женщина когда-нибудь принадлежит вам? Разве вы знаете, о чем она думает, даже если обожает вас? Целуйте ее тело, упивайтесь ее губами. Но одного слова, вырвавшегося из ваших или из ее уст, одного только слова будет достаточно, чтобы породить между вами и ею неукротимую ненависть!

Всякое любовное чувство лишается своего очарования, как только становится властным. Мне приятно на кого-нибудь смотреть, с кем-нибудь говорить, но разве из этого следует, что мне позволено знать, что он делает и что любит?

Суетливость больших и малых городов, всех общественных групп, недоброе, завистливое, злословящее и

клевещущее любопытство, непрестанная забота об отношениях, о симпатиях другого, любовь к сплетням и скандалам — разве все это не основано на нашем притязании контролировать поведение других, словно эти другие в той или иной мере принадлежат нам? И мы в самом деле воображаем, что имеем права на них, на их жизнь, так как хотим, чтоб она протекала по образцу нашей собственной, на их мысли, так как требуем, чтобы строй их мыслей был таким же, как у нас, на их мнения, так как не терпим их отличия от наших, на их репутацию, так как желаем от нее соответствия нашим принципам, на их нравы, так как мы негодуем, если они не подчинены нашей морали.

Я завтракал в отеле Бальи де Сюффрен за длинным столом и продолжал читать свои письма и газеты, когда мое внимание было привлечено шумным разговором полудюжины людей, занимавших другой конец.

То были коммивояжеры. Они говорили обо всем с убеждением, с апломбом, с хвастливостью, с презрением и помогли мне ясно ощутить, что такое французская душа, то есть что такое средняя арифметическая умственного развития, рассудительности, логичности и остроумия во Франции. У одного из них, высокого мужчины с рыжими всклокоченными волосами, было две медали — военная и за спасение жизни; это был герой. Другой, маленький толстяк, непрерывно каламбурил, начиная хохотать во все горло раньше, чем кто-либо успевал его понять. Третий, с наголо остриженной головой, реорганизовывал армию и суд, реформировал законодательство и конституцию, рисуя республику, соответствующую его идеалам агента по сбыту вина. Двое сидевших рядом забавляли друг друга рассказами о своих любовных удачах, о похождениях в каморке за магазином или о победах над горничными.

Но я видел в них всю Францию, легендарную, остроумную, подвижную, храбрую и галантную Францию.

Эти люди были типами нашей страны, типами вульгарными, но стоило бы мне лишь слегка опоэтизировать их, как получился бы тот Француз, которого нам рисует история, эта восторженная, изолгавшаяся старая дама.

Наша народность действительно забавное явление

в силу присущих ей весьма особых качеств, которых нельзя найти ни у кого другого.

Такова прежде всего наша подвижность, живо разнообразящая наши нравы и учреждения. Эта подвижность делает прошлое нашей страны похожим на удивительный авантюрный роман, у которого *продолжение следует,* всегда таит в себе множество непредвиденного, драматического, комического, страшного или причудливого. Можно сердиться или негодовать, в зависимости от своих воззрений, но бесспорно то, что нет в мире истории более забавной и оживленной, чем наша.

С точки зрения чистого искусства — а почему не допустить эту специальную и незаинтересованную точку зрения в политике, как ее допускают в литературе? — наша история остается вне конкуренции. Что может быть любопытнее и удивительнее событий, совершившихся в ней хотя бы за последнее столетие?

Что ожидает нас завтра? Разве это ожидание непредвиденного, в сущности, не очаровательно? У нас все возможно, до самых неправдоподобных чудачеств и до самых трагических авантюр.

Что могло бы нас удивить? Страна, в которой были Жанна д'Арк и Наполеон, может считаться землей чудес.

А потом — мы любим женщин; мы любим их сильно, любим пылко и легкомысленно, умно и почтительно.

Нашу галантность нельзя сравнить ни с чем ни в какой другой стране.

Тот, у кого в сердце сохранилось пламя галантности последних столетий, тот окружает женщин глубокой нежностью, мягкой, взволнованной и вместе с тем живой. Он любит все, что касается их, что идет от них, любит их самих и все, что они делают. Он любит их туалеты, их безделушки, их драгоценности, их хитрость, их наивность, их вероломство, их ложь и их шалости. Он любит их всех, богатых и бедных, молодых и даже старых, брюнеток и блондинок, полных и худых. Он хорошо чувствует себя подле них, среди них. Он мог бы находиться при них сколько угодно, не утомляясь, не скучая, счастливый одним их присутствием.

С первых слов он умеет взглядом или улыбкой показать им, что он их любит, привлечь их внимание,

подстегнуть их желание нравиться, заставить их развернуть перед ним все свои соблазны. Между ними и им тотчас же устанавливается живая симпатия, инстинктивные товарищеские отношения, словно некое сродство характеров и натур.

Между ними и им начинается нечто вроде галантного, кокетливого сражения, завязывается таинственная и полная борьбы дружба, укрепляется смутная сердечная и духовная близость.

Он умеет сказать им то, что им нравится, заставить их понять свои мысли, и, никогда не шокируя, не задевая их хрупкого и чуткого целомудрия, дать им почувствовать затаенное и сильное желание, которое всегда горит в его взгляде, всегда трепещет на его устах, всегда пламенеет в его жилах. Он их друг и раб, исполнитель их капризов и восторженный их поклонник. Он готов по первому их зову помогать им, защищать их, как тайных союзников. Он счастлив был бы посвятить себя им — и тем, кого он мало знает, и тем, кого не знает совсем, и тем, кого никогда не видал.

Он не просит у них ничего, только немного ласкового расположения, немного доверия или интереса к себе, немного благосклонности или хотя бы вероломного лукавства.

На улице он любит женщину, прошедшую мимо него и скользнувшую по нему взглядом. Он любит девочку, которая, без шляпы, с голубым бантом в волосах и цветком на груди, с застенчивым или смелым взором, идет медленным или торопливым шагом сквозь толпу, заполняющую тротуары. Он любит незнакомок, которых нечаянно коснется локтем, маленькую продавщицу, замечтавшуюся в дверях лавки, красавицу, небрежно раскинувшуюся в открытой коляске.

Как только он встречается лицом к лицу с женщиной, у него трепещет сердце и настораживается ум. Он думает о ней, говорит для нее, старается ей понравиться и дать понять, что она нравится ему. На губах у него нежные слова, во взоре — ласка, ему хочется поцеловать ей руку, коснуться ткани ее платья. Для него женщины — украшение мира, они делают жизнь соблазнительной.

Он любит сесть у их ног ради одного удовольствия

так сидеть; любит встречаться с ними взглядом ради того только, чтобы попытаться уловить в нем их беглую и затуманенную мысль; любит слушать их голос единственно потому, что это голос женщины.

Из-за них, ради них француз научился болтать и быть всегда во всеоружии своего ума.

Болтать! Что это такое? Это нечто таинственное! Это искусство никогда не быть скучным, уметь о чем угодно сказать так, чтобы это возбудило интерес, уметь понравиться чем угодно, уметь прельстить любым пустяком.

Как определить это быстрое и легкое скольжение словами по вещам, это перебрасывание репликами, легкими, как теннисные мячи, этот обмен улыбками — все то, из чего состоит болтовня?

В целом свете только француз обладает остроумием, только он способен смаковать и понимать его.

У него есть остроумие мимолетное и остроумие, остающееся в веках, остроумие уличное и остроумие книжное.

То, что остается, — это остроумие в широком смысле слова, это то мощное дуновение иронии или веселости, которое разлито в нашем народе с тех пор, как он начал думать и говорить; это грозная горячность Монтеня и Рабле, это ирония Вольтера, Бомарше и Сен-Симона, это изумительный смех Мольера.

Прибаутка, меткое слово — только разменная монета остроумия. И, тем не менее, это еще одна новая сторона, совершенно особая черта нашего национального ума. Одно из самых больших его очарований. Она создает веселый скептицизм нашей парижской жизни, милую беззаботность наших нравов. Она составная часть нашей привлекательности.

Раньше таким забавам предавались в стихах, теперь — в прозе. Смотря по временам, они называются эпиграммами, остротами, хлесткими словцами, галльским остроумием. Они порхают по городу и по гостиным, они рождаются всюду — на бульварах и на Монмартре. И те, что рождаются на Монмартре, часто сто́ят рожденных на бульваре. Их печатают в газетах. Им смеется вся Франция из конца в конец. А мы умеем смеяться.

Почему именно одно слово, а не другое, непредвиденное, причудливое сочетание двух слов, двух мыслей или даже двух звуков, какой-нибудь шутливый оборот речи, какая-нибудь неожиданная чепуха, — почему открывают они шлюз нашей веселости, почему от них вдруг хохочут, да так, что смех, как взорвавшаяся мина, грохочет по всему Парижу и по всей провинции?

Почему французы будут смеяться, тогда как англичане и немцы даже не поймут, что̀ нас рассмешило? Почему? Единственно потому, что мы французы, что у нас французский ум, что мы обладаем пленительной способностью смеяться.

К тому же у нас достаточно быть немного остроумным, чтобы управлять. Веселый нрав заменяет гений, шутка освящает человека и возвеличивает его в глазах потомства. Все остальное мало значит. Народ любит тех, кто его забавляет, и все прощает тем, кто заставляет его смеяться.

Беглый взгляд на прошлое нашей родины позволит нам понять, что своей славой наши великие люди всегда обязаны были только удачному слову. Самые ненавистные властители стали популярными благодаря забавным шуткам, передаваемым из века в век и не подлежащим забвению.

Французский престол поддерживается девизами во вкусе детских песенок.

Слова, слова, одни только слова, иронические или героические, шутливые или плутовские, остаются на поверхности нашей истории и делают ее похожей на собрание каламбуров.

Хлодвиг, христианский король, слушая чтение страстей господних, воскликнул:

— Жаль, что там не было меня с моими франками!

Этот монарх, чтобы править одному, перерезал всех своих союзников и родственников, совершил все преступления, какие только можно вообразить. Он считается, однако, благочестивым государем, насадителем цивилизации.

Мы ничего не знали бы о добром короле Дагобере, если бы песня не сообщала нам несколько подробностей — конечно, недостоверных — о его существовании.

Пипин, желая отнять трон у короля Хильдерика, по-

ставил перед папой Захарием следующий коварный вопрос:

— Кто из двух более достоин царствовать — тот ли, кто с достоинством выполняет все королевские обязанности, не имея королевского титула, или тот, кто носит этот титул, не умея управлять?

Что знаем мы о Людовике VI? Ничего. Простите, вот что мы знаем. Когда во время Бреньвильской битвы один английский солдат схватил его, воскликнув: «Король взят!»,— этот властелин, настоящий француз, ответил:

— Разве ты не знаешь, что короля никогда нельзя взять, даже в шахматах?

Людовик IX, хоть и святой, не оставил нам ни одного слова, достойного запоминания. Потому-то его царствование и кажется нам отчаянно скучным, полным проповедей и покаяний.

Глуповатый Филипп VI, разбитый и раненный при Креси, стучался в ворота замка Арбруа, крича:

— Отворите, это — счастье Франции!

Мы до сей поры благодарны ему за эту мелодраматическую фразу.

Иоанн II, взятый в плен принцем Уэльским, сказал ему с рыцарской любезностью и с изысканностью французского трубадура:

— Я рассчитывал угостить вас сегодня ужином, но судьба решила иначе и хочет, чтобы я отужинал у вас.

Едва ли можно быть более любезным в беде.

— Не королю Франции мстить за обиды герцога Орлеанского, — великодушно заявил Людовик XII.

И в самом деле, это — настоящее королевское слово, которому надлежало бы остаться в памяти всех монархов.

Франциск I, скудоумный юбочник и неудачливый полководец, сохранил память о себе, окружив свое имя неувядаемой славой, когда написал своей матери после поражения при Павии эти великолепные слова: «Все потеряно, сударыня, кроме чести!»

Разве сейчас эти слова не кажутся нам прекрасными, как победа? Разве они не прославили этого монарха больше, чем покорение целого царства? Мы уже не помним даже по названию большинства великих битв

той далекой эпохи, но забудутся ли когда-нибудь слова: «Все потеряно, кроме чести»?

Генрих IV! Преклонитесь, господа, это мастер! Человек скрытный, скептический, лукавый, лицемерно-добродушный, хитрый, как никто, лживый до невероятия, развратник, пьяница, не веривший ни во что на свете, он сумел несколькими удачными словами составить себе в истории прекрасную репутацию короля-рыцаря, великодушного, храброго, честного и верного своему обещанию.

Ах, мошенник, как умел он играть на человеческой глупости!

— Повесься, храбрый Крийон, мы победили без тебя!

После таких слов каждый генерал всегда готов повеситься или убить себя ради своего повелителя.

Перед знаменитой битвой под Иври он сказал:

— Дети мои, если у вас не хватит флажков, следите за моим белым султаном: вы всегда увидите его на дороге чести и победы!

Мог ли не быть постоянным победителем тот, кто умел так говорить со своими командирами и войсками?

Ему, королю-скептику, хочется владеть Парижем, но надо выбирать между верой и прекрасным городом. «Ладно, — бормочет он, — Париж стóит обедни!» И он переменил религию, как сменяют платье. Однако не правда ли, что словечко заставляет принять самый факт? «Париж стóит обедни!» Это рассмешило умных людей, и слишком сердиться на него не стали.

Не сделался ли он патроном всех отцов семейства, когда спросил у испанского посланника, заставшего его за игрой с дофином в лошадки:

— У вас есть дети, господин посланник?

Испанец ответил:

— Да, государь.

— В таком случае я продолжаю, — сказал король.

Однако навеки покорил он французское сердце, сердце горожан и простого народа, самыми прекрасными словами, какие когда-либо произносил монарх, гениальными словами, полными глубины, простодушия, лукавства и великого смысла:

— Если бог продлит мою жизнь, я хочу, чтобы в

моем королевстве самый бедный крестьянин мог варить себе курицу по воскресеньям.

При помощи таких слов овладевают, управляют, властвуют над восторженными и наивными толпами. Двумя фразами Генрих IV обрисовал свое лицо для потомства. Нельзя произнести его имени, не представив себе тотчас же зрелища белого султана и запаха вареной курицы.

Людовик XIII ничего не сказал. У этого печального короля было печальное царствование.

Людовик XIV создал формулу личной абсолютной власти:

— Государство — это я!

Он выразил высшую меру королевской гордости в ее полном расцвете:

— Мне чуть было не пришлось ждать.

Он дал образец высокопарных политических фраз, создающий союзы народов:

— Нет больше Пиренеев.

Все его царствование в этих нескольких фразах.

Развращенный, изящный и остроумный король Людовик XV оставил нам плепительное свидетельство своей монаршей беззаботности:

— После нас хоть потоп!

Если бы Людовик XVI обладал способностью сказать удачное слово, он, может быть, спас бы монархию. Разве не мог бы он прибауткой избежать гильотины?

Наполеон I бросал пригоршнями слова, нужные тогда сердцам его солдат.

Наполеон III одной короткой фразой погасил на будущее весь гнев нации, когда пообещал:

— Империя — это мирная жизнь!

«Империя — это мирная жизнь!» Какое прекрасное утверждение! Какая великолепная ложь! Сказав это, он мог объявить войну всей Европе, не опасаясь ничего со стороны своего народа. Он нашел простую, четкую, сильно действующую формулу, способную поразить умы,— и факты уж не могли преодолеть ее.

Он воевал с Китаем, с Мексикой, с Россией, с Австрией, со всем миром. Что же из того? Некоторые люди и по сей день убежденно говорят о дарованном нам восемнадцатилетнем спокойствии.

Империя — это мирная жизнь!

Однако и г-н Рошфор тоже словами свалил империю, словами, которые были смертоноснее пуль; своими остротами он пронзал ее, кромсал и крошил в куски.

Даже маршал Мак-Магон оставил нам воспоминание о своей мимолетной власти:

— Я здесь — здесь и останусь!

И был, в свою очередь, опрокинут словом Гамбетты:

— Подчиняться или убираться!

Этими двумя глаголами — могущественней революции, грозней баррикад, непобедимее армии, страшнее всех голосований — трибун свалил солдата, раздавил его славу, уничтожил его силу и авторитет.

Что же касается тех, кто правит нами сегодня, — они падут, потому что у них нет остроумия; они падут, потому что в дни опасности, в дни свалки, в дни неизбежного расшатывания устоев они не сумеют рассмешить Францию и тем ее обезоружить.

Из всех этих исторических фраз не наберется и десятка подлинных. Но что за важность, если французы верят, что они были произнесены теми, кому приписываются.

В стране горбатых сам горбат
Родись
Или кажись,—

говорит народная песенка.

Между тем коммивояжеры перешли к вопросу об эмансипации женщин, к обсуждению их прав и нового места, на которое они претендуют в обществе.

Одни соглашались, другие сердились; маленький толстяк шутил непрерывно и закончил одновременно завтрак и дискуссию следующим довольно забавным анекдотом.

— Недавно в Англии, — сказал он, — состоялся большой митинг, посвященный этому вопросу. И вот один оратор, выставив большое количество доводов в защиту женщин, закончил свою речь словами:

«В конце концов, господа, ведь между мужчиной и женщиной очень маленькая разница».

Тогда из толпы послышался громкий, воодушевленный и убежденный голос:

«Да здравствует маленькая разница!»

Сен-Тропез, 13 апреля

Так как утро было превосходное, я отправился в Шартрез-де-ла-Верн.

Два воспоминания влекли меня к этим руинам: воспоминание чувства бесконечного одиночества и незабываемой грусти, навеянных заброшенным монастырем, и еще — о чете старых крестьян, к которым свел меня в прошлом году приятель, бывший моим проводником по стране мавров.

Я сел в шарабан, потому что дорога становится вскоре пригодной для рессорного экипажа, и сперва ехал вдоль залива до самого его конца. На противоположном берегу я заметил сосновый лес, в котором *Общество* пытается основать еще одну лечебную станцию. Правда, пляж здесь восхитителен и вся местность великолепна. Затем дорога углубляется в горы и вскоре проходит через местечко Коголен. Немного дальше я свернул на размытый проселок, напоминающий длинную ложбину. Вдоль него течет речка, или, вернее, большой ручей, который через каждые сто метров пересекает эту ложбину, затопляет ее, удаляется снова на небольшое расстояние, опять возвращается, еще раз сбивается с пути, покидает свое русло и заливает дорогу водой; потом он падает в ров, теряется среди камней и внезапно появляется вновь, укрощенный, чтобы на некоторое время опять вернуться в свое русло, но вдруг, по внезапному капризу, еще раз кидается на дорогу, превращая ее в болото, куда лошадь погружается по грудь, а высокий экипаж — по самый кузов.

Домов уже нет, лишь кое-где попадается хижина угольщиков. Самые бедные живут просто в норах. Можно ли себе представить, чтобы люди круглый год жили в норах, рубя лес и пережигая его ради добывания угля, питаясь хлебом да луком, утоляя жажду водой и ночуя, как кролики, в своих логовищах — в узких углублениях, выбитых в гранитной скале? Кстати, в этих неизведанных долинах недавно обнаружили

отшельника, настоящего отшельника, скрывающегося здесь в течение тридцати лет, неизвестного никому, даже лесникам.

О существовании этого дикаря, кем-то открытого, было, наверно, сообщено кучеру дилижанса. Он рассказал об этом смотрителю почтовой станции, тот поболтал об этом с заведующим или заведующей телеграфом, выразившей потом свое изумление репортеру какого-нибудь *Пти Миди,* а этот напечатал сенсационный репортаж, перепечатанный всеми газетами Прованса.

Были подняты на ноги жандармы, которые и нашли отшельника, но не тронули его, следовательно, у него сохранились документы. Однако какой-то фотограф, заинтересованный новостью, в свою очередь, отправился на поиски, проплутал три дня и три ночи в горах и в конце концов сфотографировал отшельника, по словам одних — настоящего, по словам других — подложного.

Приятель, познакомивший меня в прошлом году с этой причудливой страной, показал мне два существа, безусловно, более любопытные, чем тот несчастный малый, спрятавшийся в непроходимых лесах от какого-нибудь горя, угрызений совести, безысходного отчаяния, а может быть, просто от скуки жизни.

Вот как он их нашел. Блуждая верхом по здешним долинам, он наткнулся вдруг на чье-то до некоторой степени благоустроенное хозяйство, состоявшее из виноградника, поля и скромной, но пригодной для жилья фермы.

Он вошел. Его встретила женщина лет семидесяти, крестьянка. Муж ее, сидевший под деревом, встал и поздоровался.

— Он глухой, — сказала женщина.

Это был высокий восьмидесятилетний старик, исключительно крепкий, прямой и красивый.

У них были батрак и служанка. Мой приятель, несколько удивленный встречей с этими странными людьми в таких пустынных местах, стал расспрашивать о них. Оказалось, что они жили здесь давным-давно; их очень уважали и считали зажиточными людьми — зажиточными для крестьян.

Он несколько раз посещал их и постепенно стал для хозяйки своим человеком. Он приносил ей газеты, книги и удивлялся, что она обнаруживала мысли, или, вернее, остатки мыслей, не свойственных ее кругу. Она не была ни начитанной, ни развитой, ни одаренной природным умом, но, казалось, сохраняла в глубине памяти следы забытых мыслей, заглохнувшую память о прежнем воспитании.

Однажды она спросила, как его зовут.

— Меня зовут граф Х..., — сказал он.

Движимая смутным тщеславием, гнездящимся в глубине души каждого человека, она ответила:

— Я ведь тоже из благородных!

Затем она продолжала, в первый раз, конечно, заговорив об этом обстоятельстве, таком давнем и никому не известном:

— Я дочь полковника. Мой муж был унтер-офицером в полку, которым командовал папа. Я влюбилась в него, и мы вместе убежали.

— И приехали сюда?

— Да, мы скрывались.

— И вы больше никогда не видались со своей семьей?

— О нет! Подумайте: ведь муж был дезертиром.

— Вы никогда никому не писали?

— О нет!

— И вы никогда не слыхали ничего о вашей семье, о вашем отце или матери?

— О нет! Мамы не было в живых.

Эта женщина сохранила в себе что-то детское, в ней была та наивность, которая свойственна женщинам, бросающимся в любовь, как в бездну.

Он продолжал спрашивать:

— Вы никогда никому об этом не рассказывали?

— О нет! Я говорю об этом сейчас, потому что Морис оглох. Если бы он мог слышать, я никогда не осмелилась бы рассказать. Да и за все время с тех пор, как я убежала из дому, я никого не видела, кроме крестьян.

— Были ли вы, по крайней мере, счастливы?

— О да! Очень счастливы. Он дал мне много счастья. Я никогда ни о чем не жалела.

И вот я, в свою очередь, тоже отпразился в прошлом году навестить эту женщину, эту чету, как едут смотреть какие-нибудь чудотворные останки.

Печально и удивленно, с восторгом и отвращением смотрел я на женщину, которая, прельстившись мундиром гарцующего гусара, последовала за этим мужчиной, за этим мужланом, которая и позже продолжала видеть на нем, под его заплатанными крестьянскими лохмотьями, голубой доломан, саблю на боку и сапоги со звенящими шпорами.

Однако она и сама стала крестьянкой. Здесь, в глуши, она применилась к этой жизни без прикрас, без роскоши, без какой-либо утонченности, приспособилась к этим простым нравам. И она все еще любила его. Она стала простолюдинкой в чепце, в холщовой юбке. Сидя на соломенном стуле за некрашеным столом, она ела из глиняной миски похлебку из капусты и картошки, заправленную салом. Она спала на соломенном тюфяке рядом с ним.

Она никогда не думала ни о чем, кроме него! Она не сожалела ни о драгоценностях, ни о красивых материях, ни об изяществе жизни, ни о мягких сиденьях, ни о благоуханном тепле комнат, обитых штофом, ни о нежности пуховиков, в которые погружается тело на отдых. Она никогда не нуждалась ни в чем, кроме него. Лишь бы он был здесь, — больше она ничего не желала.

Совсем молодой она покинула привычную жизнь, свой круг людей, покинула тех, кто ее воспитал, любил. Вдвоем с ним она прибыла сюда, в эту дикую лощину. И он был для нее всем — всем, что желают, всем, о чем грезят, всем, чего непрестанно ждут, всем, на что бесконечно надеются. Он наполнил счастьем все ее существование от начала до конца. Счастливее быть она не могла.

Теперь я ехал повидать их во второй раз с чувством удивления и смутного презрения к ней.

Она жила по ту сторону горы, на которой стоят Шартрез-де-ла-Верн, около дороги, идущей в Иер, где меня ждал другой экипаж, так как ложбина, по которой мы ехали, внезапно прерывалась и переходила в

простую тропинку, доступную только пешеходам и мулам.

Я стал подыматься один, пешком, медленными шагами. Я находился в восхитительном лесу, в настоящем корсиканском маки́, в волшебном лесу из цветущих лиан, ароматических растений с могучим благоуханием и огромных великолепных деревьев.

Куски гранита на дороге блестели и скатывались вниз, а в просвете между ветвями я вдруг видел широкие темные долины, которые убегали вдаль, теряясь из виду, и были полны зеленой растительности.

Мне было жарко, горячая кровь струилась в моем теле; я чувствовал, как она бежит по жилам, слегка обжигая, быстро, легко, ритмично и приятно, словно песня, великая, бессмысленная и веселая песня суетящейся под солнцем жизни. Я был доволен, бодр, ускорял шаг, карабкаясь по скалам, прыгая, пускаясь бежать, открывая с каждой минутой все более широкий край, гигантскую сеть пустынных долин, где не дымилась труба ни одной кровли.

Затем я взобрался на одну из вершин, окруженную другими, более высокими вершинами, и, сделав несколько поворотов, увидел на склоне горы, напротив, позади огромной каштановой рощи, спускавшейся от самого верха горы в глубь долины, черную руину, мрачную груду камня и старинных зданий, державшихся на высоких аркадах. Чтобы добраться туда, нужно было обойти широкий овраг и пройти через каштановую рощу. Деревья, такие же старые, как и само аббатство, огромные, искалеченные, умирающие, пережили этого покойника. Одни упали, не выдержав больше тяжести своего возраста, другие стоят обезглавленные, сохранив лишь дуплистые стволы, где могло бы спрятаться десять человек. Они похожи на войско древних, искалеченных молнией гигантов, еще пытающихся штурмовать небо. Веками и плесенью, древней жизнью сгнивших корней пахнет в этом фантастическом лесу, где ничто уже не цветет у подножия этих колоссов. Между серыми стволами — только твердая каменистая почва с редкой травой.

Вот два обложенных камнями родника, два источника, где поят коров.

Я подхожу к аббатству и вижу все его древние постройки; самые старые из них относятся к XII веку, в более поздних живет семья пастухов.

На первом дворе следы, оставленные скотом, показывают, что в этих местах еще есть какая-то жизнь; затем, когда пройдешь через залы, грозящие обвалом и похожие на залы всех других развалин, попадаешь в монастырь, в длинную и низкую галерею, которая еще сохранила свою крышу и окружает двор, заросший колючими кустами и высокой травой. Нигде в мире я не ощущал на сердце такой тяжкой меланхолии, как в этом древнем и мрачном месте монашеских прогулок. Конечно, этому чувству тяжести, этому стеснению сердца способствуют форма арок и пропорции строений — они своим видом печалят душу, подобно тому, как удачно найденная линия какого-нибудь веселого здания радует глаз. Тот, кто построил это место заточения, был, конечно, человеком, отчаявшимся в жизни, — иначе он не сумел бы создать этой галереи уныния. В этих стенах хочется плакать и стонать, хочется страдать, растравлять сердечные раны, разжигать, раздувать до беспредельности все заключенные внутри нас горести.

Я влез в одну из брешей стены, чтобы посмотреть на пейзаж кругом, и все понял. Ничего кругом, одна смерть. Позади аббатства гора, подымающаяся к самому небу, вокруг развалин каштановая роща, а впереди долина, за ней другие долины — сосны, сосны, океан сосен и на самом горизонте снова сосны, покрывающие вершины.

И я ушел.

Я миновал затем лес пробкового дуба, где в прошлом году меня поразило и сильно взволновало одно явление.

Это было в серенький денек в октябре, в то время года, когда с этих деревьев сдирают кору, чтоб делать из нее пробки. Деревья обнажают от корней до первых сучьев, и оголенный ствол их становится красным, кроваво-красным, как ободранный кусок тела. У них причудливые, изогнутые формы, вид искалеченных существ, корчащихся эпилептиков, — и мне показалось вдруг, что меня забросили в лес пыток, в кровавый лес

ада, где люди вросли корнями в землю, где их тела, обезображенные муками, похожи на деревья, где жизнь продолжала струиться в кровоточащих язвах, доставляя бесконечные страдания, от которых я съеживался и лишался чувств, как бывает с нервными людьми, когда они неожиданно увидят кровь или ненароком наткнутся на раздавленного или упавшего с крыши человека. И чувство это было настолько живо, ощущение настолько сильно, что мне показалось, будто я слышу стоны, доносящиеся издалека, слышу душераздирающие бесчисленные крики; дотронувшись, чтобы успокоить себя, до одного из этих деревьев, я словно увидел, да, увидел, что рука моя вся красная.

Сейчас они выздоровели, до следующего обдирания.

Наконец я заметил дорогу, проходящую около фермы, где укрылось многолетнее любовное счастье гусарского унтер-офицера и полковничьей дочери.

Я издали узнаю хозяина, прогуливающегося по винограднику. Тем лучше: значит, жена одна дома.

Служанка стирает перед входом в дом.

— Дома ваша хозяйка? — сказал я.

Она ответила с южным акцентом и как-то странно:

— Нет, сударь, вот уже полгода, как ее нет.

— Она умерла?

— Да, сударь.

— А от чего?

Женщина поколебалась, потом пробормотала:

— Умерла она, умерла.

— Но от чего?

— Да упала!

— Откуда упала?

— Да из окна!

Я дал ей двадцать су и сказал:

— Расскажите.

Ей, несомненно, очень хотелось поговорить и, несомненно, не раз приходилось за полгода повторять эту историю, потому что она рассказала ее подробно, как хорошо известную и заученную вещь.

И я узнал, что у мужа, у этого старика, у глухого, в течение тридцати лет была любовница в соседней де-

ревне, о чем жена узнала случайно от проезжего возчика, который сболтнул ей об этом, не зная, с кем говорит; пораженная, она с воем кинулась на чердак и выбросилась из окна, не сознавая, может быть, что делает, но обезумев от ужасной боли, причиненной этим сообщением и гнавшей ее вперед с непреодолимой силой, подобно бичу, который бьет по телу и разрывает его. Она взбежала по лестнице, перескочила через порог и, не отдавая себе отчета, не будучи в силах остановить свой порыв, продолжая бежать прямо перед собою, прыгнула в пустоту.

Он ничего не узнал об этом, ничего еще не знает до сих пор и никогда ничего не узнает из-за своей глухоты. Жена умерла, вот и все. Всем ведь приходится умирать!

Я видел издалека, как он знаками отдает распоряжения работникам.

Но тут я заметил экипаж, ожидавший меня в тени дерева, и вернулся в Сен-Тропез.

14 апреля

Вчера вечером, когда я собирался ложиться спать, хотя еще не было девяти, мне подали телеграмму.

Один из моих друзей, из тех, кого я люблю, сообщал: «Я приехал в Монте-Карло на четыре дня и рассылаю тебе телеграммы во все порты побережья. Приезжай повидаться».

И вот желание видеть его, желание болтать с ним, смеяться, говорить об обществе, о людях и вещах, злословить, сплетничать, судить, порицать, строить предположения, балагурить зажглось во мне, как пожар. Еще утром это приглашение привело бы меня в отчаяние, а вечером я был от него в восторге; мне уже хотелось быть там, видеть большой ресторанный зал, полный народа, слышать шум голосов, в котором над всеми фразами возносятся названия цифр рулетки, как Dominus vobiscum [1] во время церковной службы.

Я позвал Бернара.

---

[1] Господь с вами *(лат.)* -- обращение католического священника к молящимся.

— Мы отплывем около четырех утра на Монако, сказал я ему.

Он философски заметил:

— Если будет хорошая погода, сударь.

— Будет хорошая погода.

— Дело в том, что барометр падает.

— Ба! Поднимется.

Матрос улыбался недоверчивой улыбкой.

Я лег и заснул.

На этот раз я сам разбудил матросов. Было темно, часть неба затянулась облаками. Барометр упал еще больше.

Оба матроса опасливо качали головами.

Я повторил:

— Ба! Будет хорошая погода! Ну, в дорогу!

Бернар говорил:

— Когда я вижу открытое море, я знаю, что мне делать. Но здесь, в этом порту, в глубине залива, ничего не знаешь, сударь, ничего не видишь. Море может оказаться бурным, а мы и знать не будем.

Я отвечал:

— Барометр упал, значит, восточного ветра не будет. А если будет западный ветер, то можно зайти в Агэ, до которого всего семь или восемь миль.

Матросов это, видимо, не успокоило, тем не менее они готовились отплыть.

— Не взять ли шлюпку на борт? — спросил Бернар.

— Нет. Вы увидите, что будет хорошая погода. Пусть она идет за нами на привязи.

Через четверть часа мы оставили порт и направились к выходу из залива, подгоняемые неослабевающим, но легким бризом.

Я смеялся:

— Ну вот! Видите, что погода хорошая?

Вскоре мы миновали черную с белым башню, построенную на рифе Рабиу, и, несмотря на то, что нас защищал выдающийся далеко в море мыс Камара́, на котором ежеминутно вспыхивал яркий огонь, *Милый друг* уже начал приподниматься на волнах, могучих и медленных, на этих водяных холмах, что движутся один за другим без шума, без тряски, без пены, угрожая без гнева, пугая своим спокойствием.

Худ. Л а н о. 1904. «НА ВОДЕ».

Худ. В. Роттанбур. 1902. «ИЗБРАННИК Г-ЖИ ГЮССОН».

Ничего нельзя было видеть, чувствовались только подъемы и опускания яхты на неспокойном, сумрачном море.

Бернар говорил:

— В открытом море был ночью сильный ветер, сударь. Счастье будет, коли доберемся без беды.

Занимался ясный день, освещая движущуюся массу волн, и мы все трое всматривались вдаль, пытаясь определить, вернется ли шторм или нет.

Между тем судно неслось, подталкиваемое ветром и гонимое самим морем. Мы были уже напротив Агэ и обсуждали, направляться ли нам в Канн на случай плохой погоды или же в Ниццу, пройдя мимо островов открытым морем.

Бернар предпочитал зайти в Канн. Но так как бриз не свежел, я решил вопрос в пользу Ниццы.

В течение трех часов все шло хорошо, хотя нашу несчастную яхточку несло, как пробку, по этой глубокой зыби.

Кто не видел открытого моря, того моря, где быстрой и тяжелой чередою бегут горы, отделяемые одна от другой долинами, каждый миг перемещаются, непрерывно исчезают и возникают вновь, тот не догадывается, не подозревает о таинственной, опасной, ужасающей и великолепной силе волн.

Наша лодочка, привязанная на канате в сорок метров длиною, следовала за нами издали по этому текучему, пляшущему хаосу. Мы то и дело теряли ее из виду, но затем вдруг она снова появлялась на гребне волн, как большая белая птица.

Вот Канн; там вдали, в глубине бухты,— Сен-Онора́ с его башней, стоящей прямо в волнах; впереди перед нами мыс Антиб.

Бриз понемногу свежеет, на гребнях волн появляются барашки пены, те снежные барашки, которые бегут так быстро и чье необозримое стадо несется без пастуха и без собак под беспредельным небом.

Бернар говорит мне:

— Хорошо, если дойдем до Антиба.

В самом деле, волны подкатывают, разбиваясь о яхту с могучим, невыразимым грохотом. Внезапные шквалы встряхивают нас, швыряют в зияющие пропа-

сти, откуда мы выныриваем и выпрямляемся со страшными толчками.

Мачта опущена, но и в лежачем положении она при каждом колебании яхты касается волн и, кажется, готова вырваться и улететь вместе с парусом, оставив нас одних носиться на взбесившейся воде.

Бернар говорит мне:

— А лодка-то, сударь!

Я оборачиваюсь. Чудовищная волна заливает ее, перевертывает, обдает слюной, словно пожирая ее, и, оборвав канат, которым она, наполовину пробитая, затопленная, привязана к нам, захватывает ее, как завоеванную победой добычу, чтобы потом бросить ее о скалы там, на мысу.

Минуты кажутся часами. Делать нечего, надо идти вперед, надо добраться до виднеющегося впереди мыса; обогнув его, мы будем под защитой, будем спасены.

Наконец мы его достигаем! Море теперь спокойно и гладко, оно защищено длинной скалистой и земляной грядой, образующей мыс Антиб.

Вот и порт, из которого мы вышли всего несколько дней назад, хотя мне кажется, что я путешествую уже целые месяцы; когда мы входим в него, как раз бьет полдень.

Матросы, вернувшиеся домой, сияют, но Бернар твердит каждую минуту:

— Ах, сударь! Наша бедная лодочка! Сердце болит, что она так на глазах погибла!

В четыре часа я выехал поездом в княжество Монако, чтобы пообедать со своим другом.

Мне хотелось бы иметь досуг, чтобы подольше поговорить об этом удивительном государстве, величиною меньше французского села, но где имеются самодержавный государь, епископы, целая армия иезуитов и семинаристов, превышающая численностью войско князя, артиллерия, в которой пушки чуть ли не нарезные, придворный этикет строже, чем у покойного Людовика XIV, основы управления деспотичнее, чем у Вильгельма Прусского, и наряду с этим — великолепная терпимость к человеческим порокам, которыми живут и государь, и епископы, и иезуиты, и семина-

ристы, и министры, и войско, и магистратура, и все население.

Поклонимся же сперва этому доброму, миролюбивому монарху, который, не боясь вражеских вторжений и революций, спокойно царствует, управляя своим счастливым маленьким народом и окруженный церемониями двора, который сохранил в неприкосновенности традиции четырех поклонов, двадцати шести поцелуев руки и всех предписаний этикета, бывшего когда-то в ходу у великих властителей.

Это, однако, совсем не кровожадный и не мстительный монарх; когда он подвергает кого-нибудь изгнанию — а он делает это,— такая мера проводится с бесчисленными ограничениями. Вот пример.

Какой-то заядлый игрок в день невезения оскорбил особу государя. Он был изгнан декретом.

Целый месяц бродил он вокруг запретного рая, опасаясь меча архангела — в данном случае жандармской сабли.

Наконец однажды он собирается с мужеством, переходит границу и, в полминуты достигнув центра страны, входит в казино. Тут его останавливает служащий:

— Разве вы не изгнаны, сударь?

— Да, но я снова уеду с ближайшим поездом.

— Отлично, сударь, в таком случае можете войти.

И каждую неделю он возвращается, и каждый раз все тот же служащий задает ему тот же вопрос, на который он дает тот же ответ.

Может ли правосудие быть мягче?

Но за последние годы в государстве произошел очень серьезный и небывалый случай.

Было совершено убийство.

Убил не кто-либо из бродячих иностранцев, которые наводняют Ривьеру целыми легионами, убил житель Монако: муж в минуту гнева убил жену.

О, он убил ее без всяких оснований, без всяких уважительных причин. Все княжество было охвачено единодушным волнением.

Для разбора этого исключительного дела (убийств раньше никогда не бывало) собрался верховный суд, и негодяй был единогласно приговорен к смерти.

Возмущенный государь утвердил приговор.

Оставалось только казнить преступника. Тут-то и возникло затруднение. В стране не было ни палача, ни гильотины.

Что делать? По предложению министра иностранных дел князь вступил в переговоры с французским правительством, чтобы получить на время мастера по отрубанию голов вместе с его аппаратом.

Долго обсуждался вопрос в Париже в министерстве иностранных дел. Наконец послали ответ со счетом расходов по перевозке сооружения и мастера. Итог выражался в сумме шестнадцати тысяч франков.

Его монакское величество решил, что эта операция обойдется ему слишком дорого; убийца, конечно, не стоил этой суммы. Шестнадцать тысяч франков за то, чтобы перерезать негодяю шею! Ну, нет!

Тогда обратились с той же просьбой к итальянскому правительству. Король, брат, наверно, окажется не столь требовательным, как республика.

Итальянское правительство прислало счет на двенадцать тысяч франков.

Двенадцать тысяч франков! Пришлось бы ввести новый налог, налог по два франка на душу населения. Этого могло быть достаточно, чтобы вызвать волнения, каких государство и не знавало.

Надумали поручить обезглавить негодяя простому солдату. Но когда спросили генерала, тот нерешительно ответил, что, может быть, у его людей нет достаточного навыка в обращении с холодным оружием, чтобы справиться с задачей, которая требует большого опыта в искусстве владеть саблей.

Князь снова созвал верховный суд и представил на его рассмотрение этот затруднительный случай. Вопрос долго обсуждали, не находя никакого практического выхода. В конце концов старший председатель суда предложил заменить смертный приговор пожизненным заключением, и это решение было принято.

Однако тюрьмы тоже не было. Пришлось ее учредить и назначить сторожа, которому и вручили узника.

В течение полугода все шло хорошо. Заключенный дрых целый день на соломенном тюфяке в своем узи-

лище, а сторож подражал ему на стуле перед дверью и поглядывал, как гуляют приезжие.

Но князь не расточителен, этим недостатком он страдает меньше всего: он требует отчета в самых ничтожных расходах, производимых в его государстве (перечень их невелик). Доложили ему и о расходах, связанных с этим новым учреждением и включавших в себя содержание тюрьмы, узника и сторожа. Жалованье последнего ложилось тяжелым бременем на бюджет государя.

Сперва он сделал гримасу, а затем, подумав, что так ведь может продолжаться до бесконечности (осужденный был молод), предложил министру юстиции позаботиться об упразднении этого расхода.

Министр посовещался с председателем суда, и оба пришли к решению упразднить должность сторожа. Узник, предоставленный самому себе, не преминет убежать, чем вопрос и разрешится ко всеобщему удовольствию.

Итак, сторож был возвращен в лоно своей семьи, а на одного из дворцовых поварят просто-напросто возложили обязанность каждый день, утром и вечером, носить преступнику пищу. Но последний не делал ни малейших попыток вернуть себе свободу.

В один прекрасный день, когда ему забыли принести еду, он преспокойно явился за ней сам и с тех пор усвоил себе обыкновение, избавляя поваренка от лишней ходьбы, приходить в часы трапез во дворец и есть вместе со слугами, с которыми он успел подружиться.

После завтрака он отправлялся прогуляться в Монте-Карло. Иногда он заходил в казино и ставил пять франков на зеленое сукно. Если он выигрывал, то угощал себя хорошим обедом в какой-нибудь известной гостинице, а потом возвращался в тюрьму, тщательно запирая дверь изнутри.

Ни одной ночи он не провел вне ее.

Положение становилось затруднительным не для осужденного, но для судей.

Суд снова собрался, и было решено предложить преступнику выехать за пределы государства Монако.

Когда ему сообщили это постановление, он ограничился ответом:

— Вы шутники! Ну, куда я денусь? У меня нет средств к существованию. У меня нет больше семьи. Что, по-вашему, я стал бы делать? Я был приговорен к смерти. Вы меня не казнили. Я ничего не сказал. Вы приговорили меня к пожизненному заключению и передали сторожу. Потом вы отняли у меня сторожа. Я опять ничего не сказал.

Теперь вы хотите изгнать меня из страны. Ну, нет. Я заключенный, ваш заключенный, судимый и осужденный вами. Я точно выполняю свои обязанности. Я остаюсь здесь.

Верховный суд был потрясен. Князя охватила страшная ярость, и он приказал принять меры.

Снова начали обсуждать вопрос.

Теперь было решено предложить преступнику пенсию в шестьсот франков в год, лишь бы только он переселился за границу.

Он согласился.

Он снял в аренду клочок земли в пяти минутах ходьбы от государства своего прежнего монарха и в довольстве живет на земле, разводя овощи и презирая самодержцев.

Однако монакский двор, наученный несколько поздно этим опытом, решил заключить договор с французским правительством; теперь он выдает нам преступников, которых мы за умеренное вознаграждение и припрятываем в укромное местечко.

В судейских архивах княжества можно найти постановление, определяющее размер пенсии этому негодяю и обязывающее его покинуть монакскую территорию.

Против княжеского дворца возвышается соперничающее с ним учреждение — Рулетка. Но никакой ненависти, никакой вражды между ними нет: она поддерживает его, он покровительствует ей. Пример, достойный восхищения, единственный пример двух соседствующих могущественных семей, мирно живущих рядом в маленьком государстве, пример достаточный, чтобы сгладить воспоминание о Капулетти и Монтекки.

Здесь дом государя, а там дом игорный,— старое и новое общество, братски уживающиеся под звон золота.

Насколько трудно попасть в салоны князя, настолько салоны казино широко открыты для иностранцев.

Я направляюсь в последние.

Звон монет, непрерывный, как рокот волн, идущий из глубины, легкий и страшный, с самого входа заполняет слух, душу, волнует сердце, мутит рассудок, сводит с ума. Этот звон слышен всюду, он поет, кричит, призывает, соблазняет, раздирает душу.

Вокруг столов мерзкое племя игроков, накипь всех континентов и всех слоев общества вперемежку с принцами или будущими королями, светскими женщинами, буржуа, ростовщиками, истасканными девицами — единственная в своем роде смесь людей всех наций, всех кругов общества, всех сортов всякого происхождения, целый музей сомнительных знатных иностранцев— русских, бразильцев, чилийцев, итальянцев, испанцев, немцев; старух в старомодных шляпах, молодых распутниц с сумочкой, висящей на запястье, в которой лежат ключи, носовой платок и три последние монеты по сто су, которые пойдут на зеленое сукно, когда почуется удача.

Я подхожу к крайнему столу и вижу... побледневшую, нахмуренную, со сжатыми губами, с перекошенным и злым лицом... молодую женщину из бухты Агэ, прекрасную влюбленную из того залитого солнцем леса и томного лунного света. Он тоже здесь, он сидит перед ней, нервничая, положив руку на кучку луидоров.

— Играй на первый квадрат,— говорит она.

Он спрашивает с отчаянием:

— На все деньги?

— Да, на все.

Он ставит всю кучку луидоров.

Крупье крутит колесо. Шарик бежит, пляшет, останавливается.

— Ставки закончены,— слышался голос, и через мгновение он же повторяет: — Двадцать восемь.

Молодая женщина вздрагивает и говорит жестко и отрывисто:

— Пойдем!

Он поднимается, не глядя на нее, следует за ней,

и чувствуется, что между ними произошло что-то ужасное.

Кто-то говорит:

— Прощай, любовь. Видно, они сегодня не в ладу.

Чья-то рука хлопает меня по плечу. Я оборачиваюсь. Это мой друг.

Мне остается извиниться за то, что я столько говорил о себе. Я писал для себя одного этот дневник мечтательных раздумий, или, точнее, я воспользовался одиночеством во время плавания, чтобы остановить блуждающие мысли, проносящиеся птицами в нашем сознании.

Меня просят напечатать эти страницы, у которых нет ни последовательности, ни композиции, ни мастерства, которые идут одна за другой без связи и внезапно обрываются на том единственном основании, что налетевший ветер прервал мое путешествие.

Уступаю этому желанию. Может быть, и напрасно.

ИЗБРАННИК Г-ЖИ ГЮССОН

ИЗБРАННИК Г-ЖИ ГЮССОН

Мы только что проехали Жизор, где я проснулся, услыхав, как кондуктор прокричал название станции, и уже собирался снова задремать, когда страшный толчок бросил меня на толстую даму, сидевшую напротив.

У паровоза сломалось колесо, и он лежал поперек колеи. Тендер и багажный вагон, также сошедшие с рельсов, валялись рядом с умирающим паровозом, а тот хрипел, стонал, свистел, пыхтел, фыркал, напоминая упавшую на улице лошадь, когда ее бока вздымаются, грудь трепещет, из ноздрей идет пар и все тело вздрагивает, но она уже не в силах встать и снова двинуться в путь.

Убитых и раненых не было, только ушибленные, так как поезд еще не успел набрать скорость, и мы с огорчением смотрели на искалеченного железного коня, который уже не мог нас везти и надолго загромоздил путь; приходилось, очевидно, вызывать из Парижа ремонтный поезд.

Было десять часов утра, и я решил отправиться в Жизор и позавтракать.

Идя по рельсам, я размышлял: «Жизор, Жизор? Я кого-то здесь знаю. Кого же? В Жизоре? Да ведь у меня в этом городе должен быть приятель». И внезапно в памяти всплыло имя: Альбер Марамбо. Это был мой старый товарищ по коллежу, я не видел его уже лет двенадцать по крайней мере, зная лишь, что он стал врачом и практикует в Жизоре. Он не раз

писал мне, приглашая к себе; я все обещал приехать, но так и не собрался. Теперь наконец я воспользуюсь случаем!

Я спросил первого встречного: «Не знаете ли, где живет доктор Марамбо?» Он сразу ответил, по-нормандски растягивая слова: «На улице Дофины». И в самом деле я заметил на двери указанного мне дома медную дощечку с выгравированным на ней именем моего старого товарища. Я позвонил; служанка, неповоротливая рыжая девушка, твердила с тупым видом: «Дома не-ету, дома не-ету».

Услышав звон посуды, я позвал: «Эй, Марамбо!» Открылась дверь, и в ней показался, держа в руке салфетку, толстый мужчина с недовольным лицом, обрамленным бакенбардами.

Разумеется, я бы его не узнал. Ему можно было дать по крайней мере сорок пять лет, и я сразу представил себе провинциальную жизнь, от которой люди тяжелеют, толстеют и старятся. В один миг, прежде чем протянуть ему руку, я уже угадал его привычки, взгляды, образ жизни, склад ума. Я подумал о долгих трапезах, округливших его брюшко, о послеобеденной дремоте, когда коньяк помогает переваривать тяжелую пищу, о том, как рассеянно он осматривает больных, вспоминая о жарящейся на вертеле курице. Стоило увидеть эти румяные мясистые щеки, толстые губы, тускло блестевшие глаза, чтобы представить себе его разговоры о кухне, о сидре, водке и вине, о способах приготовлять различные блюда и составлять всевозможные соусы.

— Не узнаешь? — спросил я. — Я Рауль Обертэн.

Он раскрыл объятия и чуть меня не задушил. Первой же его фразой было:

— Надеюсь, ты еще не завтракал?

— Нет.

— Вот кстати! Я только что сел за стол, и у меня превосходная форель.

Пять минут спустя я уже сидел против него и ел. Я спросил его:

— Ты остался холостяком?

— Да, черт побери!

— И весело тебе здесь?

— Не скучаю, я занят. Есть пациенты, друзья. Вкусно ем, здоров, люблю посмеяться, поохотиться. Словом, живу неплохо.

— А не слишком ли однообразна жизнь в этом городишке?

— Нет, дорогой мой, если найти чем заняться. Маленький город в конце концов то же, что и большой. Правда, событий и удовольствий здесь не так много, но им придаешь больше значения; знакомых здесь меньше, зато с ними чаще встречаешься. Когда знаешь все окна какой-нибудь улицы, каждое из них занимает и интригует больше, чем целая улица в Париже. Маленький городок очень забавен, поверь, очень, очень забавен. Взять хотя бы Жизор; ведь я знаю его, как свои пять пальцев, с самого его основания до наших дней. Ты не можешь себе представить, до чего уморительна его история.

— Ты родом из Жизора?

— Я? Нет, я из Гурнэ; это его сосед и соперник. Гурнэ для Жизора то же, чем Лукулл был для Цицерона. Здесь все мечтают о славе, и про них говорят: «жизорские гордецы». В Гурнэ любят хорошо поесть, и про них говорят: «обжоры из Гурнэ». Жизор презирает Гурнэ, а в Гурнэ смеются над Жизором. Занятный народишко в здешних краях!

Я обратил внимание на какое-то изысканное блюдо — яйца в галантире, приправленном пахучей зеленью и слегка замороженном.

Отведав его, я прищелкнул языком и сказал, чтобы польстить Марамбо:

— Замечательно!

Он улыбнулся.

— Для этого нужны две вещи: хороший галантир — а его нелегко приготовить — и хорошие яйца. О, как редки хорошие яйца, с чуть красноватым, вкусным желтком! У меня два птичника: один снабжает меня яйцами, другой — живностью. Я кормлю своих кур особым образом. У меня свои взгляды на это. В яйцах, цыплятах, говядине, баранине, молоке — решительно во всем — мы находим и смакуем квинтэссенцию, сущность того, чем питалось животное. Насколько лучше

была бы наша пища, если бы мы больше думали обо всем этом!

Я смеялся.

— Ты, значит, гурман?

— Черт побери! Только дураки не любят полакомиться. Можно быть гурманом по натуре, как можно быть по натуре художником, ученым, поэтом. Вкус, мой милый,— деликатное чувство, способное к совершенствованию и столь же важное, как зрение и слух. Не иметь вкуса — значит быть лишенным замечательного дара, умения оценивать достоинства пищи, подобно тому, как можно быть лишенным умения оценивать достоинства книги или произведения искусства; это значит быть лишенным важнейшего чувства, частицы того, в чем выражается человеческое превосходство; это значит принадлежать к несметным полчищам больных, или обиженных природой, или же глупцов, которых так много на свете; словом, это значит иметь глупый рот, как можно иметь глупую голову. Не отличать лангуста от омара; не отличать сельди, этой чудесной рыбы, сочетающей в себе аромат и вкус моря,— от макрели или мерлана; не отличать груши-крассан от груши-дюшес — да ведь это все равно, что смешивать Бальзака с Эженом Сю, симфонию Бетховена — с военным маршем какого-нибудь полкового капельмейстера и Аполлона Бельведерского — со статуей генерала де Бланмона!

— Кто такой генерал де Бланмон?

— В самом деле, ты его не знаешь? Сразу видно, что ты не из Жизора. Я только что сказал тебе, мой друг, что жителей этого города зовут жизорскими гордецами, и это прозвище как нельзя более заслужено. Но сначала позавтракаем; я расскажу тебе о нашем городе, когда мы будем его осматривать.

По временам он умолкал, выпивал, не торопясь, глоток вина и, с нежностью глядя на стакан, снова ставил его на стол.

У него был презабавный вид: салфетка, повязанная на шее, красные скулы, блестящие глаза, усердно жующий рот, окаймленный густыми бакенбардами.

Он заставил меня есть до отвала. Потом, когда я хотел было вернуться на вокзал, он взял меня под руку

и потащил по улицам. Привлекательный, провинциального типа город, над которым господствовала крепость, любопытнейший памятник французской военной архитектуры VII века, в свою очередь, господствовал над обширной зеленой долиной и лугами, где паслись грузные нормандские коровы, лениво пережевывая жвачку.

Доктор сообщил мне:

— Жизор, город с четырьмя тысячами жителей, на границе Эрского департамента, упоминается еще в «Записках» Цезаря: Caesaris ostium [1], потом Цезарциум, Цезорциум, Гизорциум, Жизор. Успокойся, я не поведу тебя осматривать следы римского лагеря, сохранившиеся до сих пор.

Я ответил, смеясь:

— Дорогой мой, ты, кажется, страдаешь особым недугом, который тебе, как врачу, следовало бы изучить; он называется пристрастием кулика к своему болоту.

Он резко возразил:

— Это пристрастие, мой друг,— не что иное, как естественный патриотизм. Я люблю свой дом, свой город, всю свою провинцию, так как нахожу в ней обычаи своей деревни; если я люблю и наши границы, защищаю их и не терплю, когда их переступают соседи,— так это потому, что чувствую угрозу своему дому, потому, что где-то через границу идет путь в мою провинцию. Я нормандец, истый нормандец; но если у меня против немцев зуб, если я и стремлюсь им отомстить, то все же не презираю их, не чувствую к ним той инстинктивной ненависти, как к англичанам, своим настоящим, исконным врагам, естественным врагам нормандцев: ведь англичане попирали эту землю, землю моих предков, грабили и опустошали ее много раз, и отвращение к этому вероломному народу я унаследовал от своего отца вместе с кровью. А вот и памятник генералу.

— Какому генералу?

— Генералу де Бланмону. Нам нужен был памятник! Мы, жизорцы, недаром слывем гордецами. И вот

---

[1] Цезарева дверь *(лат.)*.

мы откопали генерала де Бланмона. Взгляни-ка на витрину этой книжной лавки!

Он подвел меня к окну, где взор привлекали десятка полтора желтых, красных и синих томиков.

Смех душил меня, когда я читал их названия. Это были:

«Жизор, его происхождение и будущее», г-на Х., члена ряда ученых обществ;

«История Жизора», аббата А.;

«Жизор от Цезаря до наших дней», г-на Б., землевладельца;

«Жизор и его окрестности», доктора С. Д.;

«Знаменитые уроженцы Жизора» — какого-то исследователя.

— Мой милый,— продолжал Марамбо,— не проходит года, понимаешь ли, года не проходит, чтобы здесь не появилась новая книга о Жизоре, пока их двадцать три.

— А знаменитых уроженцев Жизора? — спросил я.

— О, не буду перечислять тебе всех, расскажу только про главнейших. Во-первых, это генерал де Бланмон; затем барон Давилье, прославленный керамист, который исследовал Испанию и Балеарские острова и впервые познакомил коллекционеров с изумительными испано-арабскими фаянсами. В области литературы это — выдающийся журналист, ныне покойный, Шарль Бренн, а из числа здравствующих — известный редактор *Руанских новостей* Шарль Лапьер и многие другие, многие другие.

Мы шли по длинной улице, отлого спускавшейся вниз и прокаленной июньским солнцем, от которого попрятались все жители.

Вдруг на другом конце улицы появился какой-то человек. Это был пьяница, то и дело спотыкавшийся.

Он шел, вытянув голову вперед: руки у него беспомощно висели, ноги подкашивались; сделав несколько быстрых шагов, он внезапно останавливался. Напрягая все силы, он добирался до середины улицы и замирал на месте, раскачиваясь в ожидании нового прилива энергии; потом вдруг бросался куда-то. Наткнувшись на какой-нибудь дом, он так припадал к стене, будто

хотел проникнуть сквозь нее. Затем он оборачивался, словно его кто-то звал, тупо глядел перед собой, разинув рот, мигая от яркого солнца; наконец, оттолкнувшись спиной от стены, пускался дальше.

Рыжая собачонка, изголодавшаяся дворняжка, с лаем следовала за ним; она останавливалась, когда он останавливался, и трогалась с места, как только он вновь начинал двигаться.

— Посмотри-ка,— сказал Марамбо,— вот избранник госпожи Гюссон.

Я удивился:

— Избранник госпожи Гюссон? Что ты хочешь этим сказать?

Доктор рассмеялся.

— Так называют у нас пьянчуг. Начало этому положила одна старая история, превратившаяся теперь в легенду; впрочем, она вполне достоверна.

— Смешная это история?

— Очень смешная.

— Так расскажи.

— С удовольствием. Когда-то жила в этом городе старая дама, весьма добродетельная, покровительница всякой добродетели; звали ее госпожой Гюссон. Имей в виду, я называю не вымышленные, а действительные имена. Госпожа Гюссон занималась главным образом добрыми делами, помогала беднякам, оказывала поддержку тем, кто этого заслуживал. Маленькая, с семенящей походкой, в черной шелковой наколке, церемонная, вежливая, соблюдавшая прекрасные отношения с боженькой в лице его представителя, аббата Малу, она питала глубокую, прирожденную вражду к порокам, особенно к тому из них, который церковь называет сластолюбием. Добрачные беременности выводили ее из себя, приводили в отчаяние, так что она делалась сама не своя.

В те времена в окрестностях Парижа девушек примерного поведения увенчивали венком из роз, и госпоже Гюссон пришло в голову ввести такой обычай и в Жизоре.

Она поделилась этой мыслью с аббатом Малу, который тотчас же составил список кандидаток.

Но у госпожи Гюссон была служанка, старуха по

имени Франсуаза, столь же непримиримая в ненависти к пороку, как и ее хозяйка.

Лишь только священник ушел, госпожа позвала служанку и сказала ей:

«Вот, Франсуаза, девушки, которых господин кюре советует наградить за добродетель; постарайся узнать, что о них говорят у нас в городе».

И Франсуаза принялась за дело. Она собрала все сплетни, все россказни, все пересуды, все подозрения. Чтобы ничего не забыть, она заносила все это в тетрадку, куда записывала расходы по хозяйству, и вручала ее каждое утро госпоже Гюссон, которая, водрузив очки на свой острый нос, читала:

«Хлеп . . . . . 4 су
Молоко . . . . 2 су
Масло . . . . . 8 су

Мальвина Лепек путалась прошлый год с Матюреном Пуалю.

Баранья нога . . 25 су
Соль . . . . . 1 су

Розалию Ватинель 20 июля подвечер прачка Онезим видила влесу Рибуде с Сезером Пьенуар.

Редиска . . . . . 1 су
Уксус . . . . . 2 су
Щавелева кислота 2 су

Жозефина Дюрдан, говорят, еще не збилась с пути, но пиршисывается с Опортеном-сыном, тем, што служит в Руане и прислал ей скучером дилижанса в подарок чепчик».

В результате этого тщательного дознания ни одна девушка не оказалась безупречной. Франсуаза расспрашивала соседей, поставщиков, учителя, монахинь из школы, собирая решительно все слухи.

Так как нет на свете такой девицы, о которой не судачили бы кумушки, то в городе не оказалось ни одной кандидатки, избежавшей злословия.

Госпожа Гюссон хотела, чтобы избранница Жизора была, как жена Цезаря, вне всяких подозрений, и тетрадка Франсуазы смущала ее, огорчала и приводила в полное уныние.

Тогда поиски стали производить в окрестных деревнях; но и там не нашли достойных.

Обратились за советом к мэру. Но намеченные им провалились. Кандидатки доктора Барбезоля имели не больше успеха, несмотря на все научные гарантии.

И вот однажды утром Франсуаза, вернувшись домой, сказала хозяйке:

«Знаете, сударыня, уж коли вы решили кого наградить, то, кроме как Изидора, в наших краях никого не найти».

Госпожа Гюссон задумалась.

Она хорошо знала Изидора, сына Виржини, торговки фруктами. Его целомудрие, вошедшее в поговорку, уже несколько лет было у всего Жизора поводом для веселья, служило темой для шуток и разговоров, забавляло девушек, которые любили его дразнить. Лет двадцати с лишним, высокий, неуклюжий, медлительный и робкий, он помогал матери в торговле и целые дни чистил овощи и фрукты, сидя на стуле у дверей.

Он болезненно боялся женщин, опускал глаза, когда покупательница, улыбаясь, смотрела на него, и эта всем известная застенчивость делала его мишенью для всех местных остряков.

От вольных слов, нескромностей, двусмысленных намеков он мгновенно краснел, так что доктор Барбезоль прозвал его «термометром стыдливости». «Знает он или еще не знает?» — спрашивали друг друга насмешники-соседи. Волновало ли сына торговки фруктами простое предчувствие неведомых и постыдных тайн, или его приводили в негодование нечистые прикосновения, которых требовала любовь? Уличные мальчишки, пробегая мимо лавки, орали во все горло непристойности, чтобы посмотреть, как он потупит глаза; девушки забавлялись, проходя мимо по нескольку раз и шепча озорные слова, от которых он убегал домой. Самые смелые открыто заигрывали с ним, потехи и забавы ради назначали ему свидания, предлагали всякие гадости.

Итак, госпожа Гюссон задумалась.

Конечно, Изидор был исключительным, общеизвест-

ным, безупречным образцом добродетели. Никто, даже самый заядлый, самый недоверчивый скептик, не решился бы заподозрить Изидора хотя бы в малейшем нарушении законов нравственности. Никогда его не видали в кабачке, никогда не встречали по вечерам на улице. Ложился он в восемь, вставал в четыре. Это было само совершенство, жемчужина.

Между тем госпожа Гюссон все-таки колебалась. Мысль о замене избранницы избранником смущала ее, приводила в замешательство, и она решила посоветоваться с аббатом Малу.

Аббат Малу ответил:

«Что вы хотите вознаградить, сударыня? Добродетель, не правда ли, одну лишь добродетель? В таком случае не все ли вам равно, мужского она или женского пола? Добродетель вечна, у нее нет ни родины, ни пола: она — *Добродетель*».

Поощренная аббатом, госпожа Гюссон отправилась к мэру.

Тот всецело ее одобрил.

«Мы устроим великолепную церемонию,— сказал он. — А в будущем году, если найдется девушка, столь же достойная, как Изидор, мы наградим девушку. Вот случай подать Нантеру прекрасный пример. Не будем придирчивыми: все заслуги надо поощрять».

Узнав обо всем, Изидор сильно покраснел, но, казалось, был доволен.

Торжество назначили на пятнадцатое августа — день рождества богородицы и рождения императора Наполеона. Муниципалитет решил обставить церемонию пышно и блестяще. Эстраду устроили на живописных холмах Куронно; это как бы продолжение валов старой крепости, куда я тебя сейчас поведу.

В общественном мнении произошел вполне понятный переворот: добродетель Изидора, подвергавшуюся до сих пор насмешкам, вдруг стали уважать, стали ей завидовать, как только выяснилось, что она принесет ему пятьсот франков, сберегательную книжку, всеобщий почет и громкую славу. Теперь девушки сожалели о своем легкомыслии, насмешках, вольностях. У Изидора, по-прежнему застенчивого и скромного,

был удовлетворенный вид, выдававший его тайную радость.

Накануне пятнадцатого августа вся улица Дофины была разукрашена флагами. Да, я забыл рассказать, по случаю какого события эта улица так названа.

Дело в том, что одну дофину, не знаю, какую именно, посетившую Жизор, городские власти чествовали так долго, что во время торжественной процессии по городу она остановилась перед одним из домов на этой улице и воскликнула: «О, какой хорошенький домик, как бы мне хотелось в нем побывать! Кому он принадлежит?» Ей назвали владельца, побежали за ним, отыскали и привели, смущенного и гордого, к принцессе.

Она покинула карету, вошла в дом, пожелала осмотреть его сверху донизу и даже уединилась, запершись на минутку, в некоей комнате.

Когда она вышла, народ, польщенный честью, оказанной одному из граждан Жизора, завопил: «Да здравствует дофина!» Но скоро один шутник сочинил песенку, и за улицей сохранилось имя ее королевского высочества, ибо:

Принцесса поспешила,
Не стала ждать кюре она
И влагой улицу сама
Внезапно окрестила.

Но возвращаюсь к Изидору.

По всему пути кортежа были разбросаны цветы, как для процессии в день тела господня, и даже была на ногах вся национальная гвардия под командой своего начальника, майора Дебарра, старого служаки Великой армии, который с гордостью показывал всем футляр с почетным крестом, пожалованным ему самим императором, и бороду казака, лихо отхваченную саблей майора от подбородка ее владельца при отступлении из России.

Отряд, которым он командовал, был к тому же отборным отрядом, известным во всей провинции: гренадерскую роту из Жизора приглашали на все праздники на пятнадцать — двадцать лье в окружности. Рассказывали, что сам король Луи-Филипп, делая смотр ми-

лиции Эрского департамента, в восхищении остановился перед жизорской ротой и воскликнул:

«Откуда эти бравые гренадеры?»

«Из Жизора»,— ответил генерал.

«Как это я не догадался?» — пробормотал король.

Итак, майор Дебарр со своими молодцами, с музыкантами впереди, явился за Изидором к лавке его матери.

После того как под окнами сыграли марш, виновник торжества появился на пороге.

Он был одет в белое с головы до ног; на нем была соломенная шляпа, украшенная, точно кокардой, букетиком флердоранжа.

Вопрос о его костюме весьма беспокоил госпожу Гюссон, которая долго колебалась между черной курткой первопричастника и белым одеянием. Франсуаза, ее советница, убедила ее выбрать белое, заметив, что так Изидор будет похож на лебедя.

Вслед за ним показалась его покровительница, его крестная мать — торжествующая госпожа Гюссон. Выходя из дому, она взяла Изидора под руку; с другой стороны шел мэр. Забили барабаны. Майор Дебарр скомандовал: «На кра-а-ул!» Шествие направилось к церкви, среди огромной толпы народа, собравшегося из всех окрестных общин.

После краткого богослужения и трогательной проповеди аббата Малу все двинулись к холмам Куронно, где в палатке было приготовлено пиршество.

Прежде чем сели за стол, мэр сказал речь. Вот она, слово в слово. Я запомнил ее наизусть, так она прекрасна:

«Молодой человек! Добродетельная дама, любимая бедняками и уважаемая богатыми, госпожа Гюссон, которую я благодарю от имени всего города, возымела мысль, счастливую и благотворную мысль, учредить в наших местах премию за добродетель,— ценное поощрение для жителей нашего края.

Вы, молодой человек, являетесь первым избранником, первым удостоенным премии в ряду благонравных и целомудренных. Имя ваше сохранится первым в перечне наиболее достойных; и нужно, чтобы вся ваша жизнь, понимаете ли, вся жизнь ваша оправдала столь

счастливое начало. Сегодня, в присутствии сей благородной дамы, награждающей вас за примерное поведение, в присутствии сих воинов, взявшихся в вашу честь за оружие, в присутствии всего растроганного народа, собравшегося здесь, дабы приветствовать вас (или, вернее, добродетель в вашем лице), вы даете городу и всем нам торжественное обещание — до самой смерти оставаться таким же превосходным примером для сограждан, как и в дни юности.

Не забывайте этого, молодой человек! Вы — первое семя, брошенное на почву наших надежд; принесите же нам ожидаемые плоды!»

Мэр сделал три шага вперед, раскрыл объятия и прижал к сердцу рыдающего Изидора.

Избранник плакал, сам не зная, почему, от безотчетного волнения, гордости, неясного и радостного умиления.

Затем мэр вложил ему в руку шелковый кошелек, где звенело золото — пятьсот франков золотом! — а в другую руку — сберегательную книжку и торжественно провозгласил: «Добродетели — почет, слава и богатство!»

Майор Дебарр заорал: «Браво!» Гренадеры загорланили, народ рукоплескал.

Госпожа Гюссон, в свою очередь, прослезилась.

Затем все уселись за стол, и начался пир.

Он был нескончаем, великолепен. Блюда следовали одно за другим; желтый сидр и красное вино стояли рядом в стаканах и братски смешивались в желудках. Стук тарелок, голоса, музыка, игравшая под сурдинку, сливались в непрерывный гул, таявший в ясном небе, где реяли ласточки. Госпожа Гюссон по временам поправляла черную шелковую наколку, съезжавшую ей на ухо, и разговаривала с аббатом Малу; взволнованный мэр рассуждал о политике с майором Дебарром, а Изидор ел, Изидор пил,— еще никогда ему не приходилось так есть и пить! Он брал всего по нескольку раз, впервые обнаружив, как приятно наполнять желудок вкусной снедью, которая уже доставила столько удовольствия, побывав во рту. Он потихоньку расстегнул пряжку панталон, которые стали ему тесны и сдавливали живот; молчаливый, немного смущенный

пятном от вина на своей белой куртке, он переставал жевать лишь для того, чтобы поднести к губам стакан и смаковать вино не спеша.

Начались тосты. Их было много, все усердно аплодировали. Вечерело; за столом сидели с полудня. Уже плыл по долине молочно-белый туман, легкое ночное одеяние ручейков и лугов; солнце коснулось горизонта; коровы мычали вдали на покрывшихся туманом пастбищах. Пир кончился; все возвращались в Жизор. Шествие уже не было стройно; шли в беспорядке. Госпожа Гюссон взяла Изидора под руку, наделяя его по дороге множеством важных и превосходных советов.

Его довели до дверей фруктовой лавки и оставили одного.

Мать еще не вернулась. Приглашенная родственниками отпраздновать триумф сына, она пошла завтракать к сестре, проводив шествие до самой палатки, где был устроен пир.

И вот Изидор очутился один в лавке, где уже становилось темно.

Взбудораженный вином и гордостью, он сел на стул и огляделся вокруг. Морковь, капуста, лук распространяли в комнате с закрытыми окнами острый аромат, грубые запахи огорода, к которым примешивались тонкий, вкрадчивый запах земляники и легкое благоухание, струившееся от корзины с персиками.

Изидор взял персик и стал его уписывать за обе щеки, хотя его живот был кругл, как тыква. Затем внезапно, вне себя от радости, он пустился в пляс, и что-то зазвенело в кармане его куртки.

Он удивился, засунул руки в карманы и вытащил кошелек с пятьюстами франков, о котором совсем забыл в своем опьянении. Пятьсот франков! Вот так удача! Он высыпал луидоры на прилавок и неторопливо, любовно разложил их рядышком, чтобы оглядеть все сразу. Их было двадцать пять, двадцать пять круглых золотых монет. Все — золотые! Они сверкали на прилавке в сгущавшихся сумерках, и он считал и пересчитывал их, дотрагиваясь до каждой монеты пальцем и бормоча: «Один, два, три, четыре, пять — сто; шесть, семь, восемь, девять, десять — двести...». Затем он

положил их обратно в кошелек и спрятал его в карман.

Кто знает, кто мог бы рассказать об ужасной борьбе добра со злом в душе примерного юноши, о бурном нападении Сатаны, о его хитростях, о соблазнах, какими он искушал это робкое, девственное сердце? Что за наваждения придумал лукавый, что за картины нарисовал, что за вожделения пробудил, стремясь взволновать и погубить несчастного? И вот избранник госпожи Гюссон схватил свою шляпу, еще украшенную букетиком флердоранжа, вышел с заднего хода в переулок и скрылся в ночной тьме.

Виржини, услышав, что сын уже дома, почти тотчас же вернулась, но дом оказался пустым. Сначала она не очень удивилась и стала ждать, но через четверть часа пошла разыскивать сына. Соседи с улицы Дофины видели, что Изидор вернулся, но не заметили, как он выходил. Его стали искать — и не нашли. Виржини в тревоге побежала в мэрию; но мэр ничего не знал, кроме того, что Изидора оставили у двери лавки.

Госпожа Гюссон была уже в постели, когда ей сообщили об исчезновении ее избранника. Она тотчас же напялила наколку, встала и сама отправилась к Виржини. Простодушная Виржини, которая легко поддавалась чувствам, плакала в три ручья среди своей капусты, моркови и лука.

Заподозрили несчастный случай. Но какой? Майор Дебарр известил жандармов, и они обыскали все окрестности. На Понтуазской дороге был найден букетик флердоранжа. Его положили на стол, за которым совещались блюстители порядка. Изидор, должно быть, сделался жертвой хитрости, злого умысла, зависти. Но как? Каким способом похитили это воплощение невинности, и с какой целью?

После долгих, бесплодных поисков представители власти легли спать. Одна Виржини, вся в слезах, не могла заснуть.

Но на другой день вечером, когда через Жизор возвращался парижский дилижанс, все с изумлением узнали, что накануне Изидор остановил его в двухстах

метрах от города, заплатил за место, получив сдачу с золотой монеты, преспокойно доехал до столицы и вышел в самом центре.

Волнение в городе усилилось. Между мэром и начальником парижской полиции началась переписка; однако она не привела к раскрытию тайны.

Дни шли за днями; миновала неделя.

Но вот однажды доктор Барбезоль, выйдя рано утром, на пороге одного из домов увидал человека в серой холщовой одежде, который спал, прислонившись головой к стене. Он подошел, узнал Изидора, попытался его разбудить, но это ему не удалось. Бывший избранник спал глубоким, непробудным, тяжелым сном, и пораженный доктор пошел за помощью, чтобы перенести молодого человека в аптеку Боншевaля. Когда Изидора подняли, из-под него выкатилась пустая бутылка; понюхав ее, доктор объявил, что она из-под водки. Это послужило указанием, как привести Изидора в чувство. Наконец это удалось. Он был пьян и совершенно одурел, пропьянствовав всю неделю. Он был пьян и настолько омерзителен, что ни один трактирщик не дотронулся бы до него. Его прекрасный белый полотняный костюм превратился в изжелта-серые, засаленные, грязные, гнусные лохмотья, и от него несло всеми запахами сточной канавы, помойки и порока.

Его вымыли, разбранили, заперли, и в течение четырех дней он не выходил из дому. Казалось, он испытывал стыд и раскаяние. При нем не оказалось ни кошелька с пятьюстами франков, ни сберегательной книжки, ни даже серебряных часов, заветного наследства, доставшегося после отца, торговца фруктами.

На пятый день он отважился выйти на улицу Дофины. Преследуемый любопытными взглядами, он шел мимо домов, опустив голову, отводя глаза. Его потеряли из виду на окраине города, там, где начинается долина. Но через два часа он появился снова, ухмыляясь и натыкаясь на стены. Он снова был пьян, мертвецки пьян.

Изидор так и не исправился.

Выгнанный из дома матерью, он стал возчиком и во-

зил уголь для фирмы Пугризель, существующей до сих пор.

Слава этого пьяницы стала так велика, распространилась так далеко, что даже в Эвре заговорили об избраннике госпожи Гюссон, и за пьянчугами здешних мест укоренилось это прозвище.

Благодеяние никогда не проходит бесследно!

Заканчивая свой рассказ, доктор Марамбо потирал руки. Я спросил его:

— Знавал ли ты его сам?

— Как же, я имел честь закрыть ему глаза.

— Отчего он умер?

— Разумеется, в припадке delirium tremens [1].

Мы дошли до старой крепости, где над разрушенными стенами возвышалась огромная башня св. Фомы Кентерберийского и другая, известная под именем башни пленника.

Марамбо рассказал мне историю этого пленника, который с помощью гвоздя покрыл резьбою стены своей тюрьмы, следуя за движением солнечного луча, проникавшего в узкую щель бойницы.

Затем я узнал, что Клотарий II даровал Жизорскую область своему двоюродному брату, св. Ромену, епископу Руанскому; что после договора в Сен-Клере-на-Эпте Жизор перестал быть главным городом всего Вексена, что он является передовым стратегическим пунктом этой части Франции, вследствие чего его без конца брали приступом и захватывали. По приказанию Вильгельма Рыжего знаменитый инженер Робер де Беллем построил там сильную крепость; на нее нападал Людовик Толстый, затем — нормандские бароны; ее защищал Робер де Кандос; Готфрид Плантагенет уступил ее Людовику Толстому, но англичане вновь завладели ею в результате измены тамплиеров; она была предметом спора между Филиппом-Августом и Ричардом Львиное Сердце; была сожжена Эдуардом III Английским, которому не удалось взять замок, и вновь захвачена англичанами в 1419 году; несколько позже она была

[1] Белая горячка *(лат.)*.

сдана Ричардом Марбери Карлу Седьмому; ее брал герцог Калабрийский; ею владела Лига; в ней жил Генрих Четвертый, и так далее, и так далее...

И Марамбо, сделавшись почти красноречивым, воскликнул убежденно:

— Что за негодяи эти англичане! И какие пьяницы, мой милый! Все они под стать Изидору, эти лицемеры!

Помолчав, он указал на узенькую речку, блестевшую среди лугов.

— Знаешь ли ты, что Анри Монье был одним из самых усердных рыболовов на берегах Эпты?

— Нет, я этого не знал.

— А Буффе, дорогой мой! Он из здешних мест, делал витражи!

— Да неужели?

— Ну да! Как можно этого не знать!

ОСЕЧКА

Я ехал в Турин через Корсику.

Из Ниццы я отплыл в Бастию пароходом и, как только мы вышли в море, заметил хорошенькую, скромную на вид молодую даму, которая сидела на верхней палубе и смотрела вдаль. Я подумал: «Вот и дорожное приключение».

Я пристроился напротив и стал разглядывать ее, задаваясь всеми теми вопросами, какие обычно задаешь себе при виде незнакомой привлекательной женщины: о ее положении, возрасте, характере. Вслед за тем стараешься угадать то, чего не видишь, на основании того, что видишь. Взглядом и воображением пытаешься исследовать то, что скрыто за корсажем и под платьем. Когда она сидит, определяешь длину талии; стараешься рассмотреть подъем ноги; оцениваешь достоинства ручки, по которой можно судить о тонкости прочих суставов, и форму уха, выдающего происхождение яснее, чем метрическое свидетельство, не всегда достоверное. Прислушиваешься к ее словам, чтобы по интонациям постичь склад ее ума и сердечные склонности. Ведь тембр и оттенки голоса открывают опытному наблюдателю весь сокровенный строй души, так как между мыслью и голосовым аппаратом всегда существует полная, хоть и трудноуловимая гармония.

Итак, я пытливо наблюдал за своей соседкой, выискивая характерные приметы, изучая жесты, ожидая откровения от каждой ее позы.

Она открыла дорожную сумочку и вынула газету.

Я потирал руки от удовольствия: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, что ты думаешь».

Она начала читать передовую статью с удовольствием и жадным любопытством. Мне бросилось в глаза заглавие газеты: *Эко де Пари*. Я был озадачен. Она читала хронику Шолля. Что за черт! Она поклонница Шолля, она шоллистка? Вот она улыбнулась. Ага! Верно, какое-нибудь вольное словцо. Значит, вы не чопорны, голубушка. Отлично! Шоллистки — о, они любят французское остроумие, шутки с солью, даже с перцем! Добрый знак. И я подумал: испытаем-ка ее по-другому.

Я сел рядом и с не меньшим вниманием принялся читать томик стихов, купленный на дорогу: *Песню любви* Феликса Франка.

Я заметил, что ее быстрый взгляд поймал заглавие на обложке, как птичка ловит мошку на лету. Несколько пассажиров прошло мимо нас, чтобы взглянуть на мою соседку. Но она, казалось, с головой ушла в свою хронику. Дочитав до конца, она положила газету на скамью между нами.

Я поклонился и спросил:

— Не разрешите ли, сударыня, пробежать вашу газету?

— Пожалуйста, сударь.

— Позвольте предложить вам взамен томик стихов.

— Пожалуйста, сударь; это забавно?

Я несколько растерялся от такого вопроса. Про стихи не спрашивают, забавны ли они. Я ответил:

— Лучше — это прелестно, изысканно и очень поэтично.

— Тогда дайте.

Она взяла книжку, раскрыла и начала перелистывать с удивленной гримаской; было ясно, что она редко читала стихи.

Порой она казалась растроганной, порою улыбалась, но совсем по-иному, чем при чтении газеты.

Я спросил как бы между прочим:

— Вам это нравится?

— Да, пожалуй, но я предпочитаю веселые книжки, вообще все веселое, я не сентиментальна.

И мы разговорились. Я узнал, что она жена драгун-

ского капитана из гарнизона Аяччо и что едет она к мужу.

Очень скоро я догадался, что она совсем не любит мужа. То есть любит, но без особого пыла, как любят человека, не сумевшего оправдать надежды, какие он подавал женихом. Он таскал ее за собой из гарнизона в гарнизон, по всевозможным захолустным городишкам, скучным-прескучным! Теперь он вызывал ее на этот остров, где, должно быть, ужасная тоска. Нет, жизнь балует далеко не всех. Она скорее предпочла бы пожить в Лионе у родителей, ведь у нее множество знакомых в Лионе. А вместо этого приходится ехать на Корсику. Право же, военный министр слишком мало ценит ее мужа, несмотря на его отличный послужной список.

И мы принялись болтать о городах, где бы ей хотелось пожить.

Я спросил:

— Вы любите Париж?

— О сударь!— воскликнула она.— Люблю ли я Париж! Как можно задавать такие вопросы? — И она начала говорить о Париже с таким жаром, таким воодушевлением, таким неистовым восторгом, что я подумал: «Вот на какой струнке следует играть».

Она обожала Париж, издали, с затаенной алчностью, с безнадежной страстью провинциалки, с отчаянным порывом пленной птицы, которая целыми днями смотрит в лес из окна, где висит ее клетка.

Она закидывала меня вопросами, захлебываясь от нетерпения; ей хотелось выведать все, решительно все, за пять минут. Она знала по именам всех знаменитостей и еще многих других, о ком я никогда и не слыхивал.

— Каков собою господин Гуно? А господин Сарду? О сударь, как я обожаю пьесы Сарду! До чего это весело, до чего остроумно! Стоит мне увидеть его пьесу, и я целую неделю сама не своя. Я прочла как-то книжку Доде, мне так понравилось! *Сафо,* вы это читали? А что, Доде — красивый мужчина? Вам приходилось его видеть? А Золя, какой он? Если бы вы знали, как я плакала над романом *Жерминаль!* Помните, там маленький ребенок умирает в темноте? Как это ужасно!

Я чуть было не захворала от огорчения. Право же, я не шучу. Еще я читала книгу Бурже *Жестокая загадка.* Одна моя кузина просто голову потеряла от этого романа, даже написала письмо господину Бурже. Ну, а мне это показалось слишком поэтичным. Я предпочитаю смешное. Вы знакомы с Гревеном? Вы знаете Коклена? А Дамала? А Рошфора? Говорят, он такой остряк. А Кассаньяк? Правда ли, что он каждый день дерется на дуэли?

Через час запас ее вопросов начал истощаться; и, удовлетворив ее любопытство самыми невероятными выдумками, я получил возможность заговорить сам.

Я рассказывал ей светские новости, сплетни парижского света, большого света. Она слушала всем существом, всем сердцем. Воображаю, какое дикое представление получила она о светских красавицах, о знатных дамах Парижа. То были сплошь одни любовные похождения, свидания, внезапные победы, губительные страсти. Время от времени она восклицала:

— О! Так вот он каков, большой свет!

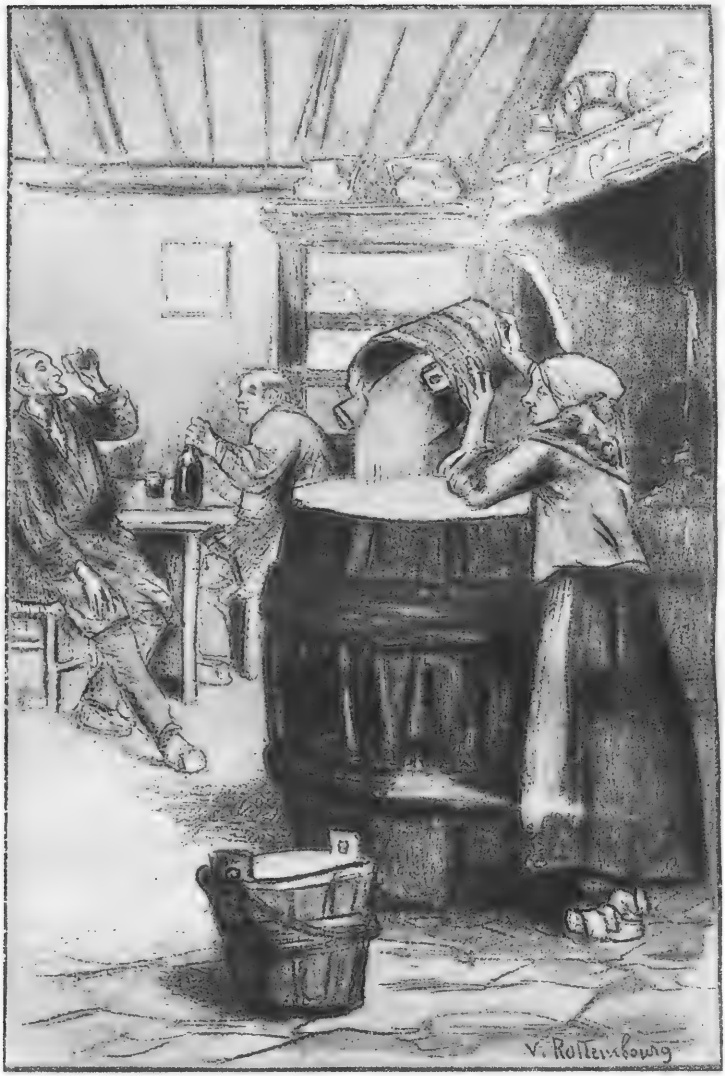
Я многозначительно улыбался:

— Ну, еще бы! Одни только мещаночки довольствуются своей серой, однообразной жизнью, соблюдая добродетель, пресловутую добродетель, которая решительно никому не нужна...

И я начал сокрушать добродетель, нанося ей мощные удары, пустив в ход иронию, философию, насмешку. Я вовсю издевался над бедными дурочками, которые увядают, так и не испытав ничего красивого, сладостного, нежного, изысканного, так и не вкусив упоительной неги тайных, жгучих, самозабвенных поцелуев, и лишь потому, что вышли замуж за какого-нибудь олуха, сдержанного в супружеских ласках, так и не изведают до самой смерти ни утонченной чувственности, ни красивой страсти.

Вслед за тем я пустился рассказывать анекдоты, разные истории об отдельных кабинетах, о любовных интригах, известные, по моим словам, всему свету. И припевом ко всему звучало осторожное, скрытое

Худ. В. Роттанбур. 1902. «НАТУРЩИЦА».



Худ. В. Роттанбур. 1902. «ПРОДАЖА».

восхваление внезапной тайной страсти, наслаждений, которые срываешь на лету, словно зрелый плод, и, вкусив, тут же забываешь.

Спускалась ночь, теплая и тихая. Наш пароход, содрогаясь от стука машины, скользил по морской глади под необъятным куполом лилового неба, усеянного мерцающими звездами.

Моя спутница не говорила больше ни слова. Она дышала медленно, по временам глубоко вздыхала. Потом вдруг поднялась.

— Я пойду спать,— сказала она,— покойной ночи, сударь.

И пожала мне руку.

Я знал с ее слов, что завтра вечером ей предстояло ехать из Бастии в Аяччо дилижансом, который идет через горы и проводит в пути всю ночь.

Я ответил:

— Покойной ночи, сударыня.

И тоже отправился спать в свою каюту.

На следующий день с раннего утра я купил три места в дилижансе, все три для себя одного.

Когда, уже в сумерках, я садился в ветхую карету, готовую тронуться в путь, кучер спросил, не соглашусь ли я уступить местечко одной даме.

Я спросил сердито:

— Какой еще даме?

— Офицерской жене, она тоже едет в Аяччо.

— Скажите этой особе, что я охотно предоставлю ей место.

Она появилась, уверяя, будто бы целый день спала. Извинилась, поблагодарила меня и села в карету.

Кузов дилижанса был чем-то вроде плотно закрытой коробки, куда свет проникал только через дверцы. И вот мы очутились наедине внутри кареты. Лошади бежали рысью, крупной рысью; потом стали подниматься в гору. Сквозь дверцы с опущенными стеклами проникал свежий, пряный запах душистых трав, крепкий запах, который Корсика распространяет далеко кругом, так что моряки узнают его в открытом море,— пьянящий, как аромат тела, как благовонные испарения зеленой земли, напитанные солнцем и разносимые ветром.

Я снова заговорил о Париже, и она снова слушала меня с жадным вниманием. Мои истории становились все более вольными, соблазнительными, полными коварных, двусмысленных слов, тех слов, что разжигают кровь.

Стало совсем темно. Я не видел уже ничего, не различал даже белого пятна, каким еще недавно казалось во мраке лицо молодой женщины. Только фонарь кучера освещал четверку лошадей, шагом подымавшихся в гору.

По временам, сливаясь со звоном бубенцов, до нас доносился рокот горного потока и вскоре затихал где-то далеко позади.

Я осторожно придвинул ногу и коснулся ее ноги — она не отодвинулась. Тогда, боясь пошевелиться, я выждал немного и вдруг, переменив тон, завел речь о нежности, о любви. Я протянул руку и коснулся ее руки — она не отстранилась. Я продолжал говорить, склонившись еще ближе к ее уху, к самым ее губам. Я ощущал уже, как бьется ее сердце у моей груди. Да, оно билось часто и сильно — добрый знак; и тут я тихонько прильнул губами к ее шее, уверенный в своей победе, настолько уверенный, что готов был держать пари на что угодно.

Но вдруг она рванулась, словно пробудившись от сна, рванулась прочь с такой силой, что я едва не стукнулся лбом о стенку кареты. Затем, прежде чем я успел опомниться, понять, сообразить, мне закатили сначала несколько звонких пощечин, потом угостили целым градом тумаков; крепкие, яростные удары настигали меня всюду, сыпались куда попало, и я не мог обороняться в густом мраке, который окутывал поле битвы.

Я шарил в темноте, пытаясь поймать и схватить ее за руки, но напрасно. Потом, не зная, что делать, быстро отвернулся, подставив спину этой бешеной атаке и спрятав голову меж кожаных подушек в углу кареты.

Она как будто поняла — может быть, по звуку ударов — мой отчаянный оборонительный маневр и сразу перестала меня колотить.

Мгновение спустя она забилась в свой угол и раз-

разилась горькими рыданиями, которые не утихали по крайней мере целый час.

Я отодвинулся, встревоженный и крайне пристыженный. Я хотел было заговорить, но что я мог ей сказать? Мне ничего не приходило в голову. Просить извинения? Это было бы глупо! Ну, а вы, что бы вы придумали на моем месте? Поверьте, тоже ничего.

Она тихонько всхлипывала, тяжко вздыхая по временам, что меня и трогало и огорчало. Мне хотелось бы утешить ее, поцеловать, как целуют обиженного ребенка, попросить прощения, стать на колени. Но я не смел.

Бывают же такие дурацкие положения!

Наконец она успокоилась; мы сидели, каждый в своем углу, молча и неподвижно, а карета все катилась, изредка останавливаясь для перепряжки лошадей. Тогда мы оба поспешно зажмуривали глаза, чтобы не видеть друг друга при ярком свете фонарей постоялого двора. Затем дилижанс снова трогался в путь, и сладостный, благоуханный ветер корсиканских гор по-прежнему ласкал нам щеки и губы, опьяняя меня, как вино.

Ах ты, черт, какое чудесное путешествие, если бы... если бы только моя спутница не была такой дурой!

Между тем в карету медленно прокрались первые лучи, бледные лучи рассвета. Я взглянул на соседку. Она притворялась спящей. Вскоре солнце, поднявшись из-за гор, озарило огромный залив, синий-синий, обрамленный высокими гранитными скалами. На берегу залива, еще окутанный дымкой, показался белый город.

Тут моя спутница сделала вид, что проснулась; она раскрыла глаза, красные от слез, открыла ротик и зевнула, точно после долгого сна. Потом робко огляделась, покраснела и пролепетала:

— Скоро мы приедем?

— Да, сударыня, меньше, чем через час.

Она продолжала, глядя вдаль:

— Как утомительна ночь в карете!

— О да, на другой день ломит поясницу

— В особенности после морского путешествия.

— О да!

— Это Аяччо там виднеется?

— Да, сударыня.

— Мне не терпится поскорей приехать.

— Я вас понимаю.

Голос ее слегка дрожал, вид был чуть-чуть смущенный, глаза немного блуждали. Впрочем, она, казалось, все забыла.

Я восхищался ею. Экие хитрые бестии, эти негодницы! Какие тонкие дипломатки!

Не прошло и часу, как мы действительно приехали; высокий драгун богатырского сложения, стоявший у почтовой конторы, замахал платком при виде дилижанса.

Моя спутница порывисто бросилась к нему в объятия и расцеловала его по крайней мере раз двадцать, повторяя:

— Ты здоров? Как я спешила к тебе!

Мои сундуки стащили с империала, и я уже хотел незаметно удалиться, как вдруг она окликнула меня:

— Как, сударь? Вы уходите не попрощавшись?

Я пробормотал:

— Сударыня, я не хотел мешать вашей радости.

Тогда она обратилась к мужу:

— Поблагодари этого господина, милый друг, он был необычайно внимателен ко мне во время путешествия. Он даже предложил мне место в карете, которую нанял для себя одного. Как приятно встретить такого любезного спутника!

Муж горячо жал мне руку, рассыпаясь в благодарностях.

Плутовка усмехалась, глядя на нас... А я... должно быть, вид у меня был преглупый!

ВЗБЕСИЛАСЬ

Милая Женевьева, ты просишь меня описать наше свадебное путешествие. Как мне решиться? Ах, скрытница, ты ничего мне не сказала, ни на что не намекнула, ни на что, ни на что! Ты замужем уже полтора года, целых полтора года; ты лучшая моя подруга и никогда прежде ничего от меня не скрывала,— как же у тебя вдруг не хватило великодушия предупредить меня? Если бы ты хоть предостерегла меня, хоть заставила бы насторожиться, хоть заронила мне в душу самую крохотную искру подозрения,— ты удержала бы меня от большой глупости, которая до сих пор еще вызывает у меня краску стыда, а для мужа всю жизнь будет предметом потехи,— и ты единственная тут виновница.

Я навеки стала посмешищем, я допустила одну из тех ошибок, воспоминание о которых не изглаживается никогда, и все по твоей вине, негодница. Ах, если бы я знала!

Но, взявшись за перо, я набираюсь храбрости и решаюсь рассказать тебе все. Зато обещай не очень надо мной смеяться.

Не жди комедии. Это драма.

Ты помнишь мою свадьбу. В тот же вечер я должна была уехать в свадебное путешествие. Ну, разумеется, я ничуть не была похожа на Полетту, историю которой Жип так забавно рассказала в остроумном романе *Вокруг брака*. И если бы мамочка сказала мне, как

г-жа д'Отретан своей дочери: «Муж обнимет тебя... и...», я уж, конечно, не расхохоталась бы, как Полетта, и не ответила бы: «Можешь не продолжать, мамочка... все это я знаю не хуже тебя...»

Я не знала решительно ничего; мамочку же, бедную мою мамочку, все пугает, и она не отважилась коснуться этого щекотливого вопроса.

Итак, в пять часов вечера, после чая, нам доложили, что экипаж подан. Гости разъехались, я была готова. Я еще теперь слышу, как на лестнице выносят сундуки и как папочка говорит в нос, но старается не показать виду, что плачет. Целуя меня, бедняжка сказал: «Не робей!» — словно мне предстояло вырвать себе зуб. А мамочка лила слезы ручьем. Муж торопил меня, чтобы сократить тягостные минуты расставания; сама я была вся в слезах, хоть и очень счастлива. Это трудно объяснить, однако это так. Вдруг я почувствовала, как что-то дергает меня за подол. То был Бижу, совсем забытый с утра. Бедная собачка по-своему прощалась со мною. От этого у меня слегка сжалось сердце, и мне очень захотелось поцеловать моего песика. Я его схватила (ты ведь знаешь, он величиной с кулак) и стала осыпать поцелуями.

Я обожаю ласкать животных. Это доставляет мне нежную радость, вызывает во мне своеобразный трепет, это восхитительно!

А он был как безумный; он перебирал лапками, лизал меня, покусывал, как делает всегда, когда очень рад. Вдруг он взял меня зубами за нос, и я почувствовала боль. Я слегка вскрикнула и опустила собачку на пол. Она в самом деле, играя, укусила меня. Показалась кровь. Все были огорчены. Принесли воды, уксуса, марли, и муж пожелал сам мне помочь. Впрочем, это был пустяк — два крошечных прокола — словно от иголки. Минут через пять кровь остановилась, и я уехала.

Было решено, что мы отправимся в путешествие по Нормандии, месяца на полтора.

К вечеру мы приехали в Дьепп. Собственно говоря, не к вечеру, а в полночь.

Ты знаешь, как я люблю море. Я заявила мужу, что не лягу спать прежде, чем не увижу море. Это ему,

видимо, не понравилось. Я спросила его смеясь: «Неужели вам хочется спать?»

Он ответил: «Нет, дорогая, но вы должны бы понять, что мне хочется поскорее остаться с вами наедине».

Я удивилась: «Наедине со мной? Но мы всю дорогу были наедине в вагоне».

Он улыбнулся: «Да... но... в вагоне совсем не то, что в нашей комнате».

Я не сдавалась: «Но, сударь, здесь, на пляже, мы с вами наедине,— чего же еще?»

Это ему уже явно не понравилось. Однако он ответил: «Пусть будет так, раз вы хотите».

Была великолепная ночь, одна из тех, что вливают в душу великие и смутные идеи, скорее ощущения, чем мысли, и хочется тогда раскинуть руки, расправить крылья, обнять все небо и бог весть что. Тогда кажется, что вот-вот поймешь непостижимое.

В воздухе разлита Мечта, струящаяся прямо в душу, Поэзия, особое, неземное счастье, какое-то бесконечное опьянение, исходящее от звезд, луны, от серебристого, колышущегося моря. Это лучшие мгновения в жизни. Они приоткрывают иное, лучшее, восхитительное существование; они как бы откровение о том, что могло бы быть... или что еще будет.

А мужу моему, по-видимому, не терпелось вернуться. Я спросила его: «Тебе холодно?» — «Нет». — «Так посмотри же на тот кораблик, вон там, вдали; он словно спит на воде. Здесь так хорошо! Я охотно осталась бы тут до утра. Скажи, хочешь, мы дождемся зари?»

Он решил, что я над ним издеваюсь, и почти силою повлек меня в гостиницу. О, если бы только я знала! Ах, злодей!

Когда мы остались одни, мне стало стыдно, неловко — клянусь тебе, я не знала, отчего. Наконец я отослала его в туалетную, а сама легла.

Ах, милочка, как бы это выразиться? Ну вот, мое бесконечное неведение он счел, несомненно, за лукавство, мою бесконечную наивность — за плутовство, мою глупую и доверчивую беспечность — за обдуманную тактику и поэтому пренебрег той осторожностью и чуткостью, которые необходимы, чтобы растолковать

подобные тайны, сделать их понятными и приемлемыми для ничего не подозревающей и совсем не подготовленной души.

И вдруг мне показалось, что он совсем потерял голову. Потом, все сильнее пугаясь, я подумала, не собирается ли он меня убить. Когда мы во власти страха, мы уже не рассуждаем, не думаем, мы сходим с ума. Мгновенно мне представились всякие ужасы. Мне вспомнились газетные сообщения о разных происшествиях, таинственные преступления, вспомнились передаваемые шепотом истории девушек, выданных замуж за негодяев. Разве я хорошо знала этого человека? Я отбивалась, отталкивала его, обезумев от ужаса. Я даже вырвала у него клочья волос с головы и из усов и, высвободившись, вскочила с громким воплем: «Помогите!» Я подбежала к двери, отодвинула задвижку и, полуголая, бросилась на лестницу.

Соседние двери тоже отворились. Показались какие-то мужчины в рубашках, со свечами в руках. Я кинулась в объятия к одному из них, моля о защите. Он бросился на моего мужа.

Остального не знаю. Началась драка, поднялся крик; потом все стали хохотать, да так хохотать, что ты и представить себе не можешь. Хохотал весь дом сверху донизу. Ко мне долетали из коридора буйные взрывы смеха, другие неслись из комнаты под нами. Под крышей хохотали поварята, а сторож корчился от смеха на своей койке в передней.

Подумай только: в гостинице!

Потом я опять очутилась с мужем наедине, и он дал мне несколько общих разъяснений подобно тому, как объясняют химический опыт, прежде чем приступить к нему. Он был очень недоволен. Я проплакала всю ночь, и мы уехали, как только отперли парадное.

Но это еще не все.

На другой день мы приехали в Пурвиль — это только еще зарождающийся курорт. Муж осыпал меня знаками внимания, нежности. Недовольство его прошло, и теперь он, казалось, был в восторге. Стыдясь и сожалея о вчерашнем приключении, я старалась быть как можно ласковей и покладистей. Но ты представить себе не можешь, какой ужас, какое отвращение, дохо-

дящее почти до ненависти, стал возбуждать во мне Анри, когда я узнала ту мерзкую тайну, которую так тщательно скрывают от девушек. Я пришла в отчаяние, мне было смертельно грустно, я разочаровалась во всем и томилась желанием вернуться к милым моим родителям. Через день мы приехали в Этретá. Все живущие здесь были в смятении: одну молодую женщину укусила собачка, и женщина только что умерла от бешенства. Когда я услыхала об этом за табльдотом, по спине у меня побежали мурашки. Мне тотчас же показалось, что нос у меня болит, и во всем теле я ощутила что-то странное.

Я не спала всю ночь; о муже я совершенно забыла. Вдруг я тоже умру от бешенства? Наутро я расспросила метрдотеля обо всех подробностях. Они были ужасны. Я целый день ходила по дюнам. Я перестала разговаривать, погрузилась в размышления. Бешенство! Какая страшная смерть! Анри меня расспрашивал: «Что с тобой? Ты, кажется, грустишь?» Я отвечала: «Да нет, ничего, ничего!» Я рассеянно смотрела на море, но не видела его, смотрела на фермы, на равнины, но не могла бы сказать, что́ у меня перед глазами. Ни за что на свете не призналась бы я в мысли, которая так терзала меня. Я почувствовала в носу боль, настоящую боль, и захотела домой.

Вернувшись в гостиницу, я тотчас же заперлась, чтобы разглядеть ранку. Она уже стала незаметной. И все же сомнения не было, она болела.

Я тут же написала мамочке коротенькое письмо, которое, вероятно, показалось ей странным. Я просила немедленного ответа на несколько пустячных вопросов. Подписавшись, я добавила: «Главное, не забудь сообщить мне, как поживает Бижу».

На другой день я ничего не могла есть, но отказалась обратиться к врачу. Я просидела весь день на пляже, смотря на купающихся. Появлялись тут и толстые и худые, но все были безобразны, в ужасных костюмах; однако мне было не до смеху. Я думала: «Какие счастливые! Их никто не кусал! Они-то будут жить! Им нечего бояться! Они могут веселиться, сколько вздумается. Как они безмятежны!»

Я поминутно подносила руку к носу, чтобы ощу-

пать его. Не пухнет ли он? А едва вернувшись в гостиницу, я заперлась, чтобы разглядеть его в зеркало. О, если бы цвет его изменился — я умерла бы на месте!

Вечером я внезапно почувствовала к мужу какую-то нежность, нежность отчаяния. Он показался мне таким добрым, я оперлась на его руку. Раз двадцать я чуть было не поделилась с ним своей отвратительной тайной, однако промолчала.

Он подло злоупотребил моей беспомощностью и душевным изнеможением. У меня не было сил противиться, даже воли не хватило. Я все бы вытерпела, все бы перенесла. На другой день я получила письмо от мамочки. Она отвечала на мои вопросы, но о Бижу — ни слова. Я тотчас же решила: «Он околел, и от меня это скрывают». Потом я побежала было на телеграф, чтобы отправить депешу. Меня остановила мысль: «Если он действительно околел, мне этого все равно не скажут». Поэтому я примирилась с необходимостью промучиться еще два дня. И я снова написала письмо. Я просила, чтобы мне прислали песика, так как я немного скучаю.

Днем меня стало трясти. Я не могла поднять стакан, не расплескав половины. Душевное состояние мое было плачевно. В сумерках я ускользнула от мужа и побежала в церковь. Я долго молилась.

На обратном пути я опять почувствовала боль в носу и зашла в аптеку,— она еще была освещена. Я рассказала аптекарю о своей подруге, которую якобы укусила собака, и попросила у него совета. Это был любезнейший человек, чрезвычайно предупредительный. Он дал мне кучу наставлений. Но ум мой был так помрачен, что я тут же забывала, что мне говорили. Я запомнила только одно: «Зачастую прописывают слабительное». Я купила несколько склянок какого-то снадобья, сказав, что пошлю их подруге.

Попадавшиеся на пути собаки внушали мне ужас и желание бежать со всех ног. Несколько раз мне показалось, что мне самой хочется их укусить.

Ночь я провела ужасно тревожно. Муж воспользовался этим. Наутро я получила мамочкин ответ. «Бижу чувствует себя превосходно,— писала она.— Но пе-

реправлять его одного по железной дороге опасно». Итак, мне его не присылают! Он околел!

Ночью я опять не могла уснуть. Между тем Анри храпел. Несколько раз он просыпался. Я была в изнеможении.

На другой день я выкупалась в море. Когда я входила в воду, мне чуть не сделалось дурно,— такой меня охватил холод. Это ощущение ледяной воды еще больше потрясло меня. Ноги у меня страшно дрожали; зато нос совсем не болел.

Мне представили врача, инспектора пляжа,— очаровательного человека. Я проявила исключительную ловкость и навела его на интересующую меня тему. Потом я сказала, что мой щенок укусил меня несколько дней тому назад, и спросила, что надо делать, если случится воспаление. Он рассмеялся и ответил: «В вашем положении я вижу только один выход, сударыня,— вам нужен новый нос» [1].

А так как я не понимала, он добавил: «Впрочем, это дело вашего супруга».

Расставшись с ним, я осталась в прежнем неведении и растерянности.

Анри в тот день казался очень веселым, очень довольным. Вечером мы пошли в казино, но он, не дождавшись конца спектакля, предложил вернуться домой. Меня уже ничто не привлекало, и я последовала за ним.

Однако я не в силах была лежать в постели, нервы мои были натянуты и трепетали. А он тоже не спал. Он меня обнимал, гладил, стал нежным и ласковым, словно понял наконец, как я страдаю. Я сносила его ласки, даже не сознавая их, не думая о них.

Но вдруг меня потряс внезапный, необыкновенный, ошеломляющий приступ... Я испустила дикий вопль и, оттолкнув мужа, бросилась в другой конец комнаты и упала ничком у двери. То было бешенство. Я погибла!

Перепуганный Анри меня поднял, стал расспрашивать, что со мной. Но я молчала. Я уже смирилась. Я ждала смерти. Я знала, что после нескольких часов передышки последует новый приступ, за ним другой,

[1] В подлиннике непереводимая игра слов: nouveau nez (новый нос) звучит как nouveau né (новорожденный).

потом еще и еще,— и так до последнего, который будет смертельным.

Я дала перенести себя в постель. На рассвете навязчивость мужа вызвала новый припадок, продолжительнее первого. Мне хотелось выть, рвать, кусаться: это было нечто ужасное, но все же менее мучительное, чем я предполагала.

Часов в восемь я в первый раз за четыре ночи заснула.

В одиннадцать часов меня разбудил любимый голос. То была мамочка: мои письма ее напугали, и она примчалась навестить меня. В руках она держала большую корзину, из которой внезапно раздался лай. Вне себя, обезумев от надежды, я схватила корзину. Я открыла ее — и Бижу выскочил ко мне на постель; в неистовой радости он стал ко мне ласт иться, кувыркаться, кататься по подушке.

Так вот, милочка, хочешь — верь, хочешь — нет: я все поняла только еще на другой день.

О воображение! Как оно действует! И подумать только, что я воображала, будто... Согласись, не глупость ли это?

Ты сама понимаешь, я никому не призналась в муках этих четырех дней. Представь себе, что об этом узнал бы мой муж? Он уж и без того достаточно подтрунивает надо мною из-за пурвильского приключения. Впрочем, я особенно не сержусь на его шутки. Привыкла. В жизни ко всему привыкаешь.

НАТУРЩИЦА

Расположенный в виде полумесяца городок Этретá, блистая белыми крутыми берегами, белой галькой пляжа и синим заливом, отдыхал под лучами яркого июльского солнца. На двух концах полумесяца две скалы с арками — маленькая справа, огромная слева — вытягивали в спокойное море одна — ногу карлика, другая — лапу великана; остроконечная колокольня почти такой же высоты, как прибрежные скалы, широкая у основания, тонкая вверху, вонзалась в небо своим шпилем.

Вдоль берега, у самой воды, расселась толпа любопытных, глазея на купальщиков. На террасе перед казино разгуливала и сидела другая толпа, раскинув под лучезарным небом роскошный цветник туалетов, где пестрели красные и синие зонтики с огромными цветами, вышитыми шелком.

По краю площадки, в стороне от разряженной суетливой толпы, прохаживались, не спеша, люди серьезные и степенные.

Молодой человек, знаменитый, прославленный художник Жан Зюммер, с сумрачным видом шагал рядом с ручной коляской для больных, где лежала молоденькая женщина, его жена. Слуга тихонько катил перед собой кресло на колесах, и бедная калека печальным взором глядела на радостное небо, радостный день, на чужую радость.

Они не разговаривали. Они не смотрели друг на друга.

— Остановимся на минутку,— сказала молодая женщина.

Они остановились, и художник присел на складной стул, который подал ему слуга.

Люди, проходившие мимо этой неподвижной безмолвной четы, смотрели на нее с грустным сочувствием. Сложилась уже целая легенда о человеческом самоотвержении. Говорили, что он женился на ней, несмотря на ее увечье, тронутый ее любовью.

Неподалеку от них, сидя на кабестане, беседовали двое молодых людей, устремив глаза в морскую даль.

— Нет, это неправда, уверяю тебя; я близко знаю Жана Зюммера.

— Но почему же он на ней женился? Говорят, она еще до свадьбы была калекой, не правда ли?

— Совершенно верно. Он женился... женился... ну, почему женятся, черт возьми. По глупости!

— Ну, а еще почему?

— Еще... еще... Да просто так, милый друг. Кто глуп, тот делает глупости. И потом, ты же знаешь, художникам особенно везет на дурацкие браки; почти все они женятся на натурщицах, на прежних своих любовницах, словом, на женщинах с погибшей репутацией. Почему? Кто их знает? Казалось бы, напротив, постоянное общение с этой глупой породой индюшек, именуемых натурщицами, должно бы на веки вечные отбить у них охоту к особам такого сорта. Не тут-то было. Сначала натурщицы позируют им, потом женят их на себе. Почитай-ка *Жены артистов* Альфонса Доде,— какая правдивая, жестокая и чудесная книжка!

Что касается вот этой пары, их случай совсем особенный и трагический. Эта маленькая женщина разыграла комедию, или, вернее, ужасную драму. В сущности, она рискнула всем, чтобы добиться всего. Была ли она искренней? Любила ли она Жана? Как знать? Разве можно определить, где притворство и где правда в поступках женщин? Они всегда искренни, хотя настроения их вечно меняются. Они бывают вспыльчивы, преступны, самоотверженны, великодушны и подлы, повинуясь каким-то своим, неуловимым побуждениям. Они беспрестанно лгут, невольно, безотчетно, бессознательно, но, несмотря на это, совершенно правдивы в

своих ощущениях и чувствах; это выражается в их поступках, необдуманных, неожиданных, непонятных, безрассудных, которые путают все наши расчеты, наши укоренившиеся привычки и все наши эгоистические соображения. Их внезапные, взбалмошные выходки остаются для нас неразрешимой загадкой. Мы вечно задаем себе вопрос: «Искренни они или лживы?»

В сущности, мой милый, они искренни и лживы одновременно, потому что им свойственно доводить до крайности то и другое, не будучи ни тем, ни другим.

Посмотри, к каким уловкам прибегают самые порядочные женщины, чтобы добиться от нас того, чего они хотят. Эти средства и сложны и просты. Так сложны, что их нельзя предугадать, так просты, что, поддавшись им, мы сами невольно удивляемся и спрашиваем себя: «Как? Неужели ей удалось так легко меня одурачить?»

И они всегда добиваются своего, старина, в особенности когда им нужно кого-нибудь на себе женить.

Но вернемся к истории Зюммера.

Его жена, разумеется, натурщица. Она позировала в его мастерской. Она была миловидна, очень изящна, и, кажется, божественно сложена. Он увлекся ею, как увлекаешься всякой мало-мальски соблазнительной женщиной, если часто ее видишь. И вообразил, что любит ее всей душой. Ведь вот удивительно! Стоит вам почувствовать влечение к женщине, и вы уже искренне убеждены, будто не сможете обойтись без нее до конца жизни. Вы прекрасно знаете, что с вами это уже случалось, что всегда после обладания наступает отвращение, что для совместной жизни с другим существом нужна не грубая физическая страсть, которая весьма скоро угасает, но согласие душ, характеров и склонностей. Поддаваясь увлечению, надо уметь различать, чем оно вызвано: обольстительной внешностью, особого рода чувственным опьянением или же глубоким душевным очарованием.

Как бы то ни было, он вообразил, что любит ее, надавал ей клятв и обетов, и они стали жить вместе.

Она и вправду была прехорошенькой и обладала тем наивным изяществом, каким часто одарены парижаночки. Она щебетала, ворковала, болтала глупости,

которые казались остроумными в ее устах, так забавно она их преподносила. В любую минуту она умела принять грациозную позу, способную пленить взор художника. Когда она закидывала руки, или наклонялась, или садилась в коляску, или протягивала вам пальчики, все ее движения были безупречно красивы и естественны.

Целых три месяца Жан не замечал, что, в сущности, она совершенно такая же, как все натурщицы.

На лето они сняли дачку в Андрези.

Я был у них в тот вечер, когда в душу моего друга закрались первые сомнения.

Стояла чудесная лунная ночь, и нам захотелось прогуляться по берегу реки. Луна заливала подернутую рябью воду дождем света, рассыпаясь желтоватыми отблесками по завиткам водоворотов, по течению, по всему простору плавно катившейся реки.

Мы брели вдоль берега, слегка опьяненные тем смутным волнением, какое вызывают такие волшебные вечера. Мы грезили о сверхчеловеческих подвигах, о любви неведомых существ, прелестных и поэтических. Мы ощущали трепет восторгов, желаний, небывалых стремлений. И мы молчали, завороженные свежей, живой прохладой этой чарующей ночи, лунной прохладой, которая словно проникает в тело, пронизывает вас, обволакивает душу, обвевает ее благоуханием и затопляет счастьем.

И вдруг Жозефина (ее зовут Жозефиной) громко вскрикнула:

— Ой! Видал, какая большая рыба плеснулась?

Он ответил, не глядя, думая о другом:

— Да, милая.

Она рассердилась.

— Нет, ты не мог видеть, ты же стоял спиной.

Он улыбнулся:

— Ты права. Здесь так чудесно, что я замечтался.

Она замолчала; но через минуту не выдержала и опять спросила:

— Ты поедешь завтра в Париж?

— Право, не знаю,— проговорил он.

Она снова вспылила:

— Неужто, по-твоему, весело так гулять, не рас-

крывая рта? Люди разговаривают, если они не идиоты!

Он не отвечал. И тогда, отлично понимая своим порочным женским чутьем, что выводит его из себя, она принялась напевать тот навязчивый мотив, которым нам так прожужжали уши за последние два года:

Глядел я в небеса...

— Прошу тебя, замолчи,— прошептал он.

— С какой стати я должна молчать?— крикнула она в бешенстве.

Он ответил:

— Это портит нам пейзаж.

Тогда разыгралась сцена, безобразная, нелепая, с неожиданными попреками, вздорными обвинениями и, в довершение всего, со слезами. Все было пущено в ход. Они вернулись домой. Он не останавливал ее, не возражал, одурманенный божественной истомой вечера и оглушенный этим градом пошлостей.

Три месяца спустя он отчаянно бился в невидимых неразрывных сетях, какими подобная связь опутывает нашу жизнь. Она держала его крепко, изводила, терзала. Они ссорились с утра до ночи, бранились и даже дрались.

Наконец он решился покончить, порвать с ней во что бы то ни стало. Он распродал все свои холсты, занял денег у друзей, собрал двадцать тысяч франков (тогда еще он был малоизвестен) и однажды утром оставил их у нее на камине вместе с прощальным письмом.

Он нашел пристанище у меня.

Часа в три раздался звонок. Я пошел отворять. На меня кинулась какая-то женщина, оттолкнула меня, вбежала в дверь и ворвалась в мастерскую; это была она.

Увидев ее, он поднялся с места.

Жестом, полным истинного благородства, она швырнула к его ногам конверт с банковыми билетами и сказала отрывисто:

— Вот ваши деньги. Не нужно мне их.

Она была очень бледна, вся дрожала и, видимо, готова была на любое безумство. А он тоже побледнел,

побледнел от гнева и бешенства и, очевидно, готов был на любую выходку.

Он спросил:

— Что вам угодно?

Она отвечала:

— Я не желаю, чтобы со мной обращались, как с девкой. Ведь это вы меня умоляли, вы меня соблазнили. Я ничего у вас не просила. Вернитесь ко мне.

Он топнул ногой:

— Ну нет, это слишком! Если ты воображаешь, что ты...

Я схватил его за руку.

— Замолчи, Жан. Предоставь это мне.

Я подошел к ней и тихонько, осторожно стал ее уговаривать; я исчерпал весь запас доводов, к каким прибегают в подобных случаях. Она слушала меня молча, стоя неподвижно, с застывшим взглядом.

В конце концов, не зная, что сказать и чувствуя, что дело может плохо кончиться, я отважился на последнее средство. Я заявил:

— Он любит тебя по-прежнему, милочка; но родные хотят его женить, и ты сама понимаешь...

Она подскочила.

— Ах... вот что... теперь я понимаю!..

И повернулась к нему:

— Ты... ты... ты женишься?

— Да,— отрезал он.

Она рипулась вперед.

— Если ты женишься, я покончу с собой... слышишь?

Он пожал плечами:

— Ну что же... кончай с собой.

Она произнесла, запинаясь, сдавленным от отчаяния голосом:

— Что ты сказал?.. Что ты сказал?.. Повтори!..

Он повторил:

— Ну что же, кончай с собой, если тебе так хочется.

По-прежнему бледная, как смерть, она пролепетала:

— Не доводи меня до этого. Я выброшусь в окно.

Он рассмеялся, подошел к окну, распахнул его на-

стежь и с поклоном, словно уступая ей дорогу, как галантный кавалер, воскликнул:

— Пожалуйте! Проходите первая!

С минуту она смотрела на него неподвижным, отчаянным, безумным взглядом; потом с разбегу, словно собираясь перепрыгнуть через изгородь в поле, она пронеслась мимо меня, мимо него, вскочила на подоконник и исчезла...

Никогда не забуду страшного впечатления от этого раскрытого окна, в котором только что мелькнуло падающее тело; в тот миг окно показалось мне огромным, как небо, и пустым, как пространство. И я невольно отступил, не смея заглянуть туда, как будто сам боялся упасть.

Пораженный ужасом, Жан замер на месте.

Бедную девушку подобрали с переломанными ногами. Она никогда уже не сможет ходить.

Ее любовник, обезумев от раскаяния, а также, быть может, тронутый ее поступком, перевез ее к себе и женился на ней.

Вот и все, милый друг.

Приближался вечер. Молодая женщина озябла и пожелала вернуться домой; слуга снова покатил ее кресло по направлению к поселку. Художник шел рядом с женой, и за целый час они не перемолвились ни словом.

БАРОНЕССА

— Ты увидишь много любопытных безделушек, пойдем со мной,— сказал мой приятель Буарене.

Он привел меня в красивый особняк на одной из главных улиц Парижа, и мы поднялись во второй этаж. Нас принял представительный господин с безупречными манерами; он водил нас из комнаты в комнату и показывал всевозможные редкости, небрежно называя их цену. Крупные суммы в десять, двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч франков слетали с его губ так естественно, так непринужденно, что вам начинало казаться, будто в несгораемом шкафу этого великосветского торговца хранились целые миллионы.

Я давно уже знал о нем понаслышке. Чрезвычайно ловкий, изворотливый, умный, он служил посредником в самых разнообразных сделках. Поддерживая связи со всеми богатыми коллекционерами Парижа, Европы и даже Америки, прекрасно зная их постоянные вкусы и временные пристрастия, он тотчас извещал их запиской или депешей,— если они жили в другом городе,— как только появлялось в продаже подходящее для них произведение искусства.

Люди самого высшего общества прибегали к его услугам в затруднительных обстоятельствах, если на-

до было уплатить проигрыш, вернуть долг, продать картину, фамильную драгоценность, гобелен, а иногда, в минуту острого безденежья, даже лошадь или поместье.

Молва утверждала, что он никогда не отказывал в помощи, если предвидел верную прибыль.

Буарене, очевидно, был коротко знаком с этим оригинальным продавцом. Должно быть, им приходилось вести вместе не одно дело. Я же наблюдал его с большим интересом.

Он был высокого роста, худощавый, лысый, очень элегантный. В его мягком, вкрадчивом голосе таилось своеобразное очарование, очарование обольстителя, придающее всякому предмету его коллекции особенную ценность. Взяв в руки какую-нибудь безделушку, он вертел ее, разглядывал, поворачивал так ловко, умело, бережно, с такой любовью, что вещица сразу становилась красивее, как бы преображаясь от его взгляда и прикосновения. И вы мысленно оценивали ее гораздо дороже, лишь только она переходила из витрины к нему в руки.

— А где же распятие,— спросил Буарене,— то чудесное распятие эпохи Возрождения, которое вы мне показывали в прошлом году?

Он улыбнулся.

— Оно проданю и при весьма запятных обстоятельствах. Вот уж, действительно, чисто парижская история. Рассказать ее вам?

— Сделайте одолжение.

— Знаете вы баронессу Самори?

— И да и нет. Я видел ее только раз, но знаю, что это за особа.

— Вы про нее... все знаете?

— Да.

— Будьте так любезны, расскажите; посмотрим, не ошибаетесь ли вы.

— Охотно. Госпожа Самори светская женщина, и у нее есть дочь, хотя о муже никто никогда не слыхал. Во всяком случае, если мужа и не было, то любовников она отлично умеет скрывать, потому что в известных кругах общества, где люди снисходительны или слепы, ее охотно принимают.

Она посещает церковь, набожно причащается, выставляя напоказ свое благочестие, и ничем себя не компрометирует. Она надеется, что дочь ее сделает блестящую партию. Не так ли?

— Именно так; я дополню ваши сведения: она содержанка, но умеет так себя поставить, что любовники, хоть и спят с ней, все же уважают ее. Это редкий дар; таким способом можно добиться от мужчины чего угодно. Тот, кто становится ее избранником, ни о чем не подозревая, долго за ней ухаживает, робко мечтает, смиренно умоляет, а овладев ею, боится поверить своему счастью и, обладая, не перестает ее уважать. Он и сам не замечает, что содержит ее, так ловко она умеет за это взяться; она соблюдает в отношениях с ним такое достоинство, сдержанность, благопристойность, что, выйдя из ее спальни, он дал бы пощечину всякому, кто способен усомниться в целомудрии его любовницы. И притом совершенно искренне.

В свое время я нередко оказывал этой даме кое-какие услуги. И у нее нет от меня тайн.

Так вот, в начале января она пришла ко мне с просьбой одолжить ей тридцать тысяч франков. Разумеется, я не дал ей такой суммы, но, желая чем-нибудь помочь, попросил ее сообщить мне о своих затруднениях, чтобы выяснить, не могу ли я быть ей полезен.

Она изложила все обстоятельства в столь изысканных выражениях, что даже о первом причастии своей дочки не могла бы рассказать более деликатно. Словом, я понял, что времена настали тяжелые и что она сидит без гроша.

Экономический кризис, политические волнения, которые будто нарочно поощряет нынешнее правительство, слухи о войне — все это создало заминку в деньгах; их трудно выудить даже у поклонников. Кроме того, не могла же она, женщина порядочная, отдаться первому встречному.

Ей нужен человек с положением, из лучшего общества, который упрочил бы ее репутацию, оплачивая в то же время ее ежедневные расходы. Какой-нибудь купила, пусть даже богатый, мог скомпрометировать ее навеки, а в будущем помешать замужеству ее до-

черп. Еще опаснее обращаться в брачные конторы или же к сомнительным посредникам, которые могли бы на время вывести ее из затруднения.

Однако ей необходимо было жить по-прежнему широко, держать открытый дом, чтобы не терять надежды найти в числе гостей того скромного и солидного друга, которого она так ждала, который был ей так нужен.

Выслушав ее, я дал ей понять, что у меня мало надежды получить обратно свои тридцать тысяч франков; ведь прожив их, она должна раздобыть сразу по крайней мере шестьдесят тысяч, чтобы возвратить мне половину.

Она слушала меня с огорченным видом. И я не знал, что придумать, как вдруг меня осенила одна мысль, мысль поистине гениальная.

Незадолго перед тем я купил то самое распятие эпохи Возрождения, что вам показывал,— превосходную вещь, лучший образец этого стиля, какой я когда-либо видел.

— Дорогая моя,— сказал я ей,— я пришлю к вам на дом это изваяние из слоновой кости. Предоставляю вам самой сочинить какую-нибудь историю, увлекательную, трогательную, поэтическую, какую хотите, чтобы объяснить, почему вам приходится с ним расстаться. Разумеется, это фамильная реликвия, унаследованная вами от отца.

Я со своей стороны берусь присылать к вам любителей старины или приводить их лично. Остальное зависит от вас. Накануне я буду извещать вас запиской об их материальном положении. Этому распятию цена пятьдесят тысяч франков; вам я уступаю за тридцать. Разница — в вашу пользу.

Она сосредоточенно размышляла некоторое время, потом сказала:

— Да, идея, кажется, недурна; благодарю вас от всей души.

Наутро я велел отнести к ней распятие и в тот же вечер направил туда барона де Сент-Опиталь.

В течение трех месяцев я посылал к ней покупателей, выбирая самых лучших, самых солидных среди

моей клиентуры. Но больше баронесса не давала о себе знать.

Однажды ко мне явился иностранец, с трудом объяснявшийся по-французски, и я решил сам свести его к г-же Самори, посмотреть, как там идут дела.

Нас встретил лакей во фраке и проводил в изящную, полутемную, со вкусом меблированную гостиную, попросив обождать несколько минут. Появилась баронесса, обворожительная и любезная, протянула мне руку, пригласила нас сесть; когда я объяснил цель нашего визита, она позвонила.

Снова явился лакей.

— Подите узнайте,— сказала она,— не разрешит ли мадмуазель Изабелла войти в ее часовню.

Девушка сама пришла с ответом. Лет пятнадцати на вид, скромная и кроткая, она сияла юной свежестью.

Она пожелала сама проводить нас в часовенку.

Это было нечто вроде будуара, обращенного в молельню; перед распятием — перед моим распятием! — возлежащим на черном бархате, светилась серебряная лампада. Зрелище было пленительное и искусно подготовленное.

Перекрестившись, девушка обратилась к нам:

— Посмотрите, господа, как это прекрасно!

Я взял распятие, внимательно осмотрел и заявил, что это выдающееся произведение искусства. Иностранец также любовался им, но, казалось, гораздо больше был заинтересован обеими женщинами, чем Христом.

В комнате приятно пахло — цветами, ладаном, тонкими духами. Там дышалось легко. Это был поистине уютный уголок, который не хотелось покидать.

Вернувшись в гостиную, я осторожно, деликатно затронул вопрос о цене. Г-жа Самори, скромно потупив глаза, назвала сумму в пятьдесят тысяч франков.

Затем добавила:

— Может быть, вам захочется еще раз взглянуть на него, сударь, так имейте в виду, что я никогда

не выхожу раньше трех; меня всегда можно застать дома.

На улице иностранец подробно расспросил меня о баронессе, находя ее восхитительной. Однако я долго не имел известий ни о нем, ни о ней.

Прошло еще три месяца.

Однажды утром, недели две тому назад, она явилась ко мне во время завтрака и вручила мне бумажник с деньгами:

— Дорогой друг, вы просто ангел. Вот вам пятьдесят тысяч франков; я сама покупаю ваше распятие и приплачиваю двадцать тысяч сверх назначенной цены с одним условием: чтобы вы по-прежнему... по-прежнему посылали мне клиентов... ведь он все еще продается... мой Христос...

ПРОДАЖА

Ответчики Брюман (Сезер-Изидор) и Корню (Проспер-Наполеон) предстали перед судом присяжных департамента Нижней Сены по обвинению в покушении на убийство путем утопления истицы Брюман, законной супруги первого из вышеназванных.

Обвиняемые сидят рядышком на скамье подсудимых. Оба они крестьяне. Один из них — приземистый, толстый, с короткими руками и ногами, краснолицый, угреватый, с круглой головой, посаженной прямо на туловище, тоже круглое и короткое, без всяких признаков шеи. Он свиновод и проживает в Кашвиль-ля-Гупиль, в кантоне Крикто.

Корню (Проспер-Наполеон) — среднего роста, тощий, с непомерно длинными руками. Голова у него набок, челюсть на сторону, глаза косят. Синяя блуза, длинная, как рубаха, доходит ему до колен, желтые редкие волосы, прилипшие к черепу, придают его физиономии вид потрепанный, грязный, истасканный, до крайности гнусный. Ему дали кличку «кюре», так как он превосходно умеет изображать церковную службу и даже звук серпента. Этот талант привлекает в его заведение — он кабатчик в Крикто — множество посетителей, предпочитающих «мессу Корню»[1] церковной мессе.

Г-жа Брюман сидит на свидетельской скамье, это

[1] В подлиннике непереводимая игра слов: «Корню» (Cornu) означает «рогатый», но под этим словом может подразумеваться и дьявол.

худая крестьянка, вечно сонная с виду. Она сидит неподвижно, сложив руки на коленях, тупо глядя в одну точку.

Председатель продолжает допрос:

— Итак, истица Брюман, они вошли к вам в дом и окунули вас в бочку с водой. Расскажите нам все обстоятельства как можно подробнее. Встаньте!

Она встает. В своем белом, похожем на колпак чепце она кажется высокой, как мачта. Она дает показания тягучим голосом:

— Лущила я бобы. Гляжу, они входят. «Что с ними такое,— думаю,— какие-то они чудные, неладное у них на уме». А они все на меня поглядывают, вот эдак, искоса, особливо Корню, косой черт. Не люблю я, когда они вместе, нет хуже, когда они вдвоем, негодники. «Чего вы на меня уставились?»— говорю. Не отвечают. Уж я почуяла недоброе...

Подсудимый Брюман поспешно прерывает ее показания, заявляя:

— Я был под мухой.

Тогда Корню, повернувшись к своему сообщнику, говорит густым басом, гудящим, как орган:

— Скажи лучше, что мы оба были под мухой, попадешь в самую точку.

Председатель *(строго)*. Вы хотите сказать, что были пьяны?

Брюман. Само собой, пьяны.

Корню. С кем не бывает!

Председатель *(обращаясь к потерпевшей)*. Продолжайте свои показания, истица Брюман.

— Вот, стало быть, Брюман и говорит мне: «Хочешь заработать сто су?» — «Хочу,— говорю,— ведь сто су на земле не валяются». Тогда он говорит: «Протри бельма и гляди, что я делаю». И вот он идет за большой бочкой, что стоит у нас под желобом, опрокидывает ее, катит ко мне на кухню; потом ставит посреди комнаты и говорит: «Ступай, таскай воду, покуда доверху не нальешь».

Пошла я, значит, на пруд с ведрами и давай таскать воду, да еще, да еще, битый час таскала, ведь бочка-то большая, сущая прорва, не в обиду вам будь сказано, господин судья.

А за это время Брюман и Корню опрокинули по стаканчику, да по второму, да по третьему. До того налакались, что я возьми да и скажи: «Сами вы налились до краев, не хуже бочки». А Брюман отвечает: «Не трепли языком, делай свое дело, придет и твой черед, всякому свое». А мне вроде наплевать на его слова, мало ли что пьяный болтает.

Наполнила я бочку до краев и говорю: «Ну вот, готово».

Тут Корню выкладывает мне сто су. Не Брюман, а Корню; дал-то их мне Корню. А Брюман говорит: «Хочешь получить еще сто су?» — «Хочу,— говорю,— ведь меня такими подарками не балуют».

Тут он говорит: «Раздевайся».—«Мне, что ли, раздеваться?»—«Ну да,— говорит,—тебе».—«Догола, что ли, раздеваться?» А он мне: «Коли тебе неохота, оставайся в рубахе, мы не против».

Сто су — деньги, ну, я и раздеваюсь, хоть и зазорно мне раздеваться при таких негодяях. Ну, скинула чепчик, потом кофту, потом юбку, потом разулась. А Брюман говорит: «Ладно, оставайся в чулках, мы добрые ребята». А Корню поддакивает: «Мы, мол, ребята добрые».

Осталась я, можно сказать, в чем мать родила. Тогда они встают, а сами уж еле на ногах держатся: до того надрызгались, не в обиду вам будь сказано, господин судья.

«Неладное у них на уме»,— говорю я себе.

Брюман говорит: «Давай?» А Корню отвечает: «Валяй!»

Да вдруг как схватят меня: Брюман за голову, а Корню за ноги, будто собираются белье полоскать. А я как заору благим матом!

А Брюман говорит: «Заткни глотку, дрянь!»

Тут они подкидывают меня кверху, да и бултых в воду; все поджилки во мне затряслись, все нутро промерзло.

А Брюман говорит: «Только и всего?»

А Корню ему: «Вот тебе и все».

Брюман говорит: «Голова не вошла, голову тоже считай».

А Корню ему: «Окуни ее с головой».

И вот Брюман тычет меня головой в воду, будто хочет утопить, уж я захлебнулась, уж думала, смерть моя пришла. А он, знай, толкает. Я и нырнула с головой.

Тут ему вроде как боязно стало. Вытащил он меня из бочки и говорит: «Ну, живо, поди обсушись, кляча!»

Я скорей удирать и со всех ног к господину кюре, как была, нагишом; он дал мне надеть кухаркину юбку, а сам пошел за сторожем, за дядей Шико, а тот — в Крикто за жандармами, жандармы-то меня домой и привели.

Пришли мы и видим: Брюман и Корню дерутся, как два козла.

Брюман орет: «Нет, врешь, там никак не меньше кубометра. Этот способ не годится».

А Корню орет: «Четыре ведра, в них и полкубометра не наберется. Нечего и спорить, счет правильный».

Тут жандармы и хвать их за шиворот. Вот и все.

Она села на место. В публике слышался смех. Присяжные озадаченно переглядывались. Председатель вызвал следующего:

— Подсудимый Корню, вы, по-видимому, являетесь зачинщиком в этой гнусной затее. Дайте объяснения.

Корню встает:

— Господин судья, я был выпивши.

Председатель строго:

— Знаю. Продолжайте.

— Слушаю. Ну, стало быть, часов в девять пришел Брюман ко мне в заведение, заказал два стаканчика и говорит: «Тут и на тебя хватит, Корню». Я присаживаюсь против него, выпиваю и, как полагается, ставлю еще парочку. Потом опять он угощает, потом опять я, так что к полудню, стакан за стаканом, напились мы вдрызг.

Тут Брюман в слезы. Разжалобил он меня. Спрашиваю, что с ним такое, а он говорит: «Мне надо тысячу франков к четвергу». Ну я, понятно, сразу остыл. А он вдруг выпаливает: «Хочешь, я продам тебе жену?»

Я ведь вдовый, да и пьян был порядком. Проняло

меня, сами понимаете. Жены-то я его не видал; но баба есть баба, разве не так? «А как ты будешь ее продавать?»— спрашиваю его.

Начал он раздумывать, а может, только прикидывался — когда человек выпивши, его не поймешь,— а потом отвечает: «Я тебе ее продам на кубометры».

Этим меня не удивишь: и наклюкались мы оба, да и кубометр в нашем ремесле мера знакомая. Это составляет тысячу литров, дело подходящее.

Надо было только о цене столковаться. Тут все зависит от качества. Я спрашиваю: «Ну, а почем за кубометр?»

Он отвечает: «Две тысячи франков».

Я так и подскочил, а сам соображаю, что в бабе больше трехсот литров не наберется. Однако же говорю ему: «Дорого просишь».

А он отвечает: «Меньше не могу. Себе в убыток».

Сами понимаете, он недаром продает поросят: дело свое знает. Только, шалишь, он плутует, а я его переплутую, он свиноторговец, а я виноторговец. Ха-ха-ха! Я и говорю: «Кабы она была свежая, я бы ни слова не сказал; но ведь она у тебя давно, стало быть, товар подержанный. Даю полторы тысячи за кубометр и больше ни гроша. Ладно?» — «Ладно,— отвечает,— по рукам!»

Ударили мы по рукам и пошли вместе в обнимку. Надо же помогать друг другу в жизни.

Тут взяло меня сомнение: «Погоди, как же ты ее будешь мерить на литры, ведь ее не перельешь?»

Стал он мне объяснять свой способ, хоть и с трудом, уж больно нагрузился. «Возьму,— говорит,— бочку, налью ее водой до краев. Окуну туда бабу. Сколько воды выльется, мы измерим, вот тебе и счет».

Я ему говорю: «Все ясно, все понятно. Только вода-то выльется и растечется; как же ты ее соберешь?»

Тут он обозвал меня дурьей головой и объяснил, что как только баба вылезет, нужно будет долить бочку — и все тут. Сколько долито воды — вот тебе и мерка. Ну, на глаз, ведер десять: это как раз кубометр. Он хотя и пьян, а не дурак, скотина эдакая!

Словом, приходим мы к нему домой; поглядел я на его хозяйку. Красавицей ее никак не назовешь, куда там! Сами видите, вон она сидит. Прогадал я, думаю,

ну да ладно, не беда. Хороша ли, дурна ли, один толк— ведь правда, господин судья? А потом замечаю, что она худа, как жердь. «В ней и четырехсот литров не будет»,— прикидываю я в уме. Уж я-то разбираюсь в жидких-то мерах.

Как было дело, она уж вам рассказала. Мы даже чулки да рубаху ей оставили, мне в убыток.

Не успели мы ее вытащить, она взяла да и удрала. Я говорю: «Стой, Брюман! Она дала тягу». «Не бойся,— отвечает,— мы ее не упустим. Вернется же она домой ночевать. Давай-ка измерим, сколько вытекло».

Ну, измерили мы. Четырех ведер и то не набралось! Ха-ха-ха!

На подсудимого напал такой безудержный смех, что жандарму пришлось ткнуть его в спину. Успокоившись, он продолжал:

— Словом, Брюман заявляет: «Это неправильно, тут недостача»,— я ору свое, он орет свое, я еще пуще. Тут он меня в зубы, я его в морду. Так бы мы и лупили друг друга до второго пришествия,— уж больно налакались.

Откуда ни возьмись, жандармы! Изругали нас, сцапали обоих, да и в тюрьму. Я прошу возместить мне убытки.

Он сел на скамью.

Брюман подтвердил по всем пунктам показания своего сообщника. Озадаченные присяжные удалились на совещание.

Суд возвратился через час и вынес подсудимым оправдательный приговор, сделав им, однако, строгое внушение относительно святости брака и указав точные границы для коммерческих сделок.

Брюман в сопровождении супруги поплелся обратно к семейному очагу. Корню вернулся в свое заведение.

УБИЙЦА

Преступника защищал совсем еще молодой адвокат; он выступал впервые и произнес такую речь:

— Факты неопровержимы, господа присяжные. Мой подзащитный, честный человек, банковский служащий, безупречного поведения, робкий и тихий, убил хозяина в приступе гнева, необъяснимом на первый взгляд. Позвольте мне, если можно так выразиться, вскрыть психологию этого преступления, ничего не смягчая, ничего не оправдывая. Затем вы вынесете приговор.

Жан-Николя Лужер — сын весьма почтенных родителей; они вырастили его скромным, внушили ему веру в честь.

Вот все его преступление: вера в честь! Это чувство, господа, в наши дни почти неизвестно; оно утратило свою силу, сохранив лишь название. Только в немногих семьях, отсталых и простых, еще можно встретить эту суровую традицию, это благоговение перед вещью или человеком, перед чувством или религией, которые становятся святыней, эту веру, не терпящую ни сомнений, ни улыбок, ни тени подозрения.

Честным человеком, действительно честным в полном смысле этого слова, может быть лишь тот, кто верит в честь. Глаза у него закрыты. Он верит. Мы не таковы, мы, живущие с широко раскрытыми на мир глазами, завсегдатаи дворца правосудия, этой выгребной ямы общества, где оседают все его гнусности; мы, наперсники всех позорных тайн, ярые защитники всех подлостей, на какие только способны люди; мы, покровители всех негодяев и негодяек, от принцев до бродяг,

чуть не живущие на их счет; мы, готовые снисходительно, доброжелательно, с благосклонной улыбкой защищать перед вами любого преступника; мы, чья симпатия к обвиняемому (если только по-настоящему любить свое дело) тем сильнее, чем ужаснее злодеяние,—мы-то уже не верим в честь. Мы слишком близко видим поток всеобщей развращенности, захлестывающий всех, от представителей власти до последних нищих; нам слишком хорошо известно, как все происходит, как все покупается, как все продается: должности, места, знаки отличия — или открыто, за пригоршню золота, или более ловко — за титул, за долю в прибыли, или попросту за поцелуй женщины. Наш долг, наша профессия обязывают нас все знать, всех подозревать, так как все люди внушают подозрение; вот почему мы поражены, когда встречаем человека, вроде этого сидящего перед вами убийцы, у которого вера в честь настолько велика, что он сделался ее мучеником.

Мы, господа, заботимся о своей чести, как заботятся о чистоплотности, из отвращения к низости, из чувства собственного достоинства и гордости; но в глубине души у нас нет слепой, врожденной, непреклонной веры в честь, как у этого человека.

Позвольте же рассказать о его жизни.

Его воспитали так, как воспитывали в былое время детей, разделяя все людские поступки на хорошие и дурные. Добро ему показывали с такой непререкаемой убедительностью, что он привык отличать его от зла, как день от ночи. Да и отец его не принадлежал к тем свободным мыслителям, которые, взирая на все с высоты, видят истоки верований и социальную необходимость, породившую различие между добром и злом.

Итак, он вырос верующим и доверчивым, восторженным и ограниченным.

Двадцати двух лет он вступил в брак. Его женили на двоюродной сестре, воспитанной так же, как и он, такой же простодушной, такой же чистой. Ему выпало неоценимое счастье — иметь спутницей жизни честную и прямодушную женщину, что так редко встречается в мире и так достойно уважения. К своей матери он питал то благоговение, с каким относятся к матерям в

патриархальных семьях, то религиозное чувство, с каким поклоняются божеству. Он перенес и на жену частицу этого благоговения, слегка смягченного супружеской близостью. И он жил в полном неведении обмана, в атмосфере непоколебимого чистосердечия и безмятежного счастья, не похожий на других. Сам никого не обманывая, он даже не представлял себе, что его могут обмануть.

Незадолго до женитьбы он поступил кассиром к господину Лангле, недавно им убитому.

Нам известно, господа присяжные, из показаний госпожи Лангле и ее брата, господина Пертюи, компаньона ее мужа, из показаний членов семьи и всех старших сотрудников банка, что Лужер был примерным служащим, почтительным к хозяину, образцом честности, исполнительности, аккуратности и кротости.

Его все уважали, как он того заслуживал своим безукоризненным поведением. Он привык к этому уважению и к тому обожанию, каким была окружена его жена, единодушно всеми восхваляемая.

Она умерла от тифозной горячки; в несколько дней ее не стало.

Его скорбь, конечно, была глубока; но это была угрюмая, спокойная скорбь педанта. Только бледность и осунувшиеся черты выдавали его страдания.

Затем, господа, произошло нечто вполне естественное.

Этот человек был женат десять лет. Десять лет он чувствовал рядом с собой женщину; привык к ее заботе, к знакомому голосу, встречающему его всякий раз, к вечернему прощанию, к утреннему приветствию, к легкому шелесту платья, столь милому его сердцу, к ласке, то любовной, то материнской, скрашивающей нам жизнь, к присутствию любимой женщины, благодаря которому часы бегут быстрее. Он привык, быть может, и к тому, чтобы его баловали, хорошо кормили, привык к нежной опеке, что незаметна, но мало-помалу становится необходимой. Он не мог больше жить в одиночестве. Чтобы скоротать долгие вечера, он стал заходить на часок—другой в соседнюю пивную. Выпив кружку, он продолжал неподвижно сидеть, рассеянно следя за бильярдными шарами, догоняющими

друг друга в клубах табачного дыма, машинально прислушиваясь к пререканиям игроков, к спорам соседей о политике и к взрывам смеха, по временам вызываемым грубой шуткой на другом конце зала. Случалось, что он засыпал от утомления и скуки. Но всеми фибрами своего существа он испытывал непреодолимую потребность в женской душе, в женском теле и каждый вечер бессознательно садился все ближе и ближе к конторке, за которой восседала маленькая белокурая кассирша. Его неудержимо влекло к ней, ведь это была женщина...

Вскоре они познакомились, и он привык — это было так приятно! — проводить все вечера возле нее. Она была мила и предупредительна, как полагается в этих заведениях, где надо улыбаться посетителям; ее забавляло, что он заказывает себе кружку за кружкой; к тому же это увеличивало выручку.

С каждым днем Лужер все сильнее привязывался к этой женщине, хотя совсем ее не знал, хотя ее жизнь оставалась для него тайной: он полюбил ее, полюбил только потому, что не встретил другой.

Маленькая кассирша была хитра и вскоре, сообразив, что можно извлечь выгоду из этого простака, стала придумывать, как бы получше прибрать его к рукам. Умнее всего было, конечно, женить его на себе.

Это ей удалось без труда.

Стоит ли говорить вам, господа присяжные, что поведение этой особы оказалось самым неподобающим и что замужество, вместо того чтобы обуздать ее, наоборот, сделало ее еще бесстыднее.

В силу прирожденного женского коварства ей доставляло удовольствие обманывать этого честного человека со всеми служащими конторы. Я утверждаю: со всеми,— у нас есть письма, господа. Вскоре это стало притчей во языцех; один лишь муж, как всегда бывает, оставался в неведении.

Наконец эта негодница из легко понятной корысти сумела соблазнить даже сына хозяина, девятнадцатилетнего юношу, и вскоре приобрела пагубное влияние на его душу и чувства. Господин Лангле, который до сих пор, по доброте душевной, дружески относясь к подчиненному, смотрел на все сквозь пальцы, испытал

справедливый гнев, увидав сына в руках, точнее — в объятиях этой опасной особы.

Он совершил ошибку, немедленно вызвав Лужера, чтобы все ему высказать в порыве отцовского негодования.

Мне остается, господа, лишь прочитать вам рассказ о преступлении, записанный следователем со слов умирающего:

«Я только что узнал, что накануне мой сын подарил этой женщине десять тысяч франков, и гнев пересилил во мне рассудок. Конечно, я никогда не сомневался в честности Лужера, но иногда ослепление бывает опаснее порока.

Итак, я позвал его и объявил, что вынужден его уволить.

Он стоял передо мною, потрясенный, ничего не понимая. Потом он в несколько резком тоне попросил у меня объяснений.

Я отказался их дать, заметив, что причины отказа — интимного свойства. Тогда ему пришло в голову, что я подозреваю его в нечестности, и, страшно побледнев, он начал просить, настаивать, чтобы я объяснил ему, в чем дело.

Он разгорячился и позволил себе повысить голос.

Так как я по-прежнему молчал, он стал браниться, оскорблять меня и пришел в такое исступление, что я уже опасался насилия.

После особенно обидного слова, уязвившего меня до глубины души, я бросил ему всю правду в лицо.

Несколько секунд он стоял неподвижно и растерянно глядел на меня; затем, схватив со стола длинные ножницы, которыми я обрезаю поля у деловых бумаг, он кинулся на меня, занес руку, и я ощутил, как что-то вонзилось мне в горло, хотя и не испытал боли».

Вот, господа присяжные, простой рассказ об этом убийстве. Что еще сказать в защиту подсудимого? Имея все основания уважать свою первую жену, он так же слепо уважал и вторую...

После короткого совещания обвиняемый был оправдан.

ДОЧКА МАРТЕНА

Это случилось с ним в воскресенье, после обедни. Выйдя из церкви, он проторенной дорогой направлялся к дому, как вдруг увидал впереди дочку Мартена, которая тоже шла домой.

Рядом с нею степенной походкой зажиточного фермера выступал отец. Он был не в крестьянской блузе, которую презирал, а в серой суконной куртке и в котелке с большими полями.

Широкоплечая, с тонкой талией, туго затянутая в корсет по случаю воскресного дня, девушка держалась очень прямо и на ходу слегка покачивала крутыми бедрами.

Из-под шляпы с цветами, сделанной на заказ у модистки в Ивето, виднелись ее крепкая, круглая, гибкая шея и завитки волос, порыжевшие от солнца и ветра.

Бенуа видел сейчас только ее спину, но он хорошо знал ее в лицо, хотя до сих пор не обращал на нее особого внимания.

И вдруг он подумал: «Ах, черт побери! И красивая же девушка — дочка Мартена!» Он смотрел ей вслед, восхищаясь, испытывая внезапное и страстное влечение. Ему даже не хотелось, чтобы она обернулась, нет. Он не отрывал глаз от ее фигуры и без конца повторял про себя: «И красивая же девушка, черт побери!»

Дочка Мартена свернула направо, к «Мартиньере», ферме своего отца, Жана Мартена, и тут оглянулась.

Она увидела Бенуа, и он показался ей каким-то странным. Она крикнула ему: «Здравствуйте, Бенуа!» Он ответил: «Здравствуйте, мамзель Мартен! Здравствуйте, дядюшка Мартен!» И пошел дальше.

Когда он пришел домой, на столе уже стоял суп. Он сел напротив матери, рядом с работником и поденщиком, а служанка побежала нацедить сидра.

Он проглотил несколько ложек, потом отодвинул тарелку. Мать спросила:

— Ты что, уж не захворал ли?

Он ответил:

— Нет. У меня словно каша в животе, оттого и есть не хочется.

Он смотрел, как едят остальные, время от времени отрезал себе кусок хлеба, медленно подносил его ко рту и подолгу жевал. Он думал о дочке Мартена: «Что ни говори, красивая девушка». И как он не замечал до сих пор? Это нашло на него вдруг, да с такой силой, что вот он уж даже и есть не может.

До жаркого он не дотронулся. Мать уговаривала его:

— Да ну же, Бенуа, съешь хоть кусочек. Ведь это бараний бок, тебе от него сразу полегчает. Когда нет аппетита, надо есть через силу.

Он съел несколько кусков и снова отодвинул тарелку. Нет, ничего не шло в горло, решительно ничего.

После обеда он решил обойти свои владения и отпустил поденщика, пообещав, что по дороге сам загонит скотину.

По случаю воскресенья в полях было пусто. Кое-где, развалясь среди клевера под палящим солнцем, сытые коровы лениво пережевывали жвачку. Плуги праздно лежали на краю пашни, и взрыхленная, готовая к посеву земля широкими темными квадратами выделялась среди недавно сжатых пожелтевших полос, где еще торчали короткие стебли ржи и овса.

Осенний, резкий ветер дул над равниной, обещая прохладу вечером, после заката. Бенуа присел на краю овражка, положил шляпу на колени, словно ощущая потребность освежить голову, и сказал вслух среди безмолвия полей:

— Да уж, красивая девушка, ничего не скажешь.

Ночью, лежа в постели, он все еще думал о ней, думал и утром, когда проснулся.

Он не был грустен или недоволен,— он и сам не мог бы сказать, что с ним такое. Что-то захватило его, что-то затронуло его душу, какая-то мысль не давала ему покоя и словно щекотала сердце. Так иногда залетит в комнату большая муха. Она летает, жужжит, и этот шум надоедает, досаждает вам. Вот, кажется, затихла, вы уже забыли о ней; но нет, она начинает снова, и вы снова поднимаете голову. Вы не можете ни поймать ее, ни выгнать, ни убить, ни утихомирить. Посидит, посидит — и опять примется жужжать.

Так вот, воспоминание о дочке Мартена тревожило ум Бенуа, как эта назойливая муха.

Потом ему захотелось еще разочек взглянуть на нее, и он принялся ходить мимо «Мартиньеры». Наконец он увидел девушку: она развешивала белье на веревке, протянутой между двух яблонь.

Было жарко. Она стояла в одной рубашке, в короткой юбке, и ее крутые бедра отчетливо обрисовывались всякий раз, как она поднимала руки, чтобы повесить на веревку полотенце.

Он сидел больше часа, притаившись во рву, сидел даже после того, как она ушла. И вернулся домой, еще сильней одержимый ею, чем прежде.

Целый месяц он был весь полон мыслью о ней, вздрагивал, когда кто-нибудь произносил при нем ее имя. Совсем перестал есть и не спал ночами, обливаясь по́том.

По воскресеньям, во время обедни, он не спускал с нее глаз. Она заметила это и начала ему улыбаться, польщенная таким вниманием.

И вот, однажды вечером, он случайно встретился с ней на дороге. Увидев его, она остановилась. Тогда он прямо подошел к ней, задыхаясь от страха и волнения, но твердо решив объясниться. Он начал, запинаясь:

— Послушайте, мамзель Мартен, так больше не годится.

Она ответила, словно подсмеиваясь над ним:

— Что, Бенуа? Что такое не годится?

— Да то, что я думаю о вас и днем и ночью,— вот что.

Она сказала, подбоченясь:

— А я вас не заставляю.

— Нет, заставляете. Ведь я из-за вас ни спать, ни есть не могу, покоя не знаю.

Она спросила тихонько:

— Чем же вас лечить от этого?

Он растерялся и стоял молча, растопырив руки, вытаращив глаза, разинув рот.

Она хлопнула его по животу и убежала.

С этого дня они начали встречаться где придется — у овражков, на тропинках или же, под вечер, в поле, когда он возвращался с лошадьми, а она загоняла в хлев своих коров.

Он чувствовал, что его влечет, тянет к ней в непреодолимом порыве души и тела. Ему хотелось сжать ее в объятиях, задушить, проглотить, сделать так, чтобы она стала частью его самого. И он содрогался от сознания своей беспомощности, от нетерпения, от ярости при мысли о том, что она не принадлежит ему всецело — так, словно она и он одно существо.

В деревне уже начали поговаривать о них. Считали женихом и невестой. Он и в самом деле спросил ее как-то, хочет ли она быть его женой, и она ответила: «Да».

Они ждали лишь случая, чтобы поговорить с родителями.

Но вот она вдруг перестала приходить на свидания. Он больше не видел ее и во дворе, хотя подолгу бродил вокруг фермы. Ему удавалось взглянуть на нее лишь в церкви, по воскресеньям. А в одно из воскресений, после проповеди, кюре объявил с амвона об обручении Виктории-Аделаиды Мартен с Жозефеном-Изидором Валленом.

Бенуа почувствовал, как у него похолодели руки, словно от них отлила вся кровь. В ушах у него шумело, он ничего больше не слышал; придя в себя, он заметил, что плачет, уткнувшись в молитвенник.

Целый месяц не выходил он из дому. Затем снова принялся за работу.

Но он не излечился, нет, он не переставал думать

о дочке Мартена. Чтобы не видеть даже деревьев, которые росли у нее во дворе, он избегал ходить мимо ее дома и по два раза в день, утром и вечером, делал из-за этого большой крюк.

Она была теперь замужем за Валленом, самым богатым фермером во всем кантоне. Бенуа перестал разговаривать с ним, хотя они и дружили с самого детства.

Как-то вечером, проходя мимо мэрии, Бенуа узнал, что дочка Мартена беременна. Это известие не только не огорчило его, но, напротив, даже доставило ему некоторое облегчение. Теперь все кончено, по-настоящему кончено. Это больше разъединило их, чем ее замужество. Право же, так лучше.

Шел месяц за месяцем. Иногда Бенуа видел, как она проходила по деревне отяжелевшей поступью. Заметив его, она краснела, опускала голову и ускоряла шаг. А он сворачивал в сторону, чтобы только не столкнуться с ней, не встретиться взглядом.

И он с ужасом думал, что в любой день они могут очутиться лицом к лицу и ему поневоле придется заговорить с ней. Что он скажет ей теперь, после всего того, что говорил прежде, держа ее руки и целуя волосы у висков? Он все еще часто вспоминал их встречи где-нибудь на краю рва. Нехорошо было с ее стороны поступить так после стольких обещаний.

Однако мало-помалу горечь уходила из его сердца. Оставалась только грусть. И вот как-то раз он снова пошел своей прежней дорогой, мимо ее фермы. Он издалека увидел крышу ее дома. Вот здесь, здесь она живет с другим! Яблони стояли в цвету, петухи пели на навозной куче. В доме, как видно, никого не было; все ушли в поле, на весенние работы. Он остановился у забора и заглянул во двор. Возле конуры спала собака, трое телят один за другим брели к луже. У ворот толстый индюк распустил хвост и важно разгуливал, красуясь перед индюшками, словно оперный певец на сцене.

Бенуа прислонился к столбу и почувствовал, что ему снова хочется плакать. Но вдруг из дома до него долетел крик, громкий крик о помощи. Он растерялся и стал прислушиваться, судорожно вцепившись в перекладину забора. Новый крик, протяжный, отчаянный,

вонзился ему в уши, в сердце, в тело. Это кричала она! Он бросился вперед, пробежал через лужайку, толкнул дверь и увидел ее: бледная, как смерть, с блуждающим взглядом, она корчилась на полу в родовых схватках.

Он остановился на пороге, побледнев и дрожа сильнее, чем она сама.

— Это я, я тут,— пролепетал он.

Она проговорила, задыхаясь:

— Ох, не уходи, Бенуа, только не уходи.

Он смотрел на нее и не знал, что сказать, что сделать.

Она снова закричала:

— Ой! Ой! Бенуа! Больно, мне больно!

У нее снова начались схватки.

И вдруг его охватило жгучее желание помочь ей, успокоить ее, облегчить ее муки. Он нагнулся к ней, поднял, уложил на кровать. Она все стонала. Он раздел ее, снял с нее кофту, платье, юбку. Она кусала себе пальцы, чтобы не кричать. И он помог ей, как привык помогать животным — коровам, овцам, кобылам: принял у нее крупного крикливого малыша.

Он обтер его, завернул в тряпку, которая сушилась перед очагом, и положил на кучу белья, приготовленного для глаженья на столе. Затем вернулся к роженице.

Перенес ее на пол, чтобы сменить простыни, и опять уложил в постель. Она прошептала:

— Спасибо, Бенуа, ты добрая душа.

И всплакнула, словно пожалев о чем-то.

А он — он уж не любил ее больше, совсем, совсем не любил. Все было кончено. Почему? Каким образом? Он не понимал и сам. То, что произошло сейчас, излечило его лучше, чем могли бы излечить десять лет разлуки.

Измученная, вся дрожа, она спросила:

— Девочка или мальчик?

Он спокойно ответил:

— Девочка, и складная такая.

Они помолчали. Потом слабым голосом мать попросила:

— Покажи мне ее, Бенуа.

Он взял малютку на руки и, держа ее, словно при-

частие, поднес матери, как вдруг дверь открылась и вошел Изидор Валлен.

В первую минуту Изидор не понял, что произошло; потом вдруг догадался.

Бенуа сконфуженно бормотал:

— Иду это я мимо... иду мимо... и вдруг слышу — она кричит. Ну, я и вошел... вот твой ребенок, Валлен!

Тогда, со слезами на глазах, муж повернулся к Бенуа, взял маленькое, беспомощное создание, поцеловал его, постоял несколько секунд, задыхаясь от волнения, потом положил ребенка на кровать и протянул Бенуа обе руки.

— Дай руку, Бенуа, дай руку! Теперь между нами все сказано, верно? Хочешь, будем друзьями, настоящими друзьями, а?..

И Бенуа ответил:

— Как не хотеть, понятно, хочу.

ВЕЧЕР

Унтер-офицер Варажу выхлопотал недельный отпуск с тем, чтобы провести его у своей сестры, г-жи Падуа. Варажу служил в гарнизоне Ренна и жил в свое удовольствие, но оказался без гроша, был не в ладах с родителями и написал сестре, что готов посвятить ей свободную неделю. Дело было не в том, что он очень любил г-жу Падуа, склонную к нравоучениям, набожную и вечно раздраженную мещанку, но ему были нужны, до крайности нужны деньги, и он вспомнил, что из всех своих родных он еще ни разу не обирал семейство Падуа.

Отец Варажу, анжерский садовод, удалившийся от дел, закрыл кошелек для повесы-сына и не видался с ним уже два года. Дочь его вышла замуж за бывшего акцизного чиновника Падуа, недавно назначенного сборщиком налогов в Ванн.

Выйдя из поезда, Варажу отправился к зятю на дом. Он застал его в канцелярии, поглощенного спором с местными бретонскими крестьянами. Падуа приподнялся со стула, протянул ему руку через заваленный бумагами стол и пробурчал:

— Садитесь, через минуту я буду в вашем распоряжении.

Затем он снова сел и продолжал спор.

Крестьяне не понимали его объяснений, сборщик не понимал их рассуждений; он говорил по-французски, те — по-бретонски, а конторщик, служивший переводчиком, видимо, никого не понимал.

Тянулось это долго, бесконечно долго. Варажу, разглядывая своего зятя, думал: «Какой кретин!» Падуа на вид было около пятидесяти лет; он был высокий, тощий, костлявый, медлительный и волосатый; его густые дугообразные брови нависали над глазами, как два мохнатых свода. Он сидел в бархатной шапочке, расшитой золотыми фестонами, и в его взгляде была такая же вялость, как и во всех движениях. Его речь, жесты, мысли — все было вялым. «Какой кретин!» — повторял про себя Варажу.

Сам он был из тех крикливых озорников, для которых главные удовольствия в жизни — кофейня и публичная женщина. За пределами этих двух полюсов для него уже ничто не существовало. Хвастун, буян, полный пренебрежения ко всем на свете, он с высоты своего невежества презирал всю вселенную. Говоря: «Черт подери, какой кутеж!», он, конечно, выражал высшую степень восхищения.

Удалив наконец крестьян, Падуа спросил:

— Как поживаете?

— Как видите, неплохо. А вы?

— Благодарю вас, хорошо. Очень любезно с вашей стороны, что надумали нас навестить.

— Я давно уже собирался, да, знаете, на военной службе не очень-то бываешь свободен.

— Еще бы! Знаю, знаю. Все-таки это очень любезно.

— Здорова ли Жозефина?

— Да, да, благодарю, вы ее сейчас увидите.

— Где же она?

— Делает визиты; у нас здесь много знакомых; это весьма порядочный город.

— Полагаю, что так.

Дверь отворилась. Появилась г-жа Падуа. Она, не торопясь, подошла к брату, подставила ему щеку и спросила:

— Ты давно уже здесь?

— Нет, с полчаса.

— А я думала, что поезд опоздает. Не перейти ли нам в гостиную?

Они направились в соседнюю комнату, оставив Падуа с его цифрами и налогоплательщиками.

Оставшись с братом наедине, она сказала:

— Ну, и хорошие вещи рассказывают про тебя!

— Что такое?

— Оказывается, ты повесничаешь, пьянствуешь, делаешь долги.

Он прикинулся удивленным.

— Я? Никогда в жизни!

— Не пробуй отрицать, я знаю все!

Он сделал попытку защищаться, но получил от нее такой жестокий нагоняй, что должен был умолкнуть.

Потом она добавила:

— Мы обедаем в шесть. До обеда ты свободен. Я не могу составить тебе компании, так как у меня по горло всяких дел.

Оставшись один, он колебался — вздремнуть ему или прогуляться? Он посматривал то на дверь, ведущую в его комнату, то на дверь, выходящую на улицу. Наконец решил пройтись.

И он пошел бродить медленным шагом, волоча саблю, по улицам унылого, словно вымершего бретонского городка, который тихо дремал на берегу закрытой бухты, называемой Морбиган. Глядя на редких прохожих, на серые домишки, на пустые лавки, он бормотал:

— Ну и городишко этот Ванн,— ни повеселиться, ни почудить. Дернуло же меня сюда приехать!

Он добрел до пристани, весьма угрюмой, и направился обратно по запущенному, пустынному бульвару; не было и пяти часов, как он вернулся домой и бросился в постель, чтобы подремать до обеда.

Служанка разбудила его, постучав в дверь.

— Обед подан, сударь.

Он спустился вниз.

В сырой комнате, с отстающими у пола обоями, на круглом столе без скатерти сиротливо стояли суповая миска и три тарелки.

Супруги Падуа вошли одновременно с Варажу.

Уселись; муж и жена мелким крестиком перекрестили себе живот, после чего Падуа стал разливать жирный суп. День был скоромный.

После супа подали говядину, передержанную, разваренную, жирную, превратившуюся в какое-то месиво.

Унтер-офицер жевал ее медленно, с отвращением, ожесточенно, через силу.

Г-жа Падуа обратилась к мужу:

— Ты пойдешь вечером к старшему председателю суда?

— Да, дорогая.

— Смотри, не засиживайся. Ты всегда утомляешься в гостях. С твоим слабым здоровьем тебе не до светской жизни.

И она заговорила о ваннском обществе, о том прекрасном обществе, в котором супруги Падуа были приняты с почетом благодаря своим религиозным убеждениям.

Затем, в честь новоприбывшего, подали жареную колбасу с картофельным пюре.

Потом — сыр. И все. Кофе не полагалось.

Когда Варажу понял, что ему предстоит провести вечер вдвоем с сестрой, сносить ее упреки, выслушивать проповеди, не опрокинув при этом ни одной рюмки, чтобы запить все эти нравоучения, он почувствовал, что не выдержит такой пытки, и заявил, что ему надо сходить в жандармское управление по поводу своего отпуска.

Он удрал уже в семь часов.

Едва очутившись на улице, он стал отряхиваться, как собака после купания, бормоча:

— Ах, чтоб тебя, чтоб тебя, чтоб тебя! Какое наказание!

И он пустился на поиски кафе, самого лучшего в городе. Он нашел его на площади; два газовых рожка горели у входа. В зале пять — шесть не слишком шумных посетителей средней руки пили и тихо разговаривали, облокотясь на столики, а двое игроков ходили вокруг бильярда, где, сталкиваясь, перекатывались по зеленому сукну шары.

Было слышно, как игроки считали:

— Восемнадцать, девятнадцать. Вот не везет. Красивый удар! Здорово сыграно! Одиннадцать. А почему не с красного? Двадцать. Прямым, прямым ударом. Двенадцать. Ну, что! Разве я не прав?

Варажу заказал:

— Чашечку кофе и графинчик самого лучшего коньяка.

Потом сел, ожидая заказанного.

Он привык проводить свободные вечера с товарищами среди шума и табачного дыма. Эта тишина, это спокойствие раздражали его. Он выпил сначала кофе, затем графинчик коньяка, потом второй. Теперь ему хотелось смеяться, петь, кричать, поколотить кого-нибудь.

Он сказал себе: «Черт побери, вот я и зарядился. Теперь недурно бы кутнуть». И ему пришла мысль разыскать девиц и повеселиться. Он позвал официанта:

— Эй, малый!

— Что прикажете, сударь?

— Скажи-ка, малый, где бы тут у вас покутить?

Слуга был ошеломлен этим вопросом.

— Не знаю, сударь. Да вот здесь.

— Как здесь? Что же ты тогда называешь кутежом?

— Да не знаю, сударь. Ну там — пить хорошее пиво или вино.

— Ах ты, дуралей, а девицы? Ты о них позабыл?

— Ах, девицы!

— Ну да, девицы, где их здесь найти?

— Девиц-то?

— Ну да, девиц.

Официант подошел поближе и понизил голос.

— Вы спрашиваете, где ихнее заведение?

— Ну да, черт побери!

— Вторая улица налево, а потом первая направо. Номер пятнадцать.

— Спасибо, старина. Вот тебе за это.

— Благодарю, сударь.

И Варажу вышел, повторяя про себя:

— Вторая налево, первая направо, пятнадцать.

Но через несколько секунд он подумал: «Вторая налево, это так. Но, выйдя из кафе, куда надо было взять, направо или налево? Ба! Все равно, там видно будет».

Он пошел прямо, свернул во вторую улицу налево, потом в первую направо и стал разыскивать номер пятнадцатый. Снаружи это был довольно красивый

дом; во втором этаже сквозь щели закрытых ставен светились окна. Входная дверь была полуоткрыта, а в прихожей горела лампа. Унтер-офицер подумал: «Наверное, здесь».

Он вошел и, так как никто не появлялся, крикнул:

— Эй, эй!

Вошла служанка и остановилась в недоумении при виде солдата.

Он сказал ей:

— Здравствуй, детка. Дамы наверху?

— Да, сударь.

— В гостиной?

— Да, сударь.

— Нужно подняться по лестнице?

— Да, сударь.

— Дверь прямо?

— Да, сударь.

Варажу поднялся по лестнице и открыл дверь; в комнате, ярко освещенной люстрой, двумя лампами и двумя канделябрами, он увидел четырех декольтированных дам, по-видимому, кого-то ожидавших.

Три из них, помоложе, с несколько принужденным видом сидели на стульях, обитых гранатовым бархатом, а четвертая, лет сорока пяти, поправляла цветы в вазе. На этой даме, очень полной, было зеленое шелковое платье, напоминавшее чашечку чудовищного цветка; из складок выступали ее непомерно толстые руки и огромный красноватый напудренный бюст.

Унтер-офицер поклонился:

— Здравствуйте, сударыня.

Пожилая дама повернулась; казалось, она была изумлена, однако поклонилась:

— Здравствуйте, сударь.

Он сел.

Но, увидав, что его не слишком радушно принимают, он подумал, что, вероятно, в этот дом имели доступ только офицеры. Эта мысль его смутила. Но затем он решил: «Ба! если кто из них придет сюда,— мы еще посмотрим!» Он спросил:

— Ну, как живете?

Толстая дама, видимо хозяйка дома, отвечала:

— Очень хорошо, спасибо.

Больше он ничего не мог придумать; некоторое время все молчали.

Однако ему стало стыдно своей робости, и он принужденно засмеялся:

— Разве так веселятся? Ставлю бутылку вина...

Он не успел кончить фразу, как дверь открылась, и появился Падуа в черном фраке.

Варажу вскочил, с криком ликования бросился к зятю, обхватил его и пустился с ним в пляс вокруг гостиной, вопя во все горло:

— Вот и Падуа!.. вот и Падуа!.. вот и Падуа!..

Затем, отпустив растерявшегося сборщика налогов, он расхохотался ему в лицо:

— Ха-ха-ха! Ну и проказник. Ну и проказник... Так ты, значит, гуляешь? Ах ты, проказник... А моя сестра?.. Ты изменяешь ей, да?..

И, представив себе все выгоды неожиданного положения — принудительный заем и верный шантаж,— он бросился врастяжку на диван и принялся так хохотать, что весь диван под ним трещал.

Три молодые дамы, разом поднявшись, обратились в бегство, а пожилая, близкая к обмороку, отступала к двери.

Вошли два господина, оба во фраках и в орденах. Падуа бросился к ним:

— Ах, господин председатель... он сумасшедший!.. он сумасшедший!.. Его прислали к нам на поправку... Вы же видите, он сумасшедший.

Варажу сел, ничего не понимая; вдруг ему пришло в голову, что он совершил какую-то чудовищную глупость. Он встал и, подойдя к зятю, спросил:

— Где же мы находимся?

А Падуа, внезапно охваченный безумным гневом, бормотал:

— Где... где... где мы находимся?.. Негодяй... бездельник... мерзавец... Где мы находимся? У господина старшего председателя суда!.. У господина председателя де Мортмэн... де Мортмэн... де... де... де Мортмэн... Ах!.. ах!.. подлец!.. подлец!.. подлец!..

ИСПОВЕДЬ

Когда капитан Гектор-Мари де Фонтенн женился на мадмуазель Лорине д'Эстель, родные и друзья решили, что брак будет неудачен.

Мадмуазель Лорина, изящная, хрупкая блондинка, хорошенькая и смелая, уже в двенадцать лет обладала самоуверенностью тридцатилетней женщины. Она принадлежала к числу скороспелых парижанок, которые, кажется, родились с полным знанием жизни, во всеоружии женской хитрости и дерзкой мысли, с тем глубоким коварством и гибкостью ума, благодаря которым многие из них, что бы они ни делали, кажутся роковым образом предназначенными обманывать и морочить других. Все их действия как будто преднамеренны, все поступки рассчитаны, все слова тщательно взвешены, и все их существование — роль, которую они непрерывно разыгрывают перед своими ближними.

К тому же она была очаровательна; от природы смешливая, она неудержимо хохотала и долго не могла успокоиться, когда ей что-нибудь казалось забавным и веселым. Она смеялась людям прямо в лицо, самым бесцеремонным образом, но так мило, что на нее никогда не сердились.

Она была богата, очень богата. При посредстве одного священника ее выдали замуж за капитана де Фонтенна. Этот офицер, получивший самое строгое воспитание в духовном пансионе, принес с собою и в полк монастырские правила, твердые принципы и крайнюю нетерпимость. Это был один из тех людей, которые

обречены стать или святыми, или нигилистами; они становятся рабами идей, верования их непреклонны и решения непоколебимы.

Это был высокий брюнет, серьезный, строгий и наивный, обладавший недалеким, упрямым и ограниченным умом, один из тех людей, которые проходят мимо жизни, не понимая ее изнанки, ее оттенков и тонкостей, ни о чем не догадываются, ничего не подозревают и даже не допускают, что другие могут думать, судить, верить и поступать иначе, чем они.

Мадмуазель Лорина с первого взгляда раскусила его и дала согласие на брак.

Они были прекрасной четой. Она действовала ловко, гибко и разумно, умела казаться такою, какою ей полагалось быть,— светской дамой строгих правил, всегда готовой принять участие в благотворительных делах и празднествах; усердно посещала церковь и театр, с иронической усмешкой и огоньком в глазах серьезным тоном разговаривала со своим серьезным супругом. Она рассказывала ему о добрых делах, которые предпринимала со всеми аббатами прихода и окрестностей, и под предлогом этих благочестивых занятий пропадала из дому с утра до вечера.

Но иной раз посреди рассказа о какой-нибудь благотворительной затее ею вдруг овладевал безумный смех, нервный, неудержимый. Капитан, слегка обиженный, с изумлением и беспокойством смотрел на еле переводившую дыхание жену. Когда она немного приходила в себя, он спрашивал:

— Что с вами, Лорина?

Она отвечала:

— Так, ничего! Вспомнила один смешной случай.— И она рассказывала о каком-нибудь происшествии.

Летом 1883 года капитан Гектор де Фонтенн участвовал в больших маневрах 32-го армейского корпуса.

Как-то вечером, расположившись лагерем близ одного города, после десяти дней, проведенных в палатках в открытом поле, после десяти дней усталости и лишений, товарищи капитана решили устроить хороший обед.

Г-н де Фонтенн сперва отказался присоединиться к ним; но, видя, что его отказ вызывает недоумение, согласился.

Его сосед за столом, майор де Фавре, то и дело подливал ему вина, беседуя с ним о военных операциях— единственном, что интересовало капитана. Днем было очень жарко: тяжелый, сухой зной вызывал жажду; капитан пил, не раздумывая, и не замечал, что понемногу его охватывает необычное веселье, какая-то яркая, жгучая радость, счастье жизни, полное пробудившихся желаний, жадности к чему-то неведомому, неопределенных влечений.

К десерту он был уже навеселе. Он говорил, смеялся, суетился в шумном и бурном опьянении, свойственном людям, обычно тихим и рассудительным.

Кто-то предложил закончить вечер в театре; капитан последовал за товарищами. Один из них встретил в театре актрису, в которую был некогда влюблен; устроили ужин, и на нем присутствовала часть женского персонала труппы.

На другой день капитан проснулся в незнакомой комнате, в объятиях маленькой блондинки, которая, увидев, что он открыл глаза, сказала:

— Здравствуй, котик!

Сначала он ничего не понял; затем мало-помалу стал припоминать происшедшее, но все еще несколько смутно.

Тогда, не говоря ни слова, он встал, оделся и высыпал содержимое своего кошелька на камин.

Когда он увидел себя в полной форме, с саблей, в этих меблированных комнатах с помятыми занавесками, с подозрительным, испещренным пятнами диваном, его охватил стыд; он не решался уйти, спуститься по лестнице, где могли встретиться люди, пройти мимо привратника, а главное — выйти на улицу, на глазах прохожих и соседей.

Женщина без конца повторяла:

— Что с тобой случилось? Язык, что ли, проглотил? Вчера-то вечером он у тебя неплохо был подвешен! Вот олух!

Решившись на бегство, он церемонно ей поклонился и быстрым шагом добрался до своего жилья, в

полной уверенности, что по его лицу, по виду и манерам все догадывались, откуда он возвращается.

Его терзали угрызения совести, мучительные угрызения, свойственные строгому и добросовестному человеку.

Он исповедался и причастился; но ему было не по себе: его преследовало воспоминание о своем падении и сознание, что он нарушил свой долг, священный долг по отношению к жене.

Он увиделся с ней лишь через месяц, так как на время маневров она отправилась к родным.

Улыбаясь, она подошла к нему с распростертыми объятиями. Он встретил ее со смущенным видом провинившегося человека и до вечера почти не говорил с ней.

Как только они остались вдвоем, она спросила:

— Что это с вами, мой друг? Я нахожу, что вы очень изменились.

Он принужденно ответил:

— Ничего, дорогая, решительно ничего.

— Извините, но я вас хорошо знаю и уверена, что у вас какая-то забота, горе, неприятность,— словом, что-то есть на душе.

— Это правда, меня угнетает забота.

— Вот как! Какая же?

— Я не в силах вам это сказать.

— Мне? Но почему? Вы меня пугаете.

— Я не могу вам сказать причину. Мне никак нельзя это сказать.

Она села на козетку, а он шагал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину и избегая взгляда жены. Она продолжала:

— В таком случае я должна вас исповедать — это мой долг — и потребовать от вас признания — это мое право. У вас не может быть секретов от меня, так же как и у меня от вас.

Стоя спиной к ней в нише высокого окна, он сказал:

— Дорогая, есть вещи, о которых лучше не говорить. И то, что меня мучает, как раз такого рода...

Она встала, прошлась по комнате, взяла его за рукав, заставила повернуться к себе, положила ему

руки на плечи, улыбнулась и ласково заглянула ему в глаза:

— Слушайте, Мари (она называла его Мари в минуты нежности), вы ничего не должны скрывать от меня. А то я подумаю, что вы совершили какой-нибудь гадкий поступок.

Он прошептал:

— Я совершил очень гадкий поступок.

Она весело сказала:

— О! Такой уж гадкий? Вот чего я от вас не ожидала!

Он быстро ответил:

— Я ничего вам больше не скажу. Не спрашивайте меня!

Но она подвела его к креслу, усадила, присела к нему на правое колено и поцеловала кончик вьющихся усов легким и быстрым, порхнувшим поцелуем.

— Если вы мне ничего не скажете, мы поссоримся навсегда.

Терзаясь угрызениями совести, в мучительной тоске, он прошептал:

— Если я скажу, что я сделал, вы никогда мне этого не простите.

— Наоборот, мой друг, я вас тотчас же прощу.

— Нет, это никак невозможно.

— Я вам обещаю.

— Говорю вам, что это невозможно.

— Клянусь, что прощу вас!

— Нет, дорогая Лорина, вы не сможете это сделать.

— До чего же вы наивны, мой друг, чтобы не сказать,— глупы! Отказываясь рассказать, что вы сделали, вы заставляете меня предполагать что-то ужасное; я все время буду об этом думать и буду сердиться на вас за ваше молчание не меньше, чем за этот неизвестный мне проступок. А если вы откровенно мне все расскажете, я завтра же об этом позабуду.

— Дело в том...

— В чем?

Он покраснел до ушей и серьезно сказал:

— Я исповедуюсь вам, как исповедался бы священнику, Лорина.

На губах жены промелькнула быстрая улыбка, порой появлявшаяся у нее, когда она его слушала, и она промолвила несколько насмешливо:

— Я вся внимание.

Он продолжал:

— Вам известно, дорогая, насколько я воздержан. Я пью лишь воду, подкрашенную вином, и не употребляю крепких напитков, вы это знаете.

— Да, знаю.

— Так вот, представьте себе: как-то вечером, по окончании больших маневров, томясь от жажды, измученный, усталый, я позволил себе немного выпить... и...

— Вы напились пьяным? Фи, как это некрасиво!

— Да, я напился.

Она приняла строгий вид:

— Уж признавайтесь, крепко напились? Так напились, что не стояли на ногах, да?

— О, нет, не до такой степени. Я потерял рассудок, но не равновесие. Я разговаривал, смеялся и делал глупости.

Тут он замолчал; она спросила:

— Это все?

— Нет.

— А! Ну... а потом?

— Потом... Я... я... совершил мерзость.

Она смотрела на него с тревогой, слегка смущенная и вместе с тем растроганная.

— Что же, мой друг?

— Мы поужинали с... с актрисами... и не знаю, как это случилось, я изменил вам, Лорина!

Он произнес это серьезным, торжественным тоном.

Она слегка вздрогнула, и глаза ее зажглись внезапным весельем, захватывающим, неудержимым весельем.

Она сказала:

— Вы... вы... вы мне...

И быстрый, нервный, отрывистый смешок трижды сорвался с ее губ, прерывая ее речь.

Она старалась вновь принять серьезный вид, но как только хотела произнести хоть слово, смех закипал у нее в горле и бурно рвался наружу, она пыталась его сдержать, но он то и дело слетал с ее губ,— так разбрасывая бурную пену, вылетает газ из откупоренной бу-

тылки шампанского. Она зажимала рот рукой, чтобы успокоиться, чтобы подавить этот злополучный приступ веселья, но смех лился сквозь ее пальцы, сотрясал ее грудь, неудержимо прорывался. Она лепетала:

— Вы... вы... мне изменили... А!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

И она смотрела на него со странным выражением, которое, помимо ее воли, было так насмешливо, что озадачило и ошеломило мужа.

Вдруг, не в силах более сдерживаться, она прыснула и залилась смехом, словно в припадке истерики. Из ее рта вылетали отрывистые звуки, казалось, исходившие из глубины груди; обхватив обеими руками живот, она задыхалась в приступе хохота, длительном, как приступ кашля при коклюше.

Каждое усилие, которое она делала, чтобы успокоиться, вызывало новый приступ; каждое слово, которое она пыталась произнести, заставляло ее корчиться еще сильнее.

— Мой... мой... мой... бедный дружок... Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

Он встал, оставил ее одну в кресле и, сильно побледнев, сказал:

— Лорина, вы ведете себя более чем неприлично.

В припадке веселья она пролепетала:

— Что ж... что же делать... я... я... не могу... до чего вы... вы смешны... Ха-ха-ха!

Смертельно бледный, он глядел на нее пристальным взглядом, в котором пробуждалась какая-то новая для него мысль. Он открыл рот, словно собираясь что-то крикнуть, но не сказал ничего, повернулся на каблуках и вышел, хлопнув дверью.

Лорина, согнувшись пополам, обессиленная, ослабевшая, все еще смеялась замирающим смехом, и он мгновениями вновь оживлялся, как пламя угасающего пожара.

РАЗВОД

Мэтр Бонтран, известный парижский адвокат, тот самый, что уже десять лет ведет бракоразводные дела и неизменно добивается расторжения неудачных браков, открыл дверь своего кабинета и посторонился, впуская нового клиента.

Это был толстый румяный человек, в густых белокурых бакенбардах, полнокровный, крепкий и с брюшком. Он поклонился.

— Садитесь,— сказал адвокат.

Клиент сел и откашлялся:

— Я пришел просить вас, сударь, вести мое дело о разводе.

— Говорите, сударь, я слушаю вас.

— Я бывший нотариус, сударь.

— Как! Уже бывший?

— Да. Мне тридцать семь лет.

— Продолжайте.

— Сударь, я неудачно, весьма неудачно женился.

— Не вы одни.

— Знаю и жалею других, но мое дело совсем особого рода, а мои претензии к жене носят крайне щекотливый характер. Однако начну с начала. Женился я весьма оригинальным образом. Вы признаете, что бывают опасные мысли?

— Что вы под этим разумеете?

— Согласны ли вы, что для ума известного склада некоторые мысли так же опасны, как яд для тела?

— Ну да, может быть.

— Некоторые мысли, если мы не даем им отпора, овладевают нами, гложут нас, убивают и сводят с ума. Они губительны для души, как филоксера для растений. Если, на свою беду, мы дадим подобной мысли проникнуть в сознание, если мы сразу не заметим, что она захватчица, мучительница, тиран, что она разрастается час за часом, день за днем, беспрестанно возвращается, внедряется, гонит прочь все наши обычные помыслы, поглощает все наше внимание и искажает нашу умственную перспективу, то мы пропали.

Так вот, сударь, что со мной произошло. Как я вам уже сказал, я был нотариусом в Руане и находился в несколько стесненных обстоятельствах; не то, чтобы я был беден, но ограничен в средствах, вечно озабочен, вынужден экономить и урезывать себя во всем, решительно во всем! А в мои годы это бывает тяжело.

Как нотариус, я очень внимательно читал объявления на четвертой странице газет,— предложения и спрос, отдел переписки и т. д.; несколько раз мне удавалось устраивать таким способом моим клиентам выгодные браки.

Однажды мне попалось следующее объявление:

«Девушка, красивая, хорошо воспитанная, порядочная, готова выйти замуж за почтенного человека, имеет приданое в два с половиной миллиона франков наличными. Посредников просят не беспокоиться».

Как раз в этот день мне пришлось обедать с двумя друзьями, стряпчим и фабрикантом-прядильщиком. Случайно разговор коснулся браков, и я, смеясь, рассказал о девушке с приданым в два с половиной миллиона франков.

Прядильщик спросил:

— Что представляют собой такие женщины?

Стряпчий в своей практике не раз сталкивался с удачными браками, заключенными при таких обстоятельствах; он рассказал несколько случаев, а затем, повернувшись ко мне, добавил:

— Почему бы, черт побери, тебе самому этим не воспользоваться? Ей-богу, два с половиной миллиона франков избавили бы тебя от многих забот.

Мы расхохотались и заговорили о другом.

Час спустя я возвращался домой.

Ночь была холодная. Вдобавок я жил в старом доме, в одном из тех старых провинциальных домов, которые напоминают погреб для выращивания шампиньонов. Леденящая дрожь пробежала у меня по руке, едва я взялся за железные перила лестницы; когда же другой рукой я нащупал стену, меня снова пронизала дрожь от сырости; оба эти ощущения слились воедино, и меня охватили уныние, тоска и досада. Внезапно всплыло воспоминание, и я прошептал:

— Эх, черт возьми, если бы у меня было два с половиной миллиона!

Моя комната, прибранная горничной, исполнявшей также обязанности кухарки, была самого мрачного вида, настоящая комната руанского холостяка. Вам легко себе представить эту комнату! Нетопленная, с большой постелью без полога, с комодом, умывальником и шкафом. На стульях разбросана одежда, на полу — бумаги. Я стал напевать на какой-то мотив, слышанный в кафе-шантане,— я иногда посещаю эти места:

Два мильона,
Два мильона,
Я бы принял благосклонно,
Два мильона с половиной
И с женою миловидной.

Впрочем, о самой невесте я до сих пор еще не думал; однако, нырнув под одеяло, я вдруг стал о ней мечтать. И до того размечтался, что долго не мог заснуть.

На другой день, проснувшись до рассвета, я вспомнил, что должен быть к восьми часам по важному делу в Дарнетале. Следовательно, нужно встать в шесть часов, а между тем на улице мороз.

— Черт возьми, два с половиной миллиона!

Я вернулся к себе в контору к десяти часам. Там стоял запах раскаленной печки, старых бумаг, запах преющих судебных дел (самая ужасная вонь на свете), запах клерков, их сюртуков, сапог, сорочек, волос и неопрятного тела, давно не мытого ввиду зимнего времени,— и все это при температуре в восемнадцать градусов.

Я позавтракал, как всегда, подгоревшей котлетой и куском сыра. Потом снова взялся за работу.

Вот тогда-то я впервые, очень серьезно, подумал о девушке с приданым в два с половиной миллиона. Кто она такая? Почему бы мне не узнать? Отчего бы не написать ей?

Я буду кратким, сударь. В течение двух недель эта мысль меня преследовала, обуревала, мучила. Все мои заботы, все мелкие неприятности, от которых я вечно страдал, до сих пор не обращая на них внимания, почти не замечая их, теперь мне причиняли боль, как укол булавки, а каждое из этих мелких страданий тотчас же наводило меня на мысль о невесте с приданым в два с половиной миллиона.

В конце концов я сам придумал ее историю. Когда чего-нибудь сильно хочешь, сударь, то все представляется именно таким, каким надеешься это видеть.

Конечно, было не совсем естественно, чтобы молодая девушка из хорошей семьи с таким приданым искала мужа при помощи газет. Однако могло ведь случиться, что эта девушка была несчастной и заслуживала уважения.

Состояние в два с половиной миллиона франков не ослепило меня, как нечто феерическое. Мы постоянно читаем такого рода объявления и привыкли к брачным предложениям, сопровождаемым цифрами в шесть, восемь, десять или даже двенадцать миллионов. Цифра в двенадцать миллионов как раз довольно обычная. Она нравится. Правда, мы не верим в реальность этих обещаний. Однако они гипнотизируют нас фантастическими цифрами; при некотором легковерии с нашей стороны эти чудесные суммы начинают казаться до известной степени правдоподобными, и мы склонны рассматривать приданое в два с половиной миллиона как нечто вполне возможное и заслуживающее доверия.

Итак, молодая девушка, незаконная дочь разбогатевшего человека и горничной, неожиданно получила наследство от отца и вместе с тем узнала о своем запятнанном происхождении; чтобы не открывать этого человеку, который ее полюбит, она обращается к незнакомцам, прибегая к весьма распространенному способу, заключающему в себе как бы полупризнание в некотором изъяне.

Нелепое предположение. Однако я ухватился за не-

го. Нам, нотариусам, никогда не следовало бы читать романы, а между тем я их читал, сударь.

Итак, я написал ей как нотариус, от имени клиента и стал ожидать.

Спустя пять дней, в третьем часу, когда я занимался у себя в кабинете, старший клерк объявил:

— Мадмуазель Шантефриз.

— Пусть войдет.

Вошла женщина лет тридцати, несколько полная брюнетка; вид у нее был смущенный.

— Садитесь, мадмуазель.

Она села и прошептала:

— Это я, сударь.

— Но, мадмуазель, я не имею чести вас знать.

— Я та, которой вы писали.

— Относительно брака?

— Да, сударь.

— А! Очень хорошо!

— Я приехала сама: по-моему, лучше устраивать всегда свои дела лично.

— Я с вами согласен, мадмуазель. Итак, вы желаете выйти замуж?

— Да, сударь!

— У вас есть родные?

В замешательстве она опустила глаза и пробормотала:

— Нет, сударь... Моя мать... и мой отец... умерли.

Я вздрогнул. Значит, я верно угадал; горячая симпатия к этому несчастному созданию внезапно пробудилась в моем сердце. Я оставил эту тему, щадя ее чувствительность, и продолжал:

— Все ваше состояние в наличных деньгах?

На этот раз она ответила без колебаний:

— О да, сударь.

Я всматривался в нее с напряженным вниманием,— право же, мне она понравилась, хотя оказалась довольно зрелой особой, более зрелой, чем я предполагал. Это была красивая, крепкая, цветущая женщина. Мне пришла мысль разыграть маленькую комедию чувств, влюбиться в нее и, убедившись в том, что приданое не призрак, занять место своего воображаемого клиента. Я заговорил об этом клиенте и описал его, как человека

невеселого нрава, весьма почтенного и несколько болезненного.

Она быстро сказала:

— О сударь, я люблю здоровых людей.

— Впрочем, вы сами его увидите, сударыня, однако не раньше, чем через три или четыре дня, так как он только вчера уехал в Англию.

— Ах, какая досада! — вырвалось у нее.

— Как сказать? И да, и нет. Вы очень спешите домой?

— Совсем не спешу.

— В таком случае дождитесь его в Руане. Я постараюсь вас развлечь.

— Вы очень любезны, сударь

— Вы остановились в отеле?

Она назвала лучший руанский отель.

— Так вот, мадмуазель, не разрешите ли вы вашему будущему... нотариусу пригласить вас пообедать сегодня вечером?

Она как будто робела, беспокоилась, колебалась; потом решилась.

— Хорошо, сударь.

— Я зайду за вами в семь часов

— Хорошо, сударь.

— Значит, до вечера, мадмуазель?

— Да, сударь.

И я проводил ее до двери.

В семь часов я был у нее. Она принарядилась для меня и была со мной очень кокетлива.

Я повел ее обедать в ресторан, где меня знали, и заказал умопомрачительный обед.

Через час мы уже стали большими друзьями, и она рассказала мне свою историю. Сообщила, что она дочь светской дамы, соблазненной одним дворянином, и воспитывалась у крестьян. Теперь она богата, так как унаследовала крупные суммы от отца и матери, имена которых она ни за что, ни за что не назовет! Бесполезно ее уговаривать, бесполезно умолять, она ничего не скажет. Я не слишком этим интересовался и стал расспрашивать о ее состоянии. Она тотчас заговорила, как жен-

щина практичная, уверенная в себе, уверенная в цифрах, актах, доходах, процентах и денежных вкладах. Ее компетентность в этих делах тотчас внушила мне большое доверие к ней, я стал очень любезным, сохраняя, однако, сдержанность. Но ясно дал ей понять, что она мне нравится.

Она жеманничала, но не без приятности. Я угостил ее шампанским, выпил сам, и это вскружило мне голову. Тогда я вдруг почувствовал, что становлюсь предприимчивым, и мне стало страшно, страшно за себя, страшно за нее, потому что она тоже была, наверно, слегка возбуждена и могла не устоять. Чтобы успокоиться, я снова заговорил о приданом,— сказал, что в этом вопросе все надо установить точно, так как мой клиент — деловой человек.

Она весело ответила:

— О, я знаю. Я привезла все документы.

— Сюда, в Руан?

— Да, в Руан.

— Они у вас в отеле?

— Ну, да.

— Вы мне их покажете?

— Конечно.

— Сегодня вечером?

— Да.

Это избавило меня от всяких околичностей. Я уплатил по счету, и мы отправились к ней.

Она действительно привезла все бумаги. Я не мог сомневаться, я их держал, трогал, читал. Я не помнил себя от радости, у меня тотчас же явилось сильное желание поцеловать ее. Желание, разумеется, целомудренное, желание довольного человека. И в самом деле я поцеловал ее. Один раз, два раза, десять раз... а тут еще подействовало шампанское... Словом, я не устоял... или нет... вернее... она не устояла.

Ах, сударь, хорош я был после этого... А она! Она плакала в три ручья, умоляя меня не выдавать и не губить ее. Я обещал все, чего она хотела, и удалился в ужасном состоянии духа.

Что делать? Я обольстил свою клиентку. Это бы еще не беда, если бы у меня был для нее жених, но его у меня не было. Я сам был этот жених, — наивный, об-

манутый, обманутый самим собой. Вот так положение! Правда, я мог ее бросить. Но приданое, крупное, чудесное приданое, осязаемое, надежное приданое! А потом, имел ли я право бросить бедную девушку после того, как обманул ее таким образом? Да, но сколько забот в дальнейшем! Разве можно быть спокойным с женой, которая так легко поддается обольщению?

Я провел ужасную ночь в нерешительности, терзаясь угрызениями совести, мучаясь опасениями и самыми ужасными сомнениями. Но поутру мои мысли прояснились. Я изысканно оделся и ровно в одиннадцать явился в отель, где она остановилась.

Увидев меня, она покраснела до ушей.

Я сказал ей:

— Мадмуазель, мне остается только одно средство загладить свою вину: я прошу вашей руки.

Она прошептала:

— Я согласна.

И мы поженились.

Полгода все шло хорошо.

Я передал свою контору, жил, как рантье, и, по правде сказать, ни в чем, ну, решительно ни в чем не мог упрекнуть свою жену.

Однако постепенно я стал замечать, что время от времени она надолго отлучалась из дому. Это случалось в определенные дни: одну неделю — во вторник, другую — в пятницу. Я решил, что она мне изменяет, и стал за ней следить.

Был вторник. Она вышла из дому около часу дня, пошла по улице Республики, за дворцом архиепископа повернула направо, спустилась по улице Гран-Пон до Сены, направилась вдоль набережной, перешла по мосту Пьера через реку. Тут она стала проявлять беспокойство: то и дело оборачивалась, оглядывала прохожих.

Меня она не узнала, так как я переоделся угольщиком.

Наконец она вошла в здание вокзала на левом берегу реки. Я больше не сомневался,— ее любовник приедет поездом в час сорок пять.

Я спрятался за тележку и стал ждать. Свисток... волна пассажиров... Она устремляется вперед, бросается к трехлетней девочке, которую сопровождает толстая крестьянка, берет малютку на руки и страстно целует. Потом оборачивается, замечает второго ребенка, поменьше, девочку или мальчика, на руках другой крестьянки, кидается к нему, неистово его обнимает и затем удаляется в сопровождении двух крошек и обеих нянек в длинную, темную и пустынную аллею Кур-ля-Рен.

Я возвратился домой, озадаченный, с тоской в душе, теряясь в догадках и боясь им поверить.

Когда она вернулась к обеду, я бросился к ней, крича:

— Что это за дети?

— Какие дети?

— Те, которые прибыли с Сен-Северским поездом.

Она громко вскрикнула и упала в обморок. Придя в себя, она призналась мне, заливаясь слезами, что у нее четверо детей. Да, сударь: две девочки — они приезжали во вторник, и два мальчика — в пятницу.

Это и было — какой позор! — источником ее богатства. Четыре отца!.. Так она скопила себе приданое.

Теперь, сударь, что вы мне посоветуете сделать?

Адвокат внушительно ответил:

— Узаконить своих детей.

РЕВАНШ

Сцена 1

Г-н де Гарель *(один, удобно развалившись в кресле)*. Вот я и в Канне, холостяк к тому же, не странно ли? Я — холостяк! В Париже этого как-то не замечаешь. Ну, а когда путешествуешь, дело другое. Право, нисколько не жалею.

А моя бывшая жена вышла замуж!

Счастлив ли мой преемник, счастливее ли меня? Каким надо быть дураком, чтобы взять ее в жены после меня! По правде сказать, быть и первым мужем такой женщины не менее глупо. Не спорю, у нее есть достоинства... физические достоинства... и не малые, но зато в нравственном отношении куча ужаснейших недостатков.

Распутница, а какая лгунья, какая кокетка, какой ангел со всеми, кроме собственного мужа! Наставляла она мне рога или нет? Господи, что за мука непрерывно задавать себе этот вопрос и ни в чем не быть уверенным!

Уж, кажется, чего-чего я не делал, чтобы поймать ее,— и все впустую. Впрочем, если я был рогоносцем, то теперь я перестал быть таковым — спасибо Наке. Оказывается, развод вовсе не такая сложная штука! И обошелся недорого: десять франков за хлыст да ломота в правой руке; зато какое удоволь-

ствие отхлестать женщину, которую подозреваешь в измене!

Задал же я ей взбучку!

(Встает, делает, улыбаясь, несколько шагов и снова садится.)

Правда, суд вынес решение в ее пользу и против меня, но зато какая была взбучка!

А теперь я на юге, провожу здесь зиму, я — холостяк. Повезло! Восхитительное чувство — путешествовать в надежде, что она где-то здесь, твоя любовь. Кого я встречу, быть может, сейчас в этом отеле, или в парке, или на улице? Где она, та, что завтра полюбит меня, та, которую полюблю я? Какие у нее будут глаза, волосы, рот, улыбка? Какой будет она, та, что первая протянет мне губы, та, которую я заключу в свои объятия? Брюнетка или блондинка? Высокая или маленького роста? Веселая или строгая? Полная или...? Нет, полная, обязательно полная.

Как я жалею тех, кто не знал или больше не знает утонченной прелести ожидания! Я люблю только одну-единственную женщину — Незнакомку. Долгожданную, желанную — ту, что владеет моим сердцем, еще невидимая глазу, ту, что я в мечтах наделяю всеми мыслимыми совершенствами. Где она? В этом отеле? За той дверью? В одной из комнат дома, рядом со мной или еще далеко? Что мне до того, раз я желаю ее, раз я уверен, что ее встречу? А я, несомненно, встречу ее сегодня или завтра, на этой неделе или на будущей,— рано или поздно, но я найду ее!

И я изведаю всю полноту нежнейших восторгов первого поцелуя, первых ласк, все опьянение любовных открытий, все восхитительные тайны неведомого, всё, что в первый день не уступает в очаровании даже покорившейся девственности. Только глупцы могут не испытывать сладостного трепета, впервые совлекая покрывала. Только глупцы вступают в брак... ибо... эти покрывала не следует совлекать слишком часто... с одной и той же картины.

Ага, вот и она, женщина!..

Какая-то дама, элегантная, стройная, с тонкой талией проходит по аллее.

Что за прелесть! Какая талия! Да и походка... Нука рассмотрим ее получше.

Дама проходит, не замечая г-на Гареля, утонувшего в креслах. Он бормочет:

Черт побери, да это моя супруга! Моя жена или, вернее, жена Шантевера. А все-таки она, шельма, недурна...

Недоставало только, чтобы мне вдруг захотелось снова на ней жениться! Чудесно, она села, берет *Жиль Блас*... Притаимся.

Моя жена! Странно, как это на меня подействовало! Моя жена! Впрочем, она год, нет, уже больше года, мне не жена... Да, у нее были физические достоинства... и даже не малые. Какие ноги! При одном воспоминании дрожь пробирает. А грудь! Совершенство! Уф! В первое время у нас с ней была такая игра: левая, правая, левая, правая. Что за грудь! Впрочем, левая или правая, неважно, одна другой не уступит!

Но зато какая дрянь в моральном отношении!

Имела ли она любовников? Как я терзался этими сомнениями. А теперь — фюйть! — это меня уже не касается.

Никогда не встречал создания более соблазнительного, особенно когда она собиралась ложиться в постель; у нее была забавная манера: сначала прыгнет, а потом как-то скользнет под одеяло...

Я, чего доброго, снова влюблюсь в нее.

А что, если с ней заговорить? Но что сказать?

А вдруг она станет звать на помощь... из-за этой самой взбучки? Должно быть, и впрямь я был тогда чуточку грубоват.

А что, если с ней заговорить? Пожалуй, это было бы и забавно и по-мужски.

Да, черт возьми, заговорю и, более того, если я сумею себя показать... Тогда посмотрим...

Сцена 2

Г-н де Гарель подходит к молодой даме, которая внимательно читает *Жиль Блас,* и произносит сладким голоском:

— Позвольте, сударыня, напомнить вам о себе?

Г-жа де Шантевер резким движением подымает голову, вскрикивает и хочет бежать. Он преграждает ей путь и смиренно:

— Вам нечего бояться, сударыня, теперь я вам не муж.

Г-жа де Шантевер. И вы смеете! После... после того, что произошло!

Г-н де Гарель. Я смею... и не смею... Впрочем, объясняйте это как угодно. Когда я вас увидел, я почувствовал, что не могу не заговорить с вами.

Г-жа де Шантевер. Надеюсь, фарс уже окончен?

Г-н де Гарель. Это не фарс, сударыня.

Г-жа де Шантевер. Значит, пари, если не просто наглость. Хотя от мужчины, который бьет женщину, можно ожидать всего.

Г-н де Гарель. Вы слишком суровы, сударыня. Вам не пристало, на мой взгляд, упрекать меня за поступок, в котором я, кстати, раскаиваюсь. Смею вас уверить, что я скорее рассчитывал на благодарность с вашей стороны.

Г-жа де Шантевер *(удивленно)*. Вы что, с ума сошли? Какое грубое издевательство!

Г-н де Гарель. Отнюдь нет, сударыня, и раз вы меня не поняли, значит, вы очень, очень несчастливы.

Г-жа де Шантевер. Что вы хотите этим сказать?

Г-н де Гарель. Я хочу сказать, что будь вы счастливы с тем, кто занял мое место, вы были бы признательны мне за ту грубость, которая позволила вам вступить в новый союз.

Г-жа де Шантевер. Ваша шутка зашла слишком далеко, сударь. Соблаговолите оставить меня в покое.

Г-н де Гарель. Однако, сударыня, рассудите сами: если бы я не совершил низости, ударив вас тогда, мы и посейчас бы влачили наши цепи...

Г-жа де Шантевер *(уязвленная)*. Да, так или иначе, вы оказали мне настоящую услугу!

Г-н де Гарель. Вот видите! И за эту услугу я вправе рассчитывать на более радушный прием.

Г-жа де Шантевер. Возможно. Но ваша физиономия мне отвратительна.

Г-н де Гарель. Не могу сказать того же вам.

Г-жа де Шантевер. Ваши любезности мне так же претят, как и ваша грубость.

Г-н де Гарель. Что поделаешь, сударыня, я не имею права теперь вас бить; значит, приходится любезничать.

Г-жа де Шантевер. Спасибо за откровенность! Но если вы действительно хотите быть любезным, оставьте меня в покое.

Г-н де Гарель. Я очень хочу быть вам приятным, но не до такой степени.

Г-жа де Шантевер. Что же вам угодно?

Г-н де Гарель. Загладить свои ошибки, если только я таковые совершил.

Г-жа де Шантевер. Как, если совершили? Вы заговариваетесь. Вы избили меня, а вам, по-видимому, кажется, что вы вели себя по отношению ко мне безупречно.

Г-н де Гарель. Очень может быть.

Г-жа де Шантевер. Как? Как очень может быть?

Г-н де Гарель. Именно так, сударыня. Знакома ли вам комедия под названием *Избитый и довольный рогоносец?* Был ли я рогоносцем или нет — в этом все дело. Так или иначе, избиты были вы, и недовольны тоже вы...

Г-жа де Шантевер *(подымаясь, чтобы уйти)*. Вы меня оскорбляете, сударь.

Г-н де Гарель *(настойчиво)*. Умоляю вас, выслушайте меня. Я ревновал, зверски ревновал — веское доказательство моей любви. Я побил вас — еще более веское доказательство, и побил здорово — доказательство вовсе неопровержимое. Вот если вы мне были вер-

ны и оскорблены несправедливо, тогда вы действительно достойны жалости, в высшей степени достойны жалости, признаю это...

Г-жа де Шантевер. Можете меня не жалеть!

Г-н де Гарель. Как прикажете вас понимать? Вас можно понять двояко. Или вы просто гнушаетесь моей жалостью, или она неуместна. Если жалость, которой вы, по моему мнению, достойны, незаслуженна, значит... значит, удары... скажем прямо, крепкие удары... вами более чем заслужены.

Г-жа де Шантевер. Понимайте как вам угодно.

Г-н де Гарель. Чудесно! Понял! Итак, сударыня, я был рогоносцем.

Г-жа де Шантевер. Я этого не говорила.

Г-н де Гарель. Но вы дали это понять.

Г-жа де Шантевер. Я дала понять, что не нуждаюсь в вашей жалости.

Г-н де Гарель. Не стоит играть словами, признайтесь честно, что я был...

Г-жа де Шантевер. Не произносите это гнусное, отвратительное слово. Оно меня бесит.

Г-н де Гарель. Я беру свои слова обратно, а вы признайтесь в ваших делах.

Г-жа де Шантевер. Никогда! Это ложь.

Г-н де Гарель. В таком случае я жалею вас ото всей души, и предложение, которое я намеревался вам сделать, теряет свой смысл.

Г-жа де Шантевер. Какое предложение?

Г-н де Гарель. Не стоит и говорить, оно действительно лишь при том условии, что вы меня обманывали.

Г-жа де Шантевер. Ну хорошо, допустим на минутку, что я вас обманывала.

Г-н де Гарель. Этого мало. Мне нужно признание.

Г-жа де Шантевер. Признаюсь.

Г-н де Гарель. И этого мало. Мне нужны доказательства.

Г-жа де Шантевер *(улыбаясь)*. Ну, это, знаете ли, чересчур.

Г-н де Гарель. Ничего подобного, сударыня. Я хотел сделать вам предложение весьма и весьма серьезное, иначе я ни за что бы не рискнул подойти к вам по-

сле того, что произошло между нами, после того, что вы сделали мне, а потом сделал вам я. Предложение это может иметь для нас обоих весьма немаловажные последствия, но оно теряет всякий смысл, если я не был обманут вами.

Г-жа де Шантевер. Удивительный человек! Ну, чего вам еще надо? Я вас обманывала, вот вам!

Г-н де Гарель. Мне нужны доказательства.

Г-жа де Шантевер. Но какие я могу вам представить доказательства? Они ведь не при мне, вернее, уже не при мне.

Г-н де Гарель. Неважно, где они. Они мне нужны.

Г-жа де Шантевер. Но ведь доказательства подобного рода не сохраняют... Разве что на месте преступления... *(Помолчав немного.)* Мне кажется, вам достаточно моего слова.

Г-н де Гарель *(почтительно кланяясь)*. Значит, вы готовы поклясться?

Г-жа де Шантевер *(поднимая руку)*. Клянусь!

Г-н де Гарель *(серьезным тоном)*. Я вам верю; сударыня. А с кем же вы меня обманывали?

Г-жа де Шантевер. Вы хотите слишком многого.

Г-н де Гарель. Мне необходимо знать его имя.

Г-жа де Шантевер. Я не могу вам его назвать.

Г-н де Гарель. Но почему?

Г-жа де Шантевер. Потому что я замужем.

Г-н де Гарель. Ну, и что ж из этого?

Г-жа де Шантевер. А профессиональная тайна?

Г-н де Гарель. Вы правы.

Г-жа де Шантевер. Впрочем, я обманывала вас как раз с господином де Шантевер.

Г-н де Гарель. Неправда.

Г-жа де Шантевер. Почему же?

Г-н де Гарель. Он тогда бы на вас не женился.

Г-жа де Шантевер. Однако вы дерзки. А ваше предложение?

Г-н де Гарель. Пожалуйста. Вы только что признались, что по вашей милости я был в нелепой роли тех персонажей, которые вызывают всеобщий смех: они комичны, когда молчат, и еще более уморительны, когда выходят из себя,— их именуют обманутыми

мужьями. Итак, сударыня, не подлежит никакому сомнению, что несколько ударов хлыстом, полученные вами, и сравниться не могут с теми проторями и убытками, которые вы мне причинили как супругу, и столь же бесспорно, что возмещение должно быть более основательно и несколько иного характера, поскольку я уже не имею чести состоять вашим супругом.

Г-жа де Шантевер. Бог знает, что вы говорите! Что это значит?

Г-н де Гарель. Это значит, сударыня, что теперь вы должны возвратить мне все очаровательные часы, которые вы похитили у меня, когда я был вашим мужем, и отдавали их на сторону бог знает кому.

Г-жа де Шантевер. Вы с ума сошли!

Г-н де Гарель. Ничего подобного. Ваша любовь принадлежала мне, ведь так? Все ваши поцелуи, все до единого, все без исключения должны были предназначаться только мне. Не правда ли? Вы израсходовали часть их в пользу других. Так вот, необходимо, мне необходимо, чтобы воспоследовало возмещение и притом без скандала, возмещение тайное, как в случаях позорных похищений.

Г-жа де Шантевер. За кого вы меня принимаете?

Г-н де Гарель. За жену господина де Шантевер.

Г-жа де Шантевер. Это уж слишком!

Г-н де Гарель. Простите, но тот, кто обманывал меня, имел дело с женой господина де Гарель. Справедливость требует, чтобы теперь настал мой черед. Ваш отказ вернуть законному владельцу его добро — вот это уж слишком.

Г-жа де Шантевер. Предположим, я согласилась бы. Неужели бы вы могли...

Г-н де Гарель. Ну конечно!

Г-жа де Шантевер. Тогда к чему было разводиться?

Г-н де Гарель. Чтобы оживить нашу любовь.

Г-жа де Шантевер. Вы меня никогда не любили.

Г-н де Гарель. Однако я даю этому весьма веское доказательство.

Г-жа де Шантевер. Какое же?

Г-н де Гарель. Как какое? Когда мужчина настолько обезумел, что предложил женщине сначала выйти за него замуж, а потом стать ее любовником, это доказывает, что он ее любит, или я ничего не понимаю в любви.

Г-жа де Шантевер. Не будем смешивать различных понятий. Жениться на женщине — это значит доказать свою любовь или страсть, но взять ее в любовницы ничего не доказывает или доказывает презрение. В первом случае мужчина принимает на себя все тяготы любви, все неприятности, всю ответственность; во втором случае он предоставляет это бремя законному владельцу и оставляет себе только удовольствие и право исчезнуть, когда женщина ему разонравилась. Совершенно различные вещи.

Г-н де Гарель. Дорогая моя, вы рассуждаете совершенно неправильно. Когда любишь женщину, не нужно на ней жениться, потому что, женившись, вы можете быть уверенным, что она вас обманет, как это вы сделали со мной. Доказательство налицо. Тогда как совершенно бесспорно, что любовница верна своему любовнику со всем тем неистовством, какое она вкладывает в измену мужу. Разве не так? Если вы хотите, чтобы вас связывали с женщиной нерасторжимые узы, выдайте ее замуж за другого (брачные узы — лишь тоненькая ниточка, которую можно порвать в любую минуту) и сделайтесь ее любовником: свободная любовь — цепь, которую не разорвешь. Мы с вами порвали ниточку, теперь я предлагаю вам цепь.

Г-жа де Шантевер. Все это забавно. Но я отказываюсь.

Г-н де Гарель. Тогда я все расскажу господину де Шантевер.

Г-жа де Шантевер. Что вы ему расскажете?

Г-н де Гарель. Я скажу ему, что вы меня обманывали.

Г-жа де Шантевер. Что я вас обманывала... Но ведь вас!

Г-н де Гарель. Да, но когда вы были моей женой.

Г-жа де Шантевер. Ну и что?

Г-н де Гарель. А то, что он вам этого не простит.

Г-жа де Шантевер. Он?

Г-н де Гарель. Да, он. Это, знаете ли, не сулит ему особых надежд.

Г-жа де Шантевер *(смеясь)*. Не делайте этого, Анри.

С лестницы слышен крик: «Матильда!»

Г-жа де Шантевер *(тихо)*. Муж! Прощайте!

Г-н де Гарель *(подымаясь)*. Я пойду с вами и представлюсь вашему супругу.

Г-жа де Шантевер. Не делайте этого.

Г-н де Гарель. Непременно сделаю!

Г-жа де Шантевер. Ну, прошу вас.

Г-н де Гарель. Тогда соглашайтесь на цепь.

Голос за сценой: «Матильда!»

Г-жа де Шантевер. Пустите меня.

Г-н де Гарель. Когда я вас увижу?

Г-жа де Шантевер. Здесь, сегодня вечером, после обеда.

Г-н де Гарель *(целуя ей руку)*. Я люблю вас.

Она убегает.

Г-н де Гарель медленно идет к креслу и удобно в него усаживается.

— Так! Эту роль я предпочитаю предыдущей. Матильда очаровательна, поистине очаровательна и стала вдвойне очаровательной, когда я услышал голос господина де Шантевер, зовущий ее,— у всех мужей в мире одинаковый голос. Голос собственника.

ОДИССЕЯ ПРОСТИТУТКИ

Да, никогда воспоминания об этом вечере не изгладятся из моей памяти. В течение получаса я пережил зловещее ощущение неотвратимости рока, я испытал дрожь, охватывающую новичка при спуске в глубокую шахту. Я заглянул в черную бездну человеческого горя, я понял, что честная жизнь для некоторых людей невозможна.

Было уже за полночь. Выйдя из театра Водевиль, я шел, торопливо шагая по бульвару на улицу Друо, среди сплошного потока раскрытых зонтов. Мельчайшие капли дождя, не достигая земли, оставались висеть в воздухе, застилая свет газовых рожков, и ночные улицы были унылыми-унылыми. Тротуары лоснились под дождем и казались какими-то липкими. Прохожие, не глядя по сторонам, ускоряли шаг.

Проститутки, приподняв край платья, так, что виднелась нога, обтянутая чулком, тускло белевшим в полумраке, зазывали мужчин, укрывшись в подъездах, или с вызывающим видом шныряли по тротуарам, нашептывая бессмысленные, невнятные слова. Они шли бок о бок минуту — две то с одним, то с другим, стараясь прижаться к мужчине, обдавая его лицо нечистым дыханием; затем, убедившись в тщете своих усилий, круто, с сердцем поворачивали и возобновляли прогулку, вихляя бедрами.

Преследуемый ими, чувствуя, что меня хватают за рукав, я шел, еле сдерживая подступавшее к горлу отвращение. Вдруг я увидел трех девиц, которые бе-

жали сломя голову, крича что-то своим подружкам. Те тоже пустились бежать, подхватив для скорости юбки обеими руками. В эту ночь происходила облава: регламентировали проституцию.

Внезапно я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мой локоть, и задыхающийся голос пробормотал:

— Спасите меня, сударь, не гоните меня!

Я взглянул на говорившую. Ей не было и двадцати, но она уже порядком поблекла. Я сказал:

— Хорошо, оставайся!

Она пролепетала:

— Спасибо, спасибо!

Мы приблизились к цепи полицейских. Они расступились, давая мне дорогу. Я повернул к улице Друо.

Моя спутница спросила:

— Пойдешь со мной?

— Нет.

— Почему же? Ты мне, сам не знаешь, какую услугу оказал, в жизни не забуду.

Желая поскорей отделаться от нее, я заявил:

— Отстань, я женат!

— Ну и что?

— Хватит, детка. Я тебя выручил. А теперь оставь меня в покое.

Улица была пустынная и темная, поистине мрачная. И от присутствия этой женщины, уцепившейся за мою руку, владевшая мной тоска еще усилилась. Женщина попыталась меня поцеловать. Я с ужасом отшатнулся и резко сказал:

— Убирайся ты... Поняла?

Она гневно отшатнулась и вдруг зарыдала. Я почувствовал жалость, я стоял растерянный, смущенный.

— Что с тобой?

Она пробормотала сквозь слезы:

— Разве ты понимаешь?.. Да что говорить!.. Невесело.

— Что невесело?

— Да вот жизнь эта.

— А почему ты так живешь?

— Разве это моя вина?

— Чья же тогда?
— А почем я знаю?
Мне захотелось понять это одинокое существо.
Я попросил:
— Расскажи мне свою историю.
И она рассказала.

— Мне было шестнадцать лет, я служила тогда в Ивето у господина Лерабля, торговца семенами. Отец и мать померли. У меня не осталось ни души. Я замечала, что мой хозяин как-то особенно на меня поглядывает и норовит ущипнуть меня при случае за щеку; но я на это внимания не обращала. Я, понятно, уже все знала. Мы в деревне в этих делах разбираемся, но ведь господин Лерабль был старик богомольный, каждое воскресенье к обедне ходил,— вот бы уж никогда на него не подумала.

Только как-то раз он на кухне набросился на меня. Я не далась. Он ушел ни с чем.

Напротив нас у господина Дютана была бакалейная, у него служил один приказчик, такой славный; ну, я и не устояла. Ведь это с каждым может случиться, верно? Я не запирала на ночь дверь, и он ко мне приходил.

А только как-то ночью господин Лерабль услышал шум. Он поднялся ко мне, увидел Антуана и хотел его убить. Они дрались стульями, кувшином, чем попало. Я схватила свои юбки и выскочила на улицу. Так я и убежала.

Я тряслась от страха, как затравленная. Под соседними воротами кое-как оделась. Потом пошла куда глаза глядят. Все думала, что наверняка в драке кто-нибудь убит и жандармы меня уже ищут. Я вышла на руанскую дорогу. Решила, что в Руане легче будет спрятаться.

Стояла темень, хоть глаз выколи, на фермах лаяли псы. Да разве разберешься ночью? Птица вопит, как будто человека режут, кто-то визжит, свистит, кругом шум,— не поймешь, где. У меня мурашки по телу пошли. Услышу шорох и крещусь. Не расскажешь даже, до чего мне страшно было. Когда начало рассве-

тать, я снова вспомнила о жандармах и припустилась бегом. Потом успокоилась.

Мне захотелось есть, хотя я была как полоумная. Но у меня не было ничего, ни гроша, я забыла в каморке деньги — восемнадцать франков, все мое богатство.

Так я все шла и шла, а у меня совсем живот подвело от голода. Стало жарко. Сильно припекало солнце. Было уже за полдень. А я все шла.

Вдруг я услыхала позади конский топот. Оглянулась. Жандармы! У меня кровь в жилах застыла, я думала, вот-вот упаду, но оправилась. Они меня нагнали. Оглядели с головы до ног. Один из них, который постарше, сказал:

— Добрый день, мамзель!

— Добрый день, сударь!

— Куда это вы направляетесь налегке?

— В Руан, мне там место обещали.

— Так вы пехтурой?

— Да, пешком.

Сердце у меня, сударь, так билось, что я еле могла слово вымолвить. Я твердила про себя: «Сейчас они меня заберут». Мне так хотелось пуститься бежать, что даже колени сводило. Но меня тут же бы и схватили, сами понимаете.

Старший сказал:

— Ну, что ж, значит, будем попутчиками. До Барантена нам с вами, мамзель, тем же маршрутом.

— Очень приятно, сударь.

Так мы разговорились. Я старалась быть полюбезнее, чтобы они ничего такого не подумали. А когда мы вошли в лес, старший говорит:

— Не хотите ли, мамзель, сделать привал на травке?

Я ничего не поняла и ответила:

— Как вам будет угодно, сударь!

Он слез с лошади, дал ее подержать второму жандарму, а мы с ним пошли в сторону.

Ломаться не приходилось. Что бы вы сделали на моем месте? Он получил то, что хотел, потом сказал:

— Нехорошо обижать товарища.

И пошел подержать лошадей, а второй жандарм приблизился ко мне. Мне было так стыдно, что я начала плакать. Но отказать не могла. Сами понимаете.

Так мы и отправились дальше. Мы больше не разговаривали. Очень уж тяжело было у меня на сердце. А к тому же я едва ноги передвигала: есть хотелось. В деревне они все-таки поднесли мне стаканчик вина, и это меня подкрепило, а потом пустили лошадей рысью, чтобы не показаться в Барантене вместе со мной. Тогда я присела у канавы и плакала, плакала...

Через три часа добралась я до Руана. Было семь часов вечера. Сначала я чуть не ослепла — столько там огней, а потом стала искать, где бы присесть. По дороге хоть канавы есть, трава, можно прилечь, поспать. А в городе — ничего.

У меня подкашивались ноги, перед глазами круги ходили, я думала, вот-вот упаду. А тут еще начался дождь, мелкий, частый, как сегодня, и не заметишь, как промокнешь до нитки. Дождливые дни для меня самые несчастливые. Я стала бродить по улицам. Смотрела на окна, на дома и думала: «Все там есть: и постели и хлеб, а на мою долю хоть бы сухая корка, хоть соломенный тюфяк».

Я попала на одну улицу, где ходят женщины, которые пристают к мужчинам. Бывают, сударь, такие случаи, когда разбирать не приходится. Я тоже стала заманивать мужчин. Но мне даже никто не отвечал. Лучше мне было умереть тогда. Наступила полночь. Я не соображала больше ничего. Потом какой-то мужчина заговорил со мной. Он спросил:

— Где ты живешь?

Нужда хоть кого научит. Я ответила:

— Ко мне нельзя, у меня мамаша. А разве нет такого дома, куда можно пойти?

Он ответил:

— Так я и выброшу двадцать су на комнату!

Потом подумал немного и сказал:

— Пойдем. Я знаю укромное местечко, где нам не помешают.

Он повел меня через мост, куда-то на окраину, на луг, возле реки. Я едва за ним поспевала.

Он усадил меня рядом с собой и начал разговор, зачем да для чего мы сюда пришли. Он так долго тянул, а я была полумертвая от усталости. Я и заснула.

Он ушел и ничего мне не дал. А я и не заметила. Был дождь, как я вам уже говорила. С того самого дня у меня и появились боли, никак от них не избавишься, ведь я проспала всю ночь на сырой земле.

Меня разбудили два сержанта и отвели в полицию, а оттуда в тюрьму; я пробыла там неделю, пока они наводили справки, кто я да откуда явилась. Я ничего не хотела говорить, боялась, а вдруг что-нибудь в Ивето случилось.

Однако они до всего докопались и после суда выпустили меня.

Пришлось снова подумать о куске хлеба.

Я хотела поступить на место, но все не удавалось, потому что я в тюрьме побывала.

Тогда я вспомнила старого судью, который во время суда все на меня поглядывал, как старикашка Лерабль в Ивето. Я пошла к нему. И не промахнулась. На прощание он дал мне сто су и сказал:

— Я буду каждый раз давать тебе по сто су, только приходи не чаще двух раз в неделю.

Я сразу смекнула, в чем дело — понятно, в его-то годы. Потом меня осенило. Я подумала: «С молодыми, конечно, приятно, весело, да что с них возьмешь! Старики — другое дело». И потом я уже раскусила их, этих старикашек с обезьяньими глазками и постными рожами.

Знаете, что я стала делать, сударь? Я одевалась, как кухарочка, которая возвращается с рынка, и ходила по улицам, высматривая моих кормильцев. Теперь они сразу попадались на удочку. Встречу и тут же вижу: «Этот клюнет».

Подходит ко мне. Заводит разговор:

— Добрый день, мамзель.

— Добрый день, сударь.

— Куда это вы идете?

— Домой, к своим хозяевам.

— А далеко ли ваши хозяева живут?

— Кому близко, а кому далеко!

А уж он не знает, что дальше говорить. Я нарочно иду помедленнее, чтобы он мог объясниться.

Ну, тут он шепчет мне на ухо разные любезности и потом начинает просить, чтобы я пошла с ним. Сами понимаете, я заставляла себя долго уговаривать, наконец уступала. Каждое утро мне попадались два — три старичка, и все вечера у меня оставались свободные. Это было самое хорошее для меня время. Ничего я к сердцу близко не принимала.

Но что поделаешь, спокойной жизни долго не бывает. На свою беду, свела я знакомство с одним богачом из хорошего общества. Какой-то председатель, было ему лет семьдесят пять, не меньше.

Раз вечером он повез меня в загородный ресторан. И слишком он себе волю дал, понимаете! За десертом он умер.

Меня продержали три месяца в тюрьме, потому что я не была зарегистрирована.

Вот тогда-то я переехала в Париж.

А здесь, сударь, тяжелая жизнь. Не всякий день поесть удается. Да что говорить, у каждого свое горе, правда ведь?

Она замолчала, я шагал с ней рядом, и сердце у меня сжималось тоской. Тут она снова перешла со мной на «ты».

— Значит, ты, миленький, со мной не пойдешь?

— Нет, я ведь уже сказал.

— Ну что ж, до свидания. Спасибо и на том, не поминай лихом. А все-таки зря отказываешься.

И она ушла, окутанная тонкой, как вуаль, сеткой дождя. Я видел, как мелькнула в свете газового рожка ее фигура, затем пропала во мраке.

Бедняжка!

ОКНО

С г-жою де Жаделль я познакомился этой зимой в Париже. Она сразу же необычайно понравилась мне. Впрочем, вы с нею знакомы так же хорошо, как и я... или нет, извините, почти так же хорошо. Вы знаете, какая это своенравная и в то же время поэтическая натура. Это женщина непринужденная, впечатлительная, капризная, привыкшая к свободе, смелая, дерзкая, отважная — словом, не признающая никаких предрассудков и, несмотря на это, с душой чувствительной, утонченной, чуткой, нежной и целомудренной.

Она была вдовой, а я от природы ленив и предпочитаю вдовушек. Я собирался тогда жениться и начал ухаживать за нею. Чем больше я узнавал ее, тем больше она мне нравилась, и я решил наконец, что настало время рискнуть и сделать ей предложение. Я был влюблен, и, пожалуй, даже чересчур. Когда вступаешь в брак, не нужно любить жену слишком сильно, не то можно наделать глупостей, утратить спокойствие, быть по-дурацки доверчивым или грубым. Надо владеть собою. Когда в первый же вечер теряешь голову, то рискуешь, что через год она будет кое-чем украшена.

Итак, однажды я явился к ней в светлых перчатках и сказал:

— Сударыня, мне выпало счастье полюбить вас. Могу ли я питать надежду вам понравиться? Я приложил бы к этому все усилия. Согласны ли вы носить мое имя?

Она спокойно ответила мне:

— Зачем торопиться, сударь? Право, не знаю, понравитесь ли вы мне когда-нибудь; но я готова вас испытать. Как мужчина вы, по-моему, недурны. Остается узнать, какое у вас сердце, какой характер, какие привычки. Браки приводят к ссорам, даже к преступлениям большею частью лишь из-за того, что обе стороны плохо знают друг друга. Достаточно безделицы,— укоренившейся причуды, предвзятого мнения по какому-либо вопросу нравственности, религии или чего-нибудь другого, достаточно какого-нибудь некрасивого жеста, дурной привычки, пустячного недостатка или просто неприятного свойства характера, чтобы муж и жена, даже самые нежные и страстно любящие, превратились в заклятых, ожесточенных врагов, навеки прикованных друг к другу. Я не выйду замуж, сударь, не узнав как следует все закоулки души, все тайники сердца будущего спутника моей жизни. Я хочу присмотреться к нему на свободе, вблизи, в течение нескольких месяцев. Вот что я вам предложу. Приезжайте на лето в мое имение Ловиль, и там мы выясним, не торопясь, созданы ли мы для совместной жизни... Вижу, вы улыбнулись. У вас промелькнула дурная мысль. О сударь, не будь я уверена в себе, я не сделала бы вам подобного предложения. К тому, что вы, мужчины, называете любовью, я питаю такое отвращение, такое презрение, что пасть для меня немыслимо. Так вы согласны?

Я поцеловал ей руку.

— Когда мы едем, сударыня?

— Десятого мая. Хорошо?

— Хорошо.

Через месяц я поселился у нее. Это была в самом деле необыкновенная женщина. Изучала она меня с утра до ночи. Она обожает лошадей, и мы ежедневно целые часы проводили в лесу, катаясь верхом и разговаривая о чем угодно; при этом она старалась постичь мои самые сокровенные мысли так же упорно, как подмечала малейшие мои движения.

Что касается меня, я был влюблен до безумия и нимало не беспокоился, сходны ли наши характеры.

Вскоре я заметил, что за мною наблюдают, даже когда я сплю. Кто-то поселился в маленькой комнате,

смежной с моею, и приходил туда очень поздно, с бесконечными предосторожностями. Непрерывная слежка в конце концов вывела меня из терпения. Я решил ускорить развязку и однажды вечером сделался более предприимчивым. Однако это встретило со стороны г-жи де Жаделль такой прием, что у меня пропала охота к дальнейшим попыткам; но мною овладело жгучее желание как-нибудь отомстить за полицейский надзор, которому я подвергался. И я придумал способ.

Вы знаете Сезарину, ее горничную, хорошенькую девушку из Гранвиля, где все женщины красивы; она блондинка, в противоположность своей госпоже.

Итак, однажды после обеда я позвал эту субретку в свою комнату, сунул ей в руку сто франков и сказал:

— Дорогое дитя, я не буду тебя просить ни о чем дурном, но мне хочется поступить с твоей госпожой так же, как она поступает со мной.

Служаночка лукаво улыбнулась.

Я продолжал:

— За мною следят днем и ночью, я это знаю. Наблюдают, как я ем, сплю, пью, одеваюсь, бреюсь, натягиваю носки,— мне это известно.

— Да что вы, сударь! — пробормотала девушка, но тут же замолкла.

— Ты спишь в соседней комнате, чтобы узнать, не храплю ли я, не кричу ли во сне. Не отнекивайся!

На этот раз она открыто рассмеялась, опять воскликнула: «Да что вы сударь!» — и вновь замолчала.

Я разгорячился.

— Так вот, понимаешь ли, детка, несправедливо, чтобы обо мне знали все, а я ничего не знал о своей будущей жене. Я люблю ее всей душой. Ее лицо, сердце, ум — моя воплощенная мечта, в этом отношении я самый счастливый человек на свете. Но все-таки мне хотелось бы еще кое о чем узнать...

Сезарина решилась наконец спрятать в карман мою кредитку. Я понял, что сделка заключена.

— Слушай, детка! Мы, мужчины, придаем большое значение некоторым... некоторым мелочам в телосложении; они не мешают женщине быть прелестной, но могут изменить ее ценность в наших глазах. Я не прошу тебя говорить что-либо дурное о твоей госпоже или

выдавать ее тайные недостатки, если они у нее имеются. Только ответь мне откровенно на несколько вопросов, которые я тебе задам. Ты знаешь г-жу де Жаделль, как самое себя, ведь ты ежедневно одеваешь и раздеваешь ее. Скажи, так ли она полна в самом деле, как кажется?

Горничная не ответила.

Я продолжал:

— Ты, конечно, знаешь, милочка, что некоторые женщины подкладывают вату... понимаешь, вату... туда... туда... словом, куда младенцы тянутся губками, а также туда... знаешь, на чем сидят. Скажи, подкладывает ли она вату?

Сезарина опустила глаза и застенчиво прошептала:

— Спрашивайте дальше, сударь. Я отвечу на все сразу.

— Есть женщины, моя милая, у которых колени вогнуты внутрь и от этого на каждом шагу соприкасаются. У других они, наоборот, широко расставлены, так что ноги похожи на арку моста; сквозь них можно любоваться пейзажем. И то и другое очень изящно. Скажи, какие ноги у твоей госпожи?

Горничная не отвечала.

Я продолжал:

— У некоторых красивая грудь, но под нею образовались складки. У других — толстые руки, а талия тонкая. Бывают очень полные спереди, а сзади худые и, наоборот, очень полные сзади и худые спереди. Все это очаровательно, но мне очень хотелось бы узнать, как сложена твоя госпожа. Скажи мне всю правду, и я дам тебе еще денег.

Сезарина заглянула мне в глаза и расхохоталась.

— Сударь, если не считать того, что мадам брюнетка, она сложена точь-в-точь, как я!

И плутовка убежала.

Меня одурачили.

На этот раз я оказался в смешном положении и решил по крайней мере отомстить дерзкой горничной.

Через час я осторожно вошел в комнату, откуда она подслушивала, как я сплю, и отвинтил задвижку.

К полуночи Сезарина явилась на свой наблюдательный пост. Я тотчас же последовал за нею. Увидев меня,

она хотела было закричать, но я зажал ей рукою рот и без особого труда убедился, что если девушка говорила правду, то г-жа де Жаделль сложена превосходно.

Я даже вошел во вкус этого изучения, и хоть оно зашло довольно далеко, но, по-видимому, не было неприятно Сезарине.

Право же, она являлась восхитительным образцом нижненормандской расы, крепкой и в то же время изящной. Быть может, ей недоставало тонкого искусства ухаживать за своим телом, искусства, которым Генрих IV, без сомнения, пренебрег бы. Я быстро просветил ее в этом отношении, и так как очень люблю духи, то в тот же вечер подарил ей флакон ароматной лаванды.

Вскоре мы сблизились больше, чем я мог ожидать, почти подружились. Она была очаровательной любовницей, остроумной от природы и плутоватой. В Париже она сделалась бы куртизанкой высокого полета.

Ее ласки позволяли мне терпеливо ждать конца искуса, наложенного на меня г-жой де Жаделль. Я стал на редкость послушен, мягок, уступчив.

Моей невесте, без сомнения, это оказалось по душе, и по некоторым признакам я понял, что вскоре получу ее согласие. Я был, конечно, счастливейшим из людей и в объятиях молодой красивой девушки, к которой чувствовал нежную привязанность, спокойно ожидал законного поцелуя женщины, которую любил.

А теперь, сударыня, вам придется отвернуться: я дошел до щекотливого места.

Однажды вечером г-жа де Жаделль, возвращаясь со мною с прогулки верхом, горько жаловалась, что конюхи, несмотря на ее требования, недостаточно заботятся о ее лошади. Она даже повторила несколько раз: «Я их подстерегу! Я их подстерегу! Задам же я им!»

Проведя спокойную ночь в своей постели, я рано проснулся, чувствуя прилив бодрости и энергии. Затем я оделся.

У меня была привычка выкуривать по утрам папироску на одной из башен замка, куда вела винтовая лестница, освещенная на уровне второго этажа большим окном.

Обутый в сафьяновые туфли на мягкой подошве, я шел бесшумно и уже поднялся было на первые ступеньки, как вдруг заметил Сезарину: перегнувшись через подоконник, она что-то высматривала во дворе.

Правда, я увидел не всю Сезарину, а только половину Сезарины, нижнюю ее половину; но эта половина нравилась мне ничуть не меньше. У г-жи де Жаделль я, может быть, предпочел бы верхнюю. Она была прелестна, эта половина, представшая моим взорам, округленная, чуть прикрытая короткой белой юбочкой.

Подойдя так тихо, что девушка не услыхала, я стал на колени, с величайшей осторожностью взялся за край тонкой юбки и быстрым движением приподнял ее. Я сразу узнал нежные, полные, округлые формы моей любовницы и запечатлел на атласной коже,— простите, сударыня,— запечатлел горячий поцелуй, поцелуй любовника, которому все дозволено.

Как я был поражен! На меня пахнуло вербеной! Но не успел я ничего сообразить, как получил сильный удар, вернее, толчок в лицо, чуть не разбивший мне нос. Раздался крик, от которого волосы у меня встали дыбом. Женщина обернулась... Это была г-жа де Жаделль!

Она всплеснула руками, как бы падая в обморок; на мгновение у нее захватило дыхание; затем она замахнулась, точно хотела меня ударить, и бросилась бежать.

Десять минут спустя изумленная Сезарина принесла мне записку. Я прочел: «Г-жа де Жаделль надеется, что г-н де Брив немедленно избавит ее от своего присутствия».

Я уехал.

Верите ли, я все еще не могу утешиться. Я пытался объясниться, всеми средствами добивался, чтобы мне простили ошибку. Но все попытки остались тщетными.

С тех пор мне запомнился запах вербены... И меня томит жгучее желание снова почувствовать этот аромат.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В настоящий том входят произведения Мопассана, опубликованные им в 1886—1888 годах.

Начало работы Мопассана над романом «Монт-Ориоль» пока не может быть точно определено. Запись в дневнике Тассара от 28 марта 1885 года свидетельствует о каком-то этапе работы писателя над этим романом (по возвращении его из первой поездки по Италии); но идет ли речь о какой-нибудь стадии писания романа или же только о разработке его плана, остается неизвестным. Вот эта запись: «Мой господин возобновил свою работу; он пишет несколько газетных хроник, чтобы потом всецело заняться новым романом».

Возможно, что замысел «Монт-Ориоля» возник у Мопассана за несколько лет раньше. Летом 1884 года он жил в Оверни, на курорте Шатель-Гюйон, не раз упоминаемом в «Монт-Ориоле». В местах, описываемых в романе, он бывал и до этого, посвятив им очерк «В Оверни» («Жиль Блас», 17 июля 1883 года), а также очерк «Врачи и болезни» («Голуа», 11 мая 1884 года), содержащий ряд анекдотов, встречающихся затем в «Монт-Ориоле».

Летом 1885 года Мопассан еще раз посетил Овернь и снова жил на курорте Шатель-Гюйон. Сообщая об этом в письме к матери (август 1885 года), он добавлял: «Я только тем и занят, что исподволь работаю над романом... Это будет довольно краткая и очень простая история, развертывающаяся на фоне этого спокойного и величественного пейзажа; сходства с «Милым другом» не будет никакого».

Далее, в том же письме Мопассана говорится: «...Я рассчитываю уехать во вторник вечером, чтобы в четверг прибыть в Этрета. Меня тянет к работе. Возможно, что я скоро поеду в Канн или в Ниццу, если ты в Ницце, и буду, не отрываясь, писать там роман, который подготовляю здесь, чтобы закончить его к будущему лету и затем все лето свободно разъезжать».

«Г-н де Мопассан готовит к печати первые листы романа «Монт-Ориоль»,— записал Тассар 4 марта 1886 года.

Однако роман еще не был закончен. В письме Мопассана к г-же Леконт де Нуи от 2 марта 1886 года из Антиба говорится: «Катаюсь по морю, а главным образом работаю. Я сочиняю ис-

торию страсти, очень экзальтированной, очень живой и очень поэтической. Это для меня ново и затрудняет меня. Главы, в которых я описываю чувства, перемараны гораздо больше, чем остальные. В конце концов дело все же подвигается: имея терпение, приноравливаешься ко всему; но я часто смеюсь над сентиментальными мыслями (очень сентиментальными и нежными!), которые приходят мне на ум в результате прилежных поисков. Боюсь, что это пристрастит меня к любовному жанру не только в книгах, но и в жизни, ибо когда ум приобретает какой-либо новый изгиб, он его сохраняет, и действительно мне случается иногда, прогуливаясь по Антибскому мысу (мысу уединенному, как бретонские ланды) и обдумывая при лунном свете поэтическую главу, воображать, что все эти приключения не столь уж глупы, как принято думать».

Роман был закончен Мопассаном лишь в декабре 1886 года в Антибе.

«Монт-Ориоль» печатался фельетонами в «Жиль Блас» с 23 декабря 1886 года по 6 февраля 1887 года. Затем в том же 1887 году он был издан Аваром отдельной книгой.

По свидетельству Шарля Лапьерра, одного из друзей Мопассана, «Монт-Ориоль» представляет собою «точный рассказ» о действительно имевших место событиях (A. Lumbroso, Souvenirs sur Guy de Maupassant, Rome, 1905, p. 611).

Французский исследователь Мопассана Андре Виаль довольно подробно останавливается (André Vial. Guy de Maupassant et l'art du roman, P., 1954, pp. 329—334) на вопросе об источниках романа. Виаль указывает, что Мопассан точно воспроизвел картину курортной жизни в Шатель-Гюйоне и соперничество двух лечебных предприятий, в котором отразилась борьба местного капитала с более сильным столичным противником. К одному из этих предприятий, к «Обществу минеральных вод Шатель-Гюйона», образованному в 1875 году при участии парижского капиталиста банкира Брокара, был причастен доктор Барадюк, врачебный инспектор минеральных вод, близкий друг отца писателя, Гюстава де Мопассана. По мнению Виаля, писатель мог узнать всю подноготную изображаемой им борьбы двух обществ именно от д-ра Барадюка. Виаль находит возможным в некоторых случаях видеть в лице д-ра Барадюка прототип персонажа романа д-ра Латона, а также указывает, что прототипом старого крестьянина Ориоля, изображенного в романе, послужил житель Шатель-Гюйона, крестьянин Пре-Лижье.

Французские критики нередко стремятся усматривать в иных персонажах романов Мопассана автопортреты писателя. Так обстоит с образом романиста Гастона Ламарта из «Нашего сердца», так обстоит и с образом Поля Бретиньи из «Монт-Ориоля». Не отрицая возможности привнесения Мопассаном в эти образы некоторых автобиографических черт, мы все же остерегаем читателя от мысли видеть в лице Поля Бретиньи (как и Ламарта) подлинный автопортрет Мопассана.

Книга Мопассана «На воде» была напечатана в журнале «Литература и искусство», в номерах от 1 февраля, 1 марта и 1 апреля 1888 года. В том же 1888 году это произведение было выпущено отдельной книгой в издательстве Марпона и Флам-

мариона с рисунками Рпу. В книге Мопассан сделал одно добавление: эпизод, помеченный «Сен-Тропез, 12 апреля», он дополнил застольною беседой коммивояжеров в гостинице Бальи де Сюффрена.

Многие французские критики ошибочно считали, да и продолжают считать, что «На воде» представляет собою точную фиксацию дум и настроений Мопассана в 1887 году. Между тем, как доказал еще в 1908 году немецкий ученый Пауль Ман, обстоятельно ознакомившийся с газетными очерками, с «хрониками» Мопассана, «На воде» «состоит на две трети из вещей, написанных в 1881 и 1882 годах» (Paul Mahn. Guy de Maupassant, Berlin, 1908, S. 128). В своем труде Пауль Ман приводит доказательства этого утверждения. Он сообщает, что эпизод о бегстве Базена был уже рассказан Мопассаном в «Голуа» 15 апреля 1883 года; что рассуждение о войне было уже опубликовано в «Голуа» 10 апреля 1881 года в виде очерка «Война», перепечатанного впоследствии в «Жиль Блас» 11 декабря 1883 года, а позднее составившего предисловие к книге рассказов Гаршина, озаглавленной во французском переводе «La Guerre»; что по поводу «второго зрения» писателей Мопассан уже напечатал хронику «Писатель» в «Голуа» 6 ноября 1882 года и очерк «В скитаниях» в «Жиль Блас» 14 февраля 1883 года; что отрывок о психологии толпы появился в «Голуа» под названием «Толпа» 23 марта 1882 года, а позднее, 7 апреля 1885 года, перепечатан в «Жиль Блас», где он был озаглавлен «Политическая философия»; что о нужде служащих уже говорила хроника «Чиновники» в «Голуа» от 4 января 1882 года; что тема об остроумии французов богато использована в хрониках: «Остроумие во Франции» — в «Голуа» от 19 июня 1881 года, «Болтовня» — в «Голуа» от 20 января 1882 года, «Утонченность» — в «Жиль Блас» от 25 декабря 1883 года и «Будьте же остроумны» — в «Голуа» от 2 января 1884 года.

Пауль Ман оговаривается, что мог бы указать и другие аналогичные параллели. И действительно, можно отметить, что эпизод «Сен-Тропез, 13 апреля» находится в чрезвычайной близости с новеллой «Счастье» (т. IV), напечатанной Мопассаном в «Голуа» 16 марта 1884 года; что ряд мыслей о жизни служащих встречается в новелле «Прогулка» (т. IV) и т. д.

Таким образом, книга «На воде» составилась в наибольшей части из старых «хроник» Мопассана, преимущественно 1881 — 1884 годов, объединенных чисто внешне описанием недельного путешествия на яхте «Милый друг». Когда работал Мопассан над описанием этого путешествия, то есть над «рамой» книги, указаний не сохранилось.

Яхта «Милый друг», занимающая столь большое место в книге, была приобретена Мопассаном зимою 1885/86 года. Вскоре после ее покупки Мопассан, по рекомендации своего знакомого, капитана Мютерса, нанял матроса Бернара, который стал исполнять обязанности капитана яхты; второй матрос, Ремон, был нанят в октябре 1886 года. Впоследствии, в апреле 1888 года, команда «Милого друга» пополнилась еще юнгою.

Яхта не удовлетворяла Мопассана, и в январе 1888 года он купил в Марселе другое, несколько более вместительное судно,

которому снова было дано имя «Милый друг». Франсуа Тассар описывает поездку Мопассана на этой яхте, происходившую 18 января 1888 года. Если к этому времени уже могло быть написано начало книги «На воде», появившееся в печати 1 февраля, то последующие части «обрамления» книги, то есть описания путешествия, могли быть созданы и на второй яхте Мопассана.

В записи от 2 августа 1890 года Тассар сообщает: «Вечер великолепный, звезды начинают зажигаться на синем своде, чуть затянувшемся облаками на востоке. Мы сидим на палубе «Милого друга», который бросил якорь как раз на том месте, где три года тому назад стоял маленький черный «Милый друг». Мой господин сидит в кресле, откинувшись назад, и так же, как три года тому назад, смотрит на гору, на спускающуюся по ней извилистую тропинку, где он тогда видел влюбленную пару, поразившую его, как само воплощенное счастье. Он повертывает голову к берегу, куда эти влюбленные приходили после обеда, а потом рассматривает гостиницу и окно той комнаты, где они нашли приют и где зажгли свет, вскоре затем погасший. Выходя из задумчивости, он говорит Бернару:

— Хорошо ли я изобразил в «На воде» влюбленных, которых я как-то вечером видел здесь? Я уверен, они и не подозревали, что кто-то наблюдает за ними на таком близком расстоянии.

— О да, да,— отвечает Бернар, делая энергичные жесты одобрения (Souvenirs sur Guy de Maupassant par François, pp. 241—242).

«Три года назад», «маленький черный «Милый друг» — все это свидетельствует, что действие «рамочных» описаний книги относится к 1887 году и связано с первой яхтой Мопассана. Встреча с влюбленными описана в эпизоде, датированном «Агэ, 8 апреля», и затрагивается вскользь в конце последнего эпизода книги «14 апреля».

Эпизоды книги датированы 6—14 апреля. По-видимому, это чисто условные даты. Попытка сблизить их с апрелем 1885, 1886 или 1887 годов безрезультатна: Тассар не отмечает в это время поездок Мопассана на яхте.

В воспоминаниях Тассара за 1888 — 1890 годы немало записей о поездках Мопассана на «Милом друге».

Матросы «Милого друга» горячо любили своего хозяина, который, по их словам, «был на судне столько же капитаном, сколько и товарищем». Ремон и Бернар безотлучно находились при Мопассане после его покушения на самоубийство 1 января 1892 года. Спустя неделю после смерти Мопассана «Фигаро» напечатал 14 июля 1893 года следующее письмо в редакцию, которое мы воспроизводим с соблюдением особенностей его стиля:

12 июля 1893 года

Господин главный редактор,

Слишком поздно узнав о смерти моего бывшего и оплакиваемого хозяина, г-на Ги де Мопассана, мы не могли, Ремон и я, его матросы, своевременно доставить вам этот

венок, смиреннейший знак нашей преданности ему и нашей признательности.

Берем смелость просить вас, господин главный редактор, возложить этот венок на его могилу и выразить его семейству самые искренние чувства соболезнования от его верных и преданных матросов.

Бертран и Ремон.

Соблаговолите принять, господин главный редактор, мою живую и искреннюю благодарность, а также уверения в глубоком уважении.

Бернар, бывший капитан «Милого друга»,
капитан «Линкса» в Антибе.

Мы не знаем, кто такой был Бертран; возможно, это тот юнга, который, как указывает Тассар, был нанят 16 апреля 1888 года.

Сборник рассказов «Избранник г-жи Гюссон» был выпущен в конце 1888 года издательством «Либрери модерн» и переиздавался при жизни Мопассана без всяких изменений в составе своих новелл. Сборник состоит преимущественно из юмористических и сатирических новелл, большинство которых относится, однако, еще к 1883 — 1884 годам. Читатель сборника ощутит явную разницу в тоне смеха Мопассана сравнительно, например, со сборником «Сестры Рондоли», где юмор писателя был гораздо более жизнерадостен и беззаботен. В 1887 — 1888 годах, исключая, может быть, только начальную вещь «Избранник г-жи Гюссон», Мопассан пишет рассказы («Баронесса», «Вечер», «Развод») уже почти не смешные, несмотря на комическую ситуацию, в которой находятся персонажи. Еще более ясно все это в рассказе «Убийца», написанном в тонах той мрачнеющей сатиры, которая будет только болезненно обостряться в последних новеллах Мопассана.

ПРИМЕЧАНИЯ

МОНТ-ОРИОЛЬ

Стр. 10. *...прошлого века* — то есть XVIII века.

Стр. 18. *Мишле* (1798—1874) — французский историк.

Стр. 20. *Барадюк* (род. 1814) — известный французский врач и ученый.

Стр. 45. *Обелиск.*— Речь идет о находящемся в Париже подлинном египетском обелиске эпохи фараона Сезостриса (XIII в. до н. э.), вывезенном из Луксора.

Стр. 48. *Тенирс.*— Имеется в виду один из двух знаменитых фламандских живописцев. *Старший* (1582—1649) или его сын — *Младший* (1610—1690).

Стр. 52. *Калло* (1592—1635) — французский гравер и рисовальщик, реалистически воспроизводивший образы народной нищеты.

Стр. 73. *«Джоконда»* — знаменитая картина итальянского живописца Леонардо да Винчи (1452—1519), находящаяся в Луврском музее в Париже.

Ты вестница небес иль ада — все равно.— Это восьмистишие взято из стихотворения французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867) «Гимн красоте» (сборник «Цветы зла»).

Стр. 75. *Бюльe* — помещение для собраний и митингов в Париже на бульваре Сен-Мишель; служит также больным залом, на что и намекает текст романа.

Стр. 94. *Гюстав Доре* (1833—1883) — известный французский рисовальщик, композиции которого, особенно на темы феодального средневековья, отличаются богатством и блеском романтической фантазии.

Стр. 122. *Как говорят «Мон-Дор».*— Имеется в виду известный французский курорт Мон-Дор в Оверни, в департаменте Пюи-де-Дом.

Стр. 147. *Масснэ* (1842—1912) — французский музыкант и композитор.

Рейер (1823—1909)) — французский композитор, автор оперы «Саламбо» на тему романа Флобера.

Гуно (1818—1893) — французский композитор.

Стр. 163. *...с благословения папского седалища* — в подлиннике непереводимая игра слов: le medecin de Saint-Bain du Siège, основанная на двойном смысле слова «Siège», которое означает и «седалище» и «престол» римского папы.

Стр. 175. *...следовало бы окрестить «Пустокарманным предместьем»* — намек на обнищание того старинного французского дворянства, которое в конце XIX века традиционно проживало в аристократическом Сен-Жерменском предместье Парижа.

Стр. 180. *Теодор Руссо* (1812—1867) — известный французский художник-пейзажист барбизонской школы.

Стр. 200. *Английское кафе* — в Париже.

Стр. 262. *Вилла Мютерс* — название дачи, купленной в конце 1885 года Мопассаном в Антибе, на берегу Средиземного моря. Мютерс — имя прежнего владельца этой виллы. История этой покупки рассказана Ф. Тассаром.

НА ВОДЕ

Стр. 266. *Вобан* (1633—1707) — знаменитый французский военный инженер и полководец.

Тартана — название одномачтового парусного судна в Средиземном море.

Стр. 268. *Кипсек* — книга-альбом, богато иллюстрированная виньетками и гравюрами и служащая обычно для подарков в праздничные дни.

Стр. 269. *Французский театр* (или Французская Комедия) — крупнейший из драматических театров Парижа.

Флориановские названия — намек на французского писателя Флориана (1755—1794), автора чувствительных и вычурных пасторалей.

Стр. 270. *Железная Маска* — неизвестный заключенный, находившийся долгое время в разных тюрьмах Франции и умерший в 1703 году в Бастилии. Он должен был все время носить на лице маску, по одним сведениям, железную (откуда и его имя), по другим — бархатную. Догадки и предположения о том, кто такой был таинственный узник, составили целую литературу. Мотив Железной Маски широко использован и в художественной литературе. см., например, роман А. Дюма-отца «Виконт де Бражелон».

Базен (1811—1888) — маршал Франции, бонапартист; командуя рейнской армией во время франко-прусской войны 1870—1871 годов, он после падения Второй империи сдался с армией при Меце, был приговорен за измену к двадцати годам тюремного заключения, но бежал из тюрьмы острова Сент-Маргерит.

Стр. 277. *...для произнесения в третьем лице обращений: «Монсиньор» или «Ее высочество».*— Речь идет о такого рода обращениях, как, например: «Не угодно ли будет монсиньору» или «Не удостоит ли ее высочество» и т. д.

Доде — намек на роман Альфонса Доде «Короли в изгнании», изданный в 1879 году.

...кишат частицы «де»...— Частица «де» при фамилии являет-

ся во Франции признаком принадлежности данного человека к дворянству.

Стр. 291. *Адмирал Дюперре* (1775—1846) — французский адмирал, участвовавший в завоевании Алжира.

Курбе (1827—1885) — французский вице-адмирал Амедей-Анатоль Курбе, участник тонкинской экспедиции.

Стр. 294. *Мольтке* (1800—1891) — немецкий полководец, участник франко-прусской войны.

Стр. 302. *Румкорф* (1803—1877) — конструктор физических приборов, родившийся в Ганновере и умерший в Париже.

Арокур (род. 1857) — французский поэт, автор эротических стихотворений.

Стр. 303. *Мюссе* (1810—1857) — французский поэт-романтик Альфред де Мюссе. Ниже цитируется его знаменитая «Баллада к луне».

Катюль Мендес (1841—1909) — французский поэт, критик и драматург, один из друзей Мопассана.

Стр. 305. *Апулей* — римский писатель II века н. э., автор сатирического и нравоописательного романа «Золотой осел».

Стр. 316. *Бульябес* — провансальское кушанье, приготовляемое из морской рыбы, которую варят в белом вине с разными пряностями.

Стр. 322. *Честерфилд* (1694—1773) — английский государственный деятель и писатель.

Стр. 324. *«Кармен»* — знаменитая опера французского композитора Жоржа Бизе (1838—1875), освистанная публикой на первом представлении в Париже в 1875 году.

Стр. 328. *Рейсдаль* (1628—1682) — голландский пейзажист.

Клод Лоррен (1600—1682) — французский художник, прозванный «Рафаэлем пейзажа».

Общество сказало.— Имеется в виду акционерное общество.

Каролюс Дюран (1837—1917) — французский художник-портретист.

Стр. 329. *Гримальди* — старинный род генуэзской аристократии.

Бальи де Сюффрен.— Речь идет о знаменитом французском адмирале Пьере-Андре де Сюффрене (1726—1788), победоносно сражавшемся в Индии против англичан. Сюффрен был одним из высших начальствующих лиц (бальи) мальтийского ордена.

Стр. 330. *Коннетабль Бурбонский* (1490—1527) — французский полководец.

Карл V (1500—1558) — король Испании и германский император.

Герцог д'Эпернон (1554—1642) — французский адмирал.

В 1637 году — во время войны Франции с Австрией и Испанией.

В 1813 году — во время борьбы Наполеона I против европейской коалиции.

Стр. 331. *Жюль Валлес* (1832—1885) — французский писатель и революционный деятель, член Парижской Коммуны. Приведенная цитата — посвящение из романа Валлеса «Баккалавр».

Стр. 338. *Монтень* (1533—1592) — знаменитый французский философ.

Сен-Симон (1675—1755) — герцог, французский писатель, автор «Мемуаров», в которых подробно и широко обрисована придворная жизнь в царствование Людовика XIV.

Монмартр — один из кварталов Парижа, средоточие парижской литературно-художественной богемы.

Стр. 339. *Хлодвиг.*— Имеется в виду Хлодвиг I, основатель франкской монархии и первый франкский король-католик (466—511). Вел много войн: с римлянами, алеманами, вестготами и др.

Дагобер.— По-видимому, упоминается франкский король Дагобер I (ум. в 638 г.). Старинная песенка повествует о том, что этот король носил штаны наизнанку.

Пипин.— Речь идет о Пипине Коротком, первом франкском короле из династии Каролингов (ум. в 768 г.).

Хильдерик (714—755) — последний франкский король меровингской династии Хильдерик III, низложенный Пипином Коротким.

Стр. 340. *Захарий* — римский папа с 741 по 752 год, передавший французский трон Пипину Короткому.

Людовик VI (1078—1137) — французский король, воевавший с английским королем Генрихом I и разбитый им в битве при Бренвиле в 1119 году.

Людовик IX (1215—1270) — французский король, причисленный католической церковью к «святым».

Филипп VI (1293—1350) — французский король, воевавший с Англией и разбитый в 1346 году в битве при Креси англичанами, впервые применившими артиллерию; приписываемая Филиппу VI фраза часто варьируется.

Иоанн II — французский король с 1350 по 1364 год. В битве с англичанами близ Пуатье в 1356 году Иоанн II был разбит и взят в плен принцем Уэльским (1330—1376), так называемым «Черным принцем», сыном короля Эдуарда III.

Людовик XII (1462—1515) — французский король, сын герцога Орлеанского, долго боровшийся, до вступления на престол, с регентшей Анной де Боже и заключенный ею в тюрьму.

Франциск I (1494—1547) — французский король. Сражаясь с испанским королем Карлом V, он был разбит в битве при Павии в 1525 году и взят в плен.

Стр. 341. *Крийон* (1543—1615) — один из полководцев Генриха IV, которому король написал приведенные слова, одержав при Арке в 1589 году победу над войсками герцога Майенского, вождя католической Лиги.

Битва под Иври.— Эта битва произошла в 1590 году; Генрих IV снова разбил в ней герцога Майенского и лигеров.

Париж стоит обедни.— По решению Генеральных Штатов, французская корона после смерти Генриха III не могла быть передана иностранному принцу. Это обстоятельство вынудило Генриха IV порвать с протестантизмом и принять католицизм как религию большинства французов.

Стр. 342. *Людовик XIII* (1601—1643) — французский король.

Он воевал с Китаем, с Мексикой, с Россией, с Австрией.— Войну с Китаем Наполеон III вел в 1857—1860 годах, войну с

Мексикой — в 1862 году, войну с Россией («Крымскую кампанию») — в 1854—1856 годах, войну с Австрией — в 1859 году.

Стр. 343. *Рошфор* (1830—1913) — знаменитый французский публицист, автор журнала-памфлета «Фонарь», ожесточенно нападавшего на Наполеона III и на режим Второй империи.

Мак-Магон (1808—1893) — французский маршал и президент Третьей республики в 1873—1879 годах.

Гамбетта (1838—1882) — французский политический деятель, буржуазный республиканец.

В стране горбатых сам горбат... — Приведенные строки взяты из песни французского поэта Эжезиппа Моро (1810—1838) «Остров горбатых».

Стр. 354. *Вильгельм Прусский* — прусский король Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888), провозгласивший себя германским императором в 1871 году, после победы над Францией

ИЗБРАННИК Г-ЖИ ГЮССОН

Избранник г-жи Гюссон

Новелла напечатана в «Нувель Ревю» 15 июня 1887 года. По указанию Шарля Лапьерра (упоминаемого в новелле; см. о нем в примечаниях к новелле «Эта свинья Морен», том II) новелла основана на действительном происшествии. Избранник г-жи Гюссон существовал в департаменте Эр именно таким, каким его юмористически изобразил писатель, а новелла первоначально имела заглавием насмешливое заключение: «Доброе дело никогда не пропадает» (A. Lumbroso, p. 612).

Стр. 365. *Лукулл* (II—I века до н. э.) — древнеримский полководец, особенно известный в качестве утонченного гурмана; на последнее его свойство и намекает текст.

Цицерон — знаменитый древнеримский оратор (106—43 г. до н. э.).

Стр. 366. *Эжен Сю* (1804—1857) — французский писатель, автор многочисленных социальных романов, широко популярных в свое время, но изобилующих всякого рода дефектами и, в частности, крайне небрежным языком.

Стр. 367. *«Записки» Цезаря.* — Речь идет о книге древнеримского полководца Юлия Цезаря (100—44) «Записки о галльской войне».

Стр. 368. *Давилье* (1823—1883) — французский коллекционер и историк.

Шарль Бренн (1825—1864) — руанский журналист из числа друзей Флобера.

Стр. 372. *15 августа* — день рождения Наполеона I; бонапартистский праздник.

Стр. 373. *Луи-Филипп* — французский король, глава Июльской монархии, правивший с 1830 по 1848 год.

Стр. 379. *Фома Кентерберийский.* — Имеется в виду Фома Бекет (около 1119—1170), архиепископ Кентерберийский, защитник идеи главенства церкви над государственной властью; Бекет

активно боролся с английским троном, но, будучи обвинен в государственной измене, бежал во Францию.

Клотарий II (584—628) — франкский король.

Вильгельм Рыжий — английский король, правивший с 1087 по 1100 год.

Людовик Толстый.— Речь идет о французском короле Людовике VI.

Готфрид Плантагенет — Готфрид IV, герцог Анжуйский, с 1129 по 1151 год феодальный властитель Нормандии, находившейся в ту пору под властью англичан.

Филипп-Август.— Речь идет о Филиппе II (1165—1223), французском короле.

Ричард Львиное Сердце — английский король, правивший с 1189 по 1199 год; с 1194 года вел войну с Филиппом-Августом.

Эдуард III — английский король, правивший с 1327 по 1377 год и начавший Столетнюю войну с Францией.

Стр. 380. *Карл VII* (1403—1461) — французский король; при нем Столетняя война с Англией закончилась наконец победой Франции.

Лига — объединение сторонников французской католической церкви в XVI веке, основанное герцогом Гизом для борьбы католицизма с французским протестантизмом, а также в целях династического переворота.

Анри Монье (1799—1877) — французский писатель-сатирик и карикатурист.

Буффе.— В эту пору во Франции был знаменит только комический актер Буффе (1800—1888), в глазах же жителей Жизора знаменитостью является никому неведомый живописец по стеклу только потому, что он местный уроженец.

Осечка

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 16 июня 1885 года.

Стр. 382. *Шолль.*— Имеется в виду французский поэт и журналист Орельен Шолль (1833—1902), славившийся блестящим, хотя нередко и фривольным остроумием. Во время угрожавшего Мопассану в 1880 году судебного процесса за его поэму «На берегу», признанную «непристойной», Шолль выступил в защиту Мопассана в «Эвенман», и его статья содействовала прекращению начатого судебного преследования.

Стр. 383. *Сарду* (1831—1908) — известный французский драматург.

«Сафо» — нравоописательный роман Альфонса Доде, изданный в 1884 году.

«Жерминаль» — социальный роман Эмиля Золя, вышедший в 1885 году.

Стр. 384. *«Жестокая загадка»* — психологический роман Поля Бурже, изданный в 1885 году.

Гревен.— Вероятно, речь идет об Альфреде Гревене (1827—1892), французском рисовальщике и литераторе.

Коклен — имя двух выдающихся французских актеров: Кок-

лена-старшего (1841—1909) и его брата Коклена-младшего (1848—1909).

Рошфор — см. выше примеч. к стр. 343.

Кассаньяк.— Речь идет о Поле де Кассаньяке (1842—1904), французском журналисте, тесно связанном с бонапартистскими кругами.

Взбесилась

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 7 августа 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 389. *Жип* (род. 1850) — французская писательница, автор многочисленных легковесных романов.

Натурщица

Новелла напечатана в «Голуа» 17 декабря 1883 года.

Стр. 398. *«Жены артистов»* — сборник очерков Альфонса Доде, изданный в 1876 году.

Баронесса

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 17 мая 1887 года.

Продажа

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 22 февраля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Убийца

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 1 ноября 1887 года.

Дочка Мартена

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 11 сентября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Вечер

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 29 марта 1887 года.

Исповедь

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 12 августа 1884 года.

Развод

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 21 февраля 1888 года.

Реванш

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 18 ноября 1884 года.

Стр. 451. *Наке* (1834—1916) — французский ученый и политический деятель, горячий пропагандист закона о разводе, принятого 27 июля 1884 года.

Одиссея проститутки

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 25 сентября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Окно

Новелла напечатана в «Жиль Блас» 10 июля 1883 года.

Ю. ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 64. «Монт-Ориоль». Худ. Н. Кузьмин. 1948.
Стр. 65. «Монт-Ориоль». Худ. Ф. Бак.
Стр. 96. «Монт-Ориоль». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 97, 352. «На воде». Худ. Лано. 1904.
Стр. 353. «Избранник г-жи Гюссон». Худ. В. Роттанбур. 1902.
Стр. 384. «Натурщица». Худ. В. Роттанбур. 1902.
Стр. 385. «Продажа». Худ. В. Роттанбур. 1902.

СОДЕРЖАНИЕ

МОНТ-ОРИОЛЬ

Монт-Ориоль. *Перевод Н. Немчиновой* 5

НА ВОДЕ

На воде. *Перевод Б. Горнунга* 265

ИЗБРАННИК Г-ЖИ ГЮССОН

Избранник г-жи Гюссон. *Перевод В. Дмитриева* 363
Осечка. *Перевод М. Вахтеровой* 381
Взбесилась. *Перевод Е. Гунст* 389
Натурщица. *Перевод М. Вахтеровой* 397
Баронесса. *Перевод ее же* 404
Продажа. *Перевод ее же* 410
Убийца. *Перевод В. Дмитриева* 416
Дочка Мартена. *Перевод Д. Лившиц* 421
Вечер. *Перевод К. Заржецкого* 428
Исповедь. *Перевод его же* 435
Развод. *Перевод его же* 442
Реванш. *Перевод Н. Жарковой* 451
Одиссея проститутки. *Перевод ее же* 461
Окно. *Перевод В. Дмитриева* 468

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 474
Примечания 479
Перечень иллюстраций 486

ГИ ДЕ МОПАССАН
Собрание сочинений
в 12 томах. Том 7.

Редактор
В. А. Дынник.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
Л. Новикова.

Подп. к печ. 14/X 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 1107.
Зак. № 1802. Бум. л. 7,62. Печ. л. 25,01+
+4 вкл. (0,41 п. л.). Уч.-изд. л. 25,31.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.